А. С. ГРИН

Александр Степанович Грин

Собрание сочинений в шести томах

Том 4. Золотая цепь. Рассказы

Золотая цепь

I

“Дул ветер…”, — написав это, я опрокинул неосторожным движением чернильницу, и цвет блестящей лужицы напомнил мне мрак той ночи, когда я лежал в кубрике “Эспаньолы”. Это суденышко едва поднимало шесть тонн, на нем прибыла партия сушеной рыбы из Мазабу. Некоторым нравится запах сушеной рыбы.

Все судно пропахло ужасом, и, лежа один в кубрике с окном, заткнутым тряпкой, при свете скраденной у шкипера Гро свечи, я занимался рассматриванием переплета книги, страницы которой были выдраны неким практичным чтецом, а переплет я нашел.

На внутренней стороне переплета было написано рыжими чернилами:

“Сомнительно, чтобы умный человек стал читать такую книгу, где одни выдумки”.

Ниже стояло:

“Дик Фармерон. Люблю тебя, Грета. Твой Д.”.

На правой стороне человек, носивший имя Лазарь Норман, расписался двадцать четыре раза с хвостиками и всеобъемлющими росчерками. Еще кто-то решительно зачеркнул рукописание Нормана и в самом низу оставил загадочные слова:

“Что знаем мы о себе?”

Я с грустью перечитывал эти слова. Мне было шестнадцать лет, но я уже знал, как больно жалит пчела — Грусть. Надпись в особенности терзала тем, что недавно парни с “Мелузины”, напоив меня особым коктейлем, испортили мне кожу на правой руке, выколов татуировку в виде трех слов:

“Я все знаю”. Они высмеяли меня за то, что я читал книги, — прочел много книг и мог ответить на такие вопросы, какие им никогда не приходили в голову.

Я засучил рукав. Вокруг свежей татуировки розовела вспухшая кожа. Я думал, так ли уж глупы эти слова “Я все знаю”; затем развеселился и стал хохотать — понял, что глупы. Опустив рукав, я выдернул тряпку и посмотрел в отверстие.

Казалось, у самого лица вздрагивают огни гавани. Резкий, как щелчки, дождь бил в лицо. В

мраке суетилась вода, ветер скрипел и выл, раскачивая судно. Рядом стояла “Мелузина”; там мучители мои, ярко осветив каюту, грелись водкой. Я слышал, что они говорят, и стал прислушиваться внимательнее, так как разговор шел о каком-то доме, где полы из чистого серебра, о сказочной роскоши, подземных ходах и многом подобном. Я различал голоса Патрика и Моольса, двух рыжих свирепых чучел.

Моольс сказал: — Он нашел клад.

— Нет, — возразил Патрик. — Он жил в комнате, где был потайной ящик; в ящике оказалось письмо, и он из письма узнал, где алмазная шахта.

— А я слышал, — заговорил ленивый, укравший у меня складной нож Каррель-Гусиная шея, — что он каждый день выигрывал в карты по миллиону!

— А я думаю, что продал он душу дьяволу, — заявил Болинас, повар, — иначе так сразу не построишь дворцов.

— Не спросить ли у “Головы с дыркой”? — осведомился Патрик (это было прозвище, которое они дали мне), — у Санди Пруэля, который

все знает?

Гнусный — о, какой гнусный! — смех был ответом Патрику. Я перестал слушать. Я снова лег, прикрывшись рваной курткой, и стал курить табак, собранный из окурков в гавани. Он производил крепкое действие — в горле как будто поворачивалась пила. Я согревал свой озябший нос, пуская дым через ноздри.

Мне следовало быть на палубе: второй матрос “Эспаньолы” ушел к любовнице, а шкипер и его брат сидели в трактире, — но было холодно и мерзко вверху. Наш кубрик был простой дощатой норой с двумя настилами из голых досок и сельдяной бочкой-столом. Я размышлял о красивых комнатах, где тепло, нет блох. Затем я обдумал только что слышанный разговор. Он встревожил меня, — как будете встревожены вы, если вам скажут, что в соседнем саду опустилась жар-птица или расцвел розами старый пень.

Не зная, о ком они говорили, я представил человека в синих очках, с бледным, ехидным ртом и большими ушами, сходящего с крутой вершины по сундукам, окованным золотыми скрепами.

“Почему ему так повезло, — думал я, — почему?..”

Здесь, держа руку в кармане, я нащупал бумажку и, рассмотрев ее, увидел, что эта бумажка представляет точный счет моего отношения к шкиперу, — с 17 октября, когда я поступил на “Эпаньолу” — по 17 ноября, то есть по вчерашний день. Я сам записал на ней все вычеты из моего жалованья. Здесь были упомянуты разбитая чашка с голубой надписью “Дорогому мужу от верной жены”; утопленное дубовое ведро, которое я же сам по требованию шкипера украл на палубе “Западного Зерна”; украденный кем-то у меня желтый резиновый плащ, раздавленный моей ногой мундштук шкипера и разбитое — все мной — стекло каюты. Шкипер точно сообщал каждый раз, что стоит очередное похождение, и с ним бесполезно было торговаться, потому что он был скор на руку.

Я подсчитал сумму и увидел, что она с избытком покрывает жалованье. Мне не приходилось ничего получить. Я едва не заплакал от злости, но удержался, так как с некоторого времени упорно решал вопрос — “кто я — мальчик или мужчина?” Я содрогался от мысли быть мальчиком, но, с другой стороны, чувствовал что-то бесповоротное в слове “мужчинам — мне представлялись сапоги и усы щеткой. Если я мальчик, как назвала меня однажды бойкая девушка с корзиной дынь, — она сказала: “Ну-ка, посторонись, мальчик”, — то почему я

думаю о всем большом: книгах, например, и о должности капитана, семье, ребятишках, о том, как надо басом говорить: “Эй вы, мясо акулы!” Если же я мужчина, — что более всех других заставил меня думать оборвыш лет семи, сказавший, становясь на носки: “Дай-ка прикурить, дядя!” — то почему у меня нет усов и женщины всегда становятся ко мне спиной, словно я не человек, а столб?

Мне было тяжело, холодно, неуютно. Выл ветер — “Вой!” — говорил я, и он выл, как будто находил силу в моей тоске. Крошил дождь. — “Лей!” — говорил я, радуясь, что все плохо, все сыро и мрачно, — не только мой счет с шкипером. Было холодно, и я верил, что простужусь и умру, мое неприкаянное тело…

II

Я вскочил, услышав шаги и голоса сверху; но то не были голоса наших. Палуба “Эспаньолы” приходилась пониже набережной, так что на нее можно было спуститься без сходни. Голос сказал: “Никого нет на этом свином корыте”. Такое начало мне понравилось, и я с нетерпением ждал ответа. “Все равно”, — ответил второй голос, столь небрежный и нежный, что я подумал, не женщина ли отвечает мужчине. — “Ну, кто там?! — громче сказал первый. — В кубрике свет; эй, молодцы!”.

Тогда я вылез и увидел — скорее различил во тьме — двух людей, закутанных в непромокаемые плащи. Они стояли, оглядываясь, потом заметили меня, и тот, что был повыше, сказал: — Мальчик, где шкипер?

Мне показалось странным, что в такой тьме можно установить возраст. В этот момент мне хотелось быть шкипером. Я бы сказал — густо, окладисто, с хрипотой, — что-нибудь отчаянное, например: “Разорви тебя ад!” — или: “Пусть перелопаются в моем мозгу все тросы, если я что-нибудь понимаю!”

Я объяснил, что я один на судне, и объяснил также, куда ушли остальные.

— В таком случае, — заявил спутник высокого человека, — не спуститься ли в кубрик? Эй, юнга, посади нас к себе, и мы поговорим, здесь очень сыро.

Я подумал… Нет, я ничего не подумал. Но это было странное появление, и, рассматривая неизвестных, я на один миг отлетел в любимую страну битв, героев, кладов, где проходят, как тени, гигантские паруса и слышен крик — песня — шепот: “Тайна — очарование! Тайна — очарование!”. “Неужели началось?” — спрашивал я себя; мои колени дрожали.

Бывают минуты, когда, размышляя, не замечаешь движений, поэтому я очнулся, лишь увидев себя сидящим в кубрике против посетителей — они сели на вторую койку, где спал Эгва, другой матрос, — и сидели согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок-палубу.

“Вот это люди!” — подумал я, почтительно рассматривая фигуры своих гостей. Оба они мне понравились — каждый в своем роде. Старший, широколицый, с бледным лицом, строгими серыми глазами и едва заметной улыбкой, должен был, по моему мнению, годиться для роли отважного капитана, у которого есть кое-что на обед матросам, кроме сушеной рыбы. Младший, чей голос казался мне женским, — увы! — имел небольшие усы, темные пренебрежительные глаза и светлые волосы. Он был на вид слабее первого, но хорошо подбоченивался и великолепно смеялся. Оба сидели в дождевых плащах; у высоких сапог с лаковыми отворотами блестел тонкий рант, следовательно, эти люди имели деньги.

— Поговорим, молодой друг! — сказал старший. — Как ты можешь заметить, мы не мошенники.

— Клянусь громом! — ответил я. — Что ж, поговорим, черт побери!..

Тогда оба качнулись, словно между ними ввели бревно, и стали хохотать. Я знаю этот хохот. Он означает, что или вас считают дураком, или вы сказали безмерную чепуху. Некоторое время я обиженно смотрел, не понимая, в чем дело, затем потребовал объяснения в форме достаточной, чтобы остановить потеху и дать почувствовать свою обиду.

— Ну, — сказал первый, — мы не хотим обижать тебя. Мы засмеялись потому, что немного выпили. — И он рассказал, какое дело привело их на судно, а я, слушая, выпучил глаза.

Откуда ехали эти два человека, вовлекшие меня в похищение “Эспаньолы”, я хорошенько не понял, — так был я возбужден и счастлив, что соленая сухая рыба дядюшки Гро пропала в цветном тумане истинного, неожиданного похождения. Одним словом, они ехали, но опоздали на поезд. Опоздав на поезд, опоздали благодаря этому на пароход “Стим”, единственное судно, обходящее раз в день берега обоих полуостровов, обращенных друг к другу остриями своими; “Стим” уходит в четыре, вьется среди лагун и возвращается утром. Между тем неотложное дело требует их на мыс Гардена или, как мы назвали его, “Троячка” — по образу трех скал, стоящих в воде у берега.

— Сухопутная дорога, — сказал старший, которого звали Дюрок, — отнимает два дня, ветер для лодки силен, а быть нам надо к утру. Скажу прямо, чем раньше, тем лучше… и ты повезешь нас на мыс Гардена, если хочешь заработать, — сколько ты хочешь получить, Санди?

— Так вам надо поговорить со шкипером, — сказал я и вызвался сходить в трактир, но Дюрок, двинув бровью, вынул бумажник, положил его на колено и звякнул двумя столбиками золотых монет. Когда он их развернул, в его ладонь пролилась блестящая струя, и он стал играть ею, подбрасывать, говоря в такт этому волшебному звону.

— Вот твой заработок сегодняшней ночи, — сказал он, — здесь тридцать пять золотых. Я и мой друг Эстамп знаем руль и паруса и весь берег внутри залива, ты ничем не рискуешь. Напротив, дядя Гро объявит тебя героем и гением, когда с помощью людей, которых мы тебе дадим, вернешься ты завтра утром и предложишь ему вот этот банковый билет. Тогда вместо одной галоши у него будут две. Что касается этого Гро, мы, откровенно говоря, рады, что его нет. Он будет крепко скрести бороду, потом скажет, что ему надо пойти посоветоваться с приятелями. Потом он пошлет тебя за выпивкой “спрыснуть” отплытие и напьется, и надо будет уговаривать его оторваться от стула — стать к рулю. Вообще, будет так ловко с ним, как, надев на ноги мешок, танцевать.

— Разве вы его знаете? — изумленно спросил я, потому что в эту минуту дядя Гро как бы побыл с нами.

— О нет! — сказал Эстамп. — Но мы… гм… слышали о нем. Итак, Санди, плывем.

— Плывем… О рай земной! — Ничего худого не чувствовал я сердцем в словах этих людей, но видел, что забота и горячность грызут их. Мой дух напоминал трамбовку во время ее работы. Предложение заняло дух и ослепило меня. Я вдруг согрелся. Если бы я мог, я предложил бы этим людям стакан грога и сигару. Я решился без оговорок, искренно и со всем согласясь, так как все было правда и Гро сам вымолил бы этот билет, если бы был тут.

— В таком случае”. Вы, конечно, знаете… Вы не подведете меня, — пробормотал я.

Все переменилось: дождь стал шутлив, ветер игрив, сам мрак, булькая водой, говорил “да”. Я

отвел пассажиров в шкиперскую каюту и, торопясь, чтобы не застиг и не задержал Гро, развязал паруса, — два косых паруса с подъемной реей, снял швартовы, поставил кливер, и, когда Дюрок повернул руль, “Эспаньола” отошла от набережной, причем никто этого не заметил.

Мы вышли из гавани на крепком ветре, с хорошей килевой качкой, и как повернули за мыс, у руля стал Эстамп, а я и Дюрок очутились в каюте, и я воззрился на этого человека, только теперь ясно представив, как чувствует себя дядя Гро, если он вернулся с братом из трактира. Что он подумает обо мне, я не смел даже представить, так как его мозг, верно, полон был кулаков и ножей, но я отчетливо видел, как он говорит брату: “То ли это место или нет? Не пойму”.

— Верно, то, — должен сказать брат, — это то самое место и есть, — вот тумба, а вот свороченная плита; рядом стоит “Мелузина”… да и вообще…

Тут я увидел самого себя с рукой Гро, вцепившейся в мои волосы. Несмотря на отделяющее меня от беды расстояние, впечатление предстало столь грозным, что, поспешно смигнув, я стал рассматривать Дюрока, чтобы не удручаться.

Он сидел боком на стуле, свесив правую руку через его спинку, а левой придерживая сползший плащ. В этой же левой руке его дымилась особенная плоская папироса с золотом на том конце, который кладут в рот, и ее дым, задевая мое лицо, пахнул, как хорошая помада. Его бархатная куртка была расстегнута у самого горла, обнажая белый треугольник сорочки, одна нога отставлена далеко, другая — под стулом, а лицо думало, смотря мимо меня; в этой позе заполнил он собой всю маленькую каюту. Желая быть на своем месте, я открыл шкафчик дяди Гро согнутым гвоздем, как делал это всегда, если мне не хватало чего-нибудь по кухонной части (затем запирал), и поставил тарелку с яблоками, а также синий графин, до половины налитый водкой, и вытер пальцем стаканы.

— Клянусь брамселем, — сказал я, — славная водка! Не пожелаете ли вы и товарищ ваш выпить со мной?

— Что ж, это дело! — сказал, выходя из задумчивости, Дюрок. Заднее окно каюты было открыто. — Эстамп, не принести ли вам стакан водки?

— Отлично, дайте, — донесся ответ. — Я думаю, не опоздаем ли мы?

— Л я хочу и надеюсь, чтобы все оказалось ложной тревогой, — крикнул, полуобернувшись, Дюрок. — Миновали ли мы Флиренский маяк?

— Маяк виден справа, проходим под бейдевинд. Дюрок вышел со стаканом и, возвратясь, сказал: — Теперь выпьем с тобой, Санди. Ты, я вижу, малый не трус.

— В моей семье не было трусов, — сказал я с скромной гордостью. На самом деле, никакой семьи у меня не было. — Море и ветер — вот что люблю я!

Казалось, мой ответ удивил его, он посмотрел на меня сочувственно, словно я нашел и поднес потерянную им вещь.

— Ты, Санди, или большой плут, или странный характер, — сказал он, подавая мне папиросу, — знаешь ли ты, что я тоже люблю море и ветер?

— Вы должны любить, — ответил я.

— Почему?

— У вас такой вид.

— Никогда не суди по наружности, — сказал, улыбаясь, Дюрок. — Но оставим это. Знаешь ли ты, пылкая голова, куда мы плывем?

Я как мог взросло покачал головой и ногой.

— У мыса Гардена стоит дом моего друга Ганувера. По наружному фасаду в нем сто шестьдесят окон, если не больше. Дом в три этажа. Он велик, друг Санди, очень велик. И там множество потайных ходов, есть скрытые помещения редкой красоты, множество затейливых неожиданностей. Старинные волшебники покраснели бы от стыда, что так мало придумали в свое время.

Я выразил надежду, что увижу столь чудесные вещи.

— Ну, это как сказать, — ответил Дюрок рассеянно. — Боюсь, что нам будет не до тебя. — Он повернулся к окну и крикнул: — Иду вас сменить!

Он встал. Стоя, он выпил еще один стакан, потом, поправив и застегнув плащ, шагнул в тьму. Тотчас пришел Эстамп, сел на покинутый Дюроком стул и, потирая закоченевшие руки, сказал: — Третья смена будет твоя. Ну, что же ты сделаешь на свои деньги?

В ту минуту я сидел, блаженно очумев от загадочного дворца, и вопрос Эстампа что-то у меня отнял. Не иначе как я уже связывал свое будущее с целью прибытия. Вихрь мечты!

— Что я сделаю? — переспросил я. — Пожалуй, я куплю рыбачий баркас. Многие рыбаки живут своим ремеслом.

— Вот как?! — сказал Эстамп. — А я думал, что ты подаришь что-нибудь своей

душеньке.

Я пробормотал что-то, не желая признаться, что моя душенька — вырезанная из журнала женская голова, страшно пленившая меня, — лежит на дне моего сундучка.

Эстамп выпил, стал рассеянно и нетерпеливо оглядываться. Время от времени он спрашивал, куда ходит “Эспаньола”, сколько берет груза, часто ли меня лупит дядя Гро и тому подобные пустяки. Видно было, что он скучает и грязненькая, тесная, как курятник, каюта ему противна. Он был совсем не похож на своего приятеля, задумчивого, снисходительного Дюрока, в присутствии которого эта же вонючая каюта казалась блестящей каютой океанского парохода. Этот нервный молодой человек стал мне еще меньше нравиться, когда назвал меня, может быть, по рассеянности, “Томми”, — и я басом поправил его, сказав: — Санди, Санди мое имя, клянусь Лукрецией!

Я вычитал, не помню где, это слово, непогрешимо веря, что оно означает неизвестный остров. Захохотав, Эстамп схватил меня за ухо и вскричал: “Каково! Ее зовут Лукрецией, ах ты, волокита! Дюрок, слышите? — закричал он в окно. — Подругу Санди зовут Лукреция!”

Лишь впоследствии я узнал, как этот насмешливый, поверхностный человек отважен и добр, — но в этот момент я ненавидел его наглые усики.

— Не дразните мальчика, Эстамп, — ответил Дюрок.

Новое унижение! — от человека, которого я уже сделал своим кумиром. Я вздрогнул, обида стянула мое лицо, и, заметив, что я упал духом, Эстамп вскочил, сел рядом со мной и схватил меня за руку, но в этот момент палуба поддала вверх, и он растянулся на полу. Я помог ему встать, внутренне торжествуя, но он выдернул свою руку из моей и живо вскочил сам, сильно покраснев, отчего я понял, что он самолюбив, как кошка. Некоторое время он молча и надувшись смотрел на меня, потом развеселился и продолжал свою болтовню.

В это время Дюрок прокричал: “Поворот!”. Мы выскочили и перенесли паруса к левому борту. Так как мы теперь были под берегом, ветер дул слабее, но все же мы пошли с сильным боковым креном, иногда с всплесками волны на борту. Здесь пришло мое время держать руль, и Дюрок накинул на мои плечи свой плащ, хотя я совершенно не чувствовал холода. “Так держать”, — сказал Дюрок, указывая румб, и я молодцевато ответил: “Есть так держать!”

Теперь оба они были в каюте, и я сквозь ветер слышал кое-что из их негромкого разговора. Как сон он запомнился мной. Речь шла об опасности, потере, опасениях, чьей-то боли, болезни; о том, что “надо точно узнать”. Я должен был крепко держать румпель и стойко держаться на ногах сам, так как волнение метало “Эспаньолу”, как качель, поэтому за время вахты своей я думал больше удержать курс, чем что другое. Но я по-прежнему торопился доплыть, чтобы наконец узнать, с кем имею дело и для чего. Если бы я мог, я потащил бы “Эспаньолу” бегом, держа веревку в зубах.

Недолго побыв в каюте, Дюрок вышел, огонь его папиросы направился ко мне, и скоро я различил лицо, склонившееся над компасом.

— Ну что, — сказал он, хлопая меня по плечу, — вот мы подплываем. Смотри!

Слева, в тьме, стояла золотая сеть далеких огней.

— Так это и есть тот дом? — спросил я.

— Да. Ты никогда не бывал здесь?

— Нет.

— Ну, тебе есть что посмотреть.

Около получаса мы провели, обходя камни “Троячки”. За береговым выступом набралось едва ветра, чтобы идти к небольшой бухте, и, когда это было наконец сделано, я увидел, что мы находимся у склона садов или рощ, расступившихся вокруг черной, огромной массы, неправильно помеченной огнями в различных частях. Был небольшой мол, по одну сторону его покачивались, как я рассмотрел, яхты.

Дюрок выстрелил, и немного спустя явился человек, ловко поймав причал, брошенный мной. Вдруг разлетелся свет, — вспыхнул на конце мола яркий фонарь, и я увидел широкие ступени, опускающиеся к воде, яснее различил рощи.

Тем временем “Эспаньола” ошвартовалась, и я опустил паруса. Я очень устал, но меня не клонило в сон; напротив, — резко, болезненно-весело и необъятно чувствовал я себя в этом неизвестном углу.

— Что, Ганувер? — спросил, прыгая на мол, Дюрок у человека, нас встретившего. — Вы нас узнали? Надеюсь. Идемте, Эстамп. Иди с нами и ты, Санди, ничего не случится с твоим суденышком. Возьми деньги, а вы, Том, проводите молодого человека обогреться и устройте его всесторонне, затем вам предстоит путешествие. — И он объяснил, куда отвести судно. — Пока прощай, Санди! Вы готовы, Эстамп? Ну, тронемся, и дай бог, чтобы все было благополучно.

Сказав так, он соединился с Эстампом, и они, сойдя на землю, исчезли влево, а я поднял глаза на Тома и увидел косматое лицо с огромной звериной пастью, смотревшее на меня с двойной высоты моего роста, склонив огромную голову. Он подбоченился. Его плечи закрыли горизонт. Казалось, он рухнет и раздавит меня.

Из его рта, ворочавшего, как жернов соломинку, пылающую искрами трубку, изошел мягкий, приятный голосок, подобный струйке воды.

— Ты капитан, что ли? — сказал Том, поворачивая меня к огню, чтобы рассмотреть. — У, какой синий!

Замерз?

— Черт побери! — сказал я. — И замерз, и голова идет кругом. Если вас зовут Том, не можете ли вы объяснить всю эту историю?

— Это какую же такую историю?

Том говорил медленно, как тихий, рассудительный младенец, и потому было чрезвычайно противно ждать, когда он договорит до конца.

— Какую же это такую историю? Пойдем-ка, поужинаем. Вот это будет, думаю я, самая хорошая история для тебя.

С этим его рот захлопнулся — словно упал трап. Он повернул и пошел на берег, сделав мне рукой знак следовать за ним.

От берега по ступеням, расположенным полукругом, мы поднялись в огромную прямую аллею и зашагали меж рядов гигантских деревьев. Иногда слева и справа блестел свет, показывая в глубине спутанных растений колонны или угол фасада с массивным узором карнизов. Впереди чернел холм, и, когда мы подошли ближе, он оказался группой человеческих мраморных фигур, сплетенных над колоссальной чашей в белеющую, как снег, группу. Это был фонтан. Аллея поднялась ступенями вверх; еще ступени — мы прошли дальше — указывали поворот влево, я поднялся и прошел арку внутреннего двора. В этом большом пространстве, со всех сторон и над головой ярко озаренном большими окнами, а также висячими фонарями, увидел я в первом этаже вторую арку поменьше, но достаточную, чтобы пропустить воз. За ней было светло, как днем; три двери с разных сторон, открытые настежь, показывали ряд коридоров и ламп, горевших под потолком. Заведя меня в угол, где, казалось, некуда уже идти дальше, Том открыл дверь, и я увидел множество людей вокруг очагов и плит; пар и жар, хохот и суматоха, грохот и крики, звон посуды и плеск воды; здесь были мужчины, подростки, женщины, и я как будто попал на шумную площадь.

— Постой-ка, — сказал Том, — я поговорю тут с одним человеком, — и отошел, затерявшись. Тотчас я почувствовал, что мешаю, — меня толкнули в плечо, задели по ногам, бесцеремонная рука заставила отступить в сторону, а тут женщина стукнула по локтю тазом, и уже несколько человек крикнули ворчливо-поспешно, чтобы я убрался с дороги. Я тронулся в сторону и столкнулся с поваром, несшимся с ножом в руке, сверкая глазами, как сумасшедший. Едва успел он меня выругать, как толстоногая девчонка, спеша, растянулась на скользкой плите с корзиной, и прибой миндаля подлетел к моим ногам; в то же время трое, волоча огромную рыбу, отпихнули меня в одну сторону, повара — в другую и пробороздили миндаль рыбьим хвостом. Было весело, одним словом. Я. сказочный богач, стоял, зажав в кармане горсть золотых и беспомощно оглядываясь, пока наконец в случайном разрыве этих спешащих, бегающих, орущих людей не улучил момента отбежать к далекой стене, где сел на табурет и где меня разыскал Том.

— Пойдем-ка, — сказал он, заметно весело вытирая рот. На этот раз идти было недалеко; мы пересекли угол кухни и через две двери поднялись в белый коридор, где в широком

помещении без дверей стояло несколько коек и простых столов.

— Я думаю, нам не помешают, — сказал Том и, вытащив из-за пазухи темную бутылку, степенно опрокинул ее в рот так, что булькнуло раза три. — Ну-ка выпей, а там принесут, что тебе надо, — и Том передал мне бутылку.

Действительно, я в этом нуждался. За два часа произошло столько событий, а главное, — так было все это непонятно, что мои нервы упали. Я не был собой; вернее, одновременно я был в гавани Лисса и здесь, так что должен был отделить прошлое от настоящего вразумляющим глотком вина, подобного которому не пробовал никогда. В это время пришел угловатый человек с сдавленным лицом и вздернутым носом, в переднике. Он положил на кровать пачку вещей и спросил Тома: — Ему, что ли?

Том не удостоил его ответом, а взяв платье, передал мне, сказав, чтобы я одевался.

— Ты в лохмотьях, — говорил он, — вот мы тебя нарядим. Хорошенький ты сделал рейс, — прибавил Том, видя, что я опустил на тюфяк золото, которое мне было теперь некуда сунуть на себе. — Прими же приличный вид, поужинай и ложись спать, а утром можешь отправляться куда хочешь.

Заключение этой речи восстановило меня в правах, а то я уже начинал думать, что из меня будут, как из глины, лепить, что им вздумается. Оба мои пестуна сели и стали смотреть, как я обнажаюсь. Растерянный, я забыл о подлой татуировке и, сняв рубашку, только успел заметить, что Том, согнув голову в бок, трудится над чем-то очень внимательно.

Взглянув на мою голую руку, он провел по ней пальцем.

— Ты все знаешь? — пробормотал он, озадаченный, и стал хохотать, бесстыдно воззрившись мне в лицо. — Санди! — кричал он, тряся злополучную мою руку. — А знаешь ли ты, что ты парень с гвоздем?! Вот ловко! Джон, взгляни сюда, тут ведь написано бесстыднейшим образом: “Я все знаю”!

Я стоял, прижимая к груди рубашку, полуголый, и был так взбешен, что крики и хохот пестунов моих привлекли кучу народа и давно уже шли взаимные, горячие объяснения — “в чем дело”, — а я только поворачивался, взглядом разя насмешников: человек десять набилось в комнату. Стоял гам: “Вот этот! Все знает! Покажите-ка ваш диплом, молодой человек”. — “Как варят соус тортю?” — “Эй, эй, что у меня в руке?” — “Слушай, моряк, любит ли Тильда Джона?” — “Ваше образование, объясните течение звезд и прочие планеты!” — Наконец, какая-то замызганная девчонка с черным, как у воробья, носом, положила меня на обе лопатки, пропищав: — “Папочка, не знаешь ты, сколько трижды три?”

Я подвержен гневу, и если гнев взорвал мою голову, не много надо, чтобы, забыв все, я рванулся в кипящей тьме неистового порыва дробить и бить что попало. Ярость моя была ужасна. Заметив это, насмешники расступились, кто-то сказал: “Как побледнел, бедняжка, сейчас видно, что над чем-то задумался”. Мир посинел для меня, и, не зная, чем запустить в толпу, я схватил первое попавшееся — горсть золота, швырнув ее с такой силой, что половина людей выбежала, хохоча до упаду. Уже я лез на охватившего мои руки Тома, как вдруг стихло: вошел человек лет двадцати двух, худой и прямой, очень меланхоличный и прекрасно одетый.

— Кто бросил деньги? — сухо спросил он. Все умолкли, задние прыскали, а Том, смутясь было, но тотчас развеселясь, рассказал, какая была история.

— В самом деле, есть у него на руке эти слова, — сказал Том, — покажи руку, Санди, что там, ведь с тобой просто шутили.

Вошедший был библиотекарь владельца дома Поп, о чем я узнал после.

— Соберите ему деньги, — сказал Поп, потом подошел ко мне и заинтересованно осмотрел мою руку. — Это вы написали сами?

— Я был бы последний дурак, — сказал я. — Надо мной издевались, над пьяным, напоили меня.

— Так… а все-таки — может быть, хорошо все знать. — Поп, улыбаясь, смотрел, как я гневно одеваюсь, как тороплюсь обуться. Только теперь немного успокаиваясь, я заметил, что эти вещи — куртка, брюки, сапоги и белье — были, хотя скромного покроя, но прекрасного качества, и, одеваясь, я чувствовал себя, как рука в теплой мыльной пене.

— Когда вы поужинаете, — сказал Поп, — пусть Том пришлет Паркера, а Паркер пусть отведет вас наверх. Вас хочет видеть Ганувер, хозяин. Вы моряк и, должно быть, храбрый человек, — прибавил он, подавая мне собранные мои деньги.

— При случае в грязь лицом не ударю, — сказал я, упрятывая свое богатство.

Поп посмотрел на меня, я — на него. Что-то мелькнуло в его глазах, — искра неизвестных соображений. “Это хорошо, да…” — сказал он и, странно взглянув, ушел. Зрители уже удалились; тогда подвели меня за рукав к столу, Том показал на поданный ужин. Кушанья были в тарелках, но вкусно ли, — я не понимал, хотя съел все. Есть не торопился. Том вышел, и, оставшись один, я пытался вместе с едой усвоить происходящее. Иногда волнение поднималось с такой силой, что ложка не попадала в рот. В какую же я попал историю, — и что мне предстоит дальше? Или был прав бродяга Боб Перкантри, который говорил, что “если случай поддел тебя на вилку, знай, что перелетишь на другую”.

Когда я размышлял об этом, во мне мелькнули чувство сопротивления и вопрос: “А что, если, поужинав, я надену шапку, чинно поблагодарю всех и гордо, таинственно отказываясь от следующих, видимо, готовых подхватить “вилок”, выйду и вернусь на “Эспаньолу”, где на всю жизнь случай этот так и останется “случаем”, о котором можно вспоминать целую жизнь, делая какие угодно предположения относительно “могшего быть” и “неразъясненного сущего”. Как я представил это, у меня словно выхватили из рук книгу, заставившую сердце стучать, на интереснейшем месте. Я почувствовал сильную тоску и, действительно, случись так, что мне велели бы отправляться домой, я, вероятно, лег бы на пол и стал колотить ногами в совершенном отчаянии.

Однако ничего подобного пока мне не предстояло, — напротив, случай, или как там ни называть это, продолжал вить свой вспыхивающий шнур, складывая его затейливой петлей под моими ногами. За стеной, — а, как я сказал, помещение было без двери, — ее заменял сводчатый широкий проход, — несколько человек, остановясь или сойдясь случайно, вели разговор, непонятный, но интересный, — вернее, он был понятен, но я не знал, о ком речь. Слова были такие: — Ну что, опять, говорят, свалился?!

— Было дело, попили. Споят его, как пить дать, или сам сопьется.

— Да уж спился.

— Ему пить нельзя; а все пьют, такая компания.

— А эта шельма Дигэ чего смотрит?

— А ей-то что?!

— Ну, как что! Говорят, они в большой дружбе или просто амуры, а может быть, он на ней женится.

— Я слышал, как она говорит: “Сердце у вас здоровое; вы, говорит, очень здоровый человек, не то, что я”.

— Значит — пей, значит, можно пить, а всем известно, что доктор сказал: “Вам вино я воспрещаю безусловно. Что хотите, хоть кофе, но от вина вы можете помереть, имея сердце с пороком”.

— Сердце с пороком, а завтра соберется двести человек, если не больше. Заказ у нас на двести. Как тут не пить?

— Будь у меня такой домина, я пил бы на радостях.

— А что? Видел ты что-нибудь?

— Разве увидишь? По-моему, болтовня, один сплошной слух. Никто ничего не видал. Есть, правда, некоторые комнаты закрытые, но пройдешь все этажи, — нигде ничего нет.

— Да, поэтому это есть секрет.

— А зачем секрет?

— Дурак! Завтра все будет открыто, понимаешь? Торжество будет, торжественно это надо сделать, а не то что кукиш в кармане. Чтобы было согласное впечатление. Я кое-что слышал, да не тебе скажу.

— Стану ли я еще тебя спрашивать?!

Они поругались и разошлись. Только утихло, как послышался голос Тома; ему отвечал серьезный голос старика. Том сказал: — Все здесь очень любопытны, а я, пожалуй, любопытнее всех. Что за беда? Говорят, вы думали, что вас никто не видит. А видел — и он клянется — Кваль; Кваль клянется, что с вами шла из-за угла, где стеклянная лестница, молоденькая такая уховертка, и лицо покрыла платком.

Голос, в котором было больше мягкости и терпения, чем досады, ответил: — Оставьте это, Том, прошу вас. Мне ли, старику, заводить шашни. Кваль любит выдумывать.

Тут они вышли и подошли ко мне, — спутник подошел ближе, чем Том. Тот остановился у входа, сказал: — Да, не узнать парня. И лицо его стало другое, как поел. Видели бы вы, как он потемнел, когда прочитали его скоропечатную афишу.

Паркер был лакей, — я видел такую одежду, как у него, на картинах. Седой, остриженный, слегка лысый, плотный человек этот в белых чулках, синем фраке и открытом жилете носил круглые очки, слегка прищуривая глаза, когда смотрел поверх стекол. Умные морщинистые черты бодрой старухи, аккуратный подбородок и мелькающее сквозь привычную работу лица внутреннее спокойствие заставили меня думать, не есть ли старик главный управляющий дома, о чем я его и спросил. Он ответил: — Кажется, вас зовут Сандерс. Идемте, Санди, и постарайтесь не производить меня в высшую должность, пока вы здесь не хозяин, а гость.

Я осведомился, не обидел ли я его чем-нибудь.

— Нет, — сказал он, — но я не в духе и буду придираться ко всему, что вы мне скажете. Поэтому вам лучше молчать и не отставать от меня.

Действительно, он шел так скоро, хотя мелким шагом, что я следовал за ним с напряжением.

Мы прошли коридор до половины и повернули в проход, где за стеной, помеченная линией круглых световых отверстий, была винтовая лестница. Взбираясь по ней, Паркер дышал

хрипло, но и часто, однако быстроты не убавил. Он открыл дверь в глубокой каменной нише, и мы очутились среди пространств, сошедших, казалось, из стран великолепия воедино, — среди пересечения линий света и глубины, восставших из неожиданности. Я испытывал, хотя тогда не понимал этого, как может быть тронуто чувство формы, вызывая работу сильных впечатлений пространства и обстановки, где невидимые руки поднимают все выше и озареннее само впечатление. Это впечатление внезапной прекрасной формы было остро и ново. Все мои мысли выскочили, став тем, что я видел вокруг. Я не подозревал, что линии, в соединении с цветом и светом, могут улыбаться, останавливать, задержать вздох, изменить настроение, что они могут произвести помрачение внимания и странную неуверенность членов.

Иногда я замечал огромный венок мраморного камина, воздушную даль картины или драгоценную мебель в тени китайских чудовищ. Видя все, я не улавливал почти ничего. Я не помнил, как мы поворачивали, где шли. Взглянув под ноги, я увидел мраморную резьбу лент и цветов. Наконец Паркер остановился, расправил плечи и, подав грудь вперед, ввел меня за пределы огромной двери. Он сказал: — Санди, которого вы желали видеть, — вот он, — затем исчез. Я обернулся — его не было.

— Подойдите-ка сюда, Санди, — устало сказал кто-то. Я огляделся, заметив в туманно-синем, озаренном сверху пространстве, полном зеркал, блеска и мебели, несколько человек, расположившихся по диванам и креслам с лицами, повернутыми ко мне. Они были разбросаны, образуя неправильный круг. Вглядываясь, чтобы угадать, кто сказал “подойдите”, я обрадовался, увидев Дюрока с Эстампом; они стояли, куря, подле камина и делали мне знаки приблизиться. Справа в большой качалке полулежал человек лет двадцати восьми, с бледным, приятным лицом, завернутый в плед, с повязкой на голове. Слева сидела женщина. Около нее стоял Поп. Я лишь мельком взглянул на женщину, так как сразу увидел, что она очень красива, и оттого смутился. Я никогда не помнил, как женщина одета, кто бы она ни была, так и теперь мог лишь заметить в ее темных волосах белые искры и то, что она охвачена прекрасным синим рисунком хрупкого очертания. Когда я отвернулся, я снова увидел ее лицо про себя, — немного длинное, с ярким маленьким ртом и большими глазами, смотрящими как будто в тени.

— Ну, скажи, что ты сделал с моими друзьями? — произнес закутанный человек, морщась и потирая висок. — Они, как приехали на твоем корабле, так не перестают восхищаться твоей особой. Меня зовут Ганувер; садись, Санди, ко мне поближе.

Он указал кресло, в которое я и сел, — не сразу, так как оно все поддавалось и поддавалось подо мной, но наконец укрепился.

— Итак, — сказал Ганувер, от которого слегка пахло вином, — ты любишь “море и ветер”! Я молчал.

— Не правда ли, Дигэ, какая сила в этих простых словах?! — сказал Ганувер молодой даме. — Они встречаются, как две волны.

Тут я заметил остальных. Это были двое немолодых людей. Один — нервный человек с черными баками, в пенсне с широким шнурком. Он смотрел выпукло, как кукла, не мигая и как-то странно дергая левой щекой. Его белое лицо в черных баках, выбритые губы, имевшие слегка надутый вид, и орлиный нос, казалось, подсмеиваются. Он сидел, согнув ногу треугольником на колене другой, придерживая верхнее колено прекрасными матовыми руками и рассматривая меня с легким сопением. Второй был старше, плотен, брит и в очках.

— Волны и эскадрильи! — громко сказал первый из них, не изменяя выражения лица и воззрясь на меня, рокочущим басом. — Бури и шквалы, брасы и контрабасы, тучи и циклоны; цейлоны, абордаж, бриз, муссон, Смит и Вессон!

Дама рассмеялась. Улыбнулись все остальные, только Дюрок остался, — с несколько мрачным лицом, — безучастным к этой шутке и, видя, что я вспыхнул, перешел ко мне, сев между мною и Ганувером.

— Что ж, — сказал он, кладя мне на плечо руку, — Санди служит своему призванию, как может. Мы еще поплывем, а?

— Далеко поплывем, — сказал я, обрадованный, что у меня есть защитник.

Все снова стали смеяться, затем между ними произошел разговор, в котором я ничего не понял, но чувствовал, что говорят обо мне, — легонько подсмеиваясь или серьезно — я не разобрал. Лишь некоторые слова, вроде “приятное исключение”, "колоритная фигура”, “стиль”, запомнились мне в таком странном искажении смысла, что я отнес их к подробностям моего путешествия с Дюроком и Эстампом.

Эстамп обратился ко мне, сказав: — А помнишь, как ты меня напоил?

— Разве вы напились?

— Ну как же, я упал и здорово стукнулся головой о скамейку. Признавайся, — “огненная вода”, “клянусь Лукрецией!”, — вскричал он, — честное слово, он поклялся Лукрецией! К тому же, он “все знает” — честное слово!

Этот предательский намек вывел меня из глупого оцепенения, в котором я находился; я подметил каверзную улыбку Попа, поняв, что это он рассказал о моей руке, и меня передернуло.

Следует упомянуть, что к этому моменту я был чрезмерно возбужден резкой переменой обстановки и обстоятельств, неизвестностью, что за люди вокруг и что будет со мной дальше, а также наивной, но твердой уверенностью, что мне предстоит сделать нечто особое именно в стенах этого дома, иначе я не восседал бы в таком блестящем обществе. Если мне не говорят, что от меня требуется, — тем хуже для них: опаздывая, они, быть может, рискуют. Я был высокого мнения о своих силах. Уже я рассматривал себя, как часть некой истории, концы которой запрятаны. Поэтому, не переводя духа, сдавленным голосом, настолько выразительным, что каждый намек достигал цели, я встал и отрапортовал: — Если я что-нибудь “знаю”, так это следующее. Приметьте. Я знаю, что никогда не буду насмехаться над человеком, если он у меня в гостях и я перед тем делил с ним один кусок и один глоток. А главное, — здесь я разорвал Попа глазами на мелкие куски, как бумажку, — я знаю, что никогда не выболтаю, если что-нибудь увижу случайно, пока не справлюсь, приятно ли это будет кое-кому.

Сказав так, я сел. Молодая дама, пристально посмотрев на меня, пожала плечами. Все смотрели на меня.

— Он мне нравится, — сказал Ганувер, — однако не надо ссориться, Санди.

— Посмотри на меня, — сурово сказал Дюрок; я посмотрел, увидел совершенное неодобрение и был рад провалиться сквозь землю. — С тобой шутили и ничего более. Пойми это!

Я отвернулся, взглянул на Эстампа, затем на Попа. Эстамп, нисколько не обиженный, с любопытством смотрел на меня, потом, щелкнув пальцами, сказал: “Ба! и — и заговорил с неизвестным в очках. Поп, выждав, когда утих смешной спор, подошел ко мне.

— Экий вы горячий, Санди, — сказал он. — Ну, здесь нет ничего особенного, не волнуйтесь, только впредь обдумывайте ваши слова. Я вам желаю добра.

За все это время мне, как птице на ветке, был чуть заметен в отношении всех здесь собравшихся некий, очень замедленно проскальзывающий между ними тон выражаемой лишь взглядами и движениями тайной зависимости, подобной ускользающей из рук паутине. Сказался ли это преждевременный прилив нервной силы, перешедшей с годами в способность верно угадывать отношение к себе впервые встречаемых людей, — но только я очень хорошо чувствовал, что Ганувер думает одинаково с молодой дамой, что Дюрок, Поп и Эстамп отделены от всех, кроме Ганувера, особым, неизвестным мне, настроением и что, с другой стороны, — дама, человек в пенсне и человек в очках ближе друг к другу, а первая группа идет отдаленным кругом к неизвестной цели, делая вид, что остается на месте. Мне знакомо преломление воспоминаний, — значительную часть этой нервной картины я приписываю развитию дальнейших событий, к которым я был причастен, но убежден, что те невидимые лучи

состояний отдельных людей и групп теперешнее ощущение хранит верно.

Я впал в мрачность от слов Попа; он уже отошел.

— С вами говорит Ганувер, — сказал Дюрок; встав, я подошел к качалке.

Теперь я лучше рассмотрел этого человека, с блестящими, черными глазами, рыжевато-курчавой головой и грустным лицом, на котором появилась редкой красоты тонкая и немного больная улыбка. Он всматривался так, как будто хотел порыться в моем мозгу, но, видимо, говоря со мной, думал о своем, очень, может быть, неотвязном и трудном, так как скоро перестал смотреть на меня, говоря с остановками: — Так вот, мы это дело обдумали и решили, если ты хочешь. Ступай к Попу, в библиотеку, там ты будешь разбирать… — Он не договорил, что разбирать. — Нравится он вам, Поп? Я знаю, что нравится. Если он немного скандалист, то это полбеды. Я сам был такой. Ну, иди. Не бери себе в поверенные вино, милый ди-Сантильяно. Шкиперу твоему послан приятный воздушный поцелуй; все в порядке.

Я тронулся, Ганувер улыбнулся, потом крепко сжал губы и вздохнул. Ко мне снова подошел Дюрок, желая что-то сказать, как раздался голос Дигэ:

— Этот молодой человек не в меру строптив. Я не знал, что она хотела сказать этим. Уходя с Попом, я отвесил общий поклон и, вспомнив, что ничего не сказал Гануверу, вернулся. Я сказал, стараясь не быть торжественным, но все же слова мои прозвучали, как команда в игре в солдатики.

— Позвольте принести вам искреннюю благодарность. Я очень рад работе, эта работа мне очень нравится. Будьте здоровы.

Затем я удалился, унося в глазах добродушный кивок Ганувера и думая о молодой даме с глазами в тени. Я мог бы теперь без всякого смущения смотреть в ее прихотливо-красивое лицо, имевшее выражение, как у человека, которому быстро и тайно шепчут на ухо.

IV

Мы перешли электрический луч, падавший сквозь высокую дверь на ковер неосвещенной залы, и, пройдя далее коридором, попали в библиотеку. С трудом удерживался я от желания идти на носках — так я казался сам себе громок и неуместен в стенах таинственного дворца. Нечего говорить, что я никогда не бывал не только в таких зданиях, хотя о них много читал, но не был даже в обыкновенной красиво обставленной квартире. Я шел разинув рот. Поп вежливо направлял меня, но, кроме “туда”, “сюда”, не говорил ничего. Очутившись в

библиотеке — круглой зале, яркой от света огней, в хрупком, как цветы, стекле, — мы стали друг к другу лицом и уставились смотреть, — каждый на новое для него существо. Поп был несколько в замешательстве, но привычка владеть собой скоро развязала ему язык.

— Вы отличились, — сказал он, — похитили судно; славная штука, честное слово!

— Едва ли я рисковал, — ответил я, — мой шкипер, дядюшка Гро, тоже, должно быть, не в накладе. А скажите, почему они так торопились?

— Есть причины! — Поп подвел меня к столу с книгами и журналами. — Не будем говорить сегодня о библиотеке, — продолжал он, когда я уселся. — Правда, что я за эти дни все запустил, — материал задержался, но нет времени. Знаете ли вы, что Дюрок и другие в восторге? Они находят вас „. вы… одним словом, вам повезло. Имели ли вы дело с книгами?

— Как же, — сказал я, радуясь, что могу, наконец, удивить этого изящного юношу. — Я читал много книг.

Возьмем, например, “Роб-Роя” или “Ужас таинственных гор”; потом “Всадник без головы”…

— Простите, — перебил он, — я заговорился, но должен идти обратно. Итак, Санди, завтра мы с вами приступим к делу, или, лучше, — послезавтра. А пока я вам покажу вашу комнату.

— Но где же я и что это за дом?

— Не бойтесь, вы в хороших руках, — сказал Поп. — Имя хозяина Эверест Ганувер, я — его главный поверенный в некоторых особых делах. Вы не подозреваете, каков этот дом.

— Может ли быть, — вскричал я, — что болтовня на “Мелузине” сущая правда?

Я рассказал Попу о вечернем разговоре матросов.

— Могу вас заверить, — сказал Поп, — что относительно Ганувера все это выдумка, но верно, что такого другого дома нет на земле. Впрочем, может быть, вы завтра увидите сами. Идемте, дорогой Санди, вы, конечно, привыкли ложиться рано и устали. Осваивайтесь с переменой судьбы.

“Творится невероятное”, — подумал я, идя за ним в коридор, примыкавший к библиотеке, где были две двери.

— Здесь помещаюсь я, — сказал Поп, указывая одну дверь, и, открыв другую, прибавил: — А вот ваша комната. Не робейте, Санди, мы все люди серьезные и никогда не шутим в делах, — сказал он, видя. что я, смущенный, отстал. — Вы ожидаете, может быть, что я введу вас в позолоченные чертоги (а я как раз так и думал)? Далеко нет. Хотя жить вам будет здесь хорошо.

Действительно, это была такая спокойная и большая комната, что я ухмыльнулся. Она не внушала того доверия, какое внушает настоящая ваша собственность, например, перочинный нож, но так приятно охватывала входящего. Пока что я чувствовал себя гостем этого отличного помещения с зеркалом, зеркальным шкапом, ковром и письменным столом, не говоря о другой мебели. Я шел за Попом с сердцебиением. Он толкнул дверь вправо, где в более узком пространстве находилась кровать и другие предметы роскошной жизни. Все это с изысканной чистотой и строгой приветливостью призывало меня бросить последний взгляд на оставляемого позади дядюшку Гро.

— Я думаю, вы устроитесь, — сказал Поп, оглядывая помещение. — Несколько тесновато, но рядом библиотека, где вы можете быть сколько хотите. Вы пошлете за своим чемоданом завтра.

— О да, — сказал я, нервно хихикнув. — Пожалуй, что так. И чемодан и все прочее.

— У вас много вещей? — благосклонно спросил он.

— Как же! — ответил я. — Одних чемоданов с воротничками и смокингами около пяти.

— Пять?.. — Он покраснел, отойдя к стене у стола, где висел шнур с ручкой, как у звонка. — Смотрите, Санди, как вам будет удобно есть и пить: если вы потянете шнур один раз, — по лифту, устроенному в стене, поднимется завтрак. Два раза — обед, три раза — ужин; чай, вино, кофе, папиросы вы можете получить когда угодно, пользуясь этим телефоном. — Он растолковал мне, как звонить в телефон, затем сказал в блестящую трубку: — Алло! Что? Ого, да, здесь новый жилец. — Поп обернулся ко мне. — Что вы желаете?

— Пока ничего, — сказал я с стесненным дыханием. — Как же едят в стене?

— Боже мой! — Он встрепенулся, увидев, что бронзовые часы письменного стола указывают 12. — Я должен идти. В стене не едят, конечно, но… но открывается люк, и вы берете. Это очень удобно, как для вас, так и для слуг… Решительно ухожу, Санди. Итак, вы — на месте, и я спокоен. До завтра.

Поп быстро вышел; еще более быстрыми услышал я в коридоре его шаги.

V

Итак, я остался один.

Было от чего сесть. Я сел на мягкий, предупредительно пружинистый стул; перевел дыхание. Потикиванье часов вело многозначительный разговор с тишиной.

Я сказал: “Так, здорово. Это называется влипнуть. Интересная история”. Обдумать что-нибудь стройно у меня не было сил. Едва появилась связная мысль, как ее честью просила выйти другая мысль. Все вместе напоминало кручение пальцами шерстяной нитки. Черт побери! — сказал я наконец, стараясь во что бы то ни стало овладеть собой, и встал, жаждя вызвать в душе солидную твердость. Получилась смятость и рыхлость. Я обошел комнату, механически отмечая: — Кресло, диван, стол, шкап, ковер, картина, шкап, зеркало, — Я заглянул в зеркало. Там металось подобие франтоватого красного мака с блаженно-перекошенными чертами лица. Они достаточно точно отражали мое состояние. Я обошел все помещение, снова заглянул в спальню, несколько раз подходил к двери и прислушивался, не идет ли кто-нибудь, с новым смятением моей душе. Но было тихо. Я еще не переживал такой тишины — отстоявшейся, равнодушной и утомительной. Чтобы как-нибудь перекинуть мост меж собой и новыми ощущениями, я вынул свое богатство, сосчитал монеты, — тридцать пять золотых монет, — но почувствовал себя уже совсем дико. Фантазия моя обострилась так, что я отчетливо видел сцены самого противоположного значения. Одно время я был потерянным наследником знатной фамилии, которому еще не находят почему-то удобным сообщить о его величии. Контрастом сей блистательной гипотезе явилось предположение некой мрачной затеи, и я не менее основательно убедил себя, что стоит заснуть, как кровать нырнет в потайной трап, где при свете факелов люди в масках приставят мне к горлу отравленные ножи. В то же время врожденная моя предусмотрительность, держа в уме все слышанные и замеченные обстоятельства, тянула к открытиям по пословице “куй железо, пока горячо”, Я вдруг утратил весь свой жизненный опыт, исполнившись новых чувств с крайне занимательными тенденциями, но вызванными все же бессознательной необходимостью действия в духе своего положения.

Слегка помешавшись, я вышел в библиотеку, где никого не было, и обошел ряды стоящих перпендикулярно к стенам шкапов. Время от времени я нажимал что-нибудь: дерево, медный гвоздь, резьбу украшений, холодея от мысли, что потайной трап окажется на том месте, где я стою. Вдруг я услышал шаги, голос женщины, сказавший: “Никого нет”, — и голос мужчины, подтвердивший это угрюмым мычанием. Я испугался — метнулся, прижавшись к стене между двух шкапов, где еще не был виден, но, если бы вошедшие сделали пять шагов в эту сторону, — новый помощник библиотекаря, Санди Пруэль, явился бы их взору, как в засаде. Я готов был скрыться в ореховую скорлупу, и мысль о шкапе, очень большом, с глухой дверью без стекол была при таком положении совершенно разумной. Дверца шкапа не была прикрыта совсем плотно, так что я оттащил ее ногтями, думая хотя стать за ее прикрытием, если шкап окажется полон. Шкап должен был быть полон, — в этом я давал себе судорожный отчет, и, однако, он оказался пуст, спасительно пуст. Его глубина была достаточной, чтобы стать рядом троим. Ключи висели внутри. Не касаясь их, чтобы не звякнуть, я притянул дверь за внутреннюю планку, отчего шкап моментально осветился, как телефонная будка. Но здесь не было телефона, не было ничего. Одна лакированная геометрическая пустота. Я не прикрыл двери плотно, опять-таки опасаясь шума, и стал, весь дрожа, прислушиваться. Все это произошло значительно быстрее, чем сказано, и, дико оглядываясь в своем убежище, я услышал разговор вошедших людей.

Женщина была Дигэ, — с другим голосом я никак не смешал бы ее замедленный голос особого оттенка, который бесполезно передавать, по его лишь ей присущей хладнокровной музыкальности. Кто мужчина — догадаться не составляло особого труда: мы не забываем голоса, язвившего нас. Итак, вошли Галуэй и Дигэ.

— Я хочу взять книгу, — сказала она подчеркнуто громко. Они переходили с места на место.

— Но здесь, действительно, нет никого, — проговорил Галуэй.

— Да. Так вот, — она словно продолжала оборванный разговор, — это непременно случится.

— Ого!

— Да. В бледных тонах. В виде паутинных душевных прикосновений. Негреющее осеннее солнце.

— Если это не самомнение.

— Я ошибаюсь?! Вспомни, мой милый, Ричарда Брюса. Это так естественно для него.

— Так. Дальше! — сказал Галуэй. — А обещание?

— Конечно. Я думаю, через нас. Но не говорите Томсону. — Она рассмеялась. Ее смех чем-то оскорбил меня. — Его выгоднее для будущего держать на втором плане. Мы выделим его при удобном случае. Наконец просто откажемся от него, так как положение перешло к нам. Дай мне какую-нибудь книгу… на всякий случай… Прелестное издание, — продолжала Дигэ тем же намеренно громким голосом, но, расхвалив книгу, перешла опять в сдержанный тон: — Мне показалось, должно быть. Ты уверен, что не подслушивают? Так вот, меня беспокоят… эти… эти.

— Кажется, старые друзья; кто-то кому-то спас жизнь или в этом роде, — сказал Галуэй. — Что могут они сделать, во всяком случае?!

— Ничего, но это сбивает. Далее я не расслышал.

— Заметь. Однако пойдем, потому что твоя новость требует размышления. Игра стоит свеч. Тебе нравится Ганувер?

— Идиот!

— Я задал неделовой вопрос, только и всего.

— Если хочешь знать. Даже скажу больше, — не будь я так хорошо вышколена и выветрена, в складках сердца где-нибудь мог бы завестись этот самый микроб, — страстишка. Но бедняга слишком… последнее перевешивает. Втюриться совершенно невыгодно.

— В таком случае, — заметил Галуэй, — я спокоен за исход предприятия. Эти оригинальные мысли придают твоему отношению необходимую убедительность, совершенствуют ложь. Что же мы будем говорить Томсону?

— То же, что и раньше. Вся надежда на тебя, дядюшка “Вас-ис-дас”. Только он ничего не сделает. Этот кинематографический дом выстроен так конспиративно, как не снилось никаким Медичи.

— Он влопается.

— Не влопается. За это-то я ручаюсь. Его ум стоит моего, — по своей линии.

— Идем. Что ты взяла?

— Я поищу, нет ли… Замечательно овладеваешь собой, читая такие книги.

— Ангел мой, сумасшедший Фридрих никогда не написал бы своих книг, если бы прочел только тебя.

Дигэ перешла часть пространства, направляясь в мою сторону. Ее быстрые шаги, стихнув, вдруг зазвучали, как показалось мне, почти у самого шкапа. Каким ни был я новичком в мире людей, подобных жителям этого дома, но тонкий мой слух, обостренный волнениями этого дня, фотографически точно отметил сказанные слова и вылущил из непонятного все подозрительные места. Легко представить, что могло произойти в случае открытия меня здесь. Как мог осторожно и быстро, я совсем прикрыл щели двери и прижался в угол. Но шаги остановились на другом месте. Не желая испытать снова такой страх, я бросился шарить вокруг, ища выхода — куда! — хотя бы в стену. И тут я заметил справа от себя, в той стороне, где находилась стена, узкую металлическую защелку неизвестного назначения. Я нажал ее вниз, вверх, вправо, в отчаянии, с смелой надеждой, что пространство расширится, — безрезультатно. Наконец, я повернул ее влево. И произошло, — ну, не прав ли я был в самых сумасбродных соображениях своих? — произошло то, что должно было произойти здесь. Стена шкапа бесшумно отступила назад, напугав меня меньше, однако, чем только что слышанный разговор, и я скользнул на блеск узкого, длинного, как квартал, коридора, озаренного электричеством, где было, по крайней мере, куда бежать. С неистовым восторгом повел я обеими руками тяжелый вырез стены на прежнее место, но он пошел, как на роликах, и так как он был размером точно в разрез коридора, то не осталось никакой щели. Сознательно я прикрыл его так, чтобы не открыть даже мне самому. Ход исчез. Меж мной и библиотекой стояла глухая стена.

VI

Такое сожжение кораблей немедленно отозвалось в сердце и уме, — сердце перевернулось, и я увидел, что поступил опрометчиво. Пробовать снова открыть стену библиотеки не было никаких оснований, — перед глазами моими был тупик, выложенный квадратным камнем, который не понимал, что такое “Сезам”, и не имел пунктов, вызывающих желание нажать их.

Я сам захлопнул себя. Но к этому огорчению примешивался возвышенный полустрах (вторую половину назовем ликование) — быть одному в таинственных запретных местах. Если я чего опасался, то единственно — большого труда выбраться из тайного к явному; обнаружение меня здесь хозяевами этого дома я немедленно смягчил бы рассказом о подслушанном разговоре и вытекающем отсюда желании скрыться. Даже не очень сметливый человек, услышав такой разговор, должен был настроиться подозрительно. Эти люди, ради целей, — откуда мне знать — каких? — беседовали секретно, посмеиваясь. Надо сказать, что заговоры вообще я считал самым нормальным явлением и был бы очень неприятно задет отсутствием их в таком месте, где обо всем надо догадываться; я испытывал огромное удовольствие, — более, — глубокое интимное наслаждение, но оно, благодаря крайне напряженному сцеплению обстоятельств, втянувших меня сюда, давало себя знать, кроме быстрого вращения мыслей, еще дрожью рук и колен; даже когда я открывал, а потом закрывал рот, зубы мои лязгали, как медные деньги. Немного постояв, я осмотрел еще раз этот тупик, пытаясь установить, где и как отделяется часть стены, но не заметил никакой щели. Я приложил ухо, не слыша ничего, кроме трений о камень самого уха, и, конечно, не постучал. Я не знал, что происходит в библиотеке. Быть может, я ждал недолго, может быть, прошло лишь пять, десять минут, но, как это бывает в таких случаях, чувства мои опередили время, насчитывая такой срок, от которого нетерпеливой душе естественно переходить к действию. Всегда, при всех обстоятельствах, как бы согласно я ни действовал с кем-нибудь, я оставлял кое-что для себя и теперь тоже подумал, что надо воспользоваться свободой в собственном интересе, вдосталь насладиться исследованиями. Как только искушение завиляло хвостом, уже не было для меня удержу стремиться всем существом к сногсшибательному соблазну. Издавна страстью моей было бродить в неизвестных местах, и я думаю, что судьба многих воров обязана тюремной решеткой вот этому самому чувству, которому все равно, — чердак или пустырь, дикие острова или неизвестная чужая квартира. Как бы там ни было, страсть проснулась, заиграла, и я решительно поспешил прочь.

Коридор был в ширину с полметра да еще, пожалуй, и дюйма четыре сверх того; в вышину же достигал четырех метров; таким образом, он представлялся длинной, как тротуар, скважиной, в дальний конец которой было так же странно и узко смотреть, как в глубокий колодец. По разным местам этого коридора, слева и справа, виднелись темные вертикальные черты — двери или сторонние проходы, стынущие в немом свете. Далекий конец звал, и я бросился навстречу скрытым чудодейственным таинствам.

Стены коридора были выложены снизу до половины коричневым кафелем, пол — серым и черным в шашечном порядке, а белый свод, как и остальная часть стен до кафеля, на правильном расстоянии друг от друга блестел выгнутыми круглыми стеклами, прикрывающими электрические лампы. Я прошел до первой вертикальной черты слева, принимая ее за дверь, но вблизи увидел, что это узкая арка, от которой в темный, неведомой глубины низ сходит узкая витая лестница с сквозными чугунными ступенями и медными перилами. Оставив исследование этого места, пока не обегу возможно большего пространства, чтобы иметь сколько-нибудь общий взгляд для обсуждения похождений в дальнейшем, я поторопился достигнуть отдаленного конца коридора, мельком взглядывая на открывающиеся по сторонам ниши, где находил лестницы, подобные первой, с той разницей, что некоторые из них вели вверх. Я не ошибусь, если обозначу все расстояние от конца до конца прохода в 250 футов, и когда я пронесся по всему расстоянию, то, обернувшись, увидел, что в конце, оставленном мной, ничто не изменилось, следовательно, меня не собирались ловить.

Теперь я находился у пересечения конца прохода другим, совершенно подобным первому, под прямым углом. Как влево, так и вправо открывалась новая однообразная перспектива, все так же неправильно помеченная вертикальными чертами боковых ниш. Здесь мной овладело, так сказать, равновесие намерения, потому что ни в одной из предстоящих сторон или крыльев поперечного прохода не было ничего отличающего их одну от другой, ничего,

что могло бы обусловить выбор, — они были во всем и совершенно равны. В таком случае довольно оброненной на полу пуговицы или иного подобного пустяка, чтобы решение “куда идти” выскочило из вязкого равновесия впечатлений. Такой пустяк был бы толчком. Но, посмотрев в одну сторону и обернувшись к противоположной, можно было одинаково легко представить правую сторону левой, левую правой или наоборот. Странно сказать, я стоял неподвижно, озираясь и не подозревая, что некогда осел между двумя стогами сена огорчался, как я. Я словно прирос. Я делал попытки двигаться то в одну, то в другую сторону и неизменно останавливался, начиная решать снова то, что еще никак не было решено. Возможно ли изобразить эту физическую тоску, это странное и тупое раздражение, в котором я отдавал себе отчет даже тогда; колеблясь беспомощно, я чувствовал, как начинает подкрадываться, уже затемняя мысли, страх, что я останусь стоять всегда. Спасение было в том, что я держал левую руку в кармане куртки, вертя пальцами горсть монет. Я взял одну из них и бросил ее налево, с целью вызвать решительное усилие; она покатилась; и я отправился за ней только потому, что надо было ее поднять. Догнав монету, я начал одолевать второй коридор с сомнениями, не предстанет ли его конец пересеченным так же, как там, откуда я едва ушел, так расстроясь, что еще слышал сердцебиение.

Однако придя в этот конец, я увидел, что занимаю положение замысловатее прежнего, — ход замыкался в тупик, то есть был ровно обрезан совершенно глухой стеной. Я повернул вспять, рассматривая стенные отверстия, за которыми, как и прежде, можно было различить опускающиеся в тень ступени. Одна из ниш имела не железные, а каменные ступени, числом пять; они вели к глухой, плотно закрытой двери, однако когда я ее толкнул, она подалась, впустив меня в тьму. Зажегши спичку, увидел я, что стою на нешироком пространстве четырех стен, обведенных узкими лестницами, с меньшими наверху площадками, примыкающими к проходным аркам. Высоко вверху тянулись другие лестницы, соединенные перекрестными мостиками.

Цели и ходы этих сплетений я, разумеется, не мог знать, но имея как раз теперь обильный выбор всяческих направлений, подумал, что хорошо было бы вернуться. Эта мысль стала особенно заманчива, когда спичка потухла. Я истратил вторую, но не забыл при этом высмотреть включатель, который оказался у двери, и повернул его. Таким образом обеспечив свет, я стал снова смотреть вверх, но здесь, обронив коробку, нагнулся. Что это?! Чудовища сошлись ко мне из породившей их тайны или я головокружительно схожу с ума? Или бред овладел мной?

Я так затрясся, мгновенно похолодев в муке и тоске ужаса, что, бессильный выпрямиться, уперся руками в пол и грохнулся на колени, внутренне визжа, так как не сомневался, что провалюсь вниз. Однако этого не случилось. У моих ног я увидел разбросанные бессмысленные глаза существ с мордами, напоминающими страшные маски. Пол был прозрачен. Воткнувшись под ним вверх к самому стеклу, торчало устремленное на меня множество глаз с зловещей окраской; круг странных контурных вывертов, игл, плавников, жабр, колючек; иные, еще более диковинные, всплывали снизу, как утыканные гвоздями пузыри или ромбы. Их медленный ход, неподвижность, сонное шевеление, среди которого вдруг прорезывало зеленую полутьму некое гибкое, вертлявое тело, отскакивая и кидаясь как мяч, — все их движения были страшны и дики. Цепенея, чувствовал я, что повалюсь и скончаюсь от перерыва дыхания. На счастье мое, взорванная таким образом мысль поспешила соединить указания вещественных отношений, и я сразу понял, что стою на стеклянном потолке гигантского аквариума, достаточно толстом, чтобы выдержать падение моего тела.

Когда смятение улеглось, я, высунув язык рыбам в виде мести за их пучеглазое наваждение, растянулся и стал жадно смотреть. Свет не проникал через всю массу воды; значительная часть ее — нижняя — была затенена внизу, отделяя вверху уступы искусственных гротов и коралловых разветвлений. Над этим пейзажем шевелились медузы и неизвестно что, подобное висячим растениям, привешенным к потолку. Подо мной всплывали и погружались

фантастические формы, светя глазами и блестя заостренными со всех сторон панцирями. Я теперь не боялся; вдоволь насмотревшись, я встал и пробрался к лестнице; шагая через ступеньку, поднялся на ее верхнюю площадку и вошел в новый проход.

Как было свело там, где я шел раньше, так было светло и здесь, но вид прохода существенно отличался от скрещений нижнего коридора. Этот проход, имея мраморный пол из серых с синими узорами плит, был значительно шире, но заметно короче; его совершенно гладкие стены были полны шнуров, тянущихся по фарфоровым скрепам, как струны, из конца в конец. Потолок шел стрельчатыми розетками; лампы, блестя в центре клинообразных выемок свода, были в оправе красной меди. Ничем не задерживаясь, я достиг загораживающей проход створчатой двери не совсем обычного вида; она была почти квадратных размеров, а половины ее раздвигались, уходя в стены. За ней оказался род внутренности большого шкала, где можно было стать троим. Эта клетка, выложенная темным орехом, с небольшим зеленым диванчиком, как показалось мне, должна составлять некий ключ к моему дальнейшему поведению, хотя и загадочный, но все же ключ, так как я никогда не встречал диванчиков там, где, видимо, не было в них нужды; но раз он стоял, то стоял, конечно, ради прямой цели своей, то есть, чтоб на него сели. Не трудно было сообразить, что сидеть здесь, в тупике, должно лишь ожидая — кого? или чего? — мне это предстояло узнать. Не менее внушителен был над диванчиком ряд белых костяных кнопок. Исходя опять-таки из вполне разумного соображения, что эти кнопки не могли быть устроены для вредных или вообще опасных действий, так что, нажимая их, я могу ошибиться, но никак не рискую своей головой, — я поднял руку, намереваясь произвести опыт… Совершенно естественно, что в моменты действия с неизвестным воображение торопится предугадать результат, и я, уже нацелив палец, остановил его тыкающее движение, внезапно подумав: не раздастся ли тревога по всему дому, не загремит ли оглушительный звон? Хлопанье дверей, топот бегущих ног, крики: — “где? кто? эй! сюда!” — представились мне так отчетливо в окружающей меня совершенной тишине, что я сел на диванчик и закурил. "Н-да-с! — сказал я. — Мы далеко ушли, дядюшка Гро, а ведь как раз в это время вы подняли бы меня с жалкого ложа и, согрев тумаком, приказали бы идти стучать в темное окно трактира. “Заверни к нам”, чтоб дали бутылку”… Меня восхищало то, что я ничего не понимаю в делах этого дома, в особенности же совершенная неизвестность, как и что произойдет через час, день, минуту, — как в игре. Маятник мыслей моих делал чудовищные размахи, и ему подвертывались всяческие картины, вплоть до появления карликов. Я не отказался бы увидеть процессию карликов — седобородых, в колпаках и мантиях, крадущихся вдоль стены с хитрым огнем в глазах. Тут стало мне жутко; решившись, я встал и мужественно нажал кнопку, ожидая, не откроется ли стена сбоку. Немедленно меня качнуло, клетка с диванчиком поехала вправо так быстро, что мгновенно скрылся коридор и начали мелькать простенки, то запирая меня, то открывая иные проходы, мимо которых я стал кружиться безостановочно, ухватясь за диван руками и тупо смотря перед собой на смену препятствий и перспектив.

Все это произошло в том категорическом темпе машины, против которого ничто не в состоянии спорить внутри вас, так как протестовать бессмысленно. Я кружился, описывая замкнутую черту внутри обширной трубы, полной стен и отверстий, правильно сменяющих одно другое, и так быстро, что не решался выскочить в какой-нибудь из беспощадно исчезающих коридоров, которые, явясь на момент вровень с клеткой, исчезали, как исчезали, в свою очередь, разделяющие их глухие стены. Вращение было заведено, по-видимому, надолго, так как не уменьшалось и, раз начавшись, пошло гулять, как жернов в ветреный день. Знай я способ остановить это катание вокруг самого себя, я немедленно окончил бы наслаждаться сюрпризом, но из девяти кнопок, еще не испробованных мной, каждая представляла шараду. Не знаю, почему представление об остановке связалось у меня с нижней из них, но, решив после того, как начала уже кружиться голова, что невозможно вертеться всю жизнь, — я со злобой прижал эту кнопку, думая, — “будь что будет”. Немедленно, не останавливая вращения, клетка поползла вверх, и я был вознесен высоко по винтовой линии, где моя тюрьма остановилась, продолжая вертеться в стене с ровно таким

же количеством простенков и коридоров. Тогда я нажал третью по счету сверху, — и махнул вниз, но, как заметил, выше, чем это было вначале, и так же неумолимо вертелся на этой высоте, пока не стало тошнить. Я всполошился. Поочередно, почти не сознавая, что делаю, я начал нажимать кнопки как попало, носясь вверх и вниз с проворством парового молота, пока не ткнул — конечно, случайно — ту кнопку, которую требовалось задеть прежде всего. Клетка остановилась как вкопанная против коридора на неизвестной высоте, и я вышел, пошатываясь.

Теперь, знай я, как направить обратно вращающийся лифт, я немедленно вернулся бы стучать и ломиться в стену библиотеки, но был не в силах пережить вторично вертящийся плен и направился куда глаза глядят, надеясь встретить хотя какое-нибудь открытое пространство, К тому времени я очень устал. Ум мой был помрачен: где я ходил, как спускался и поднимался, встречая то боковые, то пересекающие ходы, — не дано теперь моей памяти восстановить в той наглядности, какая была тогда; я помню лишь тесноту, свет, повороты и лестницы, как одну сверкающую запутанную черту. Наконец, набив ноги так, что пятки горели, я сел в густой тени короткого бокового углубления, не имевшего выхода, и уставился в противоположную стену коридора, где светло и пусто пережидала эту безумную ночь яркая тишина. Назойливо, до головной боли был напряжен тоскующий слух мой, воображая шаги, шорох, всевозможные звуки, но слышал только свое дыхание.

Вдруг далекие голоса заставили меня вскочить — шло несколько человек, с какой стороны, — разобрать я еще не мог; наконец шум, становясь слышнее, стал раздаваться справа. Я установил, что идут двое, женщина и мужчина. Они говорили немногословно, с большими паузами; слова смутно перелетали под сводом, так что нельзя было понять разговор. Я прижался к стене, спиной в сторону приближения, и скоро увидел Ганувера рядом с Дигэ. Оба они были возбуждены. Не знаю, показалось мне это или действительно было так, но лицо хозяина светилось нервной каленой бледностью, а женщина держалась остро и легко, как нож, поднятый для удара.

Естественно, опасаясь быть обнаруженным, я ждал, что они проследуют мимо, хотя искушение выйти и заявить о себе было сильно, — я надеялся остаться снова один, на свой риск и страх и, как мог глубже, ушел в тень. Но, пройдя тупик, где я скрывался, Дигэ и Ганувер остановились — остановились так близко, что, высунув из-за угла голову, я мог видеть их почти против себя.

Здесь разыгралась картина, которой я никогда не забуду.

Говорил Ганувер.

Он стоял, упираясь пальцами левой руки в стену и смотря прямо перед собой, изредка взглядывая на женщину совершенно больными глазами. Правую руку он держал приподнято, поводя ею в такт слов. Дигэ, меньше его ростом, слушала, слегка отвернув наклоненную голову с печальным выражением лица, и была очень хороша теперь, — лучше, чем я видел ее в первый раз; было в ее чертах человеческое и простое, но как бы обязательное, из вежливости или расчета.

— В том, что неосязаемо, — сказал Ганувер, продолжая о неизвестном. — Я как бы нахожусь среди множества незримых присутствий. — У него был усталый грудной голос, вызывающий внимание и симпатию. — Но у меня словно завязаны глаза, и я пожимаю, — беспрерывно жму множество рук, — до утомления жму, уже перестав различать, жестка или мягка, горяча или холодна рука, к которой я прикасаюсь; между тем я должен остановиться на одной и боюсь, что не угадаю ее.

Он умолк. Дигэ сказала: — Мне тяжело слышать это.

В словах Ганувера (он был еще хмелен, но держался твердо) сквозило необъяснимое горе.

Тогда со мной произошло странное, вне воли моей, нечто, не повторявшееся долго, лет десять, пока не стало натурально свойственным, — это состояние, которое сейчас опишу. Я стал

представлять ощущения беседующих, не понимая, что держу это в себе, между тем я вбирал их как бы со стороны. В эту минуту Дигэ положила руку на рукав Ганувера,

соразмеряя длину паузы, ловя, так сказать, нужное, не пропустив должного биения времени, после которого, как ни незаметно мала эта духовная мера, говорить будет уже

поздно, но и на волос раньше не должно быть сказано. Ганувер молча

продолжал видеть то множество рук, о котором только что говорил, и думал о руках вообще, когда его взгляд остановился на белой руке Дигэ с представлением пожатия. Как ни был краток этот взгляд, он

немедленно отозвался в воображении Дигэ физическим прикосновением ее ладони к таинственной невидимой струне; разом поймав такт, она сняла с рукава Ганувера свою руку и, протянув ее вверх ладонью, сказала ясным убедительным голосом: — Вот эта рука!

Как только она это сказала — мое тройное ощущение за себя и других кончилось. Теперь я видел и понимал только то, что видел и слышал. Ганувер, взяв руку женщины, медленно всматривался в ее лицо, как ради опыта читаем мы на расстоянии печатный лист — угадывая, местами прочтя или пропуская слова, с тем, что, связав угаданное, поставим тем самым в линию смысла и то, что не разобрали. Потом он нагнулся и поцеловал руку — без особого увлечения, но очень серьезно, сказав: — Благодарю. Я верно понял вас, добрая Дигэ, и я не выхожу из этой минуты. Отдадимся течению.

— Отлично, — сказала она, развеселясь и краснея, — мне очень, очень жаль вас. Без любви… это странно и хорошо.

— Без любви, — повторил он, — быть может, она придет… Но и не придет — если что…

—

Ее заменит близость. Близость вырастает потом. Это я знаю.

Наступило молчание.

— Теперь, — сказал Ганувер, — ни слова об этом. Все в себе. Итак, я обещал вам показать зерно, из которого вышел. Отлично. Я — Аладин, а эта стена — ну, что вы думаете, — что это за стена? — Он как будто развеселился, стал улыбаться. — Видите ли вы здесь дверь?

— Нет, я не вижу здесь двери, — ответила, забавляясь ожиданием, Дигэ. — Но я знаю, что она есть.

— Есть, — сказал Ганувер. — Итак… — Он поднял руку, что-то нажал, и невидимая сила подняла вертикальный стенной пласт, открыв вход. Как только мог, я вытянул шею и нашел, что она гораздо длиннее, чем я до сих пор думал. Выпучив глаза и выставив голову, я смотрел внутрь нового тайника, куда вошли Ганувер и Дигэ. Там было освещено. Как скоро я убедился, они вошли не в проход, а в круглую комнату; правая часть ее была от меня скрыта, — по той косой линии направления, как я смотрел, но левая сторона и центр, где остановились эти два человека, предстали недалеко от меня, так что я мог слышать весь разговор.

Стены и пол этой комнаты — камеры без окон — были обтянуты лиловым бархатом, с узором по стене из тонкой золотой сетки с клетками шестигранной формы. Потолка я не мог видеть.

Слева у стены на узорном золотистом столбе стояла черная статуя: женщина с завязанными глазами, одна нога которой воздушно касалась пальцами колеса, украшенного по сторонам оси крыльями, другая, приподнятая, была отнесена назад. Внизу свободно раскинутыми петлями лежала сияющая желтая цепь средней якорной толщины, каждое звено которой было, вероятно, фунтов в двадцать пять весом. Я насчитал около двенадцати оборотов, длиной каждый от пяти до семи шагов, после чего должен был с болью закрыть глаза, — так сверкал этот великолепный трос, чистый, как утренний свет, с жаркими бесцветными точками по месту игры лучей. Казалось, дымится бархат, не вынося ослепительного горения. В ту же минуту тонкий звон начался в ушах, назойливый, как пение комара, и я догадался, что это — золото, чистое золото, брошенное к столбу женщины с завязанными глазами.

— Вот она, — сказал Ганувер, засовывая руки в карманы и толкая носком тяжело отодвинувшееся двойное кольцо. — Сто сорок лет под водой. Ни ржавчины, ни ракушек, как и должно быть. Пирон был затейливый буканьер. Говорят, что он возил с собой поэта Касторуччио, чтобы тот описывал стихами все битвы и попойки; ну, и красавиц, разумеется, когда они попадались. Эту цепь он выковывал в 1777 году, за пять лет перед тем, как его повесили. На одном из колец, как видите, сохранилась надпись: “6 апреля 1777 года, волей Иеронима Пирона”.

Дигэ что-то сказала. Я слышал ее слова, но не понял. Это была строка или отрывок стихотворения.

— Да, — объяснил Ганувер, — я был, конечно, беден. Я давно слышал рассказ, как Пирон отрубил эту золотую цепь вместе с якорем, чтобы удрать от английских судов, настигших его внезапно. Вот и следы, — видите, здесь рубили, — он присел на корточки и поднял конец цепи, показывая разрубленное звено — Случай или судьба, как хотите, заставили меня купаться очень недалеко отсюда, рано утром. Я шел по колено в воде, все дальше от берега, на глубину и споткнулся, задев что-то твердое большим пальцем ноги. Я наклонился и вытащил из песка, подняв муть, эту сияющую тяжеловесную цепь до половины груди, но, обессилев, упал вместе с ней. Одна только гагара, покачиваясь в зыби, смотрела на меня черным глазом, думая, может быть, что я поймал рыбину. Я был блаженно пьян. Я снова зарыл цепь в песок и приметил место, выложив на берегу ряд камней, по касательной моему открытию линии, а потом перенес находку к себе, работая пять ночей.

— Один?! Какая сила нужна!

— Нет, вдвоем, — сказал Ганувер, помолчав. — Мы распиливали ее на куски по мере того, как вытягивали, обыкновенной ручной пилой. Да, руки долго болели. Затем переносили в ведрах, сверху присыпав ракушками. Длилось это пять ночей, и я не спал эти пять ночей, пока не разыскал человека настолько богатого и надежного, чтобы взять весь золотой груз в заклад, не проболтавшись при этом. Я хотел сохранить ее. Моя… Мой компаньон по перетаскиванию танцевал ночью, на берегу, при лунном.”

Он замолчал. Хорошая, задумчивая улыбка высекла свет в его расстроенном лице, и он стер ее, проведя от лба вниз ладонью.

Дигэ смотрела на Ганувера молча, прикусив губу. Она была очень бледна и, опустив

взгляд к цепи, казалось, отсутствовала, так

не к разговору выглядело ее лицо, похожее на лицо слепой, хотя глаза отбрасывали тысячи мыслей.

— Ваш… компаньон, — сказала она очень медленно, — оставил всю цепь вам?

Ганувер поднял конец цепи так высоко и с такой силой, какую трудно было предположить в

нем, затем опустил.

Трос грохнулся тяжелой струёй.

— Я не забывал о нем. Он умер, — сказал Ганувер, — это произошло неожиданно. Впрочем, у него был странный характер. Дальше было так. Я поручил верному человеку распоряжаться как он хочет моими деньгами, чтоб самому быть свободным. Через год он телеграфировал мне, что возросло до пятнадцати миллионов. Я путешествовал в это время. Путешествуя в течение трех лет, я получил несколько таких извещений. Этот человек пас мое стадо и умножал его с такой удачей, что перевалило за пятьдесят. Он вывалял мое золото, где хотел — в нефти, каменном угле, биржевом поту, судостроении и „. я уже забыл, где. Я только получал телеграммы. Как это вам нравится?

— Счастливая цепь, — сказала Дигэ. нагибаясь и пробуя приподнять конец троса, но едва пошевелила его. — Не могу.

Она выпрямилась. Ганувер сказал: — Никому не говорите о том, что видели здесь. С тех пор как я выкупил ее и спаял, вы — первая, которой показываю. Теперь пойдем. Да, выйдем, и я закрою эту золотую змею.

Он повернулся, думая, что она идет, но, взглянув и уже отойдя, позвал снова: — Дигэ!

Она стояла, смотря на него пристально, но так рассеянно, что Ганувер с недоумением опустил протянутую к ней руку. Вдруг она закрыла глаза, — сделала усилие, но не двинулась. Из-под ее черных ресниц, поднявшихся страшно тихо, дрожа и сверкая, выполз помраченный взгляд — странный и глухой блеск; только мгновение сиял он. Дигэ опустила голову, тронула глаза рукой и, вздохнув, выпрямилась, пошла, но пошатнулась, и Ганувер поддержал ее, вглядываясь с тревогой.

— Что с вами? — спросил он.

— Ничего, так. Я… я представила трупы; людей, привязанных к цепи; пленников, которых опускали на дно.

— Это делал Морган, — сказал Ганувер, — Пирсон не был столь жесток, и легенда рисует его скорее пьяницей-чудаком, чем драконом.

Они вышли, стена опустилась и стала на свое место, как если бы никогда не была потревожена. Разговаривавшие ушли в ту же сторону, откуда явились. Немедленно я вознамерился взглянуть им вслед, но… хотел ступить и не мог. Ноги окоченели, не повиновались. Я как бы отсидел их в неудобном положении. Вертясь на одной ноге, я поднял кое-как другую и переставил ее, она была тяжела и опустилась как на подушку, без ощущения. Проволочив к ней вторую ногу, я убедился, что могу идти так со скоростью десяти футов в минуту. В глазах стоял золотой блеск, волнами поражая зрачки. Это состояние околдованности длилось минуты три и исчезло так же внезапно, как появилось. Тогда я понял, почему Дигэ закрыла глаза, и припомнил чей-то рассказ о мелком чиновнике-французе в подвалах Национального банка, который, походив среди груд золотых болванок, не мог никак уйти, пока ему не дали стакан вина.

— Так вот что, — бессмысленно твердил я, выйдя наконец из засады и бродя по коридору. Теперь я видел, что был прав, пустившись делать открытия. Женщина заберет Ганувера, и он на ней женится. Золотая цепь извивалась предо мной, ползая по стенам, путалась в ногах. Надо узнать, где он купался, когда нашел трос; кто знает — не осталось ли там и на мою долю? Я вытащил свои золотые монеты. Очень, очень мало! Моя голова кружилась. Я блуждал, с трудом замечая, где, как поворачиваю, иногда словно проваливался, плохо сознавал, о чем думаю, и шел, сам себе посторонний, уже устав надеяться, что наступит

конец этим скитаниям в тесноте, свете и тишине. Однако моя внутренняя тревога была, надо думать, сильна, потому что сквозь бред усталости и выжженного ею волнения я, остановясь, — резко, как над пропастью, представил, что я заперт и заблудился, а ночь длится. Не страх, но совершенное отчаяние, полное бесконечного равнодушия к тому, что меня здесь накроют, владело мной, когда, почти падая от изнурения, подкравшегося всесильно, я остановился у тупика, похожего на все остальные, лег перед ним и стал бить в стену ногами так, что эхо, завыв гулом, пошло грохотать по всем пространствам, вверху и внизу.

VII

Я не удивился, когда стена сошла со своего места и в яркой глубине обширной, роскошной комнаты я увидел Попа, а за ним — Дюрока в пестром халате. Дюрок поднял, но тотчас опустил револьвер, и оба бросились ко мне, втаскивая меня за руки, за ноги, так как я не мог встать. Я опустился на стул, смеясь и изо всей силы хлопая себя по колену.

— Я вам скажу, — проговорил я, — они женятся! Я видел! Та молодая женщина и ваш хозяин. Он был подвыпивши. Ей-богу! Поцеловал руку. Честь честью! Золотая цепь лежит там, за стеной, сорок поворотов через сорок проходов. Я видел. Я попал в шкап и теперь судите, как хотите, но вам, Дюрок, я буду верен и баста!

У самого своего лица я увидел стакан с вином. Стекло лязгало о зубы. Я выпил вино, во тьме свалившегося на меня сна еще не успев разобрать, как Дюрок сказал: — Это ничего. Поп! Санди получил свою порцию; он утолил жажду необычайного. Бесполезно говорить с ним теперь.

Казалось мне, когда я очнулся, что момент потери сознания был краток, и шкипер немедленно стащит с меня куртку, чтоб холод заставил быстрее вскочить. Однако не исчезло ничто за время сна. Дневной свет заглядывал в щели гардин. Я лежал на софе. Попа не было. Дюрок ходил по ковру, нагнув голову, и курил.

Открыв глаза и осознав отлетевшее, я снова закрыл их, придумывая, как держаться, так как не знал, обдадут меня бранью или все благополучно сойдет. Я понял все-таки, что лучшее — быть самим собой. Я сел и сказал Дюроку в спину: — Я виноват.

— Санди, — сказал он, встрепенувшись и садясь рядом, — виноват-то ты виноват. Засыпая, ты бормотал о разговоре в библиотеке. Это для меня очень важно, и я поэтому не сержусь. Но слушай: если так пойдет дальше, ты действительно будешь все знать. Рассказывай, что было с тобой.

Я хотел встать, но Дюрок толкнул меня в лоб ладонью, и я опять сел. Дикий сон клубился еще во мне. Он стягивал клещами суставы и выламывал скулы зевотой; и сладость, не утоленная сладость мякла во всех членах. Поспешно собрав мысли, а также закурив, что было моей утренней привычкой, я рассказал, припомнив, как мог точнее, разговор Галуэя с Дигэ. Ни о чем больше так не расспрашивал и не переспрашивал меня Дюрок, как об этом разговоре.

— Ты должен благодарить счастливый случай, который привел тебя сюда, — заметил он наконец, очень, по-видимому, озабоченный, — впрочем, я вижу, что тебе везет. Ты выспался?

Дюрок не расслышал моего ответа: задумавшись, он тревожно тер лоб; потом встал, снова начал ходить. Каминные часы указывали семь с половиной. Солнце резнуло накуренный воздух из-за гардины тонким лучом. Я сидел, осматриваясь. Великолепие этой комнаты, с

зеркалами в рамах слоновой кости, мраморной облицовкой окон, резной, затейливой мебелью, цветной шелк, улыбки красоты в сияющих золотом и голубой далью картинах, ноги Дюрока, ступающие по мехам и коврам, — все это было чрезмерно для меня, оно утомляло. Лучше всего дышалось бы мне теперь жмурясь под солнцем на острый морской блеск. Все, на что я смотрел, восхищало, но было непривычно.

— Мы поедем, Санди, — сказал, перестав ходить, Дюрок, — потом… но что предисловие: хочешь отправиться в экспедицию?..

Думая, что он предлагает Африку или другое какое место, где приключения неистощимы, как укусы комаров среди болот, я сказал со всей поспешностью: — Да! Тысячу раз — да! Клянусь шкурой леопарда, я буду всюду, где вы.

Говоря это, я вскочил. Может быть, он угадал, что я думаю, так как устало рассмеялся.

— Не так далеко, как ты, может быть, хочешь, но — в “страну человеческого сердца”. В страну, где темно.

— О, я не понимаю вас, — сказал я, не отрываясь от его сжатого, как тиски, рта, надменного и снисходительного, от серых резких глаз под суровым лбом. — Но мне, право, все равно, если это вам нужно.

— Очень нужно, — потому что мне кажется, — ты можешь пригодиться, и я уже вчера присматривался к тебе. Скажи мне, сколько времени надо плыть к Сигнальному Пустырю?

Он спрашивал о предместье Лисса, называвшемся так со старинных времен, когда города почти не было, а на каменных столбах мыса, окрещенного именем “Сигнальный Пустырь”, горели ночью смоляные бочки, зажигавшиеся с разрешения колониальных отрядов, как знак, что суда могут войти в Сигнальную бухту. Ныне Сигнальный Пустырь был довольно населенное место со своей таможней, почтой и другими подобными учреждениями.

— Думаю, — сказал я, — что полчаса будет достаточно, если ветер хорош. Вы хотите ехать туда?

Он не ответил, вышел в соседнюю комнату и, провозясь там порядочно времени, вернулся, одетый как прибрежный житель, так что от его светского великолепия осталось одно лицо. На нем была кожаная куртка с двойными обшлагами, красный жилет с зелеными стеклянными пуговицами, узкая лакированная шляпа, напоминающая опрокинутый на сковороду котелок; вокруг шеи — клетчатый шарф, а на ногах — поверх коричневых, верблюжьего сукна брюк, — мягкие сапоги с толстой подошвой. Люди в таких вот нарядах, как я видел много раз, держат за жилетную пуговицу какого-нибудь раскрашенного вином капитана, стоя под солнцем на набережной среди протянутых канатов и рядов бочек, и рассказывают ему, какие есть выгодные предложения от фирмы “Купи в долг” или “Застрахуй без нужды”. Пока я дивился на него, не смея, конечно, улыбнуться или отпустить замечание, Дюрок подошел к стене между окон и потянул висячий шнурок. Часть стены тотчас вывалилась полукругом, образовав полку с углублением за ней, где вспыхнул свет; за стеной стало жужжать, и я не успел толком сообразить, что произошло, как вровень с упавшей полкой поднялся из стены род стола, на котором были чашки, кофейник с горящей под ним спиртовой лампочкой, булки, масло, сухари и закуски из рыбы и мяса, приготовленные, должно быть, руками кухонного волшебного духа, — столько поджаристости, масла, шипенья и аромата я ощутил среди белых блюд, украшенных рисунком зеленоватых цветов. Сахарница напоминала серебряное пирожное. Ложки, щипцы для сахара, салфетки в эмалированных кольцах и покрытый золотым плетеньем из мельчайших виноградных листьев карминовый графин с коньяком — все явилось, как солнце из туч. Дюрок стал переносить посланное магическими существами на большой стол, говоря: — Здесь можно обойтись без прислуги. Как видишь, наш хозяин устроился довольно затейливо, а в данном случае просто остроумно. Но поторопимся.

Видя, как он быстро и ловко ест, наливая себе и мне из трепещущего по скатерти розовыми зайчиками графина, я сбился в темпе, стал ежеминутно ронять то нож, то вилку; одно время стеснение едва не замучило меня, но аппетит превозмог, и я управился с едой очень быстро, применив ту уловку, что я будто бы тороплюсь больше Дюрока. Как только я перестал обращать внимание на свои движения, дело пошло как нельзя лучше, я хватал, жевал, глотал, отбрасывал, запивал и остался очень доволен собой. Жуя, я не переставал обдумывать одну штуку, которую не решался сказать, но сказать очень хотел и, может быть, не сказал бы, но Дюрок заметил мой упорный взгляд.

— В чем дело? — сказал он рассеянно, далекий от меня, где-то в своих горных вершинах.

— Кто вы такой? — спросил я и про себя ахнул. “Сорвалось-таки! — подумал я с горечью. — Теперь держись, Санди!”

— Я?! — сказал Дюрок с величайшим изумлением, устремив на меня взгляд серый как сталь. Он расхохотался и, видя, что я оцепенел, прибавил: — Ничего, ничего! Однако я хочу посмотреть, как ты задашь такой же вопрос Эстампу. Я отвечу твоему простосердечию. Я — шахматный игрок.

О шахматах я имел смутное представление, но поневоле удовлетворился этим ответом, смешав в уме шашечную доску с игральными костями и картами. “Одним словом — игрок!” — подумал я, ничуть не разочаровавшись ответом, а, напротив, укрепив свое восхищение. Игрок — значит молодчинище, хват, рисковый человек. Но, будучи поощрен, я вознамерился спросить что-то еще, как портьера откинулась, и вошел Поп.

— Герои спят, — сказал он хрипло; был утомлен с бледным, бессонным лицом и тотчас тревожно уставился на меня. — Вторые лица все на ногах. Сейчас придет Эстамп. Держу пари, что он отправится с вами. Ну, Санди, ты отколол штуку, и твое счастье, что тебя не заметили в тех местах. Ганувер мог тебя просто убить. Боже сохрани тебя болтать обо всем этом! Будь на нашей стороне, но молчи, раз уж попал в эту историю. Так что же было с тобой вчера?

Я опять рассказал о разговоре в библиотеке, о лифте, аквариуме и золотой цепи.

— Ну, вот видите! — сказал Поп Дюроку. — Человек с отчаяния способен на все. Как раз третьего дня он сказал при мне этой самой Дигэ: “Если все пойдет в том порядке, как идет сейчас, я буду вас просить сыграть самую эффектную роль”. Ясно, о чем речь. Все глаза будут обращены на нее, и она своей автоматической, узкой рукой соединит ток.

— Так. Пусть соединит! — сказал Дюрок. — Хотя… да, я понимаю вас.

— Конечно! — горячо подхватил Поп. — Я положительно не видел такого человека, который так верил бы, был бы так убежден. Посмотрите на него, когда он один. Жутко станет. Санди, отправляйтесь к себе. Впрочем, вы опять запутаетесь.

— Оставьте его, — сказал Дюрок, — он будет нужен.

— Не много ли? — Поп стал водить глазами от меня к Дюроку и обратно. — Впрочем, как знаете.

— Что за советы без меня? — сказал, появляясь, сверкающий чистотой Эстамп. — Я тоже хочу. Куда это вы собрались, Дюрок?

— Надо попробовать. Я сделаю попытку, хотя не знаю, что из этого выйдет.

—

А! Вылазка в трепещущие траншеи! Ну, когда мы появимся — два таких молодца, как вы да я, — держу сто против одиннадцати, что не устоит даже телеграфный столб! Что?! Уже ели? И выпили? А я еще нет? Как вижу, — капитан с вами и суемудрствует. Здорово, капитан Санди! Ты, я слышал, закладывал всю ночь мины в этих стенах?!

Я фыркнул, так как не мог обидеться. Эстамп присел к столу, хозяйничая и накладывая в рот, что попало, также облегчая графин.

— Послушайте, Дюрок, я с вами!

— Я думал, вы останетесь пока с Ганувером, — сказал Дюрок. — Вдобавок при таком щекотливом деле…

— Да, вовремя ввернуть слово!

— Нет. Мы можем смутить…

— И развеселить! За здоровье этой упрямой гусеницы!

— Я говорю серьезно, — настаивал Дюрок, — мне больше нравится мысль провести дело не так шумно.

— … как я ем! — Эстамп поднял упавший нож.

— Судя по всему, что я знаю, — вставил Поп, — Эстамп очень вам пригодится.

— Конечно! — вскричал молодой человек, подмигивая мне. — Вот и Санди вам скажет, что я прав. Зачем мне вламываться в ваш деликатный разговор? Мы с Санди присядем где-нибудь в кусточках, мух будем ловить… ведь так, Санди?

— Если вы говорите серьезно, — ответил я, — я скажу вот что: раз дело опасное, всякий человек может быть только полезен.

— Что? Дюрок, слышите голос капитана? Как он это изрек!

— А почему вы думаете об опасности? — серьезно спросил Поп.

Теперь я ответил бы, что опасность была необходима для душевного моего спокойствия. “Пылающий мозг и холодная рука” — как поется в песне о Пелегрине. Я сказал бы еще, что от всех этих слов и недомолвок, приготовлений, переодеваний и золотых цепей веет опасностью точно так же, как от молока — скукой, от книги — молчанием, от птицы — полетом, но тогда все неясное было мне ясно без доказательств.

— Потому что такой разговор, — сказал я, — и клянусь гандшпугом, нечего спрашивать того, кто меньше всех знает. Я спрашивать не буду. Я сделаю свое дело, сделаю все, что вы хотите.

— В таком случае вы переоденетесь, — сказал Дюрок Эстампу. — Идите ко мне в спальню, там есть кое-что. — И он увел его, а сам вернулся и стал говорить с Попом на языке, которого я не знал.

Не знаю, что будут они делать на Сигнальном Пустыре, я тем временем побывал там мысленно, как бывал много раз в детстве. Да, я там дрался с подростками и ненавидел их манеру тыкать в глаза растопыренной пятерней. Я презирал эти жестокие и бесчеловечные уловки, предпочитая верный, сильный удар в подбородок всем тонкостям хулиганского измышления. О Сигнальном Пустыре ходила поговорка: “На пустыре и днем — ночь”. Там жили худые, жилистые бледные люди с бесцветными глазами и перекошенным ртом. У них

были свои нравы, мировоззрения, свой странный патриотизм. Самые ловкие и опасные воры водились на Сигнальном Пустыре, там же процветали пьянство, контрабанда и шайки — целые товарищества взрослых парней, имевших каждое своего предводителя. Я знал одного матроса с Сигнального Пустыря — это был одутловатый человек с глазами в виде двух острых треугольников; он никогда не улыбался и не расставался с ножом. Установилось мнение, которое никто не пытался опровергнуть, что с этими людьми лучше не связываться. Матрос, о котором я говорю, относился презрительно и с ненавистью ко всему, что не было на Пустыре, и, если с ним спорили, неприятно бледнел, улыбаясь так жутко, что пропадала охота спорить. Он ходил всегда один, медленно, едва покачиваясь, руки в карманы, пристально оглядывая и провожая взглядом каждого, кто сам задерживал на его припухшем лице свой взгляд, как будто хотел остановить, чтобы слово за слово начать свару. Вечным припевом его было: “У нас там”.”, “Мы не так”, “Что нам до этого”, — и все такое, отчего казалось, что он родился за тысячи миль от Лисса, в упрямой стране дураков, где, выпячивая грудь, ходят хвастуны с ножами за пазухой.

Немного погодя явился Эстамп, разряженный в синий китель и синие штаны кочегара, в потрепанной фуражке; он прямо подошел к зеркалу, оглядев себя с ног до головы.

Эти переодевания очень интересовали меня, однако смелости не хватило спросить, что будем мы делать трое на Пустыре. Казалось, предстоят отчаянные дела. Как мог, я держался сурово, нахмуренно поглядывая вокруг с значительным видом. Наконец Поп объявил, что уже девять часов, а Дюрок — что надо идти, и мы вышли в светлую тишину пустынных, великолепных стен, прошли сквозь набегающие сияния перспектив, в которых терялся взгляд; потом вышли к винтовой лестнице. Иногда в большом зеркале я видел себя, то есть невысокого молодого человека, с гладко зачесанными назад темными волосами. По-видимому, мой наряд не требовал перемены, он был прост: куртка, простые новые башмаки и серое кепи.

Я заметил, когда пожил довольно, что наша память лучше всего усваивает прямое направление, например, улицу; однако представление о скромной квартире (если она не ваша), когда вы побыли в ней всего один раз, а затем пытаетесь припомнить расположение предметов и комнат, — есть наполовину собственные ваши упражнения в архитектуре и обстановке, так что, посетив снова то место, вы видите его иначе. Что же сказать о гигантском здании Ганувера, где я, разрываемый непривычкой и изумлением, метался как стрекоза среди огней ламп, — в сложных и роскошных пространствах? Естественно, что я смутно запомнил те части здания, где была нужда самостоятельно вникать в них, там же, где я шел за другими, я запомнил лишь, что была путаница лестниц и стен.

Когда мы спустились по последним ступеням, Дюрок взял от Попа длинный ключ и вставил его в замок узорной железной двери; она открылась на полутемный канал с каменным сводом, У площадки, среди других лодок, стоял парусный бот, и мы влезли в него. Дюрок торопился; я, правильно заключив, что предстоит спешное дело, сразу взял весла и развязал парус. Поп передал мне револьвер; спрятав его, я раздулся от гордости, как гриб после дождя. Затем мои начальники махнули друг другу руками. Поп ушел, и мы вышли на веслах в тесноте сырых стен на чистую воду, пройдя под конец каменную арку, заросшую кустами. Я поднял парус. Когда бот отошел от берега, я догадался, отчего выплыли мы из этой крысиной гавани, а не от пристани против дворца: здесь нас никто не мог видеть.

VIII

В это жаркое утро воздух был прозрачен, поэтому против нас ясно виднелась линия строений

Сигнального Пустыря. Бот взял с небольшим ветром приличный ход. Эстамп правил на точку, которую ему указал Дюрок; затем все мы закурили, и Дюрок сказал мне, чтобы я крепко молчал не только обо всем том, что может произойти в Пустыре, но чтобы молчал даже и о самой поездке.

— Выворачивайся как знаешь, если кто-нибудь пристанет с расспросами, но лучше всего скажи, что был отдельно, гулял, а про нас ничего не знаешь.

— Солгу, будьте спокойны, — ответил я, — и вообще положитесь на меня окончательно. Я вас не подведу.

К моему удивлению, Эстамп меня более не дразнил. Он с самым спокойным видом взял спички, которые я ему вернул, даже не подмигнул, как делал при всяком удобном случае; вообще он был так серьезен, как только возможно для его характера. Однако ему скоро надоело молчать, и он стал скороговоркой читать стихи, но, заметив, что никто не смеется, вздохнул, о чем-то задумался. В то время Дюрок расспрашивал меня о Сигнальном Пустыре.

Как я скоро понял, его интересовало знать, чем занимаются жители Пустыря и верно ли, что об этом месте отзываются неодобрительно.

— Отъявленные головорезы, — с жаром сказал я, — мошенники, не приведи бог! Опасное население, что и говорить. — Если я сократил эту характеристику в сторону устрашительности, то она была все же на три четверти правдой, так как в тюрьмах Лисса восемьдесят процентов арестантов родились на Пустыре. Большинство гулящих девок являлось в кабаки и кофейные оттуда же. Вообще, как я уже говорил, Сигнальный Пустырь был территорией жестоких традиций и странной ревности, в силу которой всякий нежитель Пустыря являлся подразумеваемым и естественным врагом. Как это произошло и откуда повело начало, трудно сказать, но ненависть к городу, горожанам в сердцах жителей Пустыря пустила столь глубокие корни, что редко кто, переехав из города в Сигнальный Пустырь, мог там ужиться. Я там три раза дрался с местной молодежью без всяких причин только потому, что я был из города и парни “задирали” меня.

Все это с небольшим умением и без особой грации я изложил Дюроку, недоумевая, какое значение могут иметь для него сведения о совершенно другом мире, чем тот, в котором он жил.

Наконец он остановил меня, начав говорить с Эстампом. Было бесполезно прислушиваться, так как я понимал слова, но не мог осветить их никаким достоверным смыслом. “Запутанное положение”, — сказал Эстамп. — “Которое мы распутаем”, — возразил Дюрок. — “На что вы надеетесь?” — “На то же, на что надеялся он”. — “Но там могут быть причины серьезнее, чем вы думаете”. — “Все узнаем!” — “Однако, Дигэ…” — Я не расслышал конца фразы. — “Эх, молоды же вы!” — “Нет, правда, — настаивал на чем-то Эстамп, — правда то, что нельзя подумать”. — “Я судил не по ней, — сказал Дюрок, — я, может быть, ошибся бы сам, но психический аромат Томсона и Галуэя довольно ясен”.

В таком роде размышлений вслух о чем-то хорошо им известном разговор этот продолжался до берега Сигнального Пустыря. Однако я не разыскал в разговоре никаких объяснений происходящего. Пока что об этом некогда было думать теперь, так как мы приехали и вышли, оставив Эстампа стеречь лодку. Я не заметил у него большой охоты к бездействию. Они условились так: Дюрок должен прислать меня, как только выяснится дальнейшее положение неизвестного дела, с запиской, прочтя которую Эстамп будет знать, оставаться ли ему сидеть в лодке или присоединиться к нам.

— Однако почему вы берете не меня, а этого мальчика? — сухо спросил Эстамп. — Я говорю серьезно. Может произойти

сдвиг в сторону рукопашной, и вы должны признать, что на весах действия я кое-что значу.

— По многим соображениям, — ответил Дюрок. — В силу этих соображений, пока что я должен иметь послушного живого подручного, но не равноправного, как вы.

— Может быть, — сказал Эстамп. — Санди, будь послушен. Будь жив. Смотри у меня!

Я понял, что он в досаде, но пренебрег, так как сам чувствовал бы себя тускло на его месте.

— Ну, идем, — сказал мне Дюрок, и мы пошли, но должны были на минуту остановиться.

Берег в этом месте представлял каменистый спуск, с домами и зеленью наверху. У воды стояли опрокинутые лодки, сушились сети. Здесь же бродило несколько человек, босиком, в соломенных шляпах. Стоило взглянуть на их бледные заросшие лица, чтобы немедленно замкнуться в себе. Оставив свои занятия, они стали на некотором от нас расстоянии, наблюдая, что мы такое и что делаем, и тихо говоря между собой. Их пустые, прищуренные глаза выражали явную неприязнь.

Эстамп, отплыв немного, стал на якорь и смотрел на нас, свесив руки между колен. От группы людей на берегу отделился долговязый человек с узким лицом; он, помахав рукой, крикнул:
— Откуда, приятель?

Дюрок миролюбиво улыбнулся, продолжая молча идти, рядом с ним шагал я. Вдруг другой парень, с придурковатым, наглым лицом, стремительно побежал на нас, но, не добежав шагов пяти, замер как вкопанный, хладнокровно сплюнул и поскакал обратно на одной ноге, держа другую за пятку. Тогда мы остановились. Дюрок повернул к группе оборванцев и, положив руки в карманы, стал молча смотреть. Казалось, его взгляд разогнал сборище. Похохотав между собой, люди эти вернулись к своим сетям и лодкам, делая вид, что более нас не замечают. Мы поднялись и вошли в пустую узкую улицу. Она тянулась меж садов и одноэтажных домов из желтого и белого камня, нагретого солнцем. Бродили петухи, куры с дворов, из-за низких песчаниковых оград слышались голоса — смех, брань, надоедливый, протяжный зов. Лаяли собаки, петухи пели. Наконец стали попадаться прохожие: крючковатая старуха, подростки, пьяный человек, шедший, опустив голову, женщины с корзинами, мужчины на подводах. Встречные взглядывали на нас слегка расширенными глазами, проходя мимо, как всякие другие прохожие, но, миновав некоторое расстояние, останавливались; обернувшись, я видел их неподвижные фигуры, смотрящие вслед нам сосредоточенно и угрюмо. Свернув в несколько переулков, где иногда переходили по мостикам над оврагами, мы остановились у тяжелой калитки. Дом был внутри двора; спереди же, на каменной ограде, через которую я мог заглянуть внутрь, висели тряпки и циновки, сушившиеся под солнцем.

— Вот здесь, — сказал Дюрок, смотря на черепичную крышу, — это тот дом. Я узнал его по большому дереву во дворе, как мне рассказывали.

— Очень хорошо, — сказал я, не видя причины говорить что-нибудь другое.

— Ну, идем, — сказал Дюрок, — и я ступил следом за ним во двор.

В качестве войска я держался на некотором расстоянии от Дюрока, а он прошел к середине двора и остановился, оглядываясь. На камне у одного порога сидел человек, чиня бочонок; женщина развешивала белье. У помойной ямы тужился, кряхтя, мальчик лет шести, — увидев нас, он встал и мрачно натянул штаны.

Но лишь мы явились, любопытство обнаружилось моментально. В окнах показались забавные головы; женщины, раскрыв рот, выскочили на порог и стали смотреть так настойчиво, как смотрят на почтальона.

Дюрок, осмотревшись, направился к одноэтажному флигелю в глубине двора. Мы вошли под тень навеса, к трем окнам с белыми занавесками. Огромная рука приподняла занавеску, и я увидел толстый, как у быка, глаз, расширивший сонные веки свои при виде двух чужих.

— Сюда, приятель? — сказал глаз. — Ко мне, что ли?

— Вы — Варрен? — спросил Дюрок.

— Я — Варрен; что хотите?

— Ничего особенного, — сказал Дюрок самым спокойным голосом. — Если здесь живет девушка, которую зовут Молли Варрен, и если она дома, я хочу ее видеть.

Так и есть! Так я и знал, что дело идет о женщине, — пусть она девушка, все едино! Ну, скажите, отчего это у меня было совершенно непоколебимое предчувствие, что, как только уедем, явится женщина? Недаром слова Эстампа “упрямая гусеница” заставили меня что-то подозревать в этом роде. Только теперь я понял, что угадал то, чего ждал.

Глаз сверкнул, изумился и потеснился дать место второму глазу, оба глаза не предвещали, судя по выражению их, радостной встречи. Рука отпустила занавеску, кивнув пальцем.

— Зайдите-ка, — сказал этот человек сдавленным ненатуральным голосом, тем более неприятным, что он был адски спокоен. — Зайдите, приятель!

Мы прошли в небольшой коридор и стукнули в дверь налево.

— Войдите, — повторил нежно тот же спокойный голос, и мы очутились в комнате. Между окном и столом стоял человек в нижней рубашке и полосатых брюках, — человек так себе, среднего роста, не слабый, по-видимому, с темными гладкими волосами, толстой шеей и перебитым носом, конец которого торчал как сучок. Ему было лет тридцать. Он заводил карманные часы, а теперь приложил их к уху.

— Молли? — сказал он. Дюрок повторил, что хочет видеть Молли. Варрен вышел из-за стола и стал смотреть в упор на Дюрока.

— Бросьте вашу мысль, — сказал он. — Оставьте вашу затею. Она вам не пройдет даром.

— Затей у меня нет никаких, но есть только поручение для вашей сестры.

Дюрок говорил очень вежливо и был совершенно спокоен. Я рассматривал Варрена. Его сестра представилась мне похожей на него, и я стал угрюм.

— Что это за поручение? — сказал Варрен, снова беря часы и бесцельно прикладывая их к уху. — Я должен посмотреть, в чем дело.

— Не проще ли, — возразил Дюрок, — пригласить девушку?

— А в таком случае не проще ли вам выйти вон и прихлопнуть дверь за собой! — проговорил Варрен, начиная тяжело дышать. В то же время он подступил ближе к Дюроку, бегая взглядом по его фигуре. — Что это за маскарад? Вы думаете, я не различу кочегара или матроса от спесивого идиота, как вы? Зачем вы пришли? Что вам надо от Молли?

Видя, как страшно побледнел Дюрок, я подумал, что тут и конец всей истории и наступит время палить из револьвера, а потому приготовился. Но Дюрок только вздохнул. На один момент его лицо осунулось от усилия, которое сделал он над собой, и я услышал тот же ровный, глубокий голос: — Я мог бы ответить вам на все или почти на все ваши вопросы, но теперь не скажу ничего. Я вас спрашиваю только: дома Молли Варрен?

Он сказал последние слова так громко, что они были бы слышны через полураскрытую в следующую комнату дверь, — если бы там был кто-нибудь. На лбу Варрена появился рисунок жил.

— Можете не говорить! — закричал он. — Вы подосланы, и я знаю кем — этим выскочкой, миллионером из ямы! Однако проваливайте! Молли нет. Она уехала. Попробуйте только производить розыски, и, клянусь черепом дьявола, мы вам переломаем все кости.

Потрясая рукой, он вытянул ее свирепым движением. Дюрок быстро взял руку Варрена выше кисти, нагнул вниз, и… и я неожиданно увидел, что хозяин квартиры с яростью и мучением в лице брякнулся на одно колено, хватаясь другой рукой за руку Дюрока. Дюрок взял эту другую руку Варрена и тряхнул его — вниз, а потом — назад. Варрен упал на локоть, сморщившись, закрыв глаза и прикрывая лицо.

Дюрок потер ладонь о ладонь, затем взглянул на продолжавшего лежать Варрена.

— Это было необходимо, — сказал он, — в другой раз вы будете осторожнее. Санди, идем!

Я выбежал за ним с обожанием, с восторгом зрителя, получившего высокое наслаждение. Много я слышал о силачах, но первый раз видел сильного человека, казавшегося не сильным, — не

таким сильным. Я весь горел, ликовал, ног под собой не слышал от возбуждения. Если таково начало нашего похода, то что же предстоит впереди?

— Боюсь, не сломал ли я ему руку, — сказал Дюрок, когда мы вышли на улицу.

— Она срастется! — вскричал я, не желая портить впечатления никакими соображениями. — Мы ищем Молли?

Момент был таков, что сблизил нас общим возбуждением, и я чувствовал, что имею теперь право кое-что знать. То же, должно быть, признавал и Дюрок, потому что просто сказал мне как равному: — Происходит запутанное дело: Молли и Ганувер давно знают друг друга, он очень ее любит, но с ней что-то произошло. По крайней мере на завтрашнем празднике она должна была быть, однако от нее нет ни слуха ни духа уже два месяца, а перед тем она написала, что отказывается быть женой Ганувера и уезжает. Она ничего не объяснила при этом.

Он так законченно выразился, что я понял его нежелание приводить подробности. Но его слова вдруг согрели меня внутри и переполнили благодарностью.

— Я вам очень благодарен, — сказал я как можно тише.

Он повернулся и рассмеялся: — За что? О, какой ты дурачок, Санди! Сколько тебе лет?

— Шестнадцать, — сказал я, — но скоро будет уже семнадцать.

— Сразу видно, что ты настоящий мужчина, — заметил он, и, как ни груба была лесть, я крякнул, осчастливленный свыше меры. Теперь Дюрок мог, не опасаясь непослушания, приказать мне обойти на четвереньках вокруг залива.

„Едва мы подошли к углу, как Дюрок посмотрел назад и остановился. Я стал тоже смотреть. Скоро из ворот вышел Варрен. Мы спрятались за утлом, так что он нас не видел, а сам был виден нам через ограду, сквозь ветви. Варрен посмотрел в обе стороны и быстро направился через мостик поперек оврага к поднимающемуся на той стороне переулку.

Едва он скрылся, как из этих же ворот выбежала босоногая девушка с завязанной платком

щекой и спешно направилась в нашу сторону. Ее хитрое лицо отражало разочарование, но, добежав до угла и увидев нас, она застыла на месте, раскрыв рот, потом метнула искоса взглядом, прошла лениво вперед и тотчас вернулась.

— Вы ищете Молли? — сказала она таинственно.

— Вы угадали, — ответил Дюрок, и я тотчас сообразил, что нам подвернулся шанс.

— Я не угадала, я слышала, — сказала эта скуластая барышня (уже я был готов взреветь от тоски, что она скажет: “Это — я, к вашим услугам”), двигая перед собой руками, как будто ловила паутину, — так вот, что я вам скажу: ее здесь действительно нет, а она теперь в бордингаузе, у своей сестры. Идите, — девица махнула рукой, — туда по берегу. Всего вам одну милю пройти. Вы увидите синюю крышу и флаг на мачте. Варрен только что убежал и уж наверно готовит пакость, поэтому торопитесь.

— Благодарю, добрая душа, — сказал Дюрок. — Еще, значит, не все против нас.

— Я не против, — возразила особа, — а даже наоборот. Они девушкой вертят, как хотят; очень жаль девочку, потому что, если не вступиться, ее слопают.

— Слопают? — спросил Дюрок.

— А вы не знаете Лемарена? — вопрос прозвучал громовым упреком.

— Нет, не знаем.

— Ну, тогда долго рассказывать. Она сама расскажет. Я уйду, если меня увидят с вами…

Девица всколыхнулась и исчезла за угол, а мы, немедленно следуя ее указанию, и так скоро, как только позволяло дыхание, кинулись на ближайший спуск к берегу, где, как увидели, нам предстоит обогнуть небольшой мыс — в правой стороне от Сигнального Пустыря.

Могли бы мы, конечно, расспросив о дороге, направиться ближайшим путем, по твердой земле, а не по скользкому гравию, но, как правильно указал Дюрок, в данном положении было невыгодно, чтобы нас видели на дорогах.

Справа по обрыву стоял лес, слева блестело утреннее красивое море, а ветер дул на счастье в затылок. Я был рад, что иду берегом. На гравии бежали, шумя, полосы зеленой воды, отливаясь затем назад шепчущей о тишине пеной. Обогнув мыс, мы увидели вдали, на изгибе лиловых холмов берега, синюю крышу с узким дымком флага, и только тут я вспомнил, что Эстамп ждет известий. То же самое, должно быть, думал Дюрок, так как сказал: — Эстамп потерпит: то, что впереди нас, — важнее его. — Однако, как вы увидите впоследствии, с Эстампом вышло иначе.

IX

За мысом ветер стих, и я услышал слабо долетающую игру на рояле, — беглый мотив. Он был ясен и незатейлив, как полевой ветер. Дюрок внезапно остановился, затем пошел тише, с закрытыми глазами, опустив голову. Я подумал, что у него сделались в глазах темные круги от слепого блеска белой гальки; он медленно улыбнулся, не открывая глаз, потом остановился вторично с немного приподнятой рукой. Я не знал, что он думает. Его глаза внезапно открылись, он увидел меня, но продолжал смотреть очень рассеянно, как бы издалека; наконец, заметив, что я удивлен, Дюрок повернулся и, ничего не сказав,

направился далее.

Обливаясь потом, достигли мы тени здания. Со стороны моря фасад был обведен двухэтажной террасой с парусиновыми навесами; узкая густая стена с слуховым окном была обращена к нам, а входы были, надо полагать, со стороны леса. Теперь нам предстояло узнать, что это за бордингауз и кто там живет.

Музыкант кончил играть свой кроткий мотив и качал переливать звуки от заостренной трели к глухому бормотанию басом, потом обратно, все очень быстро. Наконец он несколько раз кряду крепко ударил в прелестную тишину морского утра однотонным аккордом и как бы исчез.

— Замечательное дело! — послышался с верхней террасы хриплый, обеспокоенный голос. — Я оставил водки в бутылке выше ярлыка на палец, а теперь она ниже ярлыка. Это вы выпили, Билль?

— Стану я пить чужую водку, — мрачно и благородно ответил Билль. — Я только подумал, не уксус ли это, так как страдаю мигренью, и смочил немного платок.

— Лучше бы вы не страдали мигренью, — а научились”

Затем, так как мы уже поднялись по тропинке к задней стороне дома, спор слышался неясным единоборством голосов, а перед нами открылся вход с лестницей. Ближе к углу была вторая дверь.

Среди редких, очень высоких и тенистых деревьев, росших здесь вокруг дома, переходя далее в густой лес, мы не были сразу замечены единственным человеком, которого тут увидели. Это была девушка или девочка? — я не смог бы сказать сразу, но склонялся к тому, что девочка. Она ходила босиком по траве, склонив голову и заложив руки назад, взад и вперед с таким видом, как ходят из угла в угол по комнате. Под деревом был на вкопанном столбе круглый стол, покрытый скатертью, на нем лежали разграфленная бумага, карандаш, утюг, молоток и горка орехов. На девушке не было ничего, кроме коричневой юбки и легкого белого платка с синей каймой, накинутого поверх плеч. В ее очень густых кое-как замотанных волосах торчали длинные шпильки.

Походив, она нехотя уселась к столу, записала что-то в разграфленную бумагу, затем сунула утюг между колен и стала разбивать на нем молотком орехи.

— Здравствуйте, — сказал Дюрок, подходя к ней. — Мне указали, что здесь живет Молли Варрен!

Она повернулась так живо, что все ореховое производство свалилось в траву; выпрямилась, встала и, несколько побледнев, оторопело приподняла руку. По ее очень выразительному, тонкому, слегка сумрачному лицу прошло несколько беглых, странных движений. Тотчас она подошла к нам, не быстро, но словно подлетела с дуновением ветра.

— Молли Варрен! — сказала девушка, будто что-то обдумывая, и вдруг убийственно покраснела. — Пожалуйте, пройдите за мной, я ей скажу.

Она понеслась, щелкая пальцами, а мы, следуя за ней, прошли в небольшую комнату, где было тесно от сундуков и плохой, но чистой мебели. Девочка исчезла, не обратив больше на нас никакого внимания, в другую дверь и с треском захлопнула ее. Мы стояли, сложив руки, с естественным напряжением. За скрывшей эту особу дверью послышалось падение стула или похожего на стул, звон, какой слышен при битье посуды, яростное “черт побери эти крючки”, и, после некоторого резкого громыхания, внезапно вошла очень стройная девушка, с встревоженным улыбающимся лицом, обильной прической и блистающими заботой,

нетерпеливыми, ясными черными глазами, одетая в тонкое шелковое платье прекрасного сиреневого оттенка, туфли и бледно-зеленые чулки. Это была все та же босая девочка с утюгом, но я должен был теперь признать, что она девушка.

— Молли — это я, — сказала она недоверчиво, но неудержимо улыбаясь, — скажите все сразу, потому что я очень волнуюсь, хотя по моему лицу этого никогда не заметят.

Я смутился, так как в таком виде она мне очень понравилась.

— Так вы догадались, — сказал Дюрок, садясь, как сели мы все. — Я — Джон Дюрок, могу считать себя действительным другом человека, которого назовем сразу: Ганувер. Со мной мальчик… то есть просто один хороший Санди, которому я доверяю.

Она молчала, смотря прямо в глаза Дюрока и неспокойно двигаясь. Ее лицо дергалось. Подождав, Дюрок продолжал: — Ваш роман, Молли, должен иметь хороший конец. Но происходят тяжелые и непонятные вещи. Я знаю о золотой цепи…

— Лучше бы ее не было, — вскричала Молли. — Вот уж, именно, тяжесть; я уверена, что от нее — все!

— Санди, — сказал Дюрок, — сходи взглянуть, не плывет ли лодка Эстампа.

Я встал, задев ногой стул, с тяжелым сердцем, так как слова Дюрока намекали очень ясно, что я мешаю. Выходя, я столкнулся с молодой женщиной встревоженного вида, которая, едва взглянув на меня, уставилась на Дюрока. Уходя, я слышал, как Молли сказала “Моя сестра Арколь”.

Итак, я вышел на середине недопетой песни, начинавшей действовать обаятельно, как все, связанное с тоской и любовью, да еще в лице такой прелестной стрелы, как та девушка, Молли. Мне стало жалко себя, лишенного участия в этой истории, где я был у всех под рукой, как перочинный ножик — его сложили и спрятали. И я, имея оправдание, что не преследовал никаких дурных целей, степенно обошел дом, увидел со стороны моря раскрытое окно, признал узор занавески и сел под ним спиной к стене, слыша почти все, что говорилось в комнате.

Разумеется, я пропустил много, пока шел, но был вознагражден тем, что услышал дальше. Говорила, очень нервно и горячо, Молли: — Да, как он приехал? Но что за свидания?! Всего-то и виделись мы семь раз, фф-у-у! Надо было привезти меня немедленно к себе. Что за отсрочки?! Из-за этого меня проследили и окончательно все стало известно. Знаете, эти мысли, то есть критика, приходит, когда задумаешься обо всем. Теперь еще у него живет красавица, — ну и пусть живет и не сметь меня звать!

Дюрок засмеялся, но невесело.

— Он сильно пьет, Молли, — сказал Дюрок, — и пьет потому, что получил ваше окончательное письмо. Должно быть, оно не оставляло ему надежды. Красавица, о которой вы говорите, — гостья. Она, как мы думаем, просто скучающая молодая женщина. Она приехала из Индии с братом и приятелем брата; один — журналист, другой, кажется, археолог. Вы знаете, что представляет дворец Ганувера. О нем пошел далеко слух, и эти люди явились взглянуть на чудо архитектуры. Но он оставил их жить, так как не может быть один — совсем один. Молли, сегодня… в двенадцать часов… вы дали слово три месяца назад.

— Да, и я его забрала обратно.

— Слушайте, — сказала Арколь, — я сама часто не знаю, чему верить. Наши братцы

работают ради этого подлеца Лемарена. Вообще мы в семье распались. Я жила долго в Риоле, где у меня было другое общество, да, получше компании Лемарена. Что же, служила и все такое, была еще помощницей садовника. Я ушла, навсегда ушла душой от Пустыря. Этого не вернешь. А Молли — Молли, бог тебя знает, Молли, как ты выросла на дороге и не затоптали тебя! Ну, я поберегла, как могла, девочку… Братцы работают, — два брата; который хуже, трудно сказать. Уж, наверно, не одно письмо было скрадено. И они вбили девушке в голову, что Ганувер с ней не так чтобы очень хорошо. Что у него есть любовницы, что его видели там и там в распутных местах. Надо знать мрачность, в которую она впадает, когда слышит такие вещи!

— Лемарен? — сказал Дюрок. — Молли, кто такой Лемарен?

— Негодяй! Я ненавижу его!

— Верьте мне, хоть стыдно в этом признаться, — продолжала Арколь, — что у Лемарена общие дела с нашими братцами. Лемарен — хулиган, гроза Пустыря. Ему приглянулась моя сестра, и он с ума сходит, больше от самолюбия и жадности. Будьте уверены, Лемарен явится сегодня сюда, раз вы были у брата. Все сложилось скверно, как нельзя хуже. Вот наша семья. отец в тюрьме за хорошие дела, один брат тоже в тюрьме, а другой ждет, когда его посадят. Ганувер четыре года назад оставил деньги, — я знала только, кроме нее, у кого они; это ведь ее доля, которую она согласилась взять, — но, чтобы хоть как-нибудь пользоваться ими, приходилось все время выдумывать предлоги — поездки в Риоль, — то к тетке, то к моим подругам и так далее. На глазах нельзя было нам обнаружить ничего: заколотят и отберут. Теперь. Ганувер приехал и его видели с Молли, стали за ней следить, перехватили письмо. Она вспыльчива. На одно слово, что ей было сказано тогда, она ответила, как это она умеет. “Люблю, да, и подите к черту!” Вот тут перед ними и мелькнула нажива. Брат сдуру открыл мне свои намерения, надеясь меня привлечь отдать девушку Лемарену, чтобы он запугал ее, подчинил себе, а потом — Гануверу, и тянуть деньги, много денег, как от рабыни. Жена должна была обирать мужа ради любовника. Я все рассказала Молли. Ее согнуть нелегко, но добыча была заманчива. Лемарен прямо объявил, что убьет Ганувера в случае брака. Тут началась грязь — сплетни, и угрозы, и издевательства, и упреки, и я должна была с боем взять Молли к себе, когда получила место в этом бордингаузе, место смотрительницы. Будьте уверены, Лемарен явится сегодня сюда, раз вы были у брата. Одним словом — кумир дур. Приятели его подражают ему в манерах и одежде. Общие дела с братцами. Плохие эти дела! Мы даже не знаем точно, какие дела… только если Лемарен сядет в тюрьму, то и семейство наше уменьшится на оставшегося братца. Молли, не плачь! Мне так стыдно, так тяжело говорить вам все это! Дай мне платок. Пустяки, не обращайте внимания. Это сейчас пройдет.

— Но это очень грустно, — все, что вы говорите, — сказал Дюрок. — Однако я без вас не вернусь, Молли, потому, что за этим я и приехал. Медленно, очень медленно, но верно Ганувер умирает. Он окружил свой конец пьяным туманом, ночной жизнью. Заметьте, что не уверенными, уже дрожащими шагами дошел он к сегодняшнему дню, как и назначил — дню торжества. И он все сделал для вас, как было то в ваших мечтах, на берегу. Все это я знаю и очень всем расстроен, потому что люблю этого человека.

— А я — я не люблю его?! — пылко сказала девушка. — Скажите “Ганувер” и приложите руку мне к сердцу! Там — любовь! Одна любовь! Приложите! Ну — слышите? Там говорит — “да”, всегда “да”! Но я говорю “нет”!

При мысли, что Дюрок прикладывает руку к ее груди, у меня самого сильно забилось сердце. Вся история, отдельные черты которой постепенно я узнавал, как бы складывалась на моих глазах из утреннего блеска и ночных тревог, без конца и начала, одной смутной сценой. Впоследствии я узнал женщин и уразумел, что девушка семнадцати лет так же хорошо разбирается в обстоятельствах, поступках людей, как лошадь в арифметике. Теперь же я

думал, что если она так сильно противится и огорчена, то, вероятно, права.

Дюрок сказал что-то, чего я не разобрал. Но слова Молли все были ясно слышны, как будто она выбрасывала их в окно и они падали рядом со мной.

— … вот как все сложилось несчастно. Я его, как он уехал, два года не любила, а только вспоминала очень тепло. Потом я опять начала любить, когда получила письмо, потом много писем. Какие же это были хорошие письма! Затем — подарок, который надо, знаете, хранить так, чтобы не увидели, — такие жемчужины…

Я встал, надеясь заглянуть внутрь и увидеть, что она там показывает, как был поражен неожиданным шествием ко мне Эстампа. Он брел от берегов выступа, разгоряченный, утирая платком пот, и, увидев меня, еще издали покачал головой, внутренне осев; я подошел к нему, не очень довольный, так как потерял, — о, сколько я потерял и волнующих слов и подарков! — прекратилось мое невидимое участие в истории Молли.

— Вы подлецы! — сказал Эстамп. — Вы меня оставили удить рыбу. Где Дюрок?

— Как вы нашли нас? — спросил я.

— Не твое дело. Где Дюрок?

— Он — там! — Я проглотил обиду, так я был обезоружен его гневным лицом. — Там они, трое: он, Молли и ее сестра.

— Веди!

— Послушайте, — возразил я скрепя сердце, — можете вызвать меня на дуэль, если мои слова будут вам обидны, но, знаете, сейчас там самый разгар. Молли плачет, и Дюрок ее уговаривает.

— Так, — сказал он, смотря на меня с проступающей понемногу улыбкой. — Уже подслушал! Ты думаешь, я не вижу, что ямы твоих сапогов идут прямехонько от окна? Эх, Санди, капитан Санди, тебя нужно бы прозвать не “Я все знаю”, а “Я все слышу!”.

Сознавая, что он прав, — я мог только покраснеть.

— Не понимаю, как это случилось, — продолжал Эстамп, — что за одни сутки мы так прочно очутились в твоих лапах?! Ну, ну, я пошутил. Веди, капитан! А что эта Молли — хорошенькая?

— Она… — сказал я. — Сами увидите.

— То-то! Ганувер не дурак.

Я пошел к заветной двери, а Эстамп постучал. Дверь открыла Арколь.

Молли вскочила, поспешно вытирая глаза. Дюрок встал.

— Как? — сказал он. — Вы здесь?

— Это свинство с вашей стороны, — начал Эстамп, кланяясь дамам и лишь мельком взглянув на Молли, но тотчас улыбнулся, с ямочками на щеках, и стал говорить очень серьезно и любезно, как настоящий человек. Он назвал себя, выразил сожаление, что помешал разговаривать, и объяснил, как нашел нас.

— Те же дикари, — сказал он, — которые пугали вас на берегу, за пару золотых монет весьма охотно продали мне нужные сведения. Естественно, я был обозлен, соскучился и вступил с

ними в разговор: здесь, по-видимому, все знают друг друга или кое-что знают, а потому ваш адрес, Молли, был мне сообщен самым толковым образом. Я вас прошу не беспокоиться, — прибавил Эстамп, видя, что девушка вспыхнула, — я сделал это как тонкий дипломат. Двинулось ли наше дело, Дюрок?

Дюрок был очень взволнован. Молли вся дрожала от возбуждения, ее сестра улыбалась насильно, стараясь искусственно спокойным выражением лица внести тень мира в пылкий перелет слов, затронувших, по-видимому, все самое важное в жизни Молли.

Дюрок сказал: — Я говорю ей, Эстамп, что, если любовь велика, все должно умолкнуть, все другие соображения. Пусть другие судят о наших поступках как хотят, если есть это вечное оправдание. Ни разница положений, ни состояние не должны стоять на пути и мешать. Надо верить тому, кого любишь, — сказал он, — нет высшего доказательства любви. Человек часто не замечает, как своими поступками он производит невыгодное для себя впечатление, не желая в то же время сделать ничего дурного. Что касается вас, Молли, то вы находитесь под вредным и сильным внушением людей, которым не поверили бы ни в чем другом. Они сумели повернуть так, что простое дело соединения вашего с Ганувером стало делом сложным, мутным, обильным неприятными последствиями. Разве Лемарен не говорил, что убьет его? Вы сами это сказали. Находясь в кругу мрачных впечатлений, вы приняли кошмар за действительность. Много помогло здесь и то, что все пошло от золотой цепи. Вы увидели в этом начало рока и боитесь конца, рисующегося вам в подавленном состоянии вашем, как ужасная неизвестность. На вашу любовь легла грязная рука, и вы боитесь, что эта грязь окрасит собой все. Вы очень молоды, Молли, а человеку молодому, как вы, довольно иногда созданного им самим призрака, чтобы решить дело в любую сторону, а затем — легче умереть, чем признаться в ошибке.

Девушка начала слушать его с бледным лицом, затем раскраснелась и просидела так, вся красная, до конца.

— Не знаю, за что он любит меня, — сказала она. — О, говорите, говорите еще! Вы так хорошо говорите! Меня надо помять, умягчить, тогда все пройдет. Я уже не боюсь. Я верю вам! Но говорите, пожалуйста!

Тогда Дюрок стал передавать силу своей души этой запуганной, стремительной, самолюбивой и угнетенной девушке.

Я слушал — и каждое его слово запоминал навсегда, но не буду приводить всего, иначе на склоне лет опять ярко припомню этот час и, наверно, разыграется мигрень.

— Если даже вы принесете ему несчастье, как уверены в том, — не бойтесь ничего, даже несчастья, потому что это будет общее ваше горе, и это горе — любовь.

— Он прав, Молли, — сказал Эстамп, — тысячу раз прав. Дюрок — золотое сердце!

— Молли, не упрямься больше, — сказала Арколь, — тебя ждет счастье!

Молли как бы очнулась. В ее глазах заиграл свет, она встала, потерла лоб, заплакала, пальцами прикрывая лицо, во скоро махнула рукой и стала смеяться.

— Вот мне и легче, — сказала она, сморкаясь, — О, что это?! Ф-фу-у-у, точно солнце взошло! Что же это было за наваждение? Мрак какой! Я и не понимаю теперь. Едем скорей! Арколь, ты меня пойми! Я ничего не понимала, и вдруг — ясное зрение.

— Хорошо, хорошо, не волнуйся, — ответила сестра, — Ты будешь собираться?

— Немедленно соберусь! — Она осмотрелась, бросилась к сундуку и стала вынимать из него

куски разных материй, кружева, чулки и завязанные пакеты; не прошло и минуты, как вокруг нее валялась груда вещей. — Еще и не сшила ничего! — сказала она горестно. — В чем я поеду?

Эстамп стал уверять, что ее платье ей к лицу и что так хорошо. Не очень довольная, она хмуро прошла мимо нас, что-то ища, но когда ей поднесли зеркало, развеселилась и примирилась. В это время Арколь спокойно свертывала и укладывала все, что было разбросано. Молли, задумчиво посмотрев на нее, сама подобрала вещи и обняла молча сестру.

X

— Я знаю… — сказал голос за окном; шаги нескольких людей, удаляясь, огибали угол.

— Только бы не они, — сказала, вдруг побледнев и бросаясь к дверям, Арколь. Молли, закусив губы, смотрела на нее и на нас. Взгляд Эстампа Дюроку вызвал ответ последнего: “Это ничего, нас трое”. Едва он сказал, по двери ударили кулаком, — я, бывший к ней ближе других, открыл и увидел молодого человека небольшого роста, в щегольском летнем костюме. Он был коренаст, с бледным, плоским, даже тощим лицом, но выражение нелепого превосходства в тонких губах под черными усиками и в резких черных глазах было необыкновенно крикливым. За ним шли Варрен и третий человек — толстый, в грязной блузе, с шарфом вокруг шеи. Он шумно дышал, смотрел, выпучив глаза, и войдя, сунул руки в карманы брюк, став как столб.

Все мы продолжали сидеть, кроме Арколь, которая подошла к Молли. Став рядом с ней, она бросила Дюроку отчаянный умоляющий взгляд.

Новоприбывшие были заметно навеселе. Ни одним взглядом, ни движением лица не обнаружили они, что, кроме женщин, есть еще мы; даже не посмотрели на нас, как будто нас здесь совсем не было. Разумеется, это было сделано умышленно.

— Вам нужно что-нибудь, Лемарен? — сказала Арколь, стараясь улыбнуться. — Сегодня мы очень заняты. Нам надо пересчитать белье, сдать его, а потом ехать за провизией для матросов. — Затем она обратилась к брату, и это было одно слово: — Джон!

— Я с вами поговорю, — сказал Варрен. — Что же, нам и сесть негде?!

Лемарен, подбоченясь, взмахнул соломенной шляпой. Его глаза с острой улыбкой были обращены к девушке.

— Привет, Молли! — сказал он. — Прекрасная Молли, сделайте милость, обратите внимание на то, что я пришел навестить вас в вашем уединении. Взгляните, — это я!

Я видел, что Дюрок сидит, опустив голову, как бы безучастно, но его колено дрожало, и он почти незаметно удерживал его ладонью руки. Эстамп приподнял брови, отошел и смотрел сверху вниз на бледное лицо Лемарена.

— Убирайся! — сказала Молли. — Ты довольно преследовал меня! Я не из тех, к кому ты можешь протянуть лапу. Говорю тебе прямо и начистоту — я более не стерплю! Уходи!

Из ее черных глаз разлетелась по комнате сила отчаянного сопротивления. Все это почувствовали. Почувствовал это и Лемарен, так как широко раскрыл глаза, смигнул и, нескладно улыбаясь, повернулся к Варрену.

— Каково? — сказал он. — Ваша сестра сказала мне дерзость, Варрен. Я не привык к такому обращению, клянусь костылями всех калек этого дома. Вы пригласили меня в гости, и я пришел. Я пришел вежливо, — не с худой целью. В чем тут дело, я спрашиваю?

— Дело ясное, — сказал, глухо крякнув, толстый человек, ворочая кулаки в карманах брюк. — Нас выставляют.

— Кто вы такой? — рассердилась Арколь. По наступательному выражению ее кроткого даже в гневе лица я видел, что и эта женщина дошла до предела. — Я не знаю вас и не приглашала. Это мое помещение, я здесь хозяйка. Потрудитесь уйти!

Дюрок поднял голову и взглянул Эстампу в глаза. Смысл взгляда был ясен. Я поспешил захватить плотнее револьвер, лежавший в моем кармане.

— Добрые люди, — сказал, посмеиваясь. Эстамп, — вам лучше бы удалиться, так как разговор в этом тоне не доставляет решительно никому удовольствия.

— Слышу птицу! — воскликнул Лемарен, мельком взглядывая на Эстампа и тотчас обращаясь к Молли. — Это вы заводите чижиков, Молли? А есть у вас канареечное семя, а? Ответьте, пожалуйста!

— Не спросить ли моего утреннего гостя, — сказал Варрен, выступая вперед и становясь против Дюрока, неохотно вставшего навстречу ему. — Может быть, этот господин соблаговолит объяснить, почему он здесь, у моей, черт побери, сестры?!

— Нет, я не сестра твоя! — сказала, словно бросила тяжкий камень, Молли. — А ты не брат мне! Ты — второй Лемарен, то есть подлец!

И, сказав так, вне себя, в слезах, с открытым, страшным лицом, она взяла со стола книгу и швырнула ее в Варрена.

Книга, порхнув страницами, ударила его по нижней губе, так как он не успел прикрыться локтем. Все ахнули. Я весь горел, чувствуя, что отлично сделано, и готов был палить во всех.

— Ответит этот господин, — сказал Варрен, указывая пальцем на Дюрока и растирая другой рукой подбородок, после того, как вдруг наступившее молчание стало невыносимо.

— Он переломает тебе все кости! — вскричал я. — А я пробью твою мишень, как только…

— Как только я уйду, — сказал вдруг сзади низкий, мрачный голос, столь громкий, несмотря на рокочущий тембр, что все сразу оглянулись.

Против двери, твердо и широко распахнув ее, стоял человек с седыми баками и седой копной волос, разлетевшихся, как сено на вилах. Он был без руки, — один рукав матросской куртки висел; другой, засученный до локтя, обнажал коричневую пружину мускулов, оканчивающихся мощной пятерней с толстыми пальцами. В этой послужившей на своем веку мускульной машине человек держал пустую папиросную коробку. Его глаза, глубоко запрятанные среди бровей, складок и морщин, цедили тот старческий блестящий взгляд, в котором угадываются и отличная память и тонкий слух.

— Если сцена, — сказал он, входя, — то надо закрывать дверь. Кое-что я слышал. Мамаша Арколь, будьте добры дать немного толченого перцу для рагу. Рагу должно быть с перцем. Будь у меня две руки, — продолжал он в том же спокойном деловом темпе, — я не посмотрел бы на тебя, Лемарен, и вбил бы тебе этот перец в рот. Разве так обращаются с девушкой?

Едва он проговорил это, как толстый человек сделал движение, в котором я ошибиться не мог: он вытянул руку ладонью вниз и стал отводить ее назад, намереваясь ударить Эстампа.

Быстрее его я протянул револьвер к глазам негодяя и нажал спуск, но выстрел, толкнув руку, увел пулю мимо цели.

Толстяка отбросило назад, он стукнулся об этажерку и едва не свалил ее. Все вздрогнули, разбежались и оцепенели; мое сердце колотилось, как гром. Дюрок с неменьшей быстротой направил дуло в сторону Лемарена, а Эстамп прицелился в Варрена.

Мне не забыть безумного испуга в лице толстого хулигана, когда я выстрелил. Тут я понял, что игра временно остается за нами.

— Нечего делать, — сказал, бессильно поводя плечами, Лемарен. — Мы еще не приготовились. Ну, берегитесь! Ваша взяла! Только помните, что подняли руку на Лемарена. Идем, Босс! Идем, Варрен! Встретимся еще как-нибудь с ними, отлично увидимся. Прекрасной Молли привет! Ах, Молли, красотка Молли!

Он проговорил это медленно, холодно, вертя в руках шляпу и взглядывая то на нее, то на всех нас по очереди. Варрен и Босс молча смотрели на него.

Он мигнул им; они вылезли из комнаты один за другим, останавливаясь на пороге; оглядываясь, они выразительно смотрели на Дюрока и Эстампа, прежде чем скрыться. Последним выходил Варрен. Останавливаясь, он поглядел и сказал: — Ну, смотри, Арколь! И ты, Молли! Он прикрыл дверь. В коридоре шептались, затем, быстро прозвучав, шаги утихли за домом.

— Вот, — сказала Молли, бурно дыша. — И все, и ничего более. Теперь надо уходить. Я ухожу, Арколь. Хорошо, что у вас пули.

— Правильно, правильно и правильно! — сказал инвалид. — Такое поведение я одобряю. Когда был бунт на “Альцесте”, я открыл такую пальбу, что все легли брюхом вниз. Теперь что же? Да, я хотел перцу для…

— Не вздумайте выходить, — быстро заговорила Арколь. — Они караулят. Я не знаю, как теперь поступить.

— Не забудьте, что у меня есть лодка, — сказал Эстамп, — она очень недалеко. Ее не видно отсюда, и я поэтому за нее спокоен. Будь мы без Молли…

— Она? — сказал инвалид Арколь, устремляя указательный палец в грудь девушке.

— Да, да, надо уехать.

— Ее? — повторил матрос.

— О, какой вы непонятливый, а еще…

— Туда? — Инвалид махнул рукой за окно.

— Да, я должна уехать, — сказала Молли, — вот придумайте, — ну, скорее, о боже мой!

— Такая же история была на “Гренаде” с юнгой; да, вспомнил. Его звали Санди. И он…

— Я — Санди, — сказал я, сам не зная зачем.

— Ах, и ты тоже Санди? Ну, милочка, какой же ты хороший, ревунок мой. Послужи, послужи девушке! Ступайте с ней. Ступай, Молли. Он твоего роста. Ты дашь ему юбку и — ну, скажем, платьишко, чтобы закутать то место, где лет через десять вырастет борода. Юбку дашь приметную, такую, в какой тебя видали и помнят. Поняла? Ступай, скройся и переряди

человека, который сам сказал, что его зовут Санди. Ему будет дверь, тебе окно. Все!

XI

— В самом деле, — сказал, помолчав, Дюрок, — это, пожалуй, лучше всего.

— Ах, ах! — воскликнула Молли, смотря на меня со смехом и жалостью. — Как же он теперь? Нельзя ли иначе? — Но полное одобрение слышалось в ее голосе, несмотря на притворные колебания.

— Ну, что же, Санди? — Дюрок положил мне на плечо руку. — Решай! Нет ничего позорного в том, чтобы подчиниться обстоятельствам, — нашим обстоятельствам. Теперь все зависит от тебя.

Я воображал, что иду на смерть, пасть жертвой за Ганувера и Молли, но умереть в юбке казалось мне ужасным концом. Хуже всего было то, что я не мог отказаться; меня ждал, в случае отказа, моральный конец, горший смерти. Я подчинился с мужеством растоптанного стыда и смирился перед лицом рока, смотревшего на меня нежными черными глазами Молли. Тотчас произошло заклание. Худо понимая, что делается кругом, я вошел в комнату рядом и, слыша, как стучит мое опозоренное сердце, стал, подобно манекену, неподвижно и глупо. Руки отказывались бороться с завязками и пуговицами. Чрезвычайная быстрота четырех женских рук усыпила и ошеломила меня. Я чувствовал, что смешон и велик, что я — герой и избавитель, кукла и жертва. Маленькие руки поднесли мне зеркало; на голове очутился платок, и, так как я не знал, что с ним делать, Молли взяла мои руки и забрала их вместе с платком под подбородком, тряся, чтобы я понял, как прикрывать лицо. Я увидел в зеркале искаженное расстройством подобие себя и не признал его. Наконец тихий голос сказал: “Спасибо тебе, душечка!” — и крепкий поцелуй в щеку вместе с легким дыханием дал понять, что этим Молли вознаграждает Санди за отсутствие у него усов.

После того все пошло как по маслу, меня быстро вытолкнули к обществу мужчин, от которого я временно отказался. Наступило глубокое, унизительное молчание. Я не смел поднять глаз и направился к двери, слегка путаясь в юбке; я так и ушел бы, но Эстамп окликнул меня: — Не торопись, я пойду с тобой. Нагнав меня у самого выхода, он сказал: — Иди быстрым шагом по той тропинке, так скоро, как можешь, будто торопишься изо всех сил, держи лицо прикрытым и не оглядывайся; выйдя на дорогу, поверни вправо, к Сигнальному Пустырю. А я пойду сзади.

Надо думать, что приманка была хороша, так как, едва прошел я две-три лужайки среди светлого леса, невольно входя в роль и прижимая локти, как делают женщины, когда спешат, как в стороне послышались торопливые голоса.

Шаги Эстампа я слышал все время позади, близко от себя. Он сказал: “Ну, теперь беги, беги во весь дух!” Я полетел вниз с холма, ничего не слыша, что сзади, но, когда спустился к новому подъему, раздались крики: “Молли! Стой, или будет худо!” — это кричал Варрен. Другой крик, Эстампа, тоже приказывал стоять, хотя я и не был назван по имени. Решив, что дело сделано, я остановился, повернувшись лицом к действию.

На разном расстоянии друг от друга по дороге двигались три человека, — ближайший ко мне был Эстамп, — он отступал в полуоборот к неприятелю. К нему бежал Варрен, за Варреном, отстав от него, спешил Босс. “Стойте!” — сказал Эстамп, целясь в последнего. Но Варрен продолжал двигаться, хотя и тише. Эстамп дал выстрел. Варрен остановился, нагнулся и ухватился за ногу.

— Вот как пошло дело! — сказал он, в замешательстве оглядываясь на подбегающего Босса.

— Хватай ее! — крикнул Босс. В тот же момент обе мои руки били крепко схвачены сзади, выше локтя, и с силой отведены к спине, так что, рванувшись, я ничего не выиграл, а только повернул лицо назад, взглянуть на вцепившегося в меня Лемарена. Он обошел лесом и пересек путь. При этих движениях платок свалился с меня. Лемарен уже сказал: — “Мо…”, — но, увидев, кто я, был так поражен, так взбешен, что, тотчас отпустив мои руки, замахнулся обоими кулаками.

— Молли, да не та! — вскричал я злорадно, рухнув ниц и со всей силой ударив его головой между ног, в самом низу — прием вдохновения. Он завопил и свалился через меня. Я на бегу разорвал пояс юбки и выскочил из нее, потом, отбежав, стал трясти ею, как трофеем.

— Оставь мальчишку, — закричал Варрен, — а то она удерет! Я знаю теперь; она побежала наверх, к матросам. Там что-нибудь подготовили. Брось все! Я ранен!

Лемарен не был так глуп, чтобы лезть на человека с револьвером, хотя бы этот человек держал в одной руке только что скинутую юбку: револьвер был у меня в другой руке, и я собирался пустить его в дело, чтобы отразить нападение. Оно не состоялось — вся троица понеслась обратно, грозя кулаками. Варрен хромал сзади. Я еще не опомнился, но уже видел, что отделался дешево. Эстамп подошел ко мне с бледным и серьезным лицом.

— Теперь они постоят у воды, — сказал он, — и будут, так же, как нам, грозить кулаками боту. По воде не пойдешь. Дюрок, конечно, успел сесть с девушкой. Какая история! Ну, впишем еще страницу в твои подвиги и… свернем-ка на всякий случай в лес!

Разгоряченный, изрядно усталый, я свернул юбку и платок, намереваясь сунуть их где-нибудь в куст, потому что, как ни блистательно я вел себя, они напоминали мне, что, условно, не по-настоящему, на полчаса, — но я был все же женщиной. Мы стали пересекать лес вправо, к морю, спотыкаясь среди камней, заросших папоротником. Поотстав, я приметил два камня, сошедшихся вверху краями, и сунул меж них ненатуральное одеяние, от чего пришел немедленно в наилучшее расположение духа.

На нашем пути встретился озаренный пригорок. Тут Эстамп лег, вытянул ноги и облокотился, положив на ладонь щеку.

— Садись, — сказал он. — Надо передохнуть. Да, вот это дело!

— Что же теперь будет? — осведомился я, садясь по-турецки и раскуривая с Эстампом его папиросы. — Как бы не произошло нападение?!

— Какое нападение?!

— Ну, знаете… У них, должно быть, большая шайка. Если они захотят отбить Молли и соберут человек сто…

— Для этого нужны пушки, — сказал Эстамп, — и еще, пожалуй” бесплатные места полицейским в качестве зрителей.

Естественно, наши мысли вертелись вокруг горячих утренних происшествий, и мы перебрали все, что было” со всеми подробностями, соображениями, догадками и ©себе картинными моментами. Наконец мы подошли к нашим впечатлениям от Молли; почему-то этот разговор замялся, но мне все-таки хотелось знать больше, чем то, чему был я свидетелем. Особенно меня волновала мысль о Дигэ. Эта таинственная женщина непременно возникала в моем уме, как только я вспоминал Молли. Об этом я его и спросил.

— Хм… — сказал он. — Дигэ… О, это задача! — И он погрузился в молчание, из которого я не

мог извлечь его никаким покашливанием.

— Известно ли тебе, — сказал он наконец, после того как я решил, что он совсем задремал, — известно ли тебе, что эту траву едят собаки, когда заболеют бешенством?

Он показал острый листок, но я был очень удивлен его глубокомысленным тоном и ничего не сказал. Затем, в молчании, усталые от жары и друг от друга, мы выбрались к морской полосе, пришли на пристань и наняли лодочника. Никто из наших врагов не караулил нас здесь, поэтому мы благополучно переехали залив и высадились в стороне от дома. Здесь был лес, а дальше шел огромный, отлично расчищенный сад. Мы шли садом. Аллеи были пусты. Эстамп провел меня в дом через одну из боковых арок, затем по чрезвычайно путаной, сурового вида лестнице, в большую комнату с цветными стеклами. Он был заметно не в духе, и я понял отчего, когда он сказал про себя: “Дьявольски хочу есть”. Затем он позвонил, приказал слуге, чтобы тот отвел меня к Попу, и, еле передвигая ноги, я отправился через блестящие недра безлюдных стен в настоящее путешествие к библиотеке. Здесь слуга бросил меня. Я постучал и увидел Попа, беседующего с Дюроком.

XII

Когда я вошел, Дюрок доканчивал свою речь. Не помню, что он сказал при мне. Затем он встал и в ответ многочисленным молчаливым кивкам Попа протянул ему руку. Рукопожатие сопровождалось твердыми улыбками с той и другой стороны.

— Как водится, герою уступают место и общество, — сказал мне Дюрок, — теперь, Санди, посвяти Попа во все драматические моменты. Вы можете ему довериться, — обратился он к Попу, — этот ма… человек сущий клад в таких положениях. Прощайте! Меня ждут.

Мне очень хотелось спросить, где Молли и давно ли Дюрок вернулся, так как хотя из этого ничего не вытекало, но я от природы любопытен во всем. Однако на что я решился бы под открытым небом, на то не решался здесь, по стеснительному чувству чужого среди высоких потолков и прекрасных вещей, имеющих свойство оттеснять непривычного в его духовную раковину.

Все же я надеялся много узнать от Попа.

— Вы устали и, наверное, голодны? — сказал Поп. — В таком случае пригласите меня к себе, и мы с вами позавтракаем. Уже второй час.

— Да, я приглашаю вас, — сказал я, малость недоумевая, чем могу угостить его, и не зная, как взяться за это, но не желая уступать никому ни в тоне, ни в решительности. — В самом деле, идем, стрескаем, что дадут.

— Прекрасно,

стрескаем, — подхватил он с непередаваемой интонацией редкого иностранного слова, — но вы не забыли, где ваша комната?

Я помнил и провел его в коридор, второй дверью налево. Здесь, к моему восхищению, повторилось то же, что у Дюрока: потянув шнур, висевший у стены, сбоку стола, мы увидели, как откинулась в простенке меж окон металлическая доска и с отверстием поравнялась никелевая плоскость, на которой были вино, посуда и завтрак. Он состоял из мясных блюд, фруктов и кофе. Для храбрости я выпил полный стакан вина, и, отделавшись таким образом от стеснения, стал есть, будучи почти пьян.

Поп ел мало и медленно, но вина выпил.

— Сегодняшний день, — сказал он, — полон событий, хотя все главное еще впереди. Итак, вы сказали, что произошла схватка?

Я этого не говорил, и сказал, что не говорил.

— Ну, так скажете, — произнес он с милой улыбкой. — Жестоко держать меня в таком нетерпении.

Теперь происшедшее казалось мне не довольно поразительным, и я взял самый высокий тон.

— При высадке на берегу дело пошло на ножи, — сказал я и развил этот самостоятельный текст в виде прыжков, беганья и рычанья, но никого не убил. Потом я сказал: — Когда явился Варрен и его друзья, я дал три выстрела, ранив одного негодяя… — Этот путь оказался скользким, заманчивым; чувствуя, должно быть, от вина, что я и Поп как будто описываем вокруг комнаты нарез, я хватил самое яркое из утренней эпопеи: — Давайте, Молли, — сказал я, — устроим так, чтобы я надел ваше платье и обманул врагов, а вы за это меня поцелуете. И вот…

— Санди, не пейте больше вина, прошу вас, — мягко перебил Поп. — Вы мне расскажете потом, как все это у вас там произошло, тем более, что Дюрок, в общем, уж рассказал.

Я встал, засунул руки в карманы и стал смеяться. Меня заливало блаженством. Я чувствовал себя Дюроком и Ганувером. Я вытащил револьвер и пытался прицелиться в шарик кровати. Поп взял меня за руку и усадил, сказав: — Выпейте кофе, а еще лучше, закурите. Я почувствовал во рту папиросу, а перед носом увидел чашку и стал жадно пить черный кофе. После четырех чашек винтообразный нарез вокруг комнаты перестал увлекать меня, в голове стало мутно и глупо.

— Вам лучше, надеюсь?

— Очень хорошо, — сказал я, — и, чем скорее вы приступите к делу, тем будет лучше.

— Нет, выпейте, пожалуйста, еще одну чашку. Я послушался его и, наконец, стал чувствовать себя прочно сидящим на стуле.

— Слушайте, Санди, и слушайте внимательно. Надеюсь, вам теперь хорошо?

Я был страшно возбужден, но разум и понимание вернулись.

— Мне лучше, — сказал я обычным своим тоном, — мне почти хорошо.

— Раз почти, следовательно, контроль на месте, — заметил Поп. — Я ужаснулся, когда вы налили себе целую купель этого вина, но ничего не сказал, так как не, видел еще вас в единоборстве с напитками. Знаете, сколько этому вину лет? Сорок восемь, а вы обошлись с ним, как с водой. Ну, Санди, я теперь буду вам открывать секреты.

— Говорите, как самому себе!

— Я не ожидал от вас другого ответа. Скажите мне… — Поп откинулся к спинке стула и пристально взглянул на меня. — Да, скажите вот что: умеете вы лазить по дереву?

— Штука нехитрая, — ответил я, — я умею и лазить по нему, и срубить дерево, как хотите. Я могу даже спуститься по дереву головой вниз. А вы?

— О, нет, — застенчиво улыбнулся Поп, — я, к сожалению, довольно слаб физически. Нет, я могу вам только завидовать.

Уже я дал многие доказательства моей преданности, и было бы неудобно держать от меня в тайне общее положение дела, раз требовалось уметь лазить по дереву, по этим соображениям Поп, — как я полагаю, — рассказал многие обстоятельства. Итак, я узнал, что позавчера утром разосланы телеграммы и письма с приглашениями на сегодняшнее торжество и соберется большое общество.

— Вы можете, конечно, догадаться о причинах, — сказал Поп, — если примете во внимание, что Ганувер всегда верен своему слову. Все было устроено ради Молли; он думает, что ее не будет, однако не считает себя вправе признать это, пока не пробило двенадцать часов ночи. Итак, вы догадываетесь, что приготовлен сюрприз?

— О, да, — ответил я, —

я догадываюсь. Скажите, пожалуйста, где теперь эта девушка?

Он сделал вид, что не слышал вопроса, и я дал себе клятву не спрашивать об этом предмете, если он так явно вызывает молчание. Затем Поп перешел к подозрениям относительно Томсона и Галуэя.

— Я наблюдаю их две недели, — сказал Поп, — и, надо вам сказать, что я имею аналитический склад ума, благодаря чему установил стиль этих людей. Но я допускал ошибку. Поэтому, экстренно вызвав телеграммой Дюрока и Эстампа, я все-таки был не совсем уверен в точности своих подозрений. Теперь дело ясно. Все велось и ведется тайно. Сегодня, когда вы отправились в экспедицию, я проходил мимо аквариума, который вы еще не видели, и застал там наших гостей, всех троих. Дверь в стеклянный коридор была полуоткрыта, и в этой части здания вообще почти никогда никто не бывает, так что я появился незамеченным. Томсон сидел на диванчике, покачивая ногой; Дигэ и Галуэй стояли у одной из витрин. Их руки были опущены и сплетены пальцами. Я отступил. Тогда Галуэй нагнулся и поцеловал Дигэ в шею.

— Ага! — вскричал я. — Теперь я все понимаю. Значит, он ей не брат?!

— Вы видите, — продолжал Поп, и его рука, лежавшая на столе, стала нервно дрожать. Моя рука тоже лежала на столе и так же задрожала, как рука Попа. Он нагнулся и, широко раскрыв глаза, произнес: — Вы понимаете? Клянусь, что Галуэй ее любовник, и мы даже не знаем, чем рисковал Ганувер, попав в такое общество. Вы видели золотую цепь и слышали, что говорилось при этом! Что делать?

— Очень просто, — сказал я. — Немедленно донести Гануверу, и пусть он отправит всех их вон в десять минут!

— Вначале я так и думал, но, размыслив о том с Дюроком, пришел вот к какому заключению: Ганувер мне просто-напросто не поверит, не говоря уже о всей щекотливости такого объяснения.

— Как же он не поверит, если вы это

видели!

— Теперь я уже не знаю, видел ли я, — сказал Поп, — то есть видел ли

так, как это было. Ведь это

ужасно серьезное дело. Но довольно того, что Ганувер может усомниться в моем зрении. А

тогда — что? Или я представляю, что я сам смотрю на Дигэ глазами и расстроенной душой Ганувера, — что же, вы думаете, я окончательно и вдруг поверю истории с поцелуем?

— Это правда, — сказал я, сообразив все его доводы. — Ну, хорошо, я слушаю вас. Поп продолжал: — Итак, надо увериться. Если подозрение подтвердится, — а я думаю, что эти три человека принадлежат к высшему разряду темного мира, — то наш план — такой план есть — развернется ровно в двенадцать часов ночи. Если же далее не окажется ничего подозрительного, план будет другой.

— Я вам помогу в таком случае, — сказал я. — Я — ваш. Но вы, кажется, говорили что-то о дереве.

— Вот и дерево, вот мы и пришли к нему. Только это надо сделать, когда стемнеет.

Он сказал, что с одной стороны фасада растет очень высокий дуб, вершина которого поднимается выше третьего этажа. В третьем этаже, против дуба, расположены окна комнат, занимаемых Галуэем, слева и справа от него, в том же этаже, помещаются Томсон и Дигэ. Итак, мы уговорились с Попом, что я влезу на это дерево после восьми, когда все разойдутся готовиться к торжеству, и употреблю в дело таланты, так блестяще примененные мной под окном Молли.

После этого Поп рассказал о появлении Дигэ в доме. Выйдя в приемную на доклад о прибывшей издалека даме, желающей немедленно его видеть, Ганувер явился, ожидая услышать скрипучий голос благотворительницы лет сорока, с сильными жестами и блистающим, как ланцет, лорнетом, а вместо того встретил искусительницу Дигэ. Сквозь ее застенчивость светилось желание отстоять причуду всем пылом двадцати двух лет, сильнейшим, чем рассчитанное кокетство, — смесь трусости и задора, вызова и готовности расплакаться. Она объяснила, что слухи о замечательном доме проникли в Бенарес и не дали ей спать. Она и не будет спать, пока не увидит всего. Жизнь потеряла для нее цену с того дня, когда она узнала, что есть дом с исчезающими стенами и другими головоломными тайнами. Она богата и объездила земной шар, но такого пирожного еще не пробовала.

Дигэ сопровождал брат. Галуэй, лицо которого во время этой тирады выражало просьбу не осудить молодую жизнь, требующую повиновения каждому своему капризу. Закоренелый циник улыбнулся бы, рассматривая пленительное лицо со сказкой в глазах, сияющих всем и всюду. Само собой, она была теперь средневековой принцессой, падающей от изнеможения у ворот волшебного замка. За месяц перед этим Ганувер получил решительное письмо Молли, в котором она сообщала, что уезжает навсегда, не дав адреса, но он временно уже устал горевать — горе, как и счастливое настроение, находит волной. Поэтому все пахнущее свежей росой могло найти доступ к левой стороне его груди. Он и Галуэй стали смеяться. “Ровно через двадцать один день, — сказал Ганувер, — ваше желание исполнится, этот срок назначен не мной, но я верен ему. В этом вы мне уступите, тем более, что есть, на что посмотреть”. Он оставил их гостить; так началось. Вскоре явился Томсон, друг Галуэя, которому тоже отвели помещение. Ничто не вызывало особенных размышлений, пока из отдельных слов, взглядов — неуловимой, но подозрительной психической эманации всех трех лиц — у Попа не создалось уверенности, что необходимо экстренно вызвать Дюрока и Эстампа.

Таким образом, в основу сцены приема Ганувером Дигэ был положен характер Ганувера — его вкусы, представления о встречах и случаях; говоря с Дигэ, он слушал себя, выраженного прекрасной игрой.

Запахло таким густым дымом, как в битве Нельсона с испанским флотом, и я сказал страшным голосом: — Как белка или змея! Поп, позвольте пожать вашу руку и знайте, что Санди, хотя он, может быть, моложе вас, отлично справится с задачей и похитрее!

Казалось, волнениям этого дня не будет конца. Едва я, закрепляя свои слова, стукнул кулаком по столу, как в дверь постучали и вошедший слуга объявил, что меня требует Ганувер.

— Меня? — струсив, спросил я.

— Санди. Это вы — Санди?

— Он — Санди, — сказал Поп, — и я иду с ним.

XIII

Мы прошли сквозь ослепительные лучи зал, по которым я следовал вчера за Попом в библиотеку, и застали Ганувера в картинной галерее. С ним был Дюрок, он ходил наискось от стола к окну и обратно. Ганувер сидел, положив подбородок в сложенные на столе руки, и задумчиво следил, как ходит Дюрок. Две белые статуи в конце галереи и яркий свет больших окон из целых стекол, доходящих до самого паркета, придавали огромному помещению открытый и веселый характер.

Когда мы вошли, Ганувер поднял голову и кивнул. Взглянув на Дюрока, ответившего мне пристальным взглядом понятного предупреждения, я подошел к Гануверу. Он указал стул, я сел, а Поп продолжал стоять, нервно водя пальцами по подбородку.

— Здравствуй, Санди, — сказал Ганувер. — Как тебе нравится здесь? Вполне ли тебя устроили?

— О, да! — сказал я. — Все еще не могу опомниться.

— Вот как?! — задумчиво произнес он и замолчал. Потом, рассеянно поглядев на меня, прибавил с улыбкой: — Ты позван мной вот зачем. Я и мой друг Дюрок, который говорит о тебе в высоких тонах, решили устроить твою судьбу. Выбирай, если хочешь, не теперь, а строго обдумав: кем ты желаешь быть. Можешь назвать любую профессию. Но только не будь знаменитым шахматистом, который, получив ночью телеграмму, отправился утром на состязание в Лисс и выиграл из шести пять у самого Капабланки. В противном случае ты привыкнешь покидать своих друзей в трудные минуты их жизни ради того, чтобы заехать слоном в лоб королю.

— Одну из этих партий, — заметил Дюрок, — я назвал партией Ганувера и, представьте, выиграл ее всего четырьмя ходами.

— Как бы там ни было, Санди осудил вас в глубине сердца, — сказал Ганувер, — ведь так, Санди?

— Простите, — ответил я, — за то, что ничего в этом не понимаю.

— Ну, так говори о своих желаниях!

— Я моряк, — сказал я, — то есть я пошел по этой дороге. Если вы сделаете меня капитаном, мне больше, кажется, ничего не надо, так как все остальное я получу сам.

— Отлично. Мы пошлем тебя в адмиралтейскую школу. Я сидел, тая и улыбаясь.

— Теперь мне уйти? — спросил я.

— Ну, нет. Если ты приятель Дюрока, то, значит, и мой, а поэтому я присоединю тебя к нашему плану. Мы все пойдем смотреть кое-что в этой лачуге. Тебе, с твоим живым соображением, это может принести пользу. Пока, если хочешь, сиди или смотри картины. Поп, кто приехал сегодня?

Я встал и отошел. Я был рассечен натрое: одна часть смотрела картину, изображавшую рой красавиц в туниках у колонн, среди роз, на фоне морской дали, другая часть видела самого себя на этой картине, в полной капитанской форме, орущего красавицам: “Левый галс! Подтянуть грот, рифы и брасы!” — а третья, по естественному устройству уха, слушала разговор.

Не могу передать, как действует такое обращение человека, одним поворотом языка приказывающего судьбе перенести Санди из небытия в капитаны. От самых моих ног до макушки поднималась нервная теплота. Едва принимался я думать о перемене жизни, как мысли эти перебивались картинами, галереей, Ганувером, Молли и всем, что я испытал здесь, и мне казалось, что я вот-вот полечу.

В это время Ганувер тихо говорил Дюроку: — Вам это не покажется странным. Молли была единственной девушкой, которую я любил. Не за что-нибудь, — хотя было “за что”, но по той магнитной линии, о которой мы все ничего не знаем. Теперь все наболело во мне и уже как бы не боль, а жгучая тупость.

— Женщины догадливы, — сказал Дюрок, — а Дигэ наверно проницательна и умна.

— Дигэ… — Ганувер на мгновение закрыл глаза. — Все равно Дигэ лучше других, она, может быть, совсем хороша, но я теперь плохо вижу людей. Я внутренне утомлен. Она мне нравится.

— Так молода, и уже вдова, — сказал Дюрок. — Кто был муж?

— Ее муж был консул, в колонии, какой — не помню.

— Брат очень напоминает сестру, — заметил Дюрок, — я говорю о Галуэе.

— Напротив, совсем не похож! Дюрок замолчал.

— Я знаю, он вам не нравится, — сказал Ганувер, — но он очень забавен, когда в ударе. Его веселая юмористическая злость напоминает собаку-льва.

— Вот еще! Я не видал таких львов.

— Пуделя, — сказал Ганувер, развеселившись, — стриженого пуделя! Наконец мы соединились! — вскричал он, направляясь к двери, откуда входили Дигэ, Томсон и Галуэй.

Мне, свидетелю сцены у золотой цепи, довелось видеть теперь Дигэ в замкнутом образе молодой дамы, отношение которой к хозяину определялось лишь ее положением милой гостьи. Она шла с улыбкой, кивая и тараторя. Томсон взглянул сверх очков; величайшая приятность расползлась по его широкому, мускулистому лицу; Галуэй шел, дергая плечом и щекой.

— Я ожидала застать большое общество, — сказала Дигэ. — Горничная подвела счет и уверяет, что утром прибыло человек двадцать.

— Двадцать семь, — вставил Поп, которого я теперь не узнал. Он держался ловко, почтительно и был своим, а я — я был чужой и стоял, мрачно вытаращив глаза.

— Благодарю вас, я скажу Микелетте, — холодно отозвалась Дигэ, — что она ошиблась.

Теперь я видел, что она не любит также Дюрока. Я заметил это по ее уху. Не смейтесь! Край маленького, как лепесток, уха был направлен к Дюроку с неприязненной остротой.

— Кто же навестил вас? — продолжала Дигэ, спрашивая Ганувера. — Я очень любопытна.

— Это будет смешанное общество, — сказал Ганувер. — Все приглашенные — живые люди.

— Морг в полном составе был бы немного мрачен для торжества, — объявил Галуэй. Ганувер улыбнулся.

— Я выразился неудачно. А все-таки лучшего слова, чем слово

живой, мне не придумать для человека, умеющего наполнять жизнь.

— В таком случае, мы все живы, — объявила Дигэ, — применяя ваше толкование.

— Но и само по себе, — сказал Томсон.

— Я буду принимать вечером, — заявил Ганувер, — пока же предпочитаю бродить в доме с вами, Дюроком и Санди.

— Вы любите моряков, — сказал Галуэй, косясь на меня, — вероятно, вечером мы увидим целый экипаж капитанов.

— Наш Санди один стоит военного флота, — сказал Дюрок.

— Я вижу, он под особым покровительством, и не осмеливаюсь приближаться к нему, — сказала Дигэ, трогая веером подбородок. — Но мне нравятся ваши капризы, дорогой Ганувер, благодаря им вспоминаешь и вашу молодость. Может быть, мы увидим сегодня взрослых Санди, пыхтящих по крайней мере с улыбкой.

— Я не принадлежу к светскому обществу, — сказал Ганувер добродушно, — я — один из случайных людей, которым идиотически повезло и которые торопятся обратить деньги в жизнь, потому что лишены традиции накопления. Я признаю личный этикет и отвергаю кастовый.

— Мне попало, — сказала Дигэ, — очередь за вами, Томсон.

— Я уклоняюсь и уступаю свое место Галуэю, если он хочет.

— Мы, журналисты, неуязвимы, — сказал Галуэй, — как короли, и никогда не точим ножи вслух.

— Теперь тронемся, — сказал Ганувер, — пойдем, послушаем, что скажет об этом Ксаверий.

— У вас есть римлянин? — спросил Галуэй. — И тоже

живой?

— Если не испортился; в прошлый раз начал нести ересь.

— Ничего не понимаю, — Дигэ пожала плечом, — но должно быть что-то захватывающее.

Все мы вышли из галереи и прошли несколько комнат, где было хорошо, как в саду из дорогих вещей, если бы такой сад был. Поп и я шли сзади. При повороте он удержал меня за руку.

— Вы помните наш уговор? Дерево можно не трогать. Теперь задумано и будет все иначе. Я

только что узнал это. Есть новые соображения по этому делу.

Я был доволен его сообщением, начиная уставать от подслушивания, и кивнул так усердно, что подбородком стукнулся в грудь. Тем временем Ганувер остановился у двери, сказав: “Поп!” Юноша поспешил с ключом открыть помещение. Здесь я увидел странную, как сон, вещь. Она произвела на меня, но, кажется, и на всех, неизгладимое впечатление: мы были перед человеком-автоматом, игрушкой в триста тысяч ценой, умеющей говорить.

XIV

Это помещение, не очень большое, было обставлено как гостиная, с глухим мягким ковром на весь пол. В кресле, спиной к окну, скрестив ноги и облокотясь на драгоценный столик, сидел, откинув голову, молодой человек, одетый как модная картинка. Он смотрел перед собой большими голубыми глазами, с самодовольной улыбкой на розовом лице, оттененном черными усиками. Короче говоря, это был точь-в-точь манекен из витрины. Мы все стали против него. Галуэй сказал: — Надеюсь, ваш Ксаверий не говорит, в противном случае, Ганувер, я обвиню вас в колдовстве и создам сенсационный процесс.

— Вот новости! — раздался резкий отчетливо выговаривающий слова голос, и я вздрогнул. — Довольно, если вы обвините себя в неуместной шутке!

— Ах! — сказала Дигэ и увела голову в плечи. Все были поражены. Что касается Галуэя, — тот положительно струсил, я это видел по беспомощному лицу, с которым он попятился назад. Даже Дюрок, нервно усмехнувшись, покачал головой.

— Уйдемте! — вполголоса сказала Дигэ. — Дело страшное!

— Надеюсь, Ксаверий нам не нанесет оскорблений? — шепнул Галуэй.

— Останьтесь, я незлобив, — сказал манекен таким тоном, как говорят с глухими, и переложил ногу на ногу.

— Ксаверий! — произнес Ганувер. — Позволь рассказать твою историю!

— Мне все равно, — ответила кукла. — Я — механизм.

Впечатление было удручающее и сказочное. Ганувер заметно наслаждался сюрпризом. Выдержав паузу, он сказал: — Два года назад умирал от голода некто Никлас Экус, и я получил от него письмо с предложением купить автомат, над которым он работал пятнадцать лет. Описание этой машины было сделано так подробно и интересно, что с моим складом характера оставалось только посетить затейливого изобретателя. Он жил одиноко. В лачуге, при дневном свете, равно озаряющем это чинное восковое лицо и бледные черты неизлечимо больного Экуса, я заключил сделку. Я заплатил триста тысяч и имел удовольствие выслушать ужасный диалог человека со своим подобием. “Ты спас меня!” — сказал Экус, потрясая чеком перед автоматом, и получил в ответ: “Я тебя у б и л”. Действительно, Экус, организм которого был разрушен длительными видениями тонкостей гениального механизма, скончался очень скоро после того, как разбогател, и я, сказав о том автомату, услышал такое замечание: “Он продал свою жизнь так же дешево, как стоит моя!”

— Ужасно! — сказал Дюрок. — Ужасно! — повторил он в сильном возбуждении.

— Согласен. — Ганувер посмотрел на куклу и спросил: — Ксаверий, чувствуешь ли ты что-нибудь?

Все побледнели при этом вопросе, ожидая, может быть, потрясающего “да”, после чего могло наступить смятение. Автомат качнул головой и скоро проговорил: — Я — Ксаверий, ничего не чувствую, потому что ты говоришь сам с собой.

— Вот ответ, достойный живого человека! — заметил Галуэй. — Что, что в этом болване? Как он устроен?

— Не знаю, — сказал Ганувер, — мне объясняли, так как я купил и патент, но я мало что понял. Принцип стенографии, радий, логическая система, разработанная с помощью чувствительных цифр, — вот, кажется, все, что сохранилось в моем уме. Чтобы вызвать слова, необходимо при обращении произносить “Ксаверий”, иначе он молчит.

— Самолюбив, — сказал Томсон.

— И самодоволен, — прибавил Галуэй.

— И самовлюблен, — определила Дигэ. — Скажите ему что-нибудь, Ганувер, я боюсь!

— Хорошо Ксаверий! Что ожидает нас сегодня и вообще?

— Вот это называется спросить основательно! — расхохотался Галуэй. Автомат качнул головой, открыл рот, захлопал губами, и я услышал резкий, как скрип ставни, ответ: — Разве я прорицатель? Все вы умрете; а ты, спрашивающий меня, умрешь первый.

При таком ответе все бросились прочь, как облитые водой.

— Довольно, довольно! — вскричала Дигэ. — Он неуч, этот Ксаверий, и я на вас сердита, Ганувер! Это непростительное изобретение.

Я выходил последним, унося на затылке ответ куклы: “Сердись на саму себя!”

— Правда, — сказал Ганувер, пришедший в заметно нервное состояние, — иногда его речи огорошивают, бывает также, что ответ невпопад, хотя редко. Так, однажды, я произнес: “Сегодня теплый день”, — и мне выскочили слова: “Давай выпьем!”

Все были взволнованы.

— Ну что, Санди? Ты удивлен? — спросил Поп. Я был удивлен меньше всех, так как всегда ожидал самых невероятных явлений и теперь убедился, что мои взгляды на жизнь подтвердились блестящим образом. Поэтому я сказал: — Это ли еще встретишь в загадочных дворцах?! Все рассмеялись. Лишь одна Дигэ смотрела на меня, сдвинув брови, и как бы спрашивала: “Почему ты здесь? Объясни?”

Но мной не считали нужным или интересным заниматься так, как вчера, и я скромно стал сзади. Возникли предположения идти осматривать оранжерею, где помещались редкие тропические бабочки, осмотреть также вновь привезенные картины старых мастеров и статую, раскопанную в Тибете, но после “Ксаверия” не было ни у кого настоящей охоты ни к каким развлечениям. О нем начали говорить с таким увлечением, что спорам и восклицаниям не предвиделось конца.

— У вас много монстров? — сказала Гануверу Дигэ.

— Кое-что. Я всегда любил игрушки, может быть, потому, что мало играл в детстве.

— Надо вас взять в опеку и наложить секвестр на капитал до вашего совершеннолетия, — объявил Томсон.

— В самом деле, — продолжала Дигэ, — такая масса денег на… гм… прихоти. И какие прихоти!

— Вы правы, — очень серьезно ответил Ганувер. — В будущем возможно иное. Я не знаю.

— Так спросим Ксаверия! — вскричал Галуэй.

— Я пошутила. Есть прелесть в безубыточных расточениях.

После этого вознамерились все же отправиться смотреть тибетскую статую. От усталости я впал в одурь, плохо соображая, что делается. Я почти спал, стоя с открытыми глазами. Когда общество тронулось, я, в совершенном безразличии, пошел, было, за ним, но, когда его скрыла следующая дверь, я, готовый упасть на пол и заснуть, бросился к дивану, стоявшему у стены широкого прохода, и сел на него в совершенном изнеможении. Я устал до отвращения ко всему. Аппарат моих восприятии отказывался работать. Слишком много было всего! Я опустил голову на руки, оцепенел, задремал и уснул. Как оказалось впоследствии, Поп возвратился, обеспокоенный моим отсутствием, и пытался разбудить, но безуспешно. Тогда он совершил настоящее предательство — он вернул всех смотреть, как спит Санди Пруэль, сраженный богатством, на диване загадочного дворца. И, следовательно, я был некоторое время зрелищем, но, разумеется, не знал этого.

— Пусть спит, — сказал Ганувер, — это хорошо — спать. Я уважаю сон. Не будите его.

XV

Я забежал вперед только затем, чтобы указать, как был крепок мой сон. Просто я некоторое время не существовал.

Открыв глаза, я повернулся и сладко заложил руки под щеку, намереваясь еще поспать. Меж тем, сознание тоже просыпалось, и, в то время как тело молило о блаженстве покоя, я увидел в дремоте Молли, раскалывающую орехи. Вслед нагрянуло все; холодными струйками выбежал сон из членов моих — и в оцепенении неожиданности, так как после провала воспоминание явилось в потрясающем темпе, я вскочил, сел, встревожился и протер глаза.

Был вечер, а может быть, даже ночь. Огромное лунное окно стояло перед мной. Электричество не горело. Спокойная полутьма простиралась из дверей в двери, среди теней высоких и холодных покоев, где роскошь была погружена в сон. Лунный свет проникал глубину, как бы осматриваясь. В этом смешении сумерек с неприветливым освещением все выглядело иным, чем днем — подменившим материальную ясность призрачной лучистой тревогой. Линия света, отметив по пути блеск бронзовой дверной ручки, колено статуи, серебро люстры, распыливалась в сумраке, одна на всю мраморную даль сверкала неизвестная точка, — зеркала или металлического предмета… почем знать? Вокруг меня лежало неведение. Я встал, пристыженный тем, что был забыт, как отбившееся животное, не понимая, что только деликатность оставила спать Санди Пруэля здесь, вместо того, чтобы волочить его полузаснувшее тело через сотню дверей.

Когда мы высыпаемся, нет нужды смотреть на часы, — внутри нас, если не точно, то с уверенностью, сказано уже, что спали мы долго. Без сомнения, мои услуги не были экстренно нужны Дюроку или Попу, иначе за мной было бы послано. Я был бы разыскан и вставлен опять в ход волнующей опасностью и любовью истории. Поэтому у меня что-то отняли, и я направился разыскивать ход вниз с чувством непоправимой потери. Я заспал указания памяти относительно направления, как шел сюда, — блуждал мрачно, наугад, и так торопясь,

что не имел ни времени, ни желания любоваться обстановкой. Спросонок я зашел к балкону, затем, вывернувшись из обманчиво схожих пространств этой части здания, прошел к лестнице и, опустясь вниз, пополз на широкую площадку с запертыми кругом дверьми. Поднявшись опять, я предпринял круговое путешествие около наружной стены, стараясь видеть все время с одной стороны окна, но никак не мог найти галерею, через которую шел днем; найди я ее, можно было бы рассчитывать если не на немедленный успех, то хотя на то, что память начнет работать. Вместо этого я снова пришел к запертой двери и должен повернуть вспять или рискнуть погрузиться во внутренние проходы, где совершенно темно.

Устав, я присел и, сидя, рвался идти, но выдержал, пока не превозмог огорчения одиночества, лишавшего меня стойкой сообразительности. До этого я не трогал электрических выключателей, не из боязни, что озарится все множество помещений или раздастся звон тревоги, — это приходило мне в голову вчера, — но потому, что не мог их найти. Я взял спички, светил около дверей и по нишам. Я был в прелестном углу среди мебели такого вида и такой хрупкости, что сесть на нее мог бы только чистоплотный младенец. Найдя штепсель, я рискнул его повернуть. Мало было мне пользы; хотя яркий свет сам по себе приятно освежил зрение, озарились, лишь эти стены, напоминающие зеркальные пруды с отражениями сказочных перспектив. Разыскивая выключатели, я мог бродить здесь всю ночь. Итак, оставив это намерение, я вышел вновь на поиски сообщения с низом дома и, когда вышел, услышал негромко доносящуюся сюда прекрасную музыку.

Как вкопанный я остановился: сердце мое забилось. Все заскакало во мне, и обида рванулась едва не слезами. Если до этого моя влюбленность в Дюрока, дом Ганувера, Молли была еще накрепко заколочена, то теперь все гвозди выскочили, и чувства мои заиграли вместе с отдаленным оркестром, слышимым как бы снаружи дома. Он провозгласил торжество и звал. Я слушал, мучаясь. Одна музыкальная фраза, — какой-то отрывистый перелив флейт, — манила и манила меня, положительно она описывала аромат грусти и увлечения. Тогда взволнованный, как будто это была моя музыка, как будто все лучшее, обещаемое ее звуками, ждало только меня, я бросился, стыдясь сам не зная чего, надеясь и трепеща, разыскивать проход вниз.

В моих торопливых поисках я вышагал по неведомым пространствам, местами озаренным все выше восходящей луной, так много, так много раз останавливался, чтобы наспех сообразить направление, что совершенно закружился. Иногда, по близости к центру происходящего внизу, на который попадал случайно, музыка была слышна громче, дразня нарастающей явственностью мелодии. Тогда я приходил в еще большее возбуждение, совершая круги через все двери и повороты, где мог свободно идти. От нетерпения ныло в спине. Вдруг, с зачастившим сердцем, я услышал животрепещущий взрыв скрипок и труб прямо где-то возле себя, как мне показалось, и, миновав колонны, я увидел разрезанную сверху донизу огненной чертой портьеру. Это была лестница. Слезы выступили у меня на глазах. Весь дрожа, я отвел нетерпеливой рукой тяжелую материю, тронувшую по голове, и начал сходить вниз подгибающимися от душевной бури ногами. Та музыкальная фраза, которая пленила меня среди лунных пространств, звучала теперь прямо в уши, и это было как в день славы, после морской битвы у островов Ката-Гур, когда я, много лет спустя, выходил на раскаленную набережную Ахуан-Скапа, среди золотых труб и синих цветов.

XVI

Довольно было мне сойти по этой белой, сверкающей лестнице, среди художественных видений, под сталактитами хрустальных люстр, озаряющих растения, как бы только что перенесенные из тропического леса цвести среди блестящего мрамора, — как мое

настроение выровнялось по размерам происходящего. Я уже не был главным лицом, которому казалось, что его присутствие самое важное. Блуждание наверху помогло тем, что изнервничавшийся, стремительный, я был все же не так расстроен, как могло произойти обыкновенным порядком. Я сам шел к цели, а не был введен сюда. Однако то, что я увидел, разом уперлось в грудь, уперлось всем блеском своим и стало оттеснять прочь. Я начал робеть и, изрядно оробев, остановился, как пень, посреди паркета огромной, с настоящей далью, залы, где расхаживало множество народа, мужчин и женщин, одетых во фраки и красивейшие бальные платья. Музыка продолжала играть, поднимая мое настроение из робости на его прежнюю высоту.

Здесь было человек сто пятьдесят, может быть, двести. Часть их беседовала, рассеявшись группами, часть проходила через далекие против меня двери взад и вперед, а те двери открывали золото огней и яркие глубины стен, как бы полных мерцающим голубым дымом. Но благодаря зеркалам казалось, что здесь еще много других дверей; в их чистой пустоте отражалась вся эта зала с наполняющими ее людьми, и я, лишь всмотревшись, стал отличать настоящие проходы от зеркальных феерий. Вокруг раздавались смех, говор; сияющие женские речи, восклицания, образуя непрерывный шум, легкий шум — ветер нарядной толпы. Возле сидящих женщин, двигающих веерами и поворачивающихся друг к другу, стояли, склоняясь, как шмели вокруг ясных цветов, черные фигуры мужчин в белых перчатках, душистых, щеголеватых, веселых. Мимо меня прошла пара стройных, мускулистых людей с упрямыми лицами; цепь девушек, колеблющихся и легких, — быстрой походкой, с цветами в волосах и сверкающими нитями вокруг тонкой шеи. Направо сидела очень тол стая женщина с взбитой седой прической. В круге расхохотавшихся мужчин стоял плотный, краснощекий толстяк, помахивающий рукой в кольцах; он что-то рассказывал. Слуги, опустив руки по швам, скользили среди движения гостей, лавируя и перебегая с ловкостью танцоров. А музыка, касаясь души холодом и огнем, несла все это, как ветер несет корабль, в Замечательную Страну.

Первую минуту я со скорбью ожидал, что меня спросят, что я тут делаю, и, не получив достаточного ответа, уведут прочь. Однако я вспомнил, что Ганувер назвал меня гостем, что я поэтому равный среди гостей, и, преодолев смущение, начал осматриваться, как попавшая на бал кошка, хотя не смел ни уйти, ни пройти куда-нибудь в сторону. Два раза мне показалось, что я вижу Молли, но — увы! — это были другие девушки, лишь издали похожие на нее. Лакей, пробегая с подносом, сердито прищурился, а я выдержал его взгляд с невинным лицом и даже кивнул. Несколько мужчин и женщин, проходя, взглядывали на меня так, как оглядывают незнакомого, поскользнувшегося на улице. Но я чувствовал себя глупо не с непривычки, а только потому, что был в полном неведении. Я не знал, соединился ли Ганувер с Молли, были ли объяснения, сцены, не знал, где Эстамп, не знал, что делают Поп и Дюрок. Кроме того, я никого не видел из них и в то время, как стал думать об этом еще раз, вдруг увидел входящего из боковых дверей Ганувера.

Еще в дверях, повернув голову, он сказал что-то шедшему с ним Дюроку и немедленно после того стал говорить с Дигэ, руку которой нес в сгибе локтя. К ним сразу подошло несколько человек. Седая дама, которую я считал прилепленной навсегда к своему креслу, вдруг встала, избоченясь, с быстротой гуся, и понеслась навстречу вошедшим. Группа сразу увеличилась, став самой большой из всех групп зала, и мое сердце сильно забилось, когда я увидел приближающегося к ней, как бы из зеркал или воздуха, — так неожиданно оказался он здесь, — Эстампа. Я был уверен, что сейчас явится Молли, потому что подозревал, не был ли весь день Эстамп с ней.

Поколебавшись, я двинулся из плена шумного вокруг меня движения и направился, к Ганувeру, став несколько позади седой женщины, говорившей так быстро, что ее огромный бюст колыхался как пара пробковых шаров, кинутых утопающему.

Ганувер был кроток и бледен. Его лицо страшно осунулось, рот стал ртом старого человека.

Казалось, в нем беспрерывно вздрагивает что-то при каждом возгласе или обращении. Дигэ, сняв свою руку в перчатке, складывала и раздвигала страусовый веер; ее лицо, ставшее еще красивее от смуглых голых плеч, выглядело властным, значительным. На ней был прозрачный дымчатый шелк. Она улыбалась. Дюрок первый заметил меня и, продолжая говорить с худощавым испанцем, протянул руку, коснувшись ею моего плеча. Я страшно обрадовался; вслед за тем обернулся и Ганувер, взглянув один момент рассеянным взглядом, но тотчас узнал меня и тоже протянул руку, весело потрепал мои волосы. Я стал, улыбаясь из глубины души. Он, видимо, понял мое состояние, так как сказал: “Ну что, Санди, дружок?” И от этих простых слов, от его прекрасной улыбки и явного расположения ко мне со стороны людей, встреченных только вчера, вся робость моя исчезла. Я вспыхнул, покраснел и возликовал.

— Что же, поспал? — сказал Дюрок. Я снова вспыхнул. Несколько людей посмотрели на меня с забавным недоумением. Ганувер втащил меня в середину.

— Это мой воспитанник, — сказал он. — Вам, дон Эстебан, нужен будет хороший капитан лет через десять, так вот он, и зовут его Санди… э, как его, Эстамп?

— Пруэль, — сказал я, — Санди Пруэль.

— Очень самолюбив, — заметил Эстамп, — смел и решителен, как Колумб.

Испанец молча вытащил из бумажника визитную карточку и протянул мне, сказав: — Через десять лет, а если я умру, мой сын — даст вам какой-нибудь пароход.

Я взял карточку и, не посмотрев, сунул в карман. Я понимал, что это шутка, игра, у меня явилось желание поддержать честь старого, доброго кондотьера, каким я считал себя в тайниках души.

— Очень приятно, — заявил я, кланяясь с наивозможной грацией. — Я посмотрю на нее тоже через десять лет, а если умру, то оставлю сына, чтобы он мог прочесть, что там написано.

Все рассмеялись.

— Вы не ошиблись! — сказал дон Эстебан Гануверу.

— О! ну, нет, конечно, — ответил тот, и я был оставлен, — при триумфе и сердечном весельи. Группа перешла к другому концу зала. Я повернулся, еще, первый раз свободно вздохнув, прошел между всем обществом, как дикий мустанг среди нервных павлинов, и уселся в углу, откуда был виден весь зал, но где никто не мешал думать.

Вскоре увидел я Томсона и Галуэя с тремя дамами, в отличном расположении духа. Галуэй, дергая щекой, заложив руки в карманы и покачиваясь на носках, говорил и смеялся. Томсон благосклонно вслушивался; одна дама, желая перебить Галуэя, трогала его по руке сложенным веером, две другие, переглядываясь между собой, время от времени хохотали. Итак, ничего не произошло. Но что же было с Молли — девушкой Молли, покинувшей сестру, чтобы сдержать слово, с девушкой, которая, милее и краше всех, кого я видел в этот вечер, должна была радоваться и сиять здесь и идти под руку с Ганувером, стыдясь себя и счастья, от которого хотела отречься, боясь чего-то, что может быть страшно лишь женщине? Какие причины удержали ее? Я сделал три предположения: Молли раздумала и вернулась; Молли больна и — Молли

уже была. — “Да, она была, — говорил я, волнуясь, как за себя, — и ее объяснения с Ганувером не устояли против Дигэ. Он изменил ей. Поэтому он страдает, пережив сцену, глубоко всколыхнувшую его, но бессильную вновь засветить солнце над его помраченной душой”. Если бы я знал, где она теперь, то есть будь она где-нибудь близко, я, наверно,

сделал бы одну из своих сумасшедших штучек, — пошел к ней и привел сюда; во всяком случае, попытался бы привести. Но, может быть, произошло такое, о чем нельзя догадаться. А вдруг она умерла и от Ганувера все скрыто!

Как только я это подумал, страшная мысль стала неотвязно вертеться, тем более, что немногое известное мне в этом деле оставляло обширные пробелы, допускающие любое предположение. Я видел Лемарена; этот сорт людей был мне хорошо знаком, и я знал, как изобретательны хулиганы, одержимые манией или корыстью. Решительно, мне надо было увидеть Попа, чтобы успокоиться.

Сам себе не отдавая в том отчета, я желал радости в сегодняшний вечер не потому только, что хотел счастливой встречи двух рук, разделенных сложными обстоятельствами, — во мне подымалось требование торжества, намеченного человеческой волей и страстным желанием, таким красивым в этих необычайных условиях, Дело обстояло и развертывалось так, что никакого другого конца, кроме появления Молли, — появления, опрокидывающего весь темный план, — веселого плеска майского серебряного ручья, — я ничего не хотел, и ничто другое не могло служить для меня оправданием тому, в чем, согласно неисследованным законам человеческих встреч, я принял невольное, хотя и поверхностное участие.

Не надо, однако, думать, что мысли мои в то время выразились такими, словами, — я был тогда еще далек от привычного искусства взрослых людей, — обводить чертой слова мелькающие, как пена, образы. Но они не остались без выражения; за меня мир мой душевный выражала музыка скрытого на хорах оркестра, зовущая Замечательную Страну.

Да, всего только за двадцать четыре часа Санди Пруэль вырос, подобно растению индийского мага, посаженному семенем и через тридцать минут распускающему зеленые листья. Я был старее, умнее, —

тише. Я мог бы, конечно, с великим удовольствием сесть и играть, катая вареные крутые яйца, каковая игра называется — “съешь скорлупку”, — но мог также уловить суть несказанного в сказанном. Мне, положительно, был необходим Поп, но я не смел еще бродить, где хочу, отыскивая его, и когда он, наконец, подошел, заметив меня случайно, мне как бы подали напиться после соленого. Он был во фраке, перчатках, выглядя оттого по-новому, но мне было все равно. Я вскочил и пошел к нему.

— Ну, вот, — сказал Поп и, слегка оглянувшись, тихо прибавил: — Сегодня произойдет

нечто. Вы увидите. Я не скрываю от вас, потому что возбужден, и вы много сделали нам. Приготовьтесь: еще неизвестно, что может быть.

— Когда? Сейчас?

— Нет. Больше я ничего не скажу. Вы не в претензии, что вас оставили выспаться?

— Поп, — сказал я, не обращая внимания на его рассеянную шутливость, — дорогой Поп, я знаю, что спрашиваю глупо, но… но… я имею право. Я думаю так. Успокойте меня и скажите: что с Молли?

— Ну что вам Молли?! — сказал он, смеясь и пожимая плечами. — Молли, — он сделал ударение, — скоро будет Эмилия Ганувер, и мы пойдем к ней пить чай. Не правда ли?

— Как! Она здесь?

— Нет.

Я молчал с сердитым лицом.

— Успокойтесь, — сказал Поп, — не надо так волноваться. Все будет в свое время. Хотите мороженого?

Я не успел ответить, как он задержал шествующего с подносом Паркера, крайне озабоченное лицо которого говорило о том, что вечер по-своему отразился в его душе, сбив с ног.

— Паркер, — сказал Поп, — мороженого мне и Санди, большие порции.

— Слушаю, — сказал старик, теперь уже с чрезвычайно оживленным, даже заинтересованным видом, как будто в требовании мороженого было все дело этого вечера. — Какого же? Земляничного, апельсинового, фисташкового, розовых лепестков, сливочного, ванильного, крем-брюле или …

— Кофейного, — перебил Поп. — А вам, Санди? Я решил показать “бывалость” и потребовал ананасового, но — увы! — оно было хуже кофейного, которое я попробовал из хрустальной чашки у Попа. Пока Паркер ходил, Поп называл мне имена некоторых людей, бывших в зале, но я все забыл. Я думал о Молли и своем чувстве, зовущем в Замечательную Страну.

Я думал также: как просто, как великодушно по отношению ко мне было бы Попу, — еще днем, когда мы ели и пили, — сказать: “Санди, вот какое у нас дело…” — и ясным языком дружеского доверия посвятить меня в рыцари запутанных тайн. Осторожность, недолгое знакомство и все прочее, что могло Попу мешать, я отбрасывал, даже не трудясь думать об этом, — так я доверял сам себе.

Поп молчал, потом от великой щедрости воткнул в распухшую мою голову последнюю загадку.

— Меня не будет за столом, — сказал он, — очень вас прошу, не расспрашивайте о причинах этого вслух и не ищите меня, чтобы на мое отсутствие было обращено как можно меньше внимания.

— Я не так глуп, — ответил я с обидой, бывшей еще острее от занывшего в мороженом зуба, — не так я глуп, чтобы говорить мне это, как маленькому.

— Очень хорошо, — сказал он сухо и ушел, бросив меня среди рассевшихся вокруг этого места привлекательных, но ненужных мне дам, и я стал пересаживаться от них, пока не очутился в самом углу. Если бы я мог сосчитать количество удивленных взглядов, брошенных на меня в тот вечер разными людьми, — их, вероятно, хватило бы, чтобы заставить убежать с трибуны самого развязного оратора. Что до этого?! Я сидел, окруженный спинами с белыми и розовыми вырезами, вдыхал тонкие духи и разглядывал полы фраков, мешающие видеть движение в зале. Моя мнительность обострилась припадком страха, что Поп расскажет о моей грубости Ганувeру и меня не пустят к столу; ничего не увидев, всеми забытый, отверженный, я буду бродить среди огней и цветов, затем Томеон выстрелит в меня из тяжелого револьвера, и я, испуская последний вздох на руках Дюрока, скажу плачущей надо мной Молли: “Не плачьте. Санди умирает как жил, но он никогда не будет спрашивать вслух, где ваш щеголеватый Поп, потому что я воспитан морем, обучающим молчанию”.

Так торжественно прошла во мне эта сцена и так разволновала меня, что я хотел уже встать, чтобы отправиться в свою комнату, потянуть шнурок стенного лифта и сесть мрачно вдвоем с бутылкой вина. Вдруг появился человек в ливрее с галунами и что-то

громко сказал. Движение в зале изменилось. Гости потекли в следующую залу, сверкающую голубым дымом, и, став опять любопытен, я тоже пошел среди легкого шума нарядной оживленной толпы, изредка и не очень скандально сталкиваясь с соседями по шествию.

XVII

Войдя в голубой зал, где на великолепном паркете отражались огни люстр, а также и мои до колен ноги, я прошел мимо оброненной розы и поднял ее на счастье, что, если в цветке будет четное число лепестков, я увижу сегодня Молли. Обрывая их в зажатую горсть, чтобы не сорить, и спотыкаясь среди тренов, я заметил, что на меня смотрит пара черных глаз с румяного кокетливого лица. “Любит, не любит, — сказала мне эта женщина, — как у вас вышло?” Ее подруги окружили меня, и я поспешно сунул руку в карман, озираясь, среди красавиц, поднявших Санди, правда, очень мило, — на смех. Я сказал: “Ничего не вышло”, — и, должно быть, был уныл при этом, так как меня оставили, сунув в руку еще цветок, который я машинально положил в тот же карман, дав вдруг от большой злости клятву никогда не жениться.

Я был сбит, но скоро оправился и стал осматриваться, куда попал. Между прочим, я прошел три или четыре двери. Если была очень велика первая зала, то эту я могу назвать по праву — громадной. Она была обита зеленым муаром, с мраморным полом, углубления которого тонкой причудливой резьбы были заполнены отполированным серебром. На стенах отсутствовали зеркала и картины; от потолка к полу они были вертикально разделены, в равных расстояниях, лиловым багетом, покрытым мельчайшим серебряным узором. Шесть люстр висело по одной линии, проходя серединой потолка, а промежутки меж люстр и углы зала блестели живописью. Окон не было, других дверей тоже не было; в нишах стояли статуи. Все гости, вошедши сюда, помельчали ростом, как если бы я смотрел с третьего этажа на площадь, — так высок и просторен был размах помещения. Добрую треть пространства занимали столы, накрытые белейшими, как пена морская, скатертями; столы-сады, так как все они сияли ворохами свежих цветов. Столы, или, вернее, один стол в виде четырехугольника, пустого внутри, с проходами внутрь на узких концах четырехугольника, образовывал два прямоугольных “С”, обращенных друг к другу и не совсем плотно сомкнутых. На них сплошь, подобно узору цветных камней, сверкали огни вин, золото, серебро и дивные вазы, выпускающие среди редких плодов зеленую тень ползучих растений, завитки которых лежали на скатерти. Вокруг столов ждали гостей легкие кресла, обитые оливковым бархатом. На равном расстоянии от углов столового четырехугольника высоко вздымались витые бронзовые колонны с гигантскими канделябрами, и в них горели настоящие свечи. Свет был так силен, что в самом отдаленном месте я различал с точностью черты людей; можно сказать, что от света было жарко глазам.

Все усаживались, шумя платьями и движением стульев; стоял рокот, обвеянный гулким эхом. Вдруг какое-нибудь одно слово, отчетливо вырвавшись из гула, явственно облетало стены. Я пробирался к тому месту, где видел Ганувера с Дюроком и Дигэ, но как ни искал, не мог заметить Эстампа и Попа. Ища глазами свободного места на этом конце стола — ближе к двери, которой вошел сюда, я видел много еще не занятых мест, но скорее дал бы отрубить руку, чем сел сам, боясь оказаться вдали от знакомых лиц. В это время Дюрок увидел меня и, покинув беседу, подошел с ничего не значащим видом.

— Ты сядешь рядом со мной, — сказал он, — поэтому сядь на то место, которое будет от меня слева, — сказав это, он немедленно удалился, и в скором времени, когда большинство уселось, я занял кресло перед столом, имея по правую руку Дюрока, а по левую — высокую, тощую, как жердь, даму лет сорока с лицом рыжего худого мужчины и такими длинными ногтями мизинцев, что, я думаю, она могла смело обходиться без вилки. На этой даме бриллианты висели, как смородина на кусте, а острый голый локоть чувствовался в моем боку даже на расстоянии.

Ганувер сел напротив, будучи от меня наискось, а против него между Дюроком и Галуэем поместилась Дигэ. Томсон сидел между Галуэем и тем испанцем, карточку которого я

собирался рассмотреть через десять лет.

Вокруг меня не прерывался разговор. Звук этого разговора перелетал от одного лица к другому, от одного к двум, опять к одному, трем, двум и так беспрерывно, что казалось, все говорят, как инструменты оркестра, развивая каждый свои ноты — слова. Но я ничего не понимал. Я был обескуражен стоящим передо мной прибором. Его надо было бы поставить в музей под стеклянный колпак. Худая дама, приложив к глазам лорнет, тщательно осмотрела меня, вогнав в робость, и что-то сказала, но я, ничего не поняв, ответил: “Да, это так”. Она больше не заговаривала со мной, не смотрела на меня, и я был от души рад, что чем-то ей не понравился. Вообще я был как в тумане. Тем временем, начиная разбираться в происходящем, то есть принуждая себя замечать отдельные черты действия, я видел, что вокруг столов катятся изящные позолоченные тележки на высоких колесах, полные блестящей посуды, из-под крышек которой вьется пар, а под дном горят голубые огни спиртовых горелок. Моя тарелка исчезла и вернулась из откуда-то взявшейся в воздухе руки, — с чем? Надо было съесть это, чтобы узнать. Запахло такой гастрономией, такими хитростями кулинарии, что казалось, стоит съесть немного, как опьянеешь от одного возбуждения при мысли, что ел это ароматическое художество. И вот, как, может быть, ни покажется странным, меня вдруг захлестнул зверский мальчишеский голод, давно накоплявшийся среди подавляющих его впечатлений; я осушил высокий прозрачный стакан с черным вином, обрел самого себя и съел дважды все без остатка, почему тарелка вернулась полная в третий раз. Я оставил ее стоять и снова выпил вина. Со всех сторон видел я подносимые к губам стаканы и бокалы. Под потолком в другом конце зала с широкого балкона грянул оркестр и продолжал тише, чем шум стола, напоминая о блистающей Стране.

В это время начали бить невидимые часы, ясно и медленно пробило одиннадцать, покрыв звуком все, — шум и оркестр. В разговоре, от меня справа, прозвучало слово “Эстамп”.

— Где Эстамп? — сказал Ганувер Дюроку. — После обеда он вдруг исчез и не появлялся. А где Поп?

— Не далее, как полчаса назад, — ответил Дюрок, — Поп жаловался мне на невыносимую мигрень и, должно быть, ушел прилечь. Я не сомневаюсь, что он явится Эстампа же мы вряд ли дождемся.

— Почему?

— А… потому, что я видел его… тэт-а-тэт…

— Т-так, — сказал Ганувер, потускнев, — сегодня все уходят, начиная с утра. Появляются и исчезают. Вот еще нет капитана Орсуны. А я так ждал этого дня…

В это время подлетел к столу толстый черный человек с бритым, круглым лицом, холеным и загорелым.

— Вот я, — сказал он, — не трогайте капитана Орсуну. Ну, слушайте, какая была история! У нас завелись феи!

— Как, — феи?! — сказал Ганувер. — Слушайте, Дюрок, это забавно!

— Следовало привести фею, — заметила Дигэ, делая глоток из узкого бокала.

— Понятно, что вы опоздали, — заметил Галуэй. — Я бы совсем не пришел.

— Ну, да, — вы, — сказал капитан, который, видимо, торопился поведать о происшествии. В одну секунду он выпил стакан вина, ковырнул вилкой в тарелке и стал чистить грушу, помахивая ножом и приподнимая брови, когда, рассказывая, удивлялся сам. — Вы — другое

дело, а я, видите, очень занят. Так вот, я отвел яхту в док и возвращался на катере. Мы плыли около старой дамбы, где стоит заколоченный павильон. Было часов семь, и солнце садилось. Катер шел близко к кустам, которыми поросла дамба от пятого бакена до Ледяного Ручья. Когда я поравнялся с южным углом павильона, то случайно взглянул туда и увидел среди кустов, у самой воды, прекрасную молодую девушку в шелковом белом платье, с голыми руками и шеей, на которой сияло пламенное жемчужное ожерелье. Она была босиком…

— Босиком, — вскричал Галуэй, в то время как Ганувер, откинувшись, стал вдруг напряженно слушать. Дюрок хранил любезную, непроницаемую улыбку, а Дигэ слегка приподняла брови и весело свела их в улыбку верхней части лица. Все были заинтересованы.

Капитан, закрыв глаза, категорически помотал головой и с досадой вздохнул.

— Она была босиком, — это совершенно точное выражение, и туфли ее стояли рядом, а чулки висели на ветке, — ну право же, очень миленькие чулочки, — паутина и блеск. Фея держала ногу в воде, придерживаясь руками за ствол орешника. Другая ее нога, — капитан метнул Дигэ покаянный взгляд, прервав сам себя, — прошу прощения, — другая ее нога была очень мала. Ну, разумеется, та, что была в воде, не выросла за одну минуту…

— Нога… — перебила Дигэ, рассматривая свою тонкую руку.

— Да. Я сказал, что виноват. Так вот, я крикнул: “Стоп! Задний ход!” И мы остановились, как охотничья собака над перепелкой, Я скажу, берите кисть, пишите ее. Это была фея, клянусь честью! — “Послушайте, — сказал я, — кто вы?”… Катер обогнул кусты и предстал перед ее — не то чтобы недовольным, но я сказал бы, — не желающим чего-то лицом. Она молчала и смотрела на нас, я сказал: “Что вы здесь делаете?” Представьте, ее ответ был такой, что я перестал сомневаться в ее волшебном происхождении. Она сказала очень просто и вразумительно, но голосом, — о, какой это красивый был голос! — не простого человека был голос, голос был…

— Ну, — перебил Томсон, с характерной для него резкой тишиной тона, — кроме голоса, было еще что-нибудь?

Разгоряченный капитан нервно отодвинул свой стакан.

— Она сказала, — повторил капитан, у которого покраснели виски, — вот что: “Да, у меня затекла нога, потому что эти каблуки выше, чем я привыкла носить”. Все! А? — Он хлопнул себя обеими руками по коленям и спросил: — Каково? Какая барышня ответит так в такую минуту? Я не успел влюбиться, потому что она, грациозно присев, собрала свое хозяйство и исчезла.

И капитан принялся за вино.

— Это была горничная, — сказала Дигэ, — но так как солнце садилось, его эффект подействовал на вас субъективно. Галуэй что-то промычал. Вдруг все умолкли, — чье-то молчание, наступив внезапно и круто, закрыло все рты. Это умолк Ганувер, и до того почти не проронивший ни слова, а теперь молчавший с странным взглядом и бледным лицом, по которому стекал пот. Его глаза медленно повернулись к Дюроку и остановились, но в ответившем ему взгляде был только спокойный свет.

Ганувер вздохнул и рассмеялся, очень громко и, пожалуй, несколько дольше, чем переносят весы нервного такта.

— Орсуна, радость моя, капитан капитанов! — сказал он. — На мысе Гардена с тех пор, как я купил у Траулера этот дом, поселилось столько народа, что женское население стало очень

разнообразно. Ваша фея Маленькой Ноги должна иметь папу и маму; что касается меня, то я не вижу здесь пока другой феи, кроме Дигэ Альвавиз, но и та не может исчезнуть, я думаю.

— Дорогой Эверест, ваше “пока” имеет не совсем точный смысл, — сказала красавица, владея собой как нельзя лучше и, по-видимому, не придавая никакого значения рассказу Орсуны.

Если был в это время за столом человек, боявшийся обратить внимание на свои пылающие щеки, — то это я. Сердце мое билось так, что вино в стакане, который я держал, вздрагивало толчками. Без всяких доказательств и объяснений я знал уже, что и капитан видел Молли и что она будет здесь здоровая и нетронутая, под защитой верного друзьям Санди.

Разговор стал суше, нервнее, затем перешел в град шуток, которыми осыпали капитана. Он сказал: — Я опоздал по иной причине. Я ожидал возвращения жены с поездом десять двенадцать, но она, как я теперь думаю, приедет завтра.

— Очень жаль, — сказал Ганувер, — а я надеялся увидеть вашу милую Бетси. Надеюсь, фея не повредила ей в вашем сердце?

— Хо! Конечно, нет.

— Глаз художника и сердце бульдога! — сказал Галуэй.

Капитан шумно откашлялся.

— Не совсем так. Глаз бульдога в сердце художника. А впрочем, я налью себе еще этого превосходного вина, от которого делается сразу четыре глаза.

Ганувер посмотрел в сторону. Тотчас подбежал слуга, которому было отдано короткое приказание. Не прошло минуты, как три удара в гонг связали шум, и стало если не совершенно тихо, то довольно покойно, чтоб говорить. Ганувер хотел говорить, — я видел это по устремленным на него взглядам; он выпрямился, положив руки на стол ладонями вниз, и приказал оркестру молчать.

— Гости! — произнес Ганувер так громко, что было всем слышно; отчетливый резонанс этой огромной залы позволял в меру напрягать голос. — Вы — мои гости, мои приятели и друзья. Вы оказали мне честь посетить мой дом в день, когда четыре года назад я ходил еще в сапогах без подошв и не знал, что со мной будет.

Ганувер замолчал. В течение этой сцены он часто останавливался, но без усилия или стеснения, а как бы к чему-то прислушиваясь, — и продолжал так же спокойно: — Многие из вас приехали пароходом или по железной дороге, чтобы доставить мне удовольствие провести с вами несколько дней.

Я вижу лица, напоминающие дни опасности и веселья, случайностей, похождений, тревог, дел и радостей.

Под вашим начальством, Том Клертон, я служил в таможне Сан-Риоля, и вы бросили службу, когда я был несправедливо обвинен капитаном “Терезы” в попустительстве другому пароходу — “Орландо”.

Амелия Корниус! Четыре месяца вы давали мне в кредит комнату, завтрак и обед, и я до сих пор не заплатил вам, — по малодушию или легкомыслию, — не знаю, но не заплатил. На днях мы выясним этот вопрос.

Вильям Вильямсон! На вашей вилле я выздоровел от тифа, и вы каждый день читали мне газеты, когда я после кризиса не мог поднять ни головы, ни руки.

Люк Арадан! Вы, имея дело с таким неврастеником-миллионером, как я, согласились взять мой капитал в свое ведение, избавив меня от деловых мыслей, жестов, дней, часов и минут, и в три года увеличили основной капитал в тридцать семь раз.

Генри Токвиль! Вашему банку я обязан удачным залогом, сохранением секрета и возвращением золотой цепи.

Лейтенант Глаудис! Вы спасли меня на охоте, когда я висел над пропастью, удерживаясь сам не знаю за что.

Георг Барк! Вы бросились за мной в воду с борта “Индианы”, когда я упал туда во время шторма вблизи Адена.

Леон Дегуст! Ваш гений воплотил мой лихорадочный бред в строгую и прекрасную конструкцию того здания, где мы сидим. Я встаю приветствовать вас и поднимаю этот бокал за минуту гневного фырканья, с которым вы первоначально выслушали меня, и высмеяли, и багровели четверть часа; наконец, сказали: “Честное слово, об этом стоит подумать. Но только я припишу на доске у двери: архитектор Дегуст, временно помешавшись, просит здравые умы не беспокоить его месяца три”.

Смотря в том направлении, куда глядел Ганувер, я увидел старого безобразного человека с надменным выражением толстого лица и иронической бровью; выслушав, Дегуст грузно поднялся, уперся ладонями в стол и, посмотрев вбок, сказал: — Я очень польщен.

Выговорив эти три слова, он сел с видом крайнего облегчения. Ганувер засмеялся.

— Ну, — сказал он, вынимая часы, — назначено в двенадцать, теперь без пяти минут полночь. — Он задумался с остывшей улыбкой, но тотчас встрепенулся: — Я хочу, чтобы не было на меня обиды у тех, о ком я не сказал ничего, но вы видите, что я все хорошо помню. Итак, я помню обо всех все, — все встречи и разговоры; я снова пережил прошлое в вашем лице, и я так же в нем теперь, как и тогда. Но я должен еще сказать, что деньги дали мне возможность осуществить мою манию. Мне не объяснить вам ее в кратких словах. Вероятно, страсть эта может быть названа так: могущество жеста. Еще я представлял себе второй мир, существующий за стеной, тайное в явном; непоколебимость строительных громад, которой я могу играть давлением пальца.

И, — я это понял недавно, — я ждал, что, осуществив прихоть, ставшую прямой потребностью, я, в глубине тайных зависимостей наших от формы, найду равное ее сложности содержание. Едва ли мои забавы ума, имевшие, однако, неодолимую власть над душой, были бы осуществлены в той мере, как это сделал по моему желанию Дегуст, если бы не обещание, данное мной… одному лицу — дело относится к прошлому. Тогда мы, два нищих, сидя под крышей заброшенного сарая, на земле, где была закопана нами груда чистого золота, в мечтах своих, естественно, ограбили всю Шехерезаду. Это лицо, о судьбе которого мне теперь ничего неизвестно, обладало живым воображением и страстью обставлять дворцы по своему вкусу. Должен сознаться, я далеко отставал от него в искусстве придумывать. Оно побило меня такими картинами, что я был в восторге. Оно говорило. “Уж если мечтать, то мечтать”…

В это время начало бить двенадцать.

— Дигэ, — сказал Ганувер, улыбаясь ей с видом заговорщика, — ну-ка, тряхните стариной Али-Бабы и его сорока разбойников!

— Что же произойдет? — закричал любопытный голос с другого конца стола. Дигэ встала, смеясь.

— Мы вам покажем! — заявила она, и если волновалась, то нельзя ничего было заметить. — Откровенно скажу, я сама не знаю, что произойдет. Если дом станет летать по воздуху, держитесь за стулья!

— Вы помните — как?.. — сказал Ганувер Дигэ.

— О, да. Вполне.

Она подошла к одному из огромных канделябров, о которых я уже говорил, и протянула руку к его позолоченному стволу, покрытому ниспадающими выпуклыми полосками. Всмотревшись, чтобы не ошибиться, Дигэ нашла и отвела вниз одну из этих полосок. Ее взгляд расширился, лицо слегка дрогнуло, не удержавшись от мгновения торжества, блеснувшего затаенной чертой. И — в то самое мгновение, когда у меня авансом стала кружиться голова, — все осталось, как было, на своем месте. Еще некоторое время бил по нервам тот внутренний счет, который ведет человек, если курок дал осечку, ожидая запоздавшего выстрела, затем поднялись шум и смех.

— Снова! — закричал дон Эстебан.

— Штраф, — сказал Орсуна.

— Нехорошо дразнить маленьких! — заметил Галуэй.

— Фу, как это глупо! — вскричала Дигэ, топнув ногой. — Как вы зло шутите, Ганувер!

По ее лицу пробежала нервная тень; она решительно отошла, сев на свое место и кусая губы.

Ганувер рассердился. Он вспыхнул, быстро встал и сказал: — Я не виноват. Наблюдение за исправностью поручено Попу. Он будет призван к ответу. Я сам…

Досадуя, как это было заметно по его резким движениям, он подошел к канделябру, двинул металлический завиток и снова отвел его. И, повинуясь этому незначительному движению, все стены залы, кругом, вдруг отделились от потолка пустой, светлой чертой и, разом погрузясь в пол, исчезли. Это произошло бесшумно. Я закачался. Я, вместе с сиденьем, как бы поплыл вверх.

XVIII

К тому времени я уже бессознательно твердил: “Молли не будет”, — испытав душевную пустоту и трезвую горечь последнего удара часов, вздрагивая перед тем от каждого восклицания, когда мне чудилось, что появились новые лица. Но падение стен, причем это совершилось так безупречно плавно, что не заколебалось даже вино в стакане, — выколотило из меня все чувства одним ужасным ударом. Мне казалось, что зала взметнулась на высоту, среди сказочных колоннад. Все, кто здесь был, вскрикнули; испуг и неожиданность заставили людей повскакать. Казалось, взревели незримые трубы; эффект подействовал как обвал и обернулся сиянием сказочно яркой силы, — так резко засияло оно.

Чтобы изобразить зрелище, открывшееся в темпе апоплексического удара, я вынужден применить свое позднейшее знание искусства и материала, двинутых Ганувером из небытия в атаку собрания. Мы были окружены колоннадой черного мрамора, отраженной прозрачной глубиной зеркала, шириной не менее двадцати футов и обходящего пол бывшей залы мнимым четырехугольным провалом. Ряды колонн, по четыре в каждом ряду, были

обращены флангом к общему центру и разделены проходами одинаковой ширины по всему их четырехугольному строю. Цоколи, на которых они стояли, были высоки и массивны. Меж колонн сыпались один выше другого искрящиеся водяные стебли фонтанов, — три струи на каждый фонтан, в падении они имели вид изогнутого пера. Все это, повторенное прозрачным отражающим низом, стояло как одна светлая глубина, выложенная вверху и внизу взаимно опрокинутой колоннадой, Линия отражения, находясь в одном уровне с полом залы и полами пространств, которые сверкали из-за колонн, придавала основе зрелища видимость ковров, разостланных в воздухе. За колоннами, в свете хрустальных ламп вишневого цвета, бросающих на теплую белизну перламутра и слоновой кости отсвет зари, стояли залы-видения. Блеск струился, как газ. Перламутр, серебро, белый янтарь, мрамор, гигантские зеркала и гобелены с бисерной глубиной в бледном тумане рисунка странных пейзажей; мебель, прихотливее и прелестнее воздушных гирлянд в лунную ночь, не вызывала даже желания рассмотреть подробности. Задуманное и явленное, как хор, действующий согласием множества голосов, это артистическое безумие сияло из-за черного мрамора, как утро сквозь ночь.

Между тем дальний от меня конец залы, под галереей для оркестра, выказывал зрелище, где его творец сошел из поражающей красоты к удовольствию точного и законченного впечатления. Пол был застлан сплошь бельм мехом, чистым, как слой первого снега. Слева сверкал камин литого серебра с узором из малахита, а стены, от карниза до пола, скрывал плющ, пропуская блеск овальных зеркал ковром темно-зеленых листьев: внизу, на золоченой решетке, обходящей три стены, вился желтый узор роз. Эта комната или маленькая зала, с белым матовым светом одной люстры, — настоящего жемчужного убора из прозрачных шаров, свесившихся опрокинутым конусом, — совершенно остановила мое внимание; я засмотрелся в ее прекрасный уют, и, обернувшись наконец взглянуть, нет ли еще чего сзади меня, увидел, что Дюрок встал, протянув руку к дверям, где на черте входа остановилась девушка в белом и гибком, как она сама, платье, с разгоревшимся, нервно спокойным лицом, храбро устремив взгляд прямо вперед. Она шла, закусив губку, вся — ожидание. Я не узнал Молли, — так преобразилась она теперь; но тотчас схватило в горле, и все, кроме нее, пропало. Как безумный, я закричал: — Смотрите, смотрите! Это Молли! Она пришла! Я знал, что придет!

Ужасен был взгляд Дюрока, которым он хватил меня, как жезлом. Ганувер, побледнев, обернулся, как на пружинах, и все, кто был в зале, немедленно посмотрели в эту же сторону. С Молли появился Эстамп; он только взглянул на Ганувера и отошел. Наступила чрезвычайная тишина, — совершенное отсутствие звука, и в тишине этой, оброненное или стукнутое, тонко прозвенело стекло.

Все стояли по шею в воде события, нахлынувшего внезапно. Ганувер подошел к Молли, протянув руки, с забывшимся и диким лицом. На него было больно смотреть, — так вдруг ушел он от всех к одной, которую ждал. “Что случилось?” — прозвучал осторожный шепот. В эту минуту оркестр, мягко двинув мелодию, дал знать, что мы прибыли в Замечательную Страну.

Дюрок махнул рукой на балкон музыкантам с такой силой, как будто швырнул камнем. Звуки умолкли. Ганувер взял приподнятую руку девушки и тихо посмотрел ей в глаза.

— Это вы, Молли? — сказал он, оглядываясь с улыбкой.

— Это я, милый, я пришла, как обещала. Не грустите теперь!

— Молли, — он хрипло вздохнул, держа руку у горла, потом притянул ее голову и поцеловал в волосы. — Молли! — повторил Ганувер. — Теперь я буду верить всему! — Он обернулся к столу, держа в руке руку девушки, и сказал: — Я был очень беден. Вот моя невеста, Эмилия Варрен. Я не владею собой. Я не могу больше владеть собой, и вы не осудите меня.

— Это и есть фея! — сказал капитан Орсуна. — Клянусь, это она!

Дрожащая рука Галуэя, укрепившего монокль, резко упала на стол.

Дигэ, опустив внимательный взгляд, которым осматривала вошедшую, встала, но Галуэй усадил ее сильным, грубым движением.

— Не смей! — сказал он. — Ты будешь сидеть, Она опустилась с презрением и тревогой, холодно двинув бровью. Томсон, прикрыв лицо рукой, сидел, катая хлебный шарик. Я все время стоял. Стояли также Дюрок, Эстамп, капитан и многие из гостей. На праздник, как на луг, легла тень. Началось движение, некоторые вышли из-за стола, став ближе к нам.

— Это — вы? — сказал Ганувер Дюроку, указывая на Молли.

— Нас было трое, — смеясь, ответил Дюрок. — Я, Санди, Эстамп.

Ганувер сказал: — Что это… — Но его голос оборвался. — Ну, хорошо, — продолжал он, — сейчас не могу я благодарить. Вы понимаете. Оглянитесь, Молли, — заговорил он, ведя рукой вокруг, — вот все то, как вы строили на берегу моря, как это нам представлялось тогда. Узнаете ли вы теперь?

— Не надо… — сказала Молли, потом рассмеялась. — Будьте спокойнее. Я очень волнуюсь.

— А я? Простите меня! Если я помешаюсь, это так и должно быть. Дюрок! Эстамп! Орсуна! Санди, плут! И ты тоже молчал, — вы все меня подожгли с четырех концов! Не сердитесь, Молли! Молли, скажите что-нибудь! Кто же мне объяснит все?

Девушка молча сжала и потрясла его руку, мужественно обнажая этим свое сердце, которому пришлось испытать так много за этот день. Ее глаза были полны слез.

— Эверест, — сказал Дюрок, — это еще не все!

— Совершенно верно, — с вызовом откликнулся Галуэй, вставая и подходя к Гануверу. — Кто, например, объяснит мне кое-что непонятное в деле моей сестры, Дигэ Альвавиз? Знает ли эта девушка?

— Да, — растерявшись, сказала Молли, взглядывая на Дигэ, — я знаю. Но ведь я — здесь.

— Наконец, избавьте меня… — произнесла Дигэ, вставая, — от какой бы то ни было вашей позы, Галуэй, по крайней мере, в моем присутствии.

— Август Тренк, — сказал, прихлопывая всех, Дюрок Галуэю, — я объясню, что случилось. Ваш товарищ, Джек Гаррисон, по прозвищу “Вас-ис-дас” и ваша любовница Этель Мейер должны понять мой намек или признать меня довольно глупым, чтобы уметь выяснить положение. Вы проиграли!

Это было сказано громко и тяжело. Все оцепенели. Гости, покинув стол, собрались тучей вокруг налетевшего действия. Теперь мы стояли среди толпы.

— Что это значит? — спросил Ганувер.

— Это финал! — вскричал, выступая. Эстамп. — Три человека собрались ограбить вас под чужим именем. Каким образом, — вам известно.

— Молли, — сказал Ганувер, вздрогнув, но довольно спокойно, — и вы, капитан Орсуна! Прошу вас, уведите ее. Ей трудно быть сейчас здесь.

Он передал девушку, послушную, улыбающуюся, в слезах, мрачному капитану, который

спросил: “Голубушка, хотите, посидим с вами немного?” — и увел ее. Уходя, она приостановилась, сказав: “Я буду спокойной. Я все объясню, все расскажу вам, — я вас жду. Простите меня!”

Так она сказала, и я не узнал в ней Молли из бордингауза. Это была девушка на своем месте, потрясенная, но стойкая в тревоге и чувстве. Я подивился также самообладанию Галуэя и Дигэ; о Томсоне трудно сказать что-нибудь определенное: услышав, как заговорил Дюрок, он встал, заложил руки в карманы и свистнул.

Галуэй поднял кулак в уровень с виском, прижал к голове и резко опустил. Он растерялся лишь на одно мгновение. Шевеля веером у лица, Дигэ безмолвно смеялась, продолжая сидеть. Дамы смотрели на нее, кто в упор, с ужасом, или через плечо, но она, как бы не замечая этого оскорбительного внимания, следила за Галуэем.

Галуэй ответил ей взглядом человека, получившего удар по щеке.

— Канат лопнул, сестричка! — сказал Галуэй.

— Ба! — произнесла она, медленно вставая, и, притворно зевнув, обвела бессильно высокомерным взглядом толпу лиц, взиравших на сцену с молчаливой тревогой.

— Дигэ, — сказал Ганувер, — что это? Правда? Она пожала плечами и отвернулась.

— Здесь Бей Дрек, переодетый слугой, — заговорил Дюрок. — Он установил тождество этих людей с героями шантажной истории в Ледингенте. Дрек, где вы? Вы нам нужны!

Молодой слуга, с черной прядью на лбу, вышел из толпы и весело кивнул Галуэю.

— Алло, Тренк! — сказал он. — Десять минут тому назад я переменил вашу тарелку.

— Вот это торжество! — вставил Томсон, проходя вперед всех ловким поворотом плеча. — Открыть имя труднее, чем повернуть стену. Ну, Дюрок, вы нам поставили шах и мат. Ваших рук дело!

— Теперь я понял, — сказал Ганувер. — Откройтесь! Говорите все. Вы были гостями у меня. Я был с вами любезен, клянусь, — я вам верил. Вы украли мое отчаяние, из моего горя вы сделали воровскую отмычку! Вы, вы, Дигэ, сделали это! Что вы, безумные, хотели от меня? Денег? Имени? Жизни?

— Добычи, — сказал Галуэй. — Вы меня мало знаете.

— Август, он имеет право на откровенность, — заметила вдруг Дигэ, — хотя бы в виде подарка. Знайте, — сказала она, обращаясь к Гануверу, и мрачно посмотрела на него, в то время как ее губы холодно улыбались, — знайте, что есть способы сократить дни человека незаметно и мирно. Надеюсь, вы оставите завещание?

— Да.

— Оно было бы оставлено мне. Ваше сердце в благоприятном состоянии для решительного опыта без всяких следов.

Ужас охватил всех, когда она сказала эти томительные слова. И вот произошло нечто, от чего я содрогнулся до слез; Ганувер пристально посмотрел в лицо Этель Мейер, взял ее руку и тихо поднес к губам. Она вырвала ее с ненавистью, отшатнувшись и вскрикнув.

— Благодарю вас, — очень серьезно сказал он, — за то мужество, с каким вы открыли себя. Сейчас я был как ребенок, испугавшийся темного угла, но знающий, что сзади него в другой

комнате — светло. Там голоса, смех и отдых. Я счастлив, Дигэ — в последний раз я вас называю “Дигэ”. Я расстаюсь с вами, как с гостьей и женщиной. Бен Дрек, дайте наручники!

Он отступил, пропустив Дрека. Дрек помахал браслетами, ловко поймав отбивающуюся женскую руку; запор звякнул, и обе руки Дигэ, бессильно рванувшись, отразили в ее лице злое мучение. В тот же момент был пойман лакеями пытавшийся увернуться Томсон и выхвачен револьвер у Галуэя. Дрек заковал всех.

— Помните, — сказал Галуэй, шатаясь и задыхаясь, — помните, Эверест Ганувер, что сзади вас не светло! Там не освещенная комната. Вы идиот.

— Что, что? — вскричал дон Эстебан.

— Я развиваю скандал, — ответил Галуэй, — и вы меня не ударите, потому что я окован. Ганувер, вы дурак! Неужели вы думаете, что девушка, которая только что была здесь, и этот дворец — совместимы? Стоит взглянуть на ее лицо. Я вижу вещи, как они есть. Вам была нужна одна женщина, — если бы я ее бросил для вас — моя любовница, Этель Мейер; в этом доме она как раз то, что требуется. Лучше вам не найти. Ваши деньги понеслись бы у нее в хвосте диким аллюром. Она знала бы, как завоевать самую беспощадную высоту. Из вас, ничтожества, умеющего только грезить, обладая Голкондой, она свила бы железный узел, показала прелесть, вам неизвестную, растленной жизни с запахом гиацинта. Вы сделали преступление, отклонив, золото от его прямой цели, — расти и давить, — заставили тигра улыбаться игрушкам, и все это ради того, чтобы бросить драгоценный каприз к ногам девушки, которая будет простосердечно смеяться, если ей показать палец! Мы знаем вашу историю. Она куплена нами и была бы зачеркнута. Была бы! Теперь вы ее продолжаете. Но вам не удается вывести прямую черту. Меж вами и Молли станет двадцать тысяч шагов, которые нужно сделать, чтобы обойти все эти, — клянусь! — превосходные залы, — или она сама сделается Эмилией Ганувер — больше, чем вы хотите того, трижды, сто раз Эмилия Ганувер?

— Никогда! — сказал Ганувер. — Но двадцать тысяч шагов… Ваш счет верен. Однако я запрещаю говорить дальше об этом. Бен Дрек, раскуйте молодца, раскуйте женщину и того, третьего. Гнев мой улегся. Сегодня никто не должен пострадать, даже враги. Раскуйте, Дрек! — повторил Ганувер изумленному агенту. — Вы можете продолжать охоту, где хотите, но только не у меня.

— Хорошо, — ох! — Дрек, страшно досадуя, освободил закованных.

— Комедиант! — бросила Дигэ с гневом и смехом.

— Нет, — ответил Ганувер, — нет. Я вспомнил Молли. Это ради нее. Впрочем, думайте, что хотите. Вы свободны. Дон Эстебан, сделайте одолжение, напишите этим людям чек на пятьсот тысяч, и чтобы я их больше не видел!

— Есть, — сказал судовладелец, вытаскивая чековую тетрадь, в то время, как Эстамп протянул ему механическое перо. — Ну, Тренк, и вы, мадам Мейер, — отгадайте:

поза или

пирог?

— Если бы я мог, — ответил в бешенстве Галуэй, — если бы я мог передать вам свое полнейшее равнодушие к мнению обо мне всех вас, — так как оно есть в действительности, чтобы вы поняли его и остолбенели, — я, не колеблясь, сказал бы: “Пирог” и ушел с вашим чеком, смеясь в глаза. Но я сбит. Вы можете мне не поверить.

— Охотно верим, — сказал Эстамп.

— Такой чек стоит всякой утонченности, — провозгласил Томсон, — и я первый благословляю наносимое мне оскорбление.

— Ну, что там… — с ненавистью сказала Дигэ. Она выступила вперед, медленно подняла руку и, смотря прямо в глаза дону Эстебану, выхватила чек из руки, где он висел, удерживаемый концами пальцев. Дон Эстебан опустил руку и посмотрел на Дюрока.

— Каждый верен себе, — сказал тот, отвертываясь. Эстамп поклонился, указывая дверь.

— Мы вас не удерживаем, — произнес он. — Чек ваш, вы свободны, и больше говорить не о чем.

Двое мужчин и женщина, плечи которой казались сзади в этот момент пригнутыми резким ударом, обменялись вполголоса немногими словами и, не взглянув ни на кого, поспешно ушли. Они больше не казались живыми существами. Они были убиты на моих глазах выстрелом из чековой книжки. Через дверь самое далекое зеркало повторило движения удаляющихся фигур, и я, бросившись на стул, неудержимо заплакал, как от смертельной обиды, среди волнения потрясенной толпы, спешившей разойтись.

Тогда меня коснулась рука, я поднял голову и с горьким стыдом увидел ту веселую молодую женщину, от которой взял розу. Она смотрела на меня внимательно с улыбкой и интересом.

— О, простота! — сказала она. — Мальчик, ты плачешь потому, что скоро будешь мужчиной. Возьми этот, другой цветок на память от Камиллы Флерон!

Она взяла из вазы, ласково протянув мне, а я машинально сжал его — георгин цвета вишни. Затем я, также машинально, опустил руку в карман и вытащил потемневшие розовые лепестки, которыми боялся сорить. Дама исчезла. Я понял, что она хотела сказать

этим, значительно позже.

Георгин я храню по сей день.

XIX

Между тем почти все разошлись, немногие оставшиеся советовались о чем-то по сторонам, вдалеке от покинутого стола. Несколько раз пробегающие взад и вперед слуги были задержаны жестами одиноких групп и беспомощно разводили руками или же давали знать пожатием плеч, что происшествия этого вечера для них совершенно темны. Вокруг тревожной пустоты разлетевшегося в прах торжества без восхищения и внимания сверкали из-за черных колонн покинутые чудеса золотой цепи. Никто более не входил сюда. Я встал и вышел. Когда я проходил третью по счету залу, замечая иногда удаляющуюся тень или слыша далеко от себя звуки шагов, — дорогу пересек Поп. Увидев меня, он встрепенулся.

— Где же вы?! — сказал Поп — Я вас ищу. Пойдемте со мной. Все кончилось очень плохо!

Я остановился в испуге, так что, спеша и опередив меня. Поп должен был вернуться.

— Не так страшно, как вы думаете, но чертовски скверно. У него был припадок. Сейчас там все, и он захотел видеть вас. Я не знаю, что это значит. Но вы пойдете, не правда ли?

— Побежим! — вскричал я. — Ну, ей, должно быть, здорово тяжело!

— Он оправится, — сказал Поп, идя быстрым шагом, но как будто топтался на месте — так я торопился сам. — Ему уже значительно лучше. Даже немного посмеялись. Знаете, он запустил болезнь и никому не пикнул об этом! Вначале я думал, что мы все виноваты. А вы как думаете?

— Что же меня спрашивать? — возразил я с обидой. — Ведь я знаю менее всех!

—

Не очень виноваты, — продолжал он, обходя мой ответ. — В чем-то не виноваты, это я чувствую. Ах, — как он радовался! Те! Это его спальня.

Он постучал в замкнутую высокую дверь, и, когда собирался снова стучать, Эстамп открыл изнутри, немедленно отойдя и договаривая в сторону постели прерванную нашим появлением фразу — “поэтому вы должны спать. Есть предел впечатлениям и усилиям. Вот пришел Санди”.

Я увидел прежде всего сидящую у кровати Молли; Ганувер держал ее руку, лежа с высоко поднятой подушками головой. Рот его был полураскрыт, и он трудно дышал, говоря с остановками, негромким голосам, Между краев расстегнутой рубашки был виден грудной компресс.

В этой большой спальне было так хорошо, что вид больного не произвел на меня тяжелого впечатления. Лишь присмотревшись к его как бы озаренному тусклым светом лицу, я почувствовал скверное настроение минуты.

У другого конца кровати сидел, заложив ногу на ногу, Дюрок, дон Эстебан стоял посредине спальни. У стола доктор возился с лекарствами. Капитан Орсуна ходил из угла в угол, заложив за широкую спину обветренные, короткие руки. Молли была очень нервна, но улыбалась, когда я вошел.

— Сандерсончик! — сказала она, блеснув на момент живостью, которую не раздавило ничто. — Такой был хорошенький в платочке! А теперь… Фу!.. Вы плакали? Она замахала на меня свободной рукой, потом поманила пальцем и убрала с соседнего стула газету.

— Садитесь. Пустите мою руку, — сказала она ласково Гануверу. — Вот так! Сядем все чинно.

— Ему надо спать, — резко заявил доктор, значительно взглядывая на меня и других.

— Пять минут, Джонсон! — ответил Ганувер. — Пришла одна живая душа, которая тоже, я думаю, не терпит одиночества. Санди, я тебя позвал, — как знать, увидимся ли мы еще с тобой? — позвал на пару дружеских слов. Ты видел весь этот кошмар?

— Ни одно слово, сказанное там, — произнес я в лучшем своем стиле потрясенного взрослого, — не было так глубоко спрятано и запомнено, как в моем сердце.

— Ну, ну! Ты очень хвастлив. Может быть и в моем также. Благодарю тебя, мальчик, ты мне тоже помог, хотя сам ты был, как птица, не знающая, где сядет завтра.

— Ох, ох! — сказала Молли. — Ну как же он не знал? У него есть на руке такая надпись, — хотя я и не видела, но слышала.

— А вы?! — вскричал я, задетый по наболевшему месту устами той, которая должна была пощадить меня в эту минуту. — Можно подумать, — как же, — что вы очень древнего

возраста! — Испугавшись собственных слов, едва я удержался сказать лишнее, но мысленно повторял: “Девчонка! Девчонка!”

Капитан остановился ходить, посмотрел на меня, щелкнул пальцами и грузно сел рядом.

— Я ведь не спорю, — сказала девушка, в то время как затихал смех, вызванный моей горячностью. — А может быть, я и правда старше тебя!

— Мы делаемся иногда моложе, иногда — старше, — сказал Дюрок.

Он сидел в той же позе, как на “Эспаньоле”, отставив ногу, откинувшись, слегка опустив голову, а локоть положа на спинку стула.

— Я шел утром по береговому песку и услышал, как кто-то играет на рояле в доме, где я вас нашел, Молли. Точно так было семь лет тому назад, почти в той же обстановке. Я шел тогда к девушке, которой более нет в живых. Услышав эту мелодию, я остановился, закрыл глаза, заставил себя перенестись в прошлое и на шесть лет стал моложе.

Он задумался. Молли взглянула на него украдкой, потом, выпрямившись и улыбаясь, повернулась к Ганувeру.

— Вам очень больно? — сказала она. — Быть может, лучше, если я тоже уйду?

— Конечно, нет, — ответил он. — Санди, Молли, которая тебя так сейчас обидела, была худым черномазым птенцом на тощих ногах всего только четыре года назад. У меня не было ни дома, ни ночлега. Я спал в брошенном бараке.

Девушка заволновалась и завертелась.

— Ах, ах! — вскричала она. — Молчите, молчите! Я вас прошу. Остановите его! — обратилась она к Эстампу.

— Но я уже оканчиваю, — сказал Ганувер, — пусть меня разразит гром, если я умолчу об этом. Она подскакивала, напевала, заглядывала в щель барака дня три. Затем мне были просунуты в дыру в разное время: два яблока, старый передник с печеным картофелем и фунт хлеба. Потом я нашел цепь.

— Вы очень меня обидели, — громко сказала Молли, — очень. — Немедленно она стала смеяться. — Там же и зарыли ее, эту цепь. Вот было жарко! Сандерс, вы чего молчите, позвольте спросить?

— Я ничего, — сказал я. — Я слушаю.

Доктор прошел между нами, взяв руку Ганувера.

— Еще минута воспоминаний, — сказал он, — тогда завтрашний день испорчен. Уйдите, прошу вас!

Дюрок хлопнул по колену рукой и встал. Все подошли к девушке — веселой или грустной? — трудно было понять, так тосковало, мгновенно освещаясь улыбкой или становясь внезапно рассеянным, ее подвижное лицо. Прощаясь, я сказал: “Молли, если я вам понадоблюсь, рассчитывайте на меня!..” — и, не дожидаясь ответа, быстро выскочил первый, почти не помня, как холодная рука Ганувера стиснула мою крепким пожатием.

На выходе сошлись все. Когда вышел доктор Джонсон, тяжелая дверь медленно затворилась. Ее щель сузилась, блеснула последней чертой и исчезла, скрыв за собой двух людей, которым, я думаю, нашлось поговорить кое о чем, — без нас и иначе, чем при нас.

— Вы тоже ушли? — сказал Джонсону Эстамп.

— Такая минута, — ответил доктор. — Я держусь мнения, что врач должен иногда смотреть на свою задачу несколько шире закона, хотя бы это грозило осложнениями. Мы не всегда знаем, что важнее при некоторых обстоятельствах — жизнь или смерть. Во всяком случае, ему пока хорошо.

XX

Капитан, тихо разговаривая с Дюроком, удалился в соседнюю гостиную. За ними ушли дон Эстебан и врач. Эстамп шел некоторое время с Попом и со мной, но на первом повороте, кивнув, “исчез по своим делам”, — как он выразился. Отсюда недалеко было в библиотеку, пройдя которую, Поп зашел со мной в мою комнату и сел с явным изнеможением; я, постояв, сел тоже.

— Так вот, — сказал Поп. — Не знаю, засну ли сегодня.

— Вы их выследили? — спросил я. — Где же они теперь?

— Исчезли, как камень в воде. Дрек сбился с ног, подкарауливая их на всех выходах, но одному человеку трудно поспеть сразу к множеству мест. Ведь здесь двадцать выходов, толпа, суматоха, переполох, и, если они переоделись, изменив внешность, то вполне понятно, что Дрек сплоховал. Ну и он, надо сказать, имел дело с первостатейными артистами. Все это мы узнали потом, от Дрека. Дюрок вытащил его телеграммой; можете представить, как он торопился, если заказал Дреку экстренный поезд! Ну, мы поговорим в другой раз. Второй час ночи, а каждый час этих суток надо считать за три — так все устали. Спокойной ночи!

Он вышел, а я подошел к кровати, думая, не вызовет ли ее вид желания спать. Ничего такого не произошло. Я не хотел спать: я был возбужден и неспокоен. В моих ушах все еще стоял шум; отдельные разговоры без моего усилия звучали снова с характерными интонациями каждого говорящего. Я слышал смех, восклицания, шепот и, закрыв глаза, погрузился в мелькание лиц, прошедших передо мной за эти часы…

Лишь после пяти лет, при встрече с Дюроком я узнал, отчего Дигэ, или Этель Мейер, не смогла в назначенный момент сдвинуть стены и почему это вышло так молниеносно у Ганувера. Молли была в павильоне с Эстампом и женой слуги Паркера. Она сама захотела появиться ровно в двенадцать часов, думая, может быть, сильнее обрадовать Ганувера. Она опоздала совершенно случайно. Между тем, видя, что ее нет, Поп, дежуривший у подъезда, бросился в камеру, где были электрические соединения, и разъединил ток, решив, что, как бы ни было, но Дигэ не произведет предположенного эффекта. Он закрыл ток на две минуты, после чего Ганувер вторично отвел металлический завиток.

Эпилог

I

В 1915 году эпидемия желтой лихорадки охватила весь полуостров и прилегающую к нему часть материка. Бедствие достигло грозной силы; каждый день умирало по пятьсот и более человек.

Незадолго перед тем в числе прочей команды вновь отстроенного парохода “Валкирия”, я был послан принять это судно от судостроительной верфи Ратнера и К° в Лисс, где мы и застряли, так как заболела почти вся нанятая для “Валкирии” команда. Кроме того, строгие карантинные правила по разным соображениям не выпустили бы нас с кораблем из порта ранее трех недель, и я, поселившись в гостинице на набережной Канье, частью скучал, частью проводил время с сослуживцами в буфете гостиницы, но более всего скитался по городу, надеясь случайно встретиться с кем-нибудь из участников истории, разыгравшейся пять лет назад во дворце “Золотая цепь”.

После того, как Орсуна утром на другой день после тех событий увез меня из “Золотой цепи” в Сан-Риоль, я еще не бывал в Лиссе — жил полным пансионером, и за меня платила невидимая рука. Через месяц мне написал Поп, — он уведомлял, что Ганувер умер на третий день от разрыва сердца и что он, Поп, уезжает в Европу, но зачем, надолго ли, а также что стало с Молли я другими, о том ничего не упомянул. Я много раз перечитал это письмо. Я написал также сам несколько писем, но у меня не было никаких адресов, Броме мыса Гардена и дона Эстебана. Эти письма я так и послал. В них я пытался разузнать адреса Попа и Молли, но, так как письмо в “Золотую цепь” было адресовано мной разом Эстампу и Дюроку, — ответа я не получил, может быть, потому, что они уже выехали оттуда. Дон Эстебан ответил; но ответил именно то, что не знает, где Поп, а адрес Молли не сообщает затем, чтобы я лишний раз не напомнил ей о горе своими посланиями. Под конец он советовал мне заняться моими собственными делами.

Итак, я больше никому не писал, но с возмущением и безрезультатно ждал писем еще месяца три, пока не додумался до очень простой вещи: что у всех довольно своих дел и забот, кроме моих. Это открытие было неприятно, но помогло мне наконец оторваться от тех тридцати шести часов, которые я провел среди сильнейших волнений и опасности, восхищения, тоски и любви. Постепенно я стал вспоминать “Золотую цепы”, как отзвучавшую песню, но чтобы ничего не забыть, потратил несколько дней на записывание всех разговоров и случаев того дня: благодаря этой старой тетрадке я могу теперь восстановить все доподлинно. Но еще много раз после того я видел во сне Молли и, кажется, был неравнодушен к ней очень долго, так как сердце мое начинало биться ускоренно, когда где-нибудь слышал я это имя.

На второй день прибытия в Лисс я посетил тот закоулок порта, где стояла “Эспаньола”, когда я удрал с нее. Теперь стояли там две американских шхуны, что не помешало мне вспомнить, как пронзительно гудел ветер ночью перед появлением Дюрока и Эстампа. Я навел также справки о “Золотой цепи”, намереваясь туда поехать на свидание с прошлым, но хозяин гостиницы рассказал, что этот огромный дом взят городскими властями под лазарет и там помещено множество эпидемиков. Относительно судьбы дома в общем известно было лишь, что Ганувер, не имея прямых наследников и не оставив завещания, подверг тем все имущество длительному процессу со стороны сомнительных претендентов, и дом был заперт все время до эпидемии, когда, по его уединенности, найдено было, что он отвечает всем идеальным требованиям гигантского лазарета.

У меня были уже небольшие усы: начала также пушиться нежная борода, такая жалкая, что я усердно снимал ее бритвой. Иногда я с достоинством посматривал в зеркало, сжимал губы и двигал плечом, — плечи стали значительно шире.

Никогда не забывая обо всем этом, держа в уме своем изящество и молодцеватость, я проводил вечера либо в буфете, либо на бульваре, где облюбовал кафе “Тонус”.

Однажды я вышел из кафе, когда не было еще семи часов, — я ожидал приятеля, чтобы идти вместе в театр, но он не явился, прислав подозрительную записку, — известно, какого рода, — а один я не любил посещать театр. Итак, это дело расстроилось. Я спустился к нижней аллее и прошел ее всю, а когда хотел повернуть к городу, навстречу мне попался старик в

летнем пальто, котелке, с тросточкой, видимо, вышедший погулять, так как за его свободную руку держалась девочка лет пяти.

— Паркер! — вскричал я, становясь перед ним лицом к лицу.

— Верно, — сказал Паркер, всматриваясь. Память его усиленно работала, так как лицо попеременно вытягивалось, улыбалось и силилось признать, кто я такой. — Что-то припоминаю, — заговорил он нерешительно, — но извините, последние годы плохо вижу.

— “Золотая цепь”! — сказал я.

— Ах, да! Ну, значит… Нет, разрази бог, — не могу вспомнить.

Я хлопнул его по плечу: — Санди Пруэль, — сказал я, — тот самый,

который все знает!

— Паренек, это ты?! — Паркер склонил голову набок, просиял и умильно заторжествовал:

— О, никак не узнать! Форма к тебе идет! Вырос, раздвинулся. Ну что же, надо поговорить! А меня вот внучка таскает: “пойдем, дед, да пойдем”, — любит со мной гулять.

Мы прошли опять в “Тонус” и заказали вино; девочке заказали сладкие пирожки, и она стала их анатомировать пальцем, мурлыча и болтая ногами, а мы с Паркером унеслись за пять лет назад. Некоторое время Паркер говорил мне “ты”, затем постепенно проникся зрелищем перемены в лице изящного загорелого моряка, носящего штурманскую форму с привычной небрежностью опытного морского волка, — и перешел на “вы”.

Естественно, что разговор был об истории и судьбе лиц, нам известных, а больше всего — о Молли, которая обвенчалась с Дюроком полтора года назад. Кроме того, я узнал, что оба они здесь и живут очень недалеко, — в гостинице “Пленэр”, приехали по делам Дюрока, а по каким именно, Паркер точно не знал, но он был у них, оставшись очень доволен как приемом, так и угощением. Я был удивлен и рад, но больше рад за Молли, что ей не пришлось попасть в цепкие лапы своих братцев. С этой минуты мне уже не сиделось, и я машинально кивал, дослушивая рассказ старика. Я узнал также, что Паркер знал Молли давно, — он был ее дальним родственником с материнской стороны.

— А вы знаете, — сказал Паркер, — что она приезжала накануне того вечера, одна, тайно в “Золотую цепь” и что я ей устроил? Не знаете… Ну, так она приходила проститься с тем домом, который покойник выстроил для нее, как она хотела, — глупая девочка! — и разыскала меня, закутанная платком по глаза. Мы долго ходили там, где можно было ходить, не рассчитывая кого-нибудь встретить. Ее глаза разблестелись, — так была поражена, — известно, Ганувер размахнулся, как он один умел это делать. Да. Большое удовольствие было написано на ее лице, — на нее было вкусно смотреть. Ходила и замирала. Оглядывалась. Постукивала ногой. Стала тихонько петь. Вот, — а это было в проходе между двух зал, — наперерез двери прошла та авантюристка с Ганувером и Галуэем. Молли отошла в тень, и нас никто не заметил. Я взглянул, — совсем другой человек стоял передо мной. Я что-то заговорил, но она махнула рукой, — заторопилась, умолкла и не говорила больше ничего, пока мы не прошли в сад и не разыскали лодку, в которой она приехала. Прощаясь, сказала: “Поклянись, что никому не выдашь, как я ходила здесь

с тобой сегодня”. Я все понял, клятву дал, как она хотела, а про себя думал: “Вот сейчас я изложу ей все свои мнения, чтобы она выбросила эти мысли о Дигэ”. И не мог. Уже пошел слух; я сам не знал, что будет, однако решился, а посмотрю на ее лицо, — нет охоты говорить, вижу по лицу, что говорить запрещает и уходит с обидой. Решался я так три раза и — не решился. Вот какие дела!

Паркер стал говорить дальше; как ни интересно было слушать обо всем, из чего вышли события того памятного вечера, нетерпение мое отправиться к Дюроку росло и разразилось тем, что, страдая и шевеля ногами под стулом, я, наконец, кликнул прислугу, чтоб расплатиться.

— Ну, что же, я вас понимаю, — сказал Паркер, — вам не терпится пойти в “Пленэр”, Да и внучке пора спать. — Он снял девочку со стула и взял ее за руку, а другую руку протянул мне, сказав: — Будьте здоровы!..

— До свидания! — закричала девочка, унося пирожки в пакете и кланяясь. — До свидания! спасибо! спасибо!

— А как тебя зовут? — спросил я.

— Молли! Вот как! — сказала она, уходя с Паркером. Праведное небо! Знал ли я тогда, что вижу свою будущую жену? Такую беспомощную, немного повыше стула?! II

Волнение прошлого. Несчастен тот, кто недоступен этому изысканному чувству; в нем расстилается свет сна и звучит грустное удивление. Никогда, никогда больше не повторится оно! По мере ухода лет, уходит его осязаемость, меняется форма, пропадают подробности. Кажется так, хотя его суть та, — та самая, в которой мы жили, окруженные заботами и страстями. Однако что-то изменилось и в существе. Как человек, выросший лишь умом — не сердцем, может признать себя в портрете десятилетнего, — так и события, бывшие несколько лет назад, изменяются вместе с нами и, заглянув в дневник, многое хочется переписать так, как ощущаешь теперь. Поэтому я осуждаю привычку вести дневник. Напрасная трата времени!

В таком настроении я отправил Дюроку свою визитную карточку и сел, читая газету, но держа ее вверх ногами. Не прошло и пяти минут, а слуга уже вернулся, почти бегом.

— Вас просят, — сказал он, и я поднялся в бельэтаж с замиранием сердца. Дверь открылась, — навстречу мне встал Дюрок. Он был такой же, как пять лет назад, лишь посеребрились виски. Для встречи у меня была приготовлена фраза: “Вы видите перед собой фигуру из мрака прошлого и верно с трудом узнаете меня, так я изменился с тех пор”, — но, сбившись, я сказал только: “Не ожидали, что я приду?”

— О, здравствуй, Санди! — сказал Дюрок, вглядываясь в меня. — Наверно, ты теперь считаешь себя старцем, для меня же ты прежний Санди, хотя и с петушиным баском. Отлично! Ты дома здесь. А Молли, — прибавил он, видя, что я оглядываюсь, — вышла; она скоро придет.

— Я должен вам сказать, — заявил я, впадая в прежнее свое легкомыслие искренности, — что я очень рад был узнать о вашей женитьбе. Лучшую жену, — продолжал я с неуместным и сбивающим меня самого жаром, — трудно найти. Да, трудно! — вскричал я, желая говорить сразу обо веем и бессильный соскочить с первой темы.

— Ты много искал, сравнивал? У тебя большой опыт? — спросил Дюрок, хватая меня за ухо и усаживая. — Молчи. Учись, входя в дом, хотя бы и после пяти лет, сказать несколько незначительных фраз, ходящих вокруг и около

значительного, а потому, как бы значительных.

— Как?! Вы меня учите?”

— Мой совет хорош для всякого места, где тебя еще не знали болтливым и запальчивым мальчуганом. Ну, хорошо. Выкидывай свои пять лет. Звонок около тебя, протяни руку и

позвони.

Я рассказал ему приключения первого моряка в мире, Сандерса Пруэля из Зурбагана (где родился) под самым лучшим солнцем, наиярчайше освещающим только мою фигуру, видимую всем, как статуя Свободы, — за шестьдесят миль.

В это время прислуга внесла замечательный старый ром, который мы стали пить из фарфоровых стопок, вспоминая происшествия на Сигнальном Пустыре и в “Золотой цепи”.

— Хорошая была страница, правда? — сказал Дюрок. Он задумался, его выразительное, твердое лицо отразило воспоминание, и он продолжал: — Смерть Ганувера была для всех нас неожиданностью. Нельзя было подумать. Были приняты меры. Ничто не указывало на печальный исход. Очевидно, его внутреннее напряжение разразилось с большей силой, чем думали мы. За три часа до конца он сидел и говорил очень весело. Он не написал завещания, так как верил, что, сделав это, приблизит конец. Однако смерть уже держала руку на его голове. Но, — Дюрок взглянул на дверь, — при Молли я не буду поднимать разговора об этом, — она плохо спит, если поговорить о тех днях.

В это время раздался легкий стук, дверь слегка приоткрылась и женский голос стал выговаривать рассудительным нежным речитативом: “Настой-чи-во прося впус-тить, нель-зя ли вас преду-пре-дить, что э-то я, ду-ша мо-я…”

— Кто там? — притворно громко осведомился Дюрок.

— При-шла оч-ко-вая змея, — докончил голос, дверь раскрылась, и вбежала молодая женщина, в которой я тотчас узнал Молли. Она была в костюме пепельного цвета и голубой шляпе, При виде меня, ее смеющееся лицо внезапно остыло, вытянулось и снова вспыхнуло.

— Конечно, я вас узнала! — сказала она. — С моей памятью, да не узнать подругу моих юных дней?! Сандерсончик, ты воскрес, милый?! Ну, здравствуй, и прости меня, что я сочиняла стихи, когда ты, наверно, ждал моего появления. Что, уже выпиваете? Ну, отлично, я очень рада, и… и… не знаю, что еще вам сказать. Пока что я сяду.

Я заметил, как смотрел на нее Дюрок, и понял, что он ее очень любит; и оттого, как он наблюдал за ее рассеянными, быстрыми движениями, у меня родилось желание быть когда-нибудь в его положении.

С приходом Молли общий разговор перешел, главным образом, на меня, и я опять рассказал о себе, затем, осведомился, где Поп и Эстамп. Молли без всякого стеснения говорила мне “ты”, как будто я все еще был прежним Санди, да и я, присмотревшись теперь к ней, нашел, что хотя она стала вполне развившейся женщиной, но сохранила в лице и движениях три четверти прежней Молли. Итак, она сказала:

— Попа ты не узнал бы, хотя и “все знаешь”; извини, но я очень люблю дразниться. Поп стал такой важный, такой положительный, что хочется выйти вон! Он ворочает большими делами в чайной фирме. А Эстамп — в Мексике. Он поехал к больной матери; она умерла, а Эстамп влюбился и женился. Больше мы его не увидим.

У меня были желания, которые я не мог выполнить и беспредельно томился ими, улыбаясь и разговаривая, как заведенный. Мне хотелось сказать: “Вскрикнем, — увидимся и ужаснемся, — потонем в волнении прошедшего пять лет назад дня, вернем это острое напряжение всех чувств! Вы, Молли, для меня — первая светлая черта женской юности, увенчанная смехом и горем, вы, Дюрок, — первая твердая черта мужества и достоинства! Я вас встретил внезапно. Отчего же мы сидим так сдержанно? Отчего наш разговор так стиснут, так отвлечен?” Ибо перебегающие разговоры я ценил мало. Жар, страсть, слезы, клятвы, проклятия и рукопожатия, — вот что требовалось теперь мне!

Всему этому — увы! — я тогда не нашел бы слов, но очень хорошо чувствовал, чего не хватает. Впоследствии я узнал, отчего мы мало вспоминали втроем и не были увлечены прошлым. Но и теперь я заметил, что Дюрок правит разговором, как штурвалом, придерживая более к прохладному северу, чем к пылкому югу.

— Кто знает?! — сказал Дюрок на ее “не увидим”. — Вот Сандерс Пруэль сидит здесь и хмелеет мало-помалу. Встречи, да еще неожиданные, происходят чаще, чем об этом принято думать. Все мы возвращаемся на старый след, кроме…

— Кроме умерших, — сказал я глупо и дико. Иногда держишь в руках хрупкую вещь, рассеянно вертишь ее, как — хлоп! — она треснула. Молли призадумалась, потом шаловливо налила мне рома и стала напевать, сказав: “Вот это я сейчас вам сыграю”. Вскочив, она ушла в соседнюю комнату, откуда загремел бурный бой клавиш. Дюрок тревожно оглянулся ей вслед.

— Она устала сегодня, — сказал он, — и едва ли вернется. — Действительно, во все возрастающем громе рояля слышалось упорное желание заглушить иной ритм. — Отлично, — продолжал Дюрок, — пусть она играет, а мы посидим на бульваре. Для такого предприятия мне не найти лучшего спутника, чем ты, потому что у тебя живая душа.

Уговорившись, где встретимся, я выждал, пока затихла музыка, и стал уходить. — “Молли! Санди уходит”, — сказал Дюрок. Она тотчас вышла и начала упрашивать меня приходить часто и “не вовремя”: “Тогда будет видно, что ты друг”. Потом она хлопнула меня по плечу, поцеловала в лоб, сунула мне в карман горсть конфет, разыскала и подала фуражку, а я поднес к губам теплую, эластичную руку Молли и выразил надежду, что она будет находиться в добром здоровье.

— Я постараюсь, — сказала Молли, — только у меня бывают головные боли, очень сильные. Не знаешь ли ты средства? Нет, ты ничего не знаешь, ты лгун со своей надписью! Отправляйся!

Я больше никогда не видел ее. Я ушел, запомнив последнюю виденную мной улыбку Молли, — так, средней веселости, хотя не без юмора, и направился в “Портовый трибун”, — гостиницу, где должен был подождать Дюрока и где, к великому своему удивлению, обрел дядюшку Гро, размахивающего стаканом в кругу компании, восседающей на стульях верхом.
III

Составьте несколько красных клиньев из сырого мяса, и рыжих конских волос, причем не надо заботиться о направлении, в котором торчат острия, разрежьте это сцепление внизу поперечной щелью, а вверху вставьте пару гнилых орехов, и вы получите подобие физиономии Гро.

Когда я вошел, со стула из круга этой компании вскочил, почесывая за ухом, матрос и сказал подошедшему с ним товарищу: “А ну его! Опять врет, как выборный кандидат!”

Я смотрел на Гро с приятым чувством безопасности. Мне было интересно, узнает ли он меня. Я сел за стол, бывший по соседству с его столом, и нарочно громко потребовал холодного пунша, чтобы Гро обратил на меня внимание. Действительно, старый шкипер, как ни был увлечен собственными повествованиями, обернулся на мой крик и печально заметил: — Штурман шутит. То-то, поди, денег много!

— Много ли или мало, — сказал я, — не вам их считать, почтеннейший шкипер!

Гро несочувственно облизал языком усы и обратился к компании.

— Вот, — сказал он, — вот вам живая копия Санди Пруэля! Так же отвечал, бывало, и вечно

дерзил. Смею спросить, нет ли у вас брата, которого зовут Сандерс?

— Нет, я один, — ответил я, — но в чем дело?

— Очень вы похожи на одного молодца, разрази его гром! Такая неблагодарная скотина! — Гро был пьян и стакан держал наклонно, поливая вином штаны. — Я обращался с ним, как отец родной, и воистину отогрел змею! Говорят, этот Санди теперь разбогател, как набоб; про то мне неизвестно, но что он за одну штуку получил, воспользовавшись моим судном, сто тысяч банковыми билетами, — в этом я и сейчас могу поклясться мачтами всего света!

На этом месте часть слушателей ушла, не желая слышать повторения бредней, а я сделал вид, что очень заинтересован историей. Тогда Гро напал на меня, и я узнал о похождениях Санди Пруэля. Вот эта история.

Пять лет назад понадобилось тайно похоронить родившегося от незаконной любви двухголового человека, росшего в заточении и умершего оттого, что одна голова засохла. Ради этого, подкупив матроса Санди Пруэля, неизвестные люди связали Санди, чтобы на него не было подозрения, и вывезли труп на мыс Гардена, где и скрыли его в обширных склепах “Золотой цепи”. За это дело Санди получил сто тысяч, а Гро только пятьсот пиастров, правда, золотых, — но, как видите, очень мало по сравнению с гонораром Санди. Вскорости труп был вынут, покрыт лаком и оживлен электричеством, так что стал как живой отвечать на вопросы и его до сих пор выдают за механическую фигуру. Что касается Санди, — он долго был известен на полуострове, как мот и пьяница, и был арестован в Зурбагане, но скоро выпущен за большие деньги.

На этом месте легенды, имевшей, может быть, еще более поразительное заключение (как странно, даже жутко было мне слышать ее!), вошел Дюрок. Он был в пальто, в шляпе и имел поэтому другой вид, чем ночью, при начале моего рассказа, но мне показалось, что я снова погружаюсь в свою историю, готовую начаться сызнова. От этого напала на меня непонятная грусть. Я поспешно встал, покинул Гро, который так и не признал меня, но, видя, что я ухожу, вскричал: — Штурман, эй, штурман! Один стакан Гро в память этого свинтуса Санди, разорившего своего шкипера!

Я подозвал слугу и в присутствии Дюрока, с любопытством следившего, как я поступлю, заказал для Гро и его собутыльников восемь бутылок портвейна. Потом, хлопнув Гро по плечу так, что он отшатнулся, сказал: — Гро, а ведь я и есть Санди!

Он мотнул головой, всхлипнул и уставился на меня.

Наступило общее молчание.

— Восемь бутылок, — сказал наконец Гро, машинально шаря в кармане и рассматривая мои колени. — Врешь! — вдруг закричал он. Потом Гро сник и повел рукой, как бы отстраняя трудные мысли.

— А, — может быть!.. Может быть. — забормотал Гро. — Гм… Санди! Все может быть! Восемь бутылок, буты..

На этом мы покинули его, вышли и прошли на бульвар, где сели в каменную ротонду. Здесь слышался отдаленный плеск волн; на другой аллее, повыше, играл оркестр. Мы провели славный вечер и обо всем, что здесь рассказано, вспомнили и переговорили со всеми подробностями. Потом Дюрок распрощался со мной и исчез по направлению к гостинице, где жил, а я, покуривая, выпивая и слушая музыку, ушел душой в Замечательную Страну и долго смотрел в ту сторону, где был мыс Гардена. Я размышлял о словах Дюрока про Ганувера: “Его ум требовал живой сказки; душа просила покоя”. Казалось мне, что я опять вижу внезапное появление Молли перед нарядной толпой и слышу ее прерывистые слова:

— Это я, милый! Я пришла, как обещала! Не грустите теперь!

Сердце пустыни

Сердце пустыни

I

Открытие алмазных россыпей в Кордон-Брюн сопровождалось тягой к цивилизации. Нам единственно интересно открытие блистательного кафе. Среди прочей публики мы отметим здесь три скептических ума, — три художественные натуры, — три погибшие души, несомненно талантливые, но переставшие видеть

зерн о. Разными путями пришли они к тому, что видели одну

шелух у.

Это мировоззрение направило их способности к мистификации, как призванию. Мистификация сделалась их религией. И они достигли в своем роде совершенства. Так, например, легенда о бриллианте в тысячу восемьсот каратов, ехидно и тонко обработанная ими меж бокалов шампанского и арией «Жоселена», произвела могучее действие, бросив тысячи проходимцев на поиски чуда к водопаду Альпетри, где, будто над водой, в скале, сверкало чудовище. И так далее. Стелла Дижон благодаря им получила уверенность, что безнадежно влюбленный в нее (чего не было) Гарри Эванс с отчаяния женился на девице О'Нэль. Произошла драма, позорный исход которой не сделал никому чести: Эванс

ста л

думать о Стелле и застрелился .

Гарт, Вебер и Консейль забавлялись. Видения, возникающие в рисунке из дыма крепких сигар, определили их лукаво-беззаботную жизнь. Однажды утром сидели они в кафе в удобных качалках, молча и улыбаясь, подобно авгурам; бледные, несмотря на зной, приветливые, задумчивые; без сердца и будущего.

Их яхта еще стояла в Кордон-Руж, и они медлили уезжать, смакуя впечатления бриллиантового азарта среди грязи и хищного блеска глаз.

Утренняя жара уже никла в тени бананов; открытые двери кафе «Конго» выказывали за проулком дымные кучи земли с взлетающей над ней киркой; среди насыпей белели пробковые шлемы и рдели соломенные шляпы; буйволы тащили фургон.

Кафе было одной из немногих деревянных построек Кордон-Брюна. Здесь — зеркала, пианино, красного дерева буфет.

Гарт, Вебер и Консейль пили. Вошел Эммануил Стиль. II

Вошедший резко отличался от трех африканских снобов красотой, силой сложения и детской верой, что никто не захочет причинить ему ничего дурного, сиявшей в его серьезных глазах. У него большие и тяжелые руки, фигура воина, лицо простофили. Он был одет в дешевый бумажный костюм и прекрасные сапоги. Под блузой выпиралась рукоять револьвера. Его

шляпа, к широким полям которой на затылок был пришит белый платок, выглядела палаткой, вместившей гиганта. Он мало говорит и прелестно кивал, словно склонял голову вместе со всем миром, внимающим его интересу. Короче говоря, когда он входил, хотелось посторониться.

Консейль, мягко качнув головой, посмотрел на сухое уклончиво улыбающееся лицо Гарта; Гарт взглянул на мраморное чело и голубые глаза Консейля; затем оба перемигнулись с Вебером, свирепым, желчным и черным; и Вебер, в свою очередь, метнул им из-под очков тончайшую стрелу, после чего все стали переговариваться.

Несколько дней назад Стиль сидел, пил и говорил с ними, и они

знали его . Это был разговор внутреннего, сухого хохота, во весь рост, — с немного наивной верой во все, что поражает и приковывает внимание; но Стиль даже не подозревал, что его вышутили.

— Это он, — сказал Консейль.

— Человек из тумана, — ввернул Гарт.

— В тумане, — поправил Вебер.

— В поисках таинственного угла.

— Или четвертого измерения.

— Нет; это искатель редкостей, — заявил Гарт.

— Что говорил он тогда о лесе? — спросил Вебер.

Консейль, пародируя Стиля, скороговоркой произнес:

— Этот огромный лес, что тянется в глубь материка на тысячи миль, должен таить копи царя Соломона, сказку Шехерезады и тысячу тысяч вещей, ждущих открытия.

— Положим, — сказал Гарт, поливая коньяком муху, уже опьяневшую в лужице пролитого на стол вина, — положим, что он сказал не так. Его мысль неопределенно прозвучала тогда. Но ее суть такова: «в лесном океане этом должен быть центр наибольшего и наипоразительнейшего неизвестного впечатления, некий Гималай впечатлений, рассыпанных непрерывно». И если бы он знал, как разыскать этот

зенит , — он бы пошел туда.

— Вот странное настроение в Кордон-Брюне, — заметил Консейль, — и богатый материал для игры. Попробуем этого человека.

— Каким образом?

— Я обдумал вещичку, как это мы не раз делали; думаю, что изложу ее довольно

устойчиво . От вас требуется лишь говорить «да» на всякий всякий вопросительный взгляд со стороны

материала .

— Хорошо, — сказали Вебер и Гарт.

— Ба! — немедленно воскликнул Консейль. — Стиль! Садитесь к нам.

Стиль, разговаривавший с буфетчиком, обернулся и подошел к компании. Ему подали стул. III

Вначале разговор носил обычный характер, затем перешел на более интересные вещи.

— Ленивец, — сказал Консейль, — вы, Стиль! Огребли в одной яме несколько тысяч фунтов и успокоились. Продали вы ваши алмазы?

— Давно уже, — спокойно ответил Стиль, — но нет желания предпринимать что-нибудь еще в этом роде. Как новинка прииск мне нравился.

— А теперь?

— Я — новичок в этой стране. Она страшна и прекрасна. Я жду, когда и к чему меня потянет внутри.

— Особый склад вашей натуры я приметил по прошлому нашему разговору, — сказал Консейль. — Кстати, на другой день после того мне пришлось говорить с охотником Пелегрином. Он взял много слоновой кости по ту сторону реки, миль за пятьсот отсюда, среди лесов, так пленяющих ваше сердце. Он рассказал мне о любопытном явлении. Среди лесов высится небольшое плато с прелестным человеческим гнездом, встречаемым неожиданно, так как тропическая чаща в роскошной полутьме своей неожиданно пересекается высокими бревенчатыми стенами, образующими заднюю сторону зданий, наружные фасады которых выходят в густой внутренний сад, полный цветов. Он пробыл там один день, встретив маленькую колонию уже под вечер. Ему послышался звон гитары. Потрясенный, так как только лес, только один лес мог расстилаться здесь, и во все стороны не было даже негритянской деревни ближе четырнадцати дней пути, Пелегрин двинулся на звук, и ему оказали теплое гостеприимство. Там жили семь семейств, тесно связанные одинаковыми вкусами и любовью к цветущей заброшенности — большей заброшенности среди почти недоступных недр конечно трудно представить. Интересный контраст с вполне культурным устройством и обстановкой домов представляло занятие этих Робинзонов пустыни — охота; единственно охотой промышляли они, сплавляя добычу на лодках в Танкос, где есть промышленные агенты, и обменивая ее на все нужное, вплоть до электрических лампочек.

Как попали они туда, как подобрались, как обустроились? Об этом не узнал Пелегрин. Один день, — он не более, как вспышка магния среди развалин, — поймано и ушло, быть может, самое существенное. Но труд был велик. Красивые резные балконы, вьющаяся заросль цветов среди окон с синими и лиловыми маркизами; шкура льва; рояль, рядом ружье; смуглые и беспечные дети с бесстрашными глазами героев сказок; тоненькие и красивые девушки с револьвером в кармане и книгой у изголовья и охотники со взглядом орла, — что вам еще?! Казалось, эти люди сошлись

петь . И Пелегрин особенно ярко запомнил первое впечатление, подобное глухому рисунку: узкий проход меж бревенчатых стен, слева — маленькая рука, махающая с балкона, впереди — солнце и рай.

Вам случалось, конечно, провести ночь в незнакомой семье. Жизнь, окружающая вас, проходит

отрывком , полным очарования, вырванной из

неизвестной книги страницей. Мелькнет не появляющееся в вечерней сцене лицо девушки или старухи; особый, о своем, разговор коснется вашего слуха, и вы не поймете его; свои чувства придадите вы явлениям и вещам, о которых знаете лишь, что они приютили вас; вы

н е вошли в эту жизнь, и потому овеяна она странной поэзией. Так было и с Пелегрином.

Стиль внимательно слушал, смотря прямо в глаза Консейля.

— Я вижу все это, — просто сказал он, —

это огромно. Не правда ли?

— Да, — сказал Вебер, — да.

— Да, — подтвердил Гарт.

— Нет слов выразить, что чувствуешь, — задумчиво и взволнованно продолжал Стиль, — но как я был прав! Где живет Пелегрин?

— О, он выехал с караваном в Ого.

Стиль провел пальцем по столу прямую черту, сначала тихо, а затем быстро, как бы смахнул что-то.

— Как называлось то место? — спросил он. — Как его нашел Пелегрин?

— Сердце Пустыни, — сказал Консейль. — Он встретил его по прямой линии между Кордон-Брюн и озером Бан. Я не ошибся, Гарт?

— О, нет.

— Еще подробность, — сказал Вебер, покусывая губы, — Пелегрин упомянул о трамплине, — одностороннем лесистом скате на север, пересекавшем диагональю его путь. Охотник, разыскивая своих, считавших его погибшим, в то время как он был лишь оглушен падением дерева, шел все время на юг.

— Скат переходит в плато? — Стиль повернулся всем корпусом к тому, кого спрашивал.

Тогда Вебер сделал несколько топографических указаний, столь точных, что Консейль предостерегающе посматривал на него, насвистывая: «Куда торопишься, красотка, еще ведь солнце не взошло…» Однако ничего не случилось.

Стиль выслушал все и несколько раз кивнул своим теплым кивком. Затем он поднялся неожиданно быстро, его взгляд, когда он прощался, напоминал взгляд проснувшегося. Он не замечал, как внимательно схватываются все движения его шестью острыми глазами холодных людей. Впрочем, трудно было решить по его наружности, что он думает, — то был человек сложных движений.

— Откуда, — спросил Консейль Вебера, — откуда у вас эта уверенность в неизвестном, это знание местности?

— Отчет экспедиции Пена. И

моя память.

— Так. Ну, что же теперь?

— Это уж его дело, — сказал смеясь Вебер, — но поскольку я знаю людей… Впрочем, в конце недели мы отплываем.

Свет двери пересекла тень. В двери стоял Стиль.

— Я вернулся, но не войду, — быстро сказал он. — Я прочел порт на корме яхты. Консейль — Мельбурн, а еще…

— Флаг-стрит, 2, — так же ответил Консейль — И…

— Все, благодарю.

Стиль исчез.

— Это, пожалуй, выйдет, — хладнокровно заметил Гарт, когда молчание сказало что-то каждому из них по-особому. — И он

найдет вас .

— Что?

— Такие не прощают.

— Ба, — кивнул Консейль. — Жизнь коротка. А свет — велик. IV

Прошло два года, в течение которых Консейль побывал еще во многих местах, наблюдая разнообразие жизни с вечной попыткой насмешливого вмешательства в ее головокружительный лет; но наконец и это утомило его. Тогда он вернулся в свой дом, к едкому наслаждению одиночеством без эстетических судорог дез-Эссента, но с горем холодной пустоты, которого не мог сознавать.

Тем временем воскресали и разбивались сердца; гремел мир; и в громе этом выделился звук ровных шагов. Они смолкли у подъезда Консейля; тогда он получил карточку, напоминавшую Кордон-Брюн.

— Я принимаю, — сказал после короткого молчания Консейль, чувствуя среди изысканной неприятности своего положения живительное и острое любопытство. — Пусть войдет Стиль.

Эта встреча произошла на расстоянии десяти сажен огромной залы, серебряный свет которой остановил, казалось, всей прозрачной массой своей показавшегося на пороге Стиля. Так он стоял несколько времени, присматриваясь к замкнутому лицу хозяина. В это мгновение оба почувствовали, что свидание неизбежно; затем быстро сошлись.

— Кордон-Брюн, — любезно сказал Консейль. — Вы исчезли, и я уехал, не подарив вам гравюры Морада, что собирался сделать. Она в вашем вкусе, — я хочу сказать, что фантастический пейзаж Сатурна, изображенный на ней, навевает тайны вселенной.

— Да, — Стиль улыбался. — Как видите, я помнил ваш адрес. Я записал его. Я пришел сказать, что был в Сердце Пустыни и получил то же, что Пелегрин, даже больше, так как я живу там.

— Я виноват, — сухо сказал Консейль, — но мои слова — мое дело, и я отвечаю за них. Я к вашим услугам, Стиль.

Смеясь, Стиль взял его бесстрастную руку, поднял ее и хлопнул по ней.

— Да нет же, — вскричал он, — не то. Вы не поняли. Я сделал Сердце Пустыни. Я! Я не нашел его, так как его там, конечно, не было, и понял, что вы шутили. Но шутка была красива. О чем-то таком, бывало, мечтал и я. Да, я всегда любил открытия, трогающие сердце подобно хорошей песне. Меня называли чудаком — все равно. Признаюсь, я смертельно позавидовал Пелегрину, а потому отправился один, чтобы быть в сходном с ним положении. Да, месяц пути показал мне,

что этот лес. Голод… и жажда… один; десять дней лихорадки. Палатки у меня не было. Огонь костра казался мне цветным, как радуга. Из леса выходили белые лошади. Пришел умерший брат и сидел, смотря на меня; он все шептал, звал куда-то. Я глотал хину и пил. Все это задержало, конечно. Змея укусила руку; как взорвало меня — смерть. Я взял себя в руки, прислушиваясь, что скажет тело. Тогда, как собаку, потянуло меня к какой-то траве, и я ел ее; так я спасся, но изошел потом и спал. Везло, так сказать. Все было, как во сне: звери, усталость, голод и тишина; и я убивал зверей. Но не было ничего на том месте, о котором говорилось тогда; я исследовал все плато, спускающееся к маленькому притоку в том месте, где трамплин расширяется. Конечно, все стало ясно мне. Но там подлинная красота, — есть вещи, о которые слова бьются, как град о стекло, — только звенит…

— Дальше, — тихо сказал Консейль.

—

Нужно было , что бы он был там, — кротко продолжал Стиль. — Поэтому я спустился на плоте к форту и заказал со станционером нужное количество людей, а также все материалы, и сделал, как было в вашем рассказе и как мне понравилось. Семь домов. На это ушел год. Затем я пересмотрел тысячи людей, тысячи сердец, разъезжая и разыскивая по многим местам. Конечно, я

н е

мог не найти, раз есть такой я, — это понятно. Так вот, поедемте взглянуть, видимо, у вас дар художественного воображения, и мне хотелось бы знать,

так ли

вы представляли .

Он выложил все это с ужасающей простотой мальчика, рассказывающего из всемирной истории.

Лицо Консейля порозовело. Давно забытая музыка прозвучала в его душе, и он вышагал неожиданное волнение по диагонали зала, потом остановился, как вкопанный.

— Вы — турбина, — сдавленно сказал он, — вы знаете, что вы — турбина. Это не оскорбление.

— Когда ясно видишь что-нибудь… — начал Стиль.

— Я долго спал, — перебил его сурово Консейль. — Значит… Но как похоже это на грезу! Быть может, надо еще жить, а?

— Советую, — сказал Стиль.

— Но

его не было. Не было.

— Был. — Стиль поднял голову без цели произвести впечатление, но от этого жеста оно кинулось и загремело во всех углах. — Он был. Потому, что я его нес в сердце своем.

Из этой встречи и из беседы этой вытекло заключение, сильно напоминающее сухой бред изысканного ума в Кордон-Брюн. Два человека, с глазами, полными оставленного сзади громадного глухого пространства, уперлись в бревенчатую стену, скрытую чащей. Вечерний луч встретил их, и с балкона над природной оранжереей сада прозвучал тихо напевающий

голос женщины.

Стиль улыбнулся, и Консейль понял его улыбку.

Лошадиная голова

Он умер от злости… Шатобриан

I

Приехав на разработку Пульта, Фицрой застал некоторых лиц в трауре. Молоденькая жена Добба Конхита, ее мать и “местный житель”, как он рекомендовал себя сам, бродячий Диоген этих мест, охотник Энох Твиль, изменились, как бывает после болезни. Они разучились улыбаться и говорить громко.

Багровый Пульт, сидя в душной палатке, продолжал пить, но поверх грязного полотняного рукава его блузы был нашит креп. Сквозь пьянство светилось удручение. “Вы знаете, что произошло здесь?! — встретил он Фицроя, поддевая циркулем кусок копченого языка: — Добб упал в пропасть”.

Казалось, он продолжает разговор, начавшийся только что. Беспорядок временного жилища Пульта ничем не отличался от состояния, в каком покинул палатку Фицрой одиннадцать дней назад; среди чертежей, свесившихся со стола завитками старой виньетки, стояла та же бутылка малинового стекла и та же алюминиевая тарелка, с единственной разницей, что тогда на ней были остывшие макароны. Смотря на нее, Фицрой поймал мысль “Хочу ли, чтобы те макароны были теперь?” Это равнялось веселому и живому Доббу. Но он еще не разобрался в себе и почему-то откладывал разбираться.

Перед тем, как заглянуть в остановившееся лицо вдовы, Фицрой знал уже все от служащих. “Как громом поразило меня”, — сказал он Пульту, — солгал и знал, что солгал. “Да, подумайте! — закричал Пульт, — кроме того, что жалко, — Добб был моей правой рукой”.

— Прекрасный, энергичный работник! — с жаром солгал Фицрой еще раз и стал противен себе. — “И не все ли равно теперь, — подумал он, — не я же столкнул его. Я только хотел, чтобы он умер. Но мое право думать, что я хочу”. — И он сказал почти правду: — Добб умер. Смерть эта ужасна. Но я устал думать о ней.

— Как?! — переспросил Пульт. — Выпейте, вы что-то путаете, это прояснит ваши мозги.

— Вы знаете, что может случиться при местной жаре от чрезмерного употребления спирта?

— Да, жила в мозгу. А что?

— Мокрое полотенце, — сурово ответил Фицрой, — купанье и молоко.

Пульт вытаращил глаза, прыснул и расхохотался. Все затряслось под его локтем.

— Дикий, безобразный шутник! — сказал он, вытирая усы кистью. — Я пью, но… Мы живем раз. Вы отправитесь на А31. Хина и лекарь там.

Фицрой опустил глаза. Перед ним встала Конхита прежних дней. Он не мог уйти от нее и от еще чего-то, принявшего неопределенную форму Лошадиной Головы.

— Только три дня, Пульт, — сдержанно заговорил он. — В конце концов при вашей ужасной

манере дробить горы самому, почти не сходя с места.

— Впрочем, — рассеянно перебил Пульт, — побудьте пока с Доббами. Им очень тяжело.

— И мне тоже, — сказал, выходя, Фицрой. Теперь он не лгал. Он не лгал и себе, когда, ведя в поводу лошадь, особенным, верхним взглядом рассматривал строго и грустно обширную долину с насыпями карьеров, столбами шахт и линиями канав. Работы, начатые по оригинальному плану Пульта одиннадцать дней назад, вызвали бы у него привычную мысль о могуществе человеческого ума; теперь эти следы стали на диком пейзаже казались царапинами, сделанными тупым ножом по дубовой доске. Он заметил также, что не хочет есть, хотя поел лишь рано утром. Жар солнечных лучей раздражал его, как прикосновение колючего и липкого меха.

Он правильно сцепил мысли, надеясь вызвать наконец чувства мести и торжества. “Добб умер, так поступил бы я с ним, если бы не боялся суда. И я смотрел бы сверху, как исчезает с криком в пустоте это бодрое, любимое тело. Я все равно что видел. Вот мое черное счастье; его цвет будет носить Конхита. Я зол, зол, зол; его смерть сладка”.

Слова эти, эти мысли мешались с кроткими словами любви. Он не понимал, как ласка, которой было полно его существо, и светлая грусть о недоступной душе, и мольба к ней — могут вместить зло. Он думал и не испытывал торжества. II

Войдя в свое помещение, Фицрой понял, что среди этой полупоходной обстановки, оставшейся совершенно нетронутой, тоже исчезло навсегда нечто, — как будто умерла часть прежнего впечатления. Скоро он понял, что умерло: “приход Добба”, — Добб более не придет сюда. Он не придет также к жене и матери. Первый раз в жизни он чувствовал, как много исчезает вокруг с исчезновением человека, составлявшего часть жизни, хотя бы и ненавистную часть. Думая о Доббе, он видел безмолвную пустоту везде, где в его мысли мог жить и быть Добб: в горах, шахтах, перед собой и всюду, о чем он думал, как о месте, связанном с фигурой приятеля.

Зная, что никто не увидит его, и если увидит, то никогда не постигнет той смеси презрения и вызова по отношению к самому себе, — не ощутит пружины движения, заставившего подойти к зеркалу, — Фицрой остановился перед стеклом и быстро заглянул в собственные глаза. Даже видя лицо, ему было трудно поместить внутренний мир свой в черты зеркального двойника, — черты были красивы и грустны. Бледность и загар смешались в этом лице с ясностью прозрачных сумерек; выражение не было ни подлым, ни хитрым, лишь в глазах тронулось и исчезло нечто подобное мгновенно вильнувшему хвосту лисы. “Это мое лицо. Я зол. Я жесток. Я рад”.

— Мой рад, масса, — сказал негр, внося кофейник. — Твой приехал, не захворал.

— Рад? — переспросил Фицрой, хмурясь и вглядываясь в него.

— Очень рада, был хорошо здоров.

— Ты врешь, черная собака, — сказал Фицрой, вдруг посинев от злобы и тоски.

Негр, съежившись, отступил. Его жалобно оскаленный рот и сморщенные от страха глаза еще более обозлили Фицроя.

— Лжешь, — повторил он. — Ты был бы рад, если бы я валялся в пыли и гнили.

— Уфф! — сказал негр, пятясь. — Масса больной. Твой пьет кофей, горячий; хороша будет.

Фицрой рассеянно отвернулся. “Все мы говорим так”, — пробормотал он. Затем прошло несколько минут в тупом и горьком недоумении перед лицом жизни, которую он любил так

нежно и тяжело. Кофе, как показалось ему, отзывался железом. Он нехотя выпил полстакана, затем отправился к вдове Добба.

У колодца ему пересек дорогу Энох Твиль, махая рукой. Он бежал, но перейдя в шаг и поздоровавшись, дышал не чаще, чем мы, когда встаем со стула. От легкой фигуры старика веяло сродством с движением и горами. Седые волосы, подстриженные на его крутом лбу, окружали ввалившееся, с острым носом, лицо косматым четырехугольником, прищуренные желтые глаза блестели шестьюдесятью годами солнца и ветра. Он был в темном жилете поверх красной блузы и остроконечной шапке из рыжей белки. Догнав Фицроя, Твиль остановился и, прижав локтем ружье, с которым не расставался, стал закуривать папиросу. Взгляд его исподлобья не покидал глаз Фицроя.

— Вернулись? — сказал он. — Да, было дело. Все знаете? Это произошло на том месте тропы, на повороте, как раз против Головы. Накануне я выследил медведя, но пройти можно было только тропой. Конечно, ходили не раз. Я отстал. Как он вскрикнул, — было уже поздно, хотя я все понял. Потом я осмотрел место. Потоки нанесли щебня, и он скользнул по нему, как на коньках. Еще при мне упало несколько крупинок песку, а внизу было еще тише, чем всегда. Не сразу я пошел назад. А самое страшное, — что он здесь только что был.

— Был? — повторил Фицрой.

— Да. Он стоял и писал карандашом на скале. Но об этом не надо говорить ей. Она не могла пойти туда смотреть вниз, но если сказать — может пойти, и тогда он умрет для нее второй раз.

— О! — Фицрой улыбнулся. — Что же написал Добб?

— Ничего такого. На него, должно быть, нашло. Я не был женат, но могу понять это. Так, — различные нежности.

— Это похоже на него, — сказал Фицрой, вспомнив стихи Добба и выражение его лица, когда он произносил: “Конхита”. — Я иду к нему… к ним.

— Я любил парня. — Твиль стал возить шапку на голове, кусая усы. — У него был такой вид, как будто он здесь прожил сто лет. Ну… и песни, — поет, бывало… Прощайте.

Твиль коротко давнул холодную руку Фицроя горячей, старой рукой, и его согнутая упруго спина стала удаляться. Фицрой смотрел вслед; впервые сладкая, терпкая острота тайной усмешки вызвала у него полный вздох. “Все вы любили его, и я тоже, и может быть больше вас. По крайней мере, я не переставал думать о нем. — Он посмотрел еще глубже в себя: — И вот, — нет тебя, милая влюбленная суета, легкое и горячее дыхание с глаза на глаз, улыбка по моему адресу… а она должна была быть”. — Вскипев, он сжал кулаки, но радовался приливу злобы, так как с ней ему было легче войти к Конхите.

Но лишь он увидел ее, все лучшее его души тронулось и потемнело сочувствием, хотя тут же мгновенно растаял весь рисунок эгоистического расчета на действие времени и силу собственного своего чувства. Войдя в эти стены, он дышал горем, напоминающим их, но не мог говорить просто, не думая о словах. Невольно — и неудачно — подбирались они мертвой схемой, их тон был глух и неясен.

Фицрой представил трагедию в угнетающе-театральном духе, но на деле все произошло просто, как сама смерть. Обстановка не изменилась, лишь перед фотографией Добба стояли пунцовые лесные цветы; в их отсвете, при опущенных занавесках окон, лицо Добба казалось розовым.

— Мать спит. Она стала слаба, бредит. Будем говорить тихо. — Прямой взгляд молодой

женщины был суров, как после примирения, когда улеглось не все и есть еще о чем горько и трудно сказать.

Всматриваясь в нее, он старался понять ее состояние. Всегда она производила на него впечатление того отчасти умилительного свойства, когда думаешь, что в обиде или горе такая шаловливо-хорошенькая женщина непременно обхватит руками первого попавшегося, плача и жалуясь на его груди как ребенок. Случись это теперь, он все простил бы ей и ему. Но было ясно, что они неизмеримо дальше друг от друга, чем в день, когда, выслушав его до половины, Конхита сжала руку Фицроя, быстро сказав: “У меня только одно сердце. За него уцепился ваш друг Добб. Но будь у меня второе сердце, я, может быть, отдала бы его вам”.

Она была в черном платье. Счастливое лицо, о котором он тосковал, исчезло; то лицо, какое увидел он теперь, было отуманено потрясением и жутко, до холода в душе, напряжено силой не испытанного никогда горя. Во время разговора она нервно проводила по лицу рукой или, бессознательно захватив пальцами край узкого рукава, стискивала его зябким движением. В потемневших глазах не было ни слез, ни опухлости, но взгляд дрожал, непрерывно пересекаясь одной мыслью. Эта мысль тотчас передалась Фицрою уходящей в глухой туман чертой падающего тела.

Он не мог просто сидеть и молчать с нею; это было возможно лишь другу или приятелю Добба. Он был тайный враг. Поэтому он заговорил:

— Ужасно! Ужасно, Конхита, вот все, что я могу вам сказать.

Она несколько оживилась, поверив его искренности, так как нуждалась в ней, хотя продолжала пристально и ревниво всматриваться в замкнутое лицо.

— Да. На днях мы уезжаем. Я начала бы укладываться теперь, но мне жаль маму. До сих пор она ничего не ест и очень слаба.

— Можно ли говорить об этом?

— Вам нужно.

— Я буду слушать вас. Вы ходили туда?

— Я не в силах. А вы знаете, — она нагнулась к нему, странно блеснув глазами, — если думать только о нем и не дышать, может быть, можно было бы на миг увидеть его; потом — все равно.

— Там тьма, глухая тьма! — вскрикнул Фицрой. — Выбросьте это из головы!

— Быть может, есть иной свет, Фицрой. Мы никогда не узнаем. На прошлой неделе, в пятницу, пришел Твиль. Когда только я догадалась по его лицу, — он сказал прямо в чем дело.

— Ужас, — сказал Фицрой. — Если бы вы знали, как мне вас жаль.

— Я все хожу и думаю. Но нечего и не о чем думать. Его нет. Странно, не правда ли?

— Крепитесь, Конхита. — Он искал горячих, бурных и твердых слов, но не нашел их. — Постепенно это пройдет, станет легче.

— Ну, нет. И вы знаете, что так говорить жестоко.

Он смолк, осваиваясь со смыслом ее слов, тронувших злорадные голоса, и не мог удержаться, чтобы не приоткрыть далеким, неизобличенным намеком истину своих чувств.

— Жестоко, — подтвердил он, — и правильно. Все проходит, все гаснет в собственной своей тени.

— Вероятно, вы правы, но я сейчас не хочу думать об этом; думать так.

— Простите меня, — покорно сказал Фицрой.

Ее волнение улеглось. Подумав и кусая платочек, она взяла из ящика письменного стола черепаховый портсигар и, скрыв его в пригоршне, протянула, тихо улыбаясь, Фицрою.

— Вам это будет очень приятно, — прошептала она, — берите, это от него на память, и думайте о нем хорошо. И ради бога не потеряйте.

Приподняв руку, Фицрой отпрянул всем существом, непримиримо волнуясь, — столько наивной беспощадности было в этом, так трогательно выраженном подношении, что резкая боль, сжав его сердце, одолела сдержанность, и он возмутился. Право самозащиты было неоспоримо. И он не хотел лгать так громко, как надо было солгать сейчас. Эти протянутые в горе руки отнимали у него единственное черное утешение, они посягали на тайны его сердца, стремясь исказить их.

— Но… — Фицрой напряженно улыбнулся, — я не знаю… Вы можете пожалеть.

— Это вам, — сказала она, не понимая его колебания.

Тогда он решительно положил руку на портсигар и на ее пальцы, сжав все в затрепетавший комок, и тихонько оттолкнул, передавая взглядом, что думал. С медленно поднимающимся удовольствием полного отчаяния увидел он беззащитно побледневшее лицо.

— Что значит… это? — Вырвав руки, Конхита отвела их и спрятала за спиной. — Говорите.

— Я не возьму подарка, — сказал Фицрой, радуясь, что перешагнул в пустоту. — Я не могу взять. Вы не имеете права ни предлагать, ни настаивать.

— О! я не настаиваю. Могу ли я вслух понять выражение вашего лица?

— Да, и я не спрячу его.

— Тогда… вы обманули Добба. Вы — враг.

— Я — враг, — сказал как в тумане Фицрой, — враг, и всегда буду врагом памяти этого человека. Но я не враг вам.

— Еще удар. — Она смотрела на него без гнева, сдвинув брови и постукивая носком ботинка. — Слава богу, удар этот, — ничто в сравнении с тем ударом.

Фицрой взял фуражку.

— Мне ничего не осталось, — задумчиво проговорил он, — я не знаю, жалею ли я вас в эту минуту. Не надо было дарить. Тогда я ничего не сказал бы вам. Может быть, вы поймете меня, так как сам себя я понимаю довольно плохо. Проще всего — поставить себя на мое место. Знайте, что и мне не сладко. Однако простите. Вместо разговора о вас произошел разговор обо мне. Я не хотел этого.

— Низкая, низкая ненависть! — крупные, тяжелые слезы скользнули по вздрагивающему лицу Конхиты. — Фицрой, не смейте ненавидеть его!

— Я ненавижу, — грустно, сильно и глубоко сказал Фицрой, открывая дверь, — но так же я могу и любить. Мир его праху! Я сказал искренно. Пожелайте, — о! пожелайте и вы, Конхита,

— мира ненависти моей.

Горько махнув рукой, она бросилась в кресло и прижалась лицом к подушке, делая знак уйти.

Фицрой вышел, осторожно прикрыв дверь. III

Не думая о направлении, он шел в сторону от бараков, изредка снимая фуражку и вытирая платком обильный прохладный пот. Он чувствовал себя так, как будто не дышал несколько дней, борясь с наполнившим грудь песком. Весь только что окончившийся разговор представлялся ему сплошным криком, эхо которого еще гудело в ушах. Он был потрясенно тих, как после спасения. К отвратительному впечатлению собственных слов примешивалось удовлетворяющее сознание правды, хотя бы брошенной в исступлении.

Подойдя к опушке леса, зеленым дымом охватывавшей низы гор, Фицрой увидел кроткие тени лесных лужаек, и в мирной чистоте этого отдаления от людей, как над ручьем, сторонними глазами увидел свое внутреннее лицо, каким открыл его несколько минут назад помертвевшей от боли и горя женщине, — как будто занес нож. Большее, чем стыд, свернуло шею его волнению. Стиснув зубы, он закрыл глаза и мысленно ударил себя по щеке. Разумеется, ни о каком уважении с ее стороны более не могло быть речи, — и он не мог, теперь уже никогда, видеть ее. Но в тумане изнуряющего стыда раздавленный голос шептал все нежные слова, какими до сих пор он наполнял свою жизнь, не смея вслух произнести их. Некогда он честно боролся, намечая все фазы успокоения; смерть, жертву, путешествие, но твердая рука истинного его чувства к Доббу, временно онемев, снова вела свою острую, черную линию. Яд начал кипеть с первого дня. Он часто придумывал, как тяжелее и мучительнее надо было бы умереть этому человеку, чтобы утолить безысходное ожидание грома, способного наконец разорвать оцепенение злой и тоскующей любви, ставшей болезнью.

Обдумывая странное подозрение, мелькнувшее среди чувств, переживаемых им далеко не в первый раз, Фицрой отнесся к нему с вниманием удивления, — почти испуга, хотя, едва стих толчок, продолжал думать о том же совершенно спокойно, как думает о незамеченной ступеньке человек, оступясь во тьме и идя далее. Вначале он счел это любопытство сопоставлением — не больше. Ни опровергнуть, ни проверить и доказать связь меж его настроением и гибелью Добба не было никаких средств, однако неустранимое совпадение поворачивалось перед ним всеми сторонами своими, и он мог придавать ему любой смысл. — “А если? — сказал Фицрой. — Странный мир — мысль, и велика сила ее. Тогда… Все равно, — мысленно я убивал его. Это одно и то же”.

Здесь он почувствовал ветер в спину и обернулся. Поляна шла вниз; снизу, через склон леса, ярко развертывалась долина с ее насыпями, палатками и строениями; вился дым труб. Это была картина мысли Пульта: он сам, Фицрой, служил там потому, что так думал Пульт. На почти вневременное мгновение ему стало ясно нечто решающее все задачи задач, затем это прошло, обернувшись гулким сердцебиением. До этого не было в нем полной уверенности, что он придет к пропасти, но теперь идти туда стало необходимостью. Он даже хотел этого, — завершить круг. Тут его настроение немного улучшилось, тем более что показались уже невысокие скалистые гряды, обросшие кедром; через них, влево, лежал лесистый проход к тропе, вьющейся над самым обрывом.

Солнце, едва перейдя зенит, жгло ноги сквозь кожу сапог. Скалы, вершины гор, далекие плоскогорья, залитые туманом и светом, на фоне самых колоссальных масс, слитых с небом стеной неподвижного лилового дыма, напоминали облачную страну. Здесь было на что взглянуть, — что могло бы сделать счастливым даже человека без ног и рук, но эта ослепительная океаноподобность мира была теперь вне Фицроя. Она отделялась от него ясным сознанием, что между ней и потерянной навсегда женщиной исчезла связь. Только через нее мог идти сливающий все в одно свет. Фицрой смотрел, как смотрят на сломанные

часы. Белые, как сталь в лунном свете, хребты горной цепи были неудачной ловушкой его душе — второй сорт, червивое яблоко, рай для бедных. Он подошел к отдельной скале, по узкому, неизвестно на чем удержавшемуся обвалу которой тянулся род неровной террасы, осыпанной глыбами. Справа, в расселину, бывшую одной из сравнительно неглубоких пустот, расширявшихся постепенно, по мере того как все ближе подступали они к пропасти “Лошадиная Голова”, сыпался, пыля серебром, отвесный ключ. Он напоминал воду, падающую из крана, отверстого где-то в скале, — то стремясь, то останавливаясь неподвижной светлой чертой, смотря по тому, падал ли вместе с ним взгляд, или удерживался на одной точке его падения, он однозвучно шумел внизу, и, заглянув туда, Фицрой почти с облегчением увидел вполне доступную для ловкого лазуна тенисто освещенную глубину ста — ста двадцати футов, с веером пены среди черных и зеленых камней.

На том месте путь огибал скалы с их внутренней стороны, оставляя меж человеком и звеньями небольших пропастей стену гранитных махин, почти лишенных растительности. Ящерицы и пауки сновали в камнях, среди неподвижной духоты красноватых колодцев и призрачных лестниц косых теней, соединяющих верхние края стен с полным шороха шагов низом; под сапогами Фицроя сухо трещал щебень, это безжизненное яркое место тревожило, как раскаленная печь. Наконец, он увидел справа неровно раздернутое пространство, пересеченное туманными облаками высот, и вышел на край. IV

Он был здесь два раза — раньше — для нового впечатления, от которого осталось у него несколько одиноких мыслей, — он не сумел бы их выразить. Твиль говорил, что здесь нельзя долго смотреть вниз без риска отползти прочь на четвереньках, так как начинало тошнить. Но Фицрой побывал первый и второй раз в том особенно не располагающем к гипнотической впечатлительности вялом и безжизненном настроении, когда душа, подобно водяному шарику, катающемуся по раскаленному добела железу, — двигается, не испаряясь. К тому же подготовленный человек многое переносит иначе. Но все-таки тогда он как бы постоял перед направленным дулом.

Смотря вперед, можно было вначале подумать, что стоишь на краю озера с неверными отражениями берегов, искаженных и мрачных благодаря прозрачной тьме неподвижной воды. Но едва взгляд погружался в обманчивую поверхность провала, противоположный край которого явил бы движущуюся по нему фигуру всадника мельканием неразличимо малого смешанного пятна, как горизонтальная перспектива, мгновенно утратив для пристукнутого внимания всякое значение и размеры, сплывала облачной тенью, оставляя с глазу на глаз бездну и изменившееся лицо смотрящего.

На том месте, где остановился Фицрой, очерк пропасти достигал полутора миль в длину и около полумили в ширину. Ее стены со всех сторон и во всех направлениях были совершенно отвесны, касаясь в неосвещенной глубине огромной, как ночная равнина, тени, скрывающей вертикальное пространство неуследимого протяжения. Этот подземный мрак был как бы отражением черного неба, какое видят аэронавты, подымаясь на удушливую высоту воздушных границ. Всматриваясь до боли в глазах, можно было различать степень его спущения лишь по соседним изгибам отвеса, где исчезающие вниз стены, уходя от лучей, мерцали все тусклее и глуше, пока угрюмые сумерки не останавливали исследования раскинутым в страшной глубине мраком.

Столетия опасных передвижений, утрамбовав и сравняв обрывки естественного карниза, тянувшегося по левой стороне скал, образовали узкую тропу, оступившись по которой шага на два в сторону пропасти человек мог только пожелать иметь крылья. Ступив на эту тропу, Фицрой невольно стал дышать глубже и медленнее, как это делаем мы при встречном ветре, — ощущение своего тела достигло силы самовнушения; бессознательно его плечо все время касалось скалы, и он особым усилием отталкивал непрекращающееся впечатление тихого, как бег маятника, позыва взглянуть вниз. К тому времени его нервы были напряжены, как в

крупной игре.

Он медленно обошел выступ, впадину и стал приближаться к щели, за аркой которой тропа тянулась еще не более как на триста футов, круто заворачивая в ущелье. До сих пор дорога Фицроя была лишена каких бы то ни было указаний, здесь их не могло и быть, ибо тропа пока что являла прихотливую, но вполне устойчивую поверхность. На всякий случай он тщательно осматривал скалы, но не открыл нигде надписи о которой говорил Твиль.

Она остановила его, когда он прошел щель. V

Отбрасывая камни ногой, чтобы не скользнуть самому по этому вылощенному как шлак ветрами и дождем выпуклому карнизу, Фицрой прочел мелкую строку последних слов Добба жене: “Стою здесь и думаю о теб…”. “О тебе”, — машинально договорил Фицрой.

Этой строкой было сказано об ужасном исчезновении все — и так полно, как не мог бы полнее передать чувства свои, — той минуты, — сам Добб, будь Фицрой тогда с ним. Погибший остановился, захваченный острой глубиной впечатления; сияющий горный мир хлынул в него всей силой собственного его счастья, и он захотел весело воскликнуть, один, той, которая не могла слышать его, но всегда была с ним. Он написал это в порыве, похожем на мальчишеский крик в лесу — бессмысленный, но понятный, как наивно блуждающая улыбка.

— Значит карандаш и пустота были рядом; так тесно, так неразрывно сплетены были они, что ты не успел узнать этого, — сказал Фицрой, оборачиваясь и упираясь спиной в скалу. Странная отчетливость представлений не покидала его. Он видел нажатый сапогом камень и легкое движение согнутого колена, отчего камень двинулся, отталкиваемый прянувшей взад ногой. Мгновенный удар крови в сердце и голову стер все мысли, кроме вихря, сопровождающего падение, — вихрь и крик, цепляясь за безумный след свой вверху, несли еще некоторое время иллюзию кошмара, пока обратным ударом вернувшееся сознание, мгновенно осветив все, все поняв и истребив тут же, в муке невыразимой, не перешло тайную границу молчания. И этим все кончилось.

Фицрой неподвижно стоял, смотря вниз и нервно касаясь жутким лучом души — мрака, безмолвно рассматривавшего его из пучины сплошным зрачком.

Он никогда ранее не смотрел так долго и тяжело в эту колоссальную трубу, поперечный разрез которой вдали смыкался высокой скалой, имевшей условное сходство с головой лошади, закинутой к небу. В ней, как в облачных фантомах, было неясное и подавляющее торжество слепой формы, живущей тенью чувств наших, бездыханно и поразительно, как мавзолей. Соответственно настроив внимание, можно было счесть соседние углы скал согнутыми передними ногами гигантского коня, вставшего на дыбы и задом оседающего в пустоту пропасти.

Не без усилия перестав рассматривать заставляющую замирать тьму внизу, Фицрой поднял тяжелый, как шест, взятый рукой за конец, взгляд на эту ясно обрисованную расстоянием каменную фигуру, перехватив ее застывшее фантастическое падение в тот момент, когда представил и продолжил его. Тогда все двинулось вокруг него плавным толчком, равным движению пристани и берега при отвале парохода, — горный горизонт начал оседать вниз. В груди Фицроя стало поворачиваться железо, давя и сося. Страх, конвульсивно охватив его ноги, висел на них, скрывая лицо. Теперь твердая поверхность земли была для Фицроя лишь тонкой корой льда, простертого живописным покровом над черным ничем. Он чувствовал, что если пойдет, его ноги будут странно и бессвязно плясать, и что Твиль сказал правду о четвереньках. Он ужаснулся, вдохнул как бы сухой снег, мгновенно пересекший дыхание, и, догадавшись, закрыл глаза. Бившееся, казалось, у самого горла сердце вернулось на свое место, стуча так нехорошо, что он прижал руку к груди: “Засмейся, Фицрой!”

Но для торжества у него не было уже сил. Он попытался вызвать его, сцепив зубы, коротким ругательством и не испытал ничего, кроме смутного удивления. По-прежнему, как врезалось в мозг, Добб срывался и летел перед ним вниз, но это видение возникало и проходило вне мстительного очарования, каким жил Фицрой до сего дня. Он открыл глаза с чувством набегающего пространства и, вяло спасаясь, оглянулся на строку Добба. Теперь уже не стоило возвращаться в каменную пустоту будущего. Но это проходило без мысли, без отчетливого сознания. Чувство непобедимой равнодушной пустоты в себе, других и внизу явилось ему с ясностью сделанного рукой знака, и он перешагнул к незнающей колебания, вдруг опустившей все повода и тяги холодной улыбке голого “все равно”.

Рассеянно смочив языком такой же карандаш, каким писал Добб, Фицрой, тоскливо улыбаясь, приписал в слове “тебе” последнюю, перехваченную смертью букву и вывел внизу: “Думаю и люблю. И умираю — потому что носил Зло”.

Затем не более, как с чувством полета, рванувшего его силой оступившегося навсегда тела, он отделился от скалы и стал вязнуть в мгновенно проносящейся пустоте, — к мраку, начавшему беспощадно уходить вниз, скрывая все глубже истинное свое лицо. Фицроя било и трепало кинувшимся к нему воздухом. “А если не будет конца?” — От этой мысли он умер, и его тело достигло неизвестной нам последней границы, где нет никогда дна и где его ожидал Добб.

Пропавшее солнце

I

Страшное употребление, какое дал своим бесчисленным богатствам Авель Хоггей, долго еще будет жить в памяти всех, кто знал этого человека без сердца. Не раз его злодейства — так как деяния Хоггея были безмерными, утонченными злодействами — грозили, сломав гроб купленного молчания, пасть на его голову, но золото вывозило, и он продолжал играть с живыми людьми самым различным образом; неистощимый на выдумку, Хоггей не преследовал иных целей, кроме забавы. Это был мистификатор и палач вместе. В основе его забав, опытов, экспериментов и игр лежал скучный вопрос: “Что выйдет, если я сделаю так?”

Четырнадцать лет назад вдова Эльгрев, застигнутая родами в момент безвыходной нищеты, отдала новорожденного малютку-сына неизвестному человеку, вручившему ей крупную сумму денег. Он сказал, что состоятельный аноним — бездетная и детолюбивая семья — хочет усыновить мальчика. Мать не должна была стараться увидеть или искать сына.

На этом сделка была покончена. Утешаясь тем, что ее Роберт вырастет богачом и счастливцем, обезумевшая от нужды женщина вручила свое дитя неизвестному, и он скрылся во тьме ночи, унес крошечное сердце, которому были суждены страдание и победа. II

Купив человека, Авель Хоггей приказал содержать ребенка в особо устроенном помещении, где не было окон. Комнаты освещались только электричеством. Слуги и учитель Роберта должны были на все его вопросы отвечать, что его жизнь — именно такова, какой живут все другие люди. Специально для него были заказаны и отпечатаны книги того рода, из каких обычно познает человек жизнь и мир, с той лишь разницей, что в них совершенно не упоминалось о солнце.[1] Всем, кто говорил с мальчиком или по роду своих обязанностей вступал с ним в какое бы ни было общение, строго было запрещено Хоггеем употреблять это слово.

Роберт рос. Он был хил и задумчив. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, Хоггей среди иных сложных забав, еще во многом не раскрытых данных, вспомнив о Роберте, решил, что можно, наконец, посмеяться. И он велел привести Роберта. III

Хоггей сидел на блестящей, огромной террасе среди тех, кому мог довериться в этой запрещенной игре. То были люди с богатым, запертым на замок прошлым, с лицами, бесстрастно эмалированными развратом и скукой. Кроме Фергюсона, здесь сидели и пили Харт — поставщик публичных домов Южной Америки, и Блюм — содержатель одиннадцати игорных домов.

Был полдень. В безоблачном небе стояло пламенным белым железом вечное Солнце. По саду, окруженному высокой стеной, бродил трогательный и прелестный свет. За садом сияли леса и снежные цепи отрогов Ахуан-Скапа.

Мальчик вошел с повязкой на глазах. Левую руку он бессознательно держал у сильно бьющегося сердца, а правая нервно шевелилась в кармане бархатной куртки. Его вел глухонемой негр, послушное животное в руках Хоггея. Немного погодя вышел Фергюсон.

— Что, доктор? — сказал Хоггей.

— Сердце в порядке, — ответил Фергюсон по-французски, — нервы истощены и вялы.

— Это и есть Монте-Кристо? — спросил Харт.

— Пари, — сказал Блюм, знавший, в чем дело.

— Ну? — протянул Хоггей.

— Пари, что он помешается с наступлением тьмы.

— Э, пустяки, — возразил Хоггей. — Я говорю, что придет проситься обратно с единственной верой в лампочку Эдисона.

— Есть. Сто миллионов.

— Ну, хорошо. — сказал Хоггей. — Что, Харт?

— Та же сумма на смерть, — сказал Харт. — Он умрет.

— Принимаю. Начнем. Фергюсон, говорите, что надо сказать.

Роберт Эльгрев не понял ни одной фразы. Он стоял и ждал, волнуясь безмерно. Его привели без объяснений, крепко завязав глаза, и он мог думать что угодно.

— Роберт, — сказал Фергюсон, придвигая мальчика за плечо к себе, — сейчас ты увидишь солнце — солнце, которое есть жизнь и свет мира. Сегодня последний день, как оно светит. Это утверждает наука. Тебе не говорили о солнце потому, что оно не было до сих пор в опасности, но так как сегодня последний день его света, жестоко было бы лишать тебя этого зрелища. Не рви платок, я сниму сам. Смотри.

Швырнув платок, Фергюсон внимательно стал приглядываться к побледневшему, ослепленному лицу. И как над микроскопом согнулся над ним Хоггей. IV

Наступило молчание, во время которого Роберт Эльгрев увидел необычайное зрелище и ухватился за Фергюсона, чувствуя, что пол исчез, и он валится в сверкающую зеленую пропасть с голубым дном. Обычное зрелище дня — солнечное пространство — было для него потрясением, превосходящим все человеческие слова. Не умея овладеть громадной перспективой, он содрогался среди взметнувшихся весьма близких к нему стен из полей и лесов, но наконец пространство стало на свое место.

Подняв голову, он почувствовал, что лицо горит. Почти прямо над ним, над самыми, казалось,

его глазами, пылал величественный и прекрасный огонь. Он вскрикнул. Вся жизнь всколыхнулась в нем, зазвучав вихрем, и догадка, что до сих пор от него было отнято все, в первый раз громовым ядом схватила его, стукнувшись по шее и виску, сердце. В этот момент переливающийся раскаленный круг вошел из центра небесного пожара в остановившиеся зрачки, по глазам как бы хлестнуло резиной, и мальчик упал в судорогах.

— Он ослеп, — сказал Харт. — Или умер.

Фергюсон расстегнул куртку, взял пульс и помолчал с значительным видом.

— Жив? — сказал, улыбаясь и довольно откидываясь в кресле, Хоггей.

— Жив. V

Тогда решено было посмотреть, как поразит Роберта тьма, которую, ничего не зная и не имея причины подозревать обман, он должен был считать вечной. Все скрылись в укромный уголок, с окном в сад, откуда среди чинной, но жестокой попойки наблюдали за мальчиком. Воспользовавшись обмороком, Фергюсон поддержал бесчувственное состояние до той минуты, когда лишь половина солнца виднелась над горизонтом. Затем он ушел, а Роберт открыл глаза.

“Я спал или был болен”, — но память не изменила ему; сев рядом, она ласково рассказала о грустном и же стоком восторге. Воспрянув, заметил он, что темно, тихо и никого нет, но, почти не беспокоясь об одиночестве, резко устремил взгляд на запад, где угасал, проваливаясь, круг цвета розовой меди. Заметно было, как тускнут и исчезают лучи. Круг стал как бы горкой углей. Еще немного, — еще, — последний сноп искр озарил белый снег гор — и умер, — навсегда! навсегда! навсегда!

Лег и уснул мрак. Направо горели огни третьего этажа.

— Свалилось! Свалилось! — закричал мальчик. Он сбежал в сад, ища и зовя людей, так как думал, что наступит невыразимо страшное. Но никто не отозвался на его крик. Он проник в чащу померанцевых и тюльпанных деревьев, где журчание искусственных ручьев сливалось с шелестом крон.

Сад рос и жил; цвела и жила невидимая земля, и подземные силы расстилали веера токов своих в дышащую теплом почву. В это время Хоггей сказал Харту и Блюму: “Сад заперт, стены высоки; там найдем, что найдем, — утром. Игрушка довольно пресная; не все выходит так интересно, как думаешь”.

Что касается мальчика, то в напряжении его, в волнении, в безумной остроте чувств все перешло в страх. Он стоял среди кустов, стволов и цветов. Он слышал их запах. Вокруг все звучало насыщенной жизнью. Трепет струй, ход соков в стволах, дыхание трав и земли, голоса лопающихся бутонов, шум листьев, возня сонных птиц и шаги насекомых, — сливалось в ощущение спокойного, непобедимого рокота, летящего от земли к небу. Мальчику казалось, что он стоит на живом, теплом теле, заснувшем в некой твердой уверенности, недоступной никакому отчаянию. Это было так заразительно, что Роберт понемногу стал дышать легче и тише. Обман открылся ему внутри.

— Оно вернется, — сказал он. — Не может быть. Они надули меня. VI

За несколько минут до рассвета Фергюсон разыскал жертву среди островков бассейна и привел ее в кабинет. Между тем в просветлевшей тьме за окном чей-то пристальный, горячий взгляд уперся в затылок мальчика, он обернулся и увидел красный сегмент, пылающий за равниной.

— Вот! — сказал он, вздрогнув, но сжав торжество, чтобы не разрыдаться. — Оно возвращается оттуда же, куда провалилось! Видели? Все видели?

Так как мальчик спутал стороны горизонта, то это был единственный — для одного человека — случай, когда солнце поднялось с запада.

— Мы тоже рады. Наука ошиблась, — сказал Фергюсон.

Авель Хоггей сидел, низко согнувшись, в кресле, соединив колено, локоть и ладонь с подбородком, смотря и тоскуя в ужасной игре нам непостижимой мечты на хилого подростка, который прямо смотрел в его тусклые глаза тигра взглядом испуга и торжества. Наконец, бьющий по непривычным глазам свет ослепил Роберта, заставил его прижать руки к глазам; сквозь пальцы потекли слезы.

Проморгавшись, мальчик спросил:

— Я должен стоять еще или идти?

— Выгнать его, — мрачно сказал Хоггей, — я вижу, что затея не удалась. А жаль Фергюсон, ликвидируйте этот материал. И уберите остатки прочь.

Словоохотливый домовой

Я стоял у окна, насвистывая песенку об Анне… Х. Хорнунг

I

Домовой, страдающий зубной болью, — не кажется ли это клеветой на существо, к услугам которого столько ведьм и колдунов, что безопасно можно пожирать сахар целыми бочками? Но это так, это быль, — маленький, грустный домовой сидел у холодной плиты, давно забывшей огонь. Мерно покачивая нечесаной головой, держался он за обвязанную щеку, стонал — жалостно, как ребенок, и в его мутных, красных глазах билось страдание.

Лил дождь. Я вошел в этот заброшенный дом переждать непогоду и увидел его, забывшего, что надо исчезнуть…

— Теперь все равно, — сказал он голосом, напоминающим голос попугая, когда птица в ударе, — все равно, тебе никто не поверит, что ты видел меня.

Сделав, на всякий случай, из пальцев рога улитки, то есть “джеттатуру”, я ответил:

— Не бойся. Не получишь ты от меня ни выстрела серебряной монетой, ни сложного заклинания. Но ведь дом пуст.

— И-ох. Как, несмотря на то, трудно уйти отсюда, — возразил маленький домовой. — Вот послушай. Я расскажу, так и быть. Все равно у меня болят зубы. Когда говоришь — легче. Значительно легче… ох. Мой милый, это был один час, и из-за него я застрял здесь. Надо, видишь, понять, что это было и почему. Мои-то, мои, — он плаксиво вздохнул. — Мои-то, ну, — одним словом, — наши, — давно уже чистят лошадиные хвосты по ту сторону гор, как ушли отсюда, а я не могу, так как должен понять.

Оглянись — дыры в потолке и стенах, но представь теперь, что все светится чистейшей медной посудой, занавеси белы и прозрачны, а цветов внутри дома столько же, сколько

вокруг в лесу; пол ярко натерт; плита, на которой ты сидишь, как на холодном, могильном памятнике, красна от огня, и клокочущий в кастрюлях обед клубит аппетитным паром.

Неподалеку были каменоломни — гранитные ломки. В этом доме жили муж и жена — пара на редкость. Мужа звали Филипп, а жену — Анни. Ей было двадцать, а ему двадцать пять лет. Вот, если тебе это нравится, то она была точно такая, — здесь домовой сорвал маленький дикий цветочек, выросший в щели подоконника из набившейся годами земли, и демонстративно преподнес мне. — Мужа я тоже любил, но она больше мне нравилась, так как не была только хозяйкой; для нас, домовых, есть прелесть в том, что сближает людей с нами. Она пыталась ловить руками рыбу в ручье, стукала по большому камню, что на перекрестке, слушая, как он, долго затихая, звенит, и смеялась, если видела на стене желтого зайчика. Не удивляйся, — в этом есть магия, великое знание прекрасной души, но только мы, козлоногие, умеем разбирать его знаки; люди непроницательны.

“Анни! — весело кричал муж, когда приходил к обеду с каменоломни, где служил в конторе, — я не один, со мной мой Ральф”. Но шутка эта повторялась так часто, что Анни, улыбаясь, без замешательства сервировала на два прибора. И они встречались так, как будто находили друг друга — она бежала к нему, а он приносил ее на руках.

По вечерам он вынимал письма Ральфа — друга своего, с которым провел часть жизни, до того как женился, и перечитывал вслух, а Анни, склонив голову на руки, прислушивалась к давно знакомым словам о море и блеске чудных лучей по ту сторону огромной нашей земли, о вулканах и жемчуге, бурях и сражениях в тени огромных лесов. И каждое слово заключало для нее камень, подобный поющему камню на перекрестке, ударив который слышишь протяжный звон.

— “Он скоро приедет, — говорил Филипп: — он будет у нас, когда его трехмачтовый “Синдбад” попадет в Грес. Оттуда лишь час по железной дороге и час от станции к нам”.

Случалось, что Анни интересовалась чем-нибудь в жизни Ральфа; тогда Филипп принимался с увлечением рассказывать о его отваге, причудах, великодушии и о судьбе, напоминающей сказку: нищета, золотая россыпь, покупка корабля и кружево громких легенд, вытканное из корабельных снастей, морской пены, игры и торговли, опасностей и находок. Вечная игра. Вечное волнение. Вечная музыка берега и моря.

Я не слышал, чтобы они ссорились, — а я все слышу. Я не видел, чтобы хоть раз холодно взглянули они, — а я все вижу. “Я хочу спать”, — говорила вечером Анни, и он нес ее на кровать, укладывая и завертывая, как ребенка. Засыпая, она говорила: “Филь, кто шепчет на вершинах деревьев? Кто ходит по крыше? Чье это лицо вижу я в ручье рядом с тобой?” Тревожно отвечал он, заглядывая в полусомкнутые глаза: “Ворона ходит по крыше, ветер шумит в деревьях; камни блестят в ручье, — спи и не ходи босиком”.

Затем он присаживался к столу кончать очередной отчет, потом умывался, приготовлял дрова и ложился спать, засыпая сразу, и всегда забывал все, что видел во сне. И он никогда не ударял по поющему камню, что на перекрестке, где вьют из пыли и лунных лучей феи замечательные ковры. II

— Ну, слушай… Немного осталось досказать мне о трех людях, поставивших домового в тупик. Был солнечный день полного расцвета земли, когда Филипп, с записной книжкой в руке, отмечал груды гранита, а Анни, возвращаясь от станции, где покупала, остановилась у своего камня и, как всегда, заставила его петь ударом ключа. Это был обломок скалы, вышиною в половину тебя. Если его ударишь, он долго звенит, все тише и тише, но, думая, что он смолк, стоит лишь приложиться ухом — и различишь тогда внутри глыбы его едва слышный голос.

Наши лесные дороги — это сады. Красота их сжимает сердце, цветы и ветви над головой

рассматривают сквозь пальцы солнце, меняющее свой свет, так как глаза устают от него и бродят бесцельно; желтый и лиловатый и темно-зеленый свет отражены на белом песке. Холодная вода в такой день лучше всего.

Анни остановилась, слушая, как в самой ее груди поет лес, и стала стучать по камню, улыбаясь, когда новая волна звона осиливала полустихший звук. Так забавлялась она, думая, что ее не видят, но человек вышел из-за поворота дороги и подошел к ней. Шаги его становились все тише, наконец, он остановился; продолжая улыбаться, взглянула она на него, не вздрогнув, не отступив, как будто он всегда был и стоял тут.

Он был смугл — очень смугл, и море оставило на его лице остроту бегущей волны. Но оно было прекрасно, так как отражало бешеную и нежную душу. Его темные глаза смотрели на Анни, темнея еще больше и ярче, а светлые глаза женщины кротко блестели.

Ты правильно заключишь, что я ходил за ней по пятам, так как в лесу есть змеи.

Камень давно стих, а они все еще смотрели, улыбаясь без слов, без звука; тогда он протянул руку, и она — медленно — протянула свою, и руки соединили их. Он взял ее голову — осторожно, так осторожно, что я боялся дохнуть, и поцеловал в губы. Ее глаза закрылись.

Потом они разошлись — и камень по-прежнему разделял их. Увидев Филиппа, подходившего к ним, Анни поспешила к нему. — Вот Ральф; он пришел.

— Пришел, да. — От радости Филипп не мог даже закричать сразу, но наконец бросил вверх шляпу и закричал, обнимая пришельца: — Анни ты уже видел, Ральф. Это она.

Его доброе твердое лицо горело возбуждением встречи.

— Ты поживешь у нас, Ральф; мы все покажем тебе. И поговорим всласть. Вот, друг мой, моя жена, она тоже ждала тебя.

Анни положила руку на плечо мужа и взглянула на него самый большим, самым теплым и чистым взглядом своим, затем перевела взгляд на гостя, не изменив выражения, как будто оба равно были близки ей.

— Я вернусь, — сказал Ральф. — Филь, я перепутал твой адрес и думал, что иду не по той дороге. Потому я не захватил багажа. И я немедленно отправлюсь за ним.

Они условились и расстались. Вот все, охотник, убийца моих друзей, что я знаю об этом. И я этого не понимаю. Может быть, ты объяснишь мне.

— Ральф вернулся?

— Его ждали, но он написал со станции, что встретил знакомого, предлагающего немедленно выгодное дело.

— А те?

— Они умерли, умерли давно, лет тридцать тому назад. Холодная вода в жаркий день. Сначала простудилась она. Он шел за ее гробом, полуседой, потом он исчез; передавали, что он заперся в комнате с жаровней. Но что до этого?.. Зубы болят, и я не могу понять…

— Так и будет, — вежливо сказал я, встряхивая на прощание мохнатую, немытую лапу. — Только мы, пятипалые, можем разбирать знаки сердца; домовые — непроницательны.

Гениальный игрок

I

Воспой, о муза, человека четвертого измерения — зеленого стола, — так как именно в картах или, вернее, нераскрытых доныне законах их комбинаций, заключена таинственная философская сфера — вещественное и невещественное, практическое и умозрительное, физическое и геометрическое, — предел всем человеческим мерам, за которым всякий расчет столь неясен, что самый острый ум в соединении с отточенной интуицией является картонным мечом. Исход сражения предуказан. Острый ум гибнет, и только дурак, по безобидной терминологии “добрых людей”, является в игре карт надежно вооруженным чем-то таким, что позволяет ему, с завязанными глазами, уверенно идти там, где нет ни входов, ни выходов.

Однако был человек, решивший объемистую эту задачу путем своеобразного расчета, секрет которого унес с собой в мрак могилы, а умер он потому, что встретил могущественное препятствие, помешавшее ему воспользоваться плодами невероятных своих трудов.

В 1914 году Ньюйоркский клуб “Санта Лючия” только что открыл свои роскошные помещения для бесчисленных аргонавтов, собирающих, где не теряли, и жнущих, где не посеяли. Потомство Джека Гэмлина восседало под звуки очаровательного оркестра среди столь художественной обстановки, полной утонченного замысла картин, статуй и гобеленов, что только рыжая душа янки могла остаться нечувствительной к окружающему ее великолепию, сосредоточив весь жар свой на числе очков. Приличие не нарушалось. Дьявольский узор чувств был безупречно прикрыт лоском; играла музыка, и освежающее веяние серебристых фонтанов придавало происходящему магическую прелесть “Летней фантазии” Энсуорта, разыгрываемой в четыре руки.

Вдруг раздался крик.

Взгляды всех обратились к столу, где молодой человек с бледным лицом, стройный, красивый, хорошо одетый, с яростью, но сохраняя достоинство в движениях и в выражении лица, рвался из рук двух сильных крупье, схвативших его за кисти, — одна разжалась, и на стол, сверкая, вместе с золотом просыпалась колода карт. Крупье поспешно собрали ее.

Подобные происшествия отличаются тем, что для освещения их случай посылает обыкновенно человека, обладающего даром слова. Такой человек уже был тут, он стоял, ждал и выполнил свое предназначение коротким рассказом:

— Как только он сел, я почувствовал содрогание, — предчувствие охватило меня. Действительно, менее чем в полчаса мне пришлось расстаться с двадцатью тысячами долларов, ни разу не взяв при этом. Не менее, если не более, пострадали Грант, Аймер, Грантом. Еще ранее удалился Джекобе, присвистнув, с бледным лицом. Короче говоря, молодой человек держал банк, всех бил и никому не давал. Я не помню такого счастья. Он приготовлялся тасовать третью талию, но так неловко подменил колоду, что был немедленно схвачен. Теперь я, Грант, Аймер, Грантом и Джекобе отправимся в кабинет директора клуба получить проигранное обратно.

И он ушел, Грант, Аймер, Грантом и Джекобе последовали за ним, сопровождаемые толпой дам, улыбающихся, воздушных, прекрасных — и совершенно невозможных в игре, так как они сварливы и жадны. II

Дела подобного рода разбирались в “Санта Лючия” без свидетелей; оттуда иногда доносились вопли и проклятия избиваемых артистов темной игры; и ничто не указывало на тихий исход казуса; однако арестованный молодой человек, будучи введен в кабинет, потребовал во имя истины, которую он решился открыть, — совершенного удаления всех

посторонних, а также жертв своих замечательных упражнений.

Лакеи, уже засучившие рукава, вышли, покашливая неодобрительно; двери были плотно закрыты, преступная колода водружена на столе, и воинственно дышащие четыре директора, один другого мясистее, апоплексичнее и массивнее, стали вокруг изобличенного непроницаемым ромбом.

Лицо уличенного нервно подергивалось; но ни стыда, ни растерянности, ни малодушия не было заметно в полных решительного волнения прекрасных чертах его; ничто в нем не указывало мошенника, напротив, казалось, этому лицу суждены великие дела и ослепительная судьба.

— Я сказал, что дам объяснения, и даю их, — заговорил он высокомерно, — я скажу, — что, но оставлю при себе — как. Меня зовут Иоаким Гнейс. Мой дедушка был игрок, мать и отец — тоже. С одиннадцати лет мною овладела идея беспроигрышной колоды. Она обратилась в страсть, в манию, в помешательство. Я изучил все шулерские приемы и все системы, составители которых с радугой в голове не знают, где приклонить голову. Но я хотел честной игры.

Постоянное размышление об одном и том же с настойчивостью исключительной привело к тому, что я мог уже обходиться для своих опытов без карт. На улице, дома, в лесу или вагоне — меня окружали все пятьдесят две карты хороводом условных призраков, которые я переставлял и соединял в уме как хотел.

Так прошло восемь лет. Чувствуя приближение кризиса — решения невероятной задачи, преследуемой мной, я удалился в заброшенный дом, где почти без сна и еды семь дней созерцал движение знаков карт. Как Бах увидел свое произведение, заснув в церкви, собранием архитектурных форм несравненной красоты и точности, так вдруг увидел я свою комбинацию. Это произошло внезапно. В бесплотной толпе карт, окружавшей меня, пять карт выделились, сгруппировались особым образом и поместились в остальной колоде таким образом, что сомнений более не было. Я нашел.

Суть моего изобретения такова. Вот моя колода карт — без крапа, без фальсификации; одним словом — колода честных людей. Я примешиваю ее к талии. После этого тысяча человек могут тасовать талию и снимать как хотят, — я даже не трону ее. Но у меня всегда при сдаче будет очков больше, чем у остальных игроков.

Что же я делаю для этого?

Я беру из этой колоды шесть карт; каких — я не скажу вам. Пять я смешиваю в известной последовательности, вкладывая в любое место колоды. Шестую карту кладу предпоследней снизу. Затем эта колода, в числе произвольного количества колод, может быть растасована как угодно — я всегда выиграю. Меня погубила неловкость. Но шулером назвать меня вы не можете. III

Пораженные директоры, с целью проверить слова Гнейса, пригласили экспертов, опытных игроков во все игры, людей, судьба которых переливала всеми цветами спектра звезды, именуемой — Счастье Игрока. Десять раз перемешивали они колоду, сложенную тайно от них по своему способу Гнейсом, и не случалось ни разу, чтобы карты, выпавшие ему на сдаче, проиграли. У него всегда было больше очков.

Взгляд презрительного, глубокого сожаления, брошенный на молодого изобретателя игроком Бутсом, заставил Гнейса вспыхнуть и побледнеть. Он встал, Бутс вежливо удержал его.

— Ум направленный к пошлости, — кратко сказал он, — талант хама, гений идиотизма. Вы…

Но Гнейс бросился на него. Схватка, предупрежденная присутствующими, еще горела в лицах противников. Гнейс тяжело дышал, Бутс пристально смотрел на него, сжав свои старые, тонкие губы.

— Я с намерением оскорбил вас, — холодно сказал он. — В вашем лице я встречаю гнусный маразм, отсутствие воображения и плоский расчет. Игра прекрасна только тогда, когда она полна пленительной неизвестности. И жизнь — тоже. То и другое вы определили бухгалтерским расчетом. Поэтому, то есть для вящего удовлетворения вашего, я предлагаю решить наш спор вашей колодой; мы сыграем вдвоем.

Гнейс рассмеялся.

Были стасованы и сданы карты; перед тем колода, сложенная им особо, была пущена в талию. “Кто проиграл, тот стреляется, — сказал Бутс, — у кого меньше очков, тот умер”.

— Семь, — сказал, перевернув карты, спокойный Гнейс.

— Девять, — возразил Бутс.

Гнейс подержал карты еще с минуту, побелел, схватился за воротник и упал мертвым. Его сердце не перенесло удара.

— Так бывает, — сказал в конце всей этой сцены Бутс потрясенным свидетелям, — по-видимому, его открытие только иногда — редко, может быть, раз в десять лет — подвержено некоторому отклонению. Но в общем — система не имеет себе равной. Он проиграл.

Сто верст по реке

I

Взрыв котла произошел ночью. Пароход немедленно повернул к берегу, где погрузился килем в песок, вдали от населенных мест. К счастью, человеческих жертв не было. Пассажиры, проволновавшиеся всю ночь и весь день в ожидании следующего парохода, который мог бы взять их и везти дальше, выходили из себя. Ни вверх, ни вниз по течению не показывалось никакого судна. По реке этой работало только одно пароходство и только четырьмя пароходами, отходившими каждый раз по особому назначению, в зависимости от настроения хозяев и состояния воды: капризное песчаное русло, после продолжительного бездождия, часто загромождалось мелями.

По мере того, как вечер спешил к реке, розовея от ходьбы, порывисто дыша туманными испарениями густых лесов и спокойной воды, Нок заметно приходил в нервное, тревожное настроение. Тем, кто с ним заговаривал, он не отвечал или бросал отрывисто “нет”, “да”, “не знаю”. Он беспрерывно переходил с места на место, появляясь на корме, на носу, в буфете, на верхней палубе, или сходя на берег, где, сделав небольшую прогулку в пышном кустарнике, возвращался обратно, переполненный тяжелыми размышлениями. Раза три он спускался в свою каюту, где, подержав в руках собранный чемодан, бросал его на койку, пожимая плечами. В одно из этих посещений каюты он долго сидел на складном стуле, закрыв лицо руками, и, когда опустил их, взгляд его выражал крайнее угнетение.

В таком же, но, так сказать, более откровенном и разговорчивом состоянии была молодая девушка, лет двадцати-двадцати двух, ехавшая одна. Встревоженное печальное ее лицо сотни раз обращалось к речным далям в поисках благодетельного пароходного дыма. Она была худощава, но стройного и здорового сложения, с тонкой талией, тяжелыми темными

волосами бронзового оттенка, свежим цветом ясного, простодушного лица и непередаваемым выражением слабого знания жизни, которое восхитительно, когда человек не подозревает об этом, и весьма противно, когда, учитывая свою неопытность, придает ей вид жеманной наивности. Вглядевшись пристальнее в лицо девушки, в особенности в ее сосредоточенные, задумчивые глаза, наблюдатель заметил бы давно утраченную нами свежесть и остроту впечатлений, сдерживаемых воспитанием и перевариваемых в душе с доверчивым аппетитом ребенка, не разбирающегося в вишнях и волчьих ягодах. Серая шляпа с голубыми цветами, дорожное простое пальто, такое же, с глухим воротником, платье и потертая сумочка, висевшая через плечо, придавали молодой особе оттенок деловитости, чего она, конечно, не замечала.

Занятая одной мыслью, одной целью — скорее попасть в город, молодая девушка, с свойственной ее характеру деликатной настойчивостью, тотчас после аварии приняла все меры к выяснению положения. Она говорила с капитаном, его помощником и пароходными агентами; все они твердили одно: “Муху” не починить здесь; надо ждать следующего парохода, а когда он заблагорассудит явиться — сказать трудно, даже подумав. Когда молодая девушка сошла на берег погулять в зелени и размыслить, что предпринять дальше, ее брови были огорченно сдвинуты, и она, не переставая внутренно кипеть, нервно потирала руки движениями умывающегося человека. Нок в это время сидел в каюте; перед ним на койке лежал раскрытый чемодан и револьвер. Раздраженное, потемневшее от волнения лицо пассажира показывало, что задержка в пути сильно ошеломила его. Он долго сидел, сгорбившись и посвистывая; наконец, не торопясь, встал, захлопнул чемодан и глубоко засунул его под койку, а револьвер опустил в карман брюк. Затем он прошел на берег, где, держась в стороне от групп расхаживающих по лесу пассажиров, направился глухой тропинкой вниз по течению.

Он шел бы так очень долго — день, два и три, если бы, удалившись от парохода шагов на двести, не увидел за песчаной косой лодку, почти приникшую к береговому обрыву. В лодке, гребя одним веслом, стоял человек почтенного возраста, подвыпивший, в вязаной куртке, драных штанах, босой и без шапки. У ног его лежала мокрая сеть, на носу лодки торчали удочки.

Нок остановился, подумав:

“Не надо ему говорить о пароходе и взрыве”.

— Здравствуй, старикан! — сказал он. — Много ли рыбы поймал?

Старик поднял голову, ухватился за береговой куст и осмотрел Нока пронзительно-смекалистым взглядом.

— Это вы здесь откуда? — развязно спросил он. — Какое явление!

— Простая штука, — пояснил Нок. — Я с компанией приехал из Л. (он назвал город, лежащий далеко в сторону). Мы неделю охотились и теперь скоро вернемся.

Нок очень непринужденно сказал это; старик с минуту обдумывал слышанное.

— Мне какое дело, — заявил он, раскачивая ногами лодку. — Рыбы не купите ли?

— Рыбы… нет, не хочу. — Нок вдруг рассмеялся, как бы придумав забавную вещь. — Вот что, послушай-ка: продай лодку!

— Я их не сам делаю, — прищурившись, возразил старик. — Мне другую лодку взять негде… К чему же вам эта посудина?

— Так, нужно выкинуть одну штуку, очень веселую. Я хочу подшутить над приятелем; вот тут нам лодка и нужна. Я говорю серьезно, а за деньгами не постою.

Рыбак протрезвел. Он хмуро смотрел на приличный костюм Нока, думая — “и все вот так, сразу: никак не дадут подумать, обсудить, неторопливо, дельно…” Он не любил, если даже рыбу покупали с двух слов, без торга. Здесь отлетал дух его хозяйственной самостоятельности, так как не на что было возражать и не о чем кипятиться.

“А вот назначу столько, что заскрипишь, — думал старик. — Если богат, заплатишь. Назад я, видимо, отправлюсь пешком, а о моей второй лодке, тебе, идиоту, знать нечего. Допустим! Деньги штука приятная”.

— Пожалуй, лодку я вам за пятьдесят рублей отдам (она стоила вчетверо меньше), так уж и быть, — сказал рыболов.

— Хорошо, беру. Получай деньги.

“Я дурак, — подумал старик. — Собственно, что же это такое? Является какой-то неизвестный сумасшедший…” — “Пятьдесят? — Пятьдесят!”… — Он кивнул, а я вылезай из лодки, как из чужой, в ту же минуту. Нет, пятьдесят мало”.

— Я того, раздумал, — нахально сказал он. — Мне так невыгодно… Вот сто рублей — дело другого рода.

У Нока было всего 70–80 рублей.

— Мошенник! — сказал молодой человек. — Мне денег не жалко, противна только твоя жадность; бери семьдесят пять и вылазь.

— Ну, если вы еще с дерзостями, — никакой уступки, ни одной копейки, поняли? Я, милый мой, старше вас!

Гелли в эту минуту расхаживала по берегу и случайно проходила мимо кустов, где стоял Нок. Она слышала, что кто-то торгует лодку, и сообразила, в чем дело. Обособленность положения была такова, что покупать лодку имело смысл только для продолжения пути. У девушки появилась тоскливая надежда. Человек, взявший лодку, мог бы довезти и ее, Гелли.

Решившись, наконец, высказать свою просьбу, она направилась к воде в тот момент, когда торг, подогретый, с одной стороны, вином, с другой — раздражением, принял подобие взаимных наскоков. Нок, услышав легкие шаги сзади, мгновенно оборвал разговор: старик, увидев еще людей, мог задуматься вообще над будущим лодки, а человек, шедший к воде, одной случайной фразой мог выдать пьянице всю остроту положения множества пассажиров, среди которых старик нашел бы, разумеется, людей сговорчивых и богатых.

Нок сказал:

— Подожди-ка здесь, я скоро вернусь.

Он торопливо скрылся, желая перехватить идущего как можно далее от воды. При выходе из кустов Нок встретился с Гелли, застенчиво отводящей рукой влажные ветви.

“Да, женщина, — бросил он себе с горечью, но и с самодовольством опытного человека, глубоко изучившего жизнь. — Чему удивляться? Ведь это их миссия — становиться поперек дороги. Сейчас я ее сплавлю”.

Гелли растерянно, с слабой улыбкой смотрела на его неприязненное сухое лицо.

— Очень прошу вас, — прошептал Нок с оттенком приказания, — не говорите громко, если у вас есть что-нибудь сказать мне. Я вынужден заявить это в силу моих причин, притом никто не обязан выказывать любопытства.

— Извините, — потерявшись, тихо заговорила Гелли. — Это вы говорили так громко о лодке? Я не знаю, с кем. Но я подумала, что могла бы заплатить недостающую сумму. Если бы вы купили сами, я все равно обратилась бы к вам с просьбой взять меня. Я очень тороплюсь в Зурбаган.

— Вы очень самонадеянны, — начал Нок; девушка мучительно покраснела, но по-прежнему смотрела прямо в глаза, — если вам кажется…

— Ни любопытство, ни грубость не обязательны, — глухо сказала Гелли, гордо удерживая слезы и поворачиваясь уйти.

Нок остыл.

— Простите, прошу вас, — шепнул он, соображая, что может лишиться лодки, — подождите, пожалуйста. Я сейчас, сию минуту скажу вам.

Гелли остановилась. Самолюбие ее сильно страдало, но слово “простите” по ее простодушному мнению все-таки обязывало выслушать виноватого. Может быть, он употребил не те выражения, потому что торопился уехать.

Нок стоял, опустив руки и глаза вниз, словно искал в траве потерянную монету. Он наскоро соображал положение. Присутствие Гелли толкнуло его к новым выводам и новой оценке случая, помимо доплаты денег за лодку.

— Хорошо, — сказал Нок. — Вы можете ехать со мной. В таком разе, — он слегка покраснел, — доплатите недостающие двадцать рублей. У меня не хватает. Но, предупреждаю вас, не взыщите, я человек мрачный и не кавалер. Со мной едва ли вам будет весело.

— Уверяю вас, я не думала об этом, — возразила девушка послушным, едва слышным шепотом, — вот деньги, а вещи…

— Не берите их.

— Как же быть с ними?

— Пошлите письмо в контору пароходства с описанием вещей и требуйте их наложенным платежом. Все будет цело.

— Но плед…

— Бегите же скорее за пледом, и никому ни слова. — слышите? — ни четверти слова о лодке. Так нужно. Если не согласны — прощайте!

— О, нет, благодарю, благодарю вас… Я скоро!

Она скрылась, не чувствуя земли под ногами от радости. Конспиративную обстановку отъезда она объяснила нежеланием Нока перегружать лодку лишними пассажирами. Она знала также, что оставаться наедине с мужчиной, и еще при таких исключительных обстоятельствах, как пустыня и ночь, считается опасным в известном смысле, теоретически ей ясном, но в душе она глубоко не верила этому. Случаи подобного рода она считала возможными лишь где-то очень далеко, за невидимым ей кругом текущей жизни.

Рыбак, боясь, что сделка не состоится, крикнул:

— Эй, господин охотник! Я-то тут, а вы-то где?

— Тут же, — сказал Нок, выходя к лодке. — Получай денежки. Я ходил только к нашему становищу взять из пальто твою мзду.

Взяв деньги, старик пересчитал их, сунул за пазуху и умильно проговорил:

— Ну, и один же стаканчик водки бы старому папе Юсу!.. Вытряхнули старика из лодки, да еще с больными ногами, да еще…

Нок тотчас смекнул, как удалить рыбака, чтобы тот не заметил женщину.

— Хочешь, ступай по лужайке, что за кустами, — сказал он, — пересеки ее и подайся от берега прямо в в лес, там скоро увидишь костер и наших. Скажи, что я велел дать тебе не один, а два и три стаканчика водки.

Действие этого небрежного предложения оказалось чудесным. Старик, помолодев вдвое, поспешно свернул сеть, взвалил ее с сумкой и удочками на плечо и бойко прыгнул в кусты.

— Так вот пряменько идти мне?

— Пряменько, очень пряменько. Водка хорошая, старая, холодная.

— А вы, — старик подмигнул, — шутки свои шутить приметесь?

— Да.

— И великолепно. А я вот чирикну водочки да и домой.

“Убирайся же”, — подумал Нок.

Рыбак, еще раз подмигнув, скрылся. Нок стал на том месте, где говорил с Гелли. Минуты через три, задыхаясь от поспешной ходьбы, она явилась; плечи и голову ее окутывал серый плед.

— Садитесь же, садитесь, — торопил Нок. — Вам руль, мне весла. Умеете?

— Да.

Они уселись.

“Романично! — съязвил про себя Нок, отталкивая веслом лодку. — Моему мертвому сердцу безопасны были бы даже полчища Клеопатр, — прибавил он, — и вообще о сердце следовало бы забыть всем”.

Стемнело, когда эти двое молодых людей тронулись в путь. Только у далекого поворота еще блестела рассыпанным ожерельем стрежь, просвет неба над ней, уступая облачной тьме, медленно потухал, напоминая дремлющий глаз. Блеск стрежи скоро исчез. Крякнула утка; тишину осенил быстрый свист крыльев; а затем ровный, значительный в темноте плеск весел стал единственным одиноким звуком речной ночи. II

Нок несколько повеселел от того, что едет, удаляется от парохода и вероятной опасности. С присутствием женщины Нока примиряло его господствующее положение; пассажирка была в полной его власти, и хотя власть эту он и не помышлял употребить на что-нибудь скверное, все-таки видеть возможность единоличного распоряжения отношениями было приятно. Это слегка сглаживало обычную холодную враждебность Нока к прекрасному полу. У него совсем не было желания говорить с Гелли, однако, сознав, что надо же выяснить кое-что, неясное для обоих, Нок сказал:

— Как вас зовут?

— Гелли Сод.

— Допустим. Не надо так дергать рулем. Вы различаете берег?

— Очень хорошо.

— Держите, Гелли, все время саженях в двадцати от берега, параллельно его извивам. Если понадобится иначе, я скажу… Хех!

Он вскрикнул так, потому что зацепил веслом о подводный древесный лом. Но в резкости вскрика девушке почудилось вдруг нечто затаенное души незнакомца, что вырвалось невольно и, может быть, по отношению к ней. Она оробела, почти испугалась. Десятки страшных историй ожили в ее напряженном воображении. Кто этот молодой человек? Как могла она довериться ему, хотя бы ради отца? Она даже не знает его имени! Жуток был не столько момент испуга, сколько боязнь пугаться все время, быть тоскливо настороже. В это время Нок, выпустив весла, зажег спичку и засопел трубкой; в свете огня его лицо с опущенными на трубку глазами, жадно рассмотренное Гелли, показалось молодой девушке, к великому ее облегчению, совсем не страшным, — лицо как лицо. И даже красивое, простое лицо… Она тихонько вздохнула, почти успокоенная, тем более, что Нок, закурив, сказал:

— Мое имя — Трумвик. — Имя это он сочинил теперь и, боясь сам забыть его, повторил раза два: — Да, Трумвик, так меня зовут; Трумвик.

Про себя, вспомнив мнемонику, Нок добавил:

— Трубка, вика.[2]

— Долго ли мы проедем? — спросила Гелли. — Меня заставляет торопиться болезнь отца… — Она смутилась, вспомнив, что Трумвик гребет и может принять это за понукание. — Я говорю вообще, приблизительно…

— Так как я тоже тороплюсь, — значительно сказал Нок, — то знайте, что в моих интересах увидеть Зурбаган не позднее, как послезавтра утром. Так и будет. Отсюда до города не больше ста верст.

— Благодарю вас, — она, боязливо рассмеявшись, сообщила: — У меня есть несколько бутербродов и немного сыру… так как достать негде, вы…

— Я тоже взял коробку сардин и кусок хлеба. С меня достаточно.

“Все они материалистки, — подумал Нок. — Разве я сейчас думал о бутербродах? Нет, я думал о вечности; река, ее течение — символ вечности… и — что еще?”

Но он забыл, что, хотя настроение продолжало оставаться подавленно-повышенным, Нок принялся думать о своем диком, тяжелом прошлом: грязном романе, тюрьме, о решении упиваться гордым озлоблением против людей, покинуть их навсегда, если не телом, то душой; о любви только к мечте, верной и нежной спутнице исковерканных жизней. Волнение мысли передалось его мускулам, и он греб, как на гонках. Лодка, сильно опережая течение, шумно вспахивала темную воду.

Гелли благодаря странности положения испытывала подъем духа, возбуждение исполненного решения. Отец с интересом выслушает рассказ о ее похождениях. Ей представилось, что она не плывет, а читает о женщине со своим именем в некоей книге, где описываются леса, охоты, опасности. Вспомнив отца, Гелли приуныла. Вспомнив небрежного и глупого доктора, пользующего отца, она соображала, как заменит его другим, наведет

порядки, осмотрит лекарства, постель — все. Ее деятельной душе требовалось хотя бы мысленно делать что-то. Стараясь избежать новых замечаний Нока, она до утомления добросовестно водила рулем, не выпуская глазами темный завал берега. Ей хотелось есть, но она стеснялась. Они плыли молча минут пятнадцать; затем Нок, тоже проголодавшись, угрюмо сказал:

— Закусим. Оставьте руль. — Он выпустил весла. — Мои сардинки еще не высохли… так что берите.

— Нет, благодарю, вы сами.

Девушка, кутаясь в плед, тихонько ела. Несмотря на темноту, ей казалось, что этот странный Трумвик насмешливо следит за ней, и бутерброды хотя Гелли проголодалась, стали невкусными. Она поторопилась кончить есть. Нок продолжал еще мрачно ковырять в коробке складным ножом, и Гелли слышала, как скребет железо по жести. В их разъединенности, ночном молчании реки и этом полуголодном скрипе неуютно подкрепляющегося человека было что-то сиротское, и Гелли сделалось грустно.

— Ночь, кажется, не будет очень холодной, — сказала, слегка все же вздрагивая от свежести, девушка.

Она сказала первое, что пришло в голову, чтобы Нок не думал, что она думает: “Вот он ест”.

— Пароход теперь остался отсюда далеко.

Нок что-то промычал, поперхнулся и бросил коробку в воду.

— Час ночи, — сказал он, подставив к спичке часы. — Вы, если хотите, спите.

— Но как же руль?

— Я умею управлять веслами, — настоятельно заговорил Нок, — а от вашего сонного правления рулем часа через два мы сядем на мель. Вообще я хотел бы — с раздражением прибавил он, — чтобы вы меня слушались. Я гораздо старше и опытнее вас и знаю, что делать. Можете прикорнуть и спать.

— Вы… очень добры, — нерешительно ответила девушка, не зная, что это: раздражение или снисхождение. — Хорошо, я усну. Если нужно будет, пожалуйста, разбудите меня.

Нок, ничего не сказав, сплюнул.

“Неужели вы думаете, что не разбужу? Ясно, что разбужу. Здесь не гостиная, здесь… Как они умеют окутывать паутиной! “Вы очень добры”… “Благодарю вас”, “Не находите ли вы”… Это все инстинкт пола, — решил Нок, — бессознательное к мужчине. Да”.

Потом он стал соображать, ехать ли в Зурбаган на лодке, или высадиться верст за пять от города, — ради безопасности. Сведения о покупке лодки за бешеные деньги, об иллюзорной Юсовой водке и приметы Нока вполне могли за двое суток стать известны в окрестностях. Попутно он еще раз похвалил себя за то, что догадался взять Гелли, а не отказал ей. Путешествие благодаря этому принимало семейный характер, и кто подумал бы, видя Нока в обществе молодой девушки, что это недавний каторжник? Гелли невольно помогала ему. Он решил быть терпимым.

— Вы спите? — спросил Нок, вглядываясь в темный оплыв кормы.

Ответом ему было нечто среднее между вздохом и сонным шепотом. Корма на фоне менее темном, чем лодка, казалась пустой; Гелли, видимо, спала, и Нок, чтобы посмотреть, как она

устроилась, зажег спичку. Девушка, завернувшись в плед, положила голову на руки, а руки на дек кормы; видны были только закрытый глаз, лоб и висок; все вместе представлялось пушистым комком.

— Ну и довольно о ней, — сказал Нок, бросая спичку. — Когда женщина спит, она не вредит.

Поддерживая нужное направление веслами, он, согласно величавой хмурости ночи, вновь задумался о печальном прошлом. Ему хотелось зажить, если он уцелеет, так, чтоб не было места самообманам, увлечениям и раскаяниям. Прежде всего нужно быть одиноким. Думая, что прекрасно изучил людей (а женщин в особенности), Нок, разгорячившись, решил, внешне оставаясь с людьми, внутренно не сливаться с ними, и так, приказав сердцу молчать всегда, встретить конец дней возвышенной грустью мудреца, знающего все земные тщеты.

Не так ли увенчанный славой и сединами доктор обходит палату безнадежно-больных, сдержанно улыбаясь всем взирающим на него со страхом и ропотом?.. “Да, да, — говорит бодрый вид доктора, — конечно, вы находитесь здесь по недоразумению и все вообще обстоит прекрасно”… Однако, доктор не дурак: он видит все язвы, все сокрушения, принесенные недугом, и мало думает о больных. Думать о приговоренных — так сказать — бесполезно. Они ему не компания.

Сравнение себя с доктором весьма понравилось Ноку. Он выпрямился, нахмурился и печально вздохнул. В таком настроении прошла ночь, и когда Нок стал ясно различать фигуру все еще спящей Гелли, — до Зурбагана оставалось сорок с небольшим верст. Верхние листья береговых кустов затлелись тихими искрами, река яснела, влажный ветерок разливал запах травы, рыбы и мокрой земли. Нок посмотрел на одеревеневшие руки: пальцы распухли, а ладони, испещренные водяными мозолями, едко горели.

— Однако пора будить этого будуарного человека, — сказал Нок о Гелли. — Занялся день, и я не рискну ехать далее, пока не стемнеет.

Он направил лодку к песчаному заливчику; лодка, толкнувшись, остановилась, и девушка, нервно вскочив, растерянно осмотрелась еще слипающимися глазами. III

— Это вы, — успокаиваясь, сказала она. — Всю ночь я спала. Я не сразу поняла, что мы едем.

Ее волосы растрепались, воротник блузы смялся, приняв взъерошенный вид. Плед спустился к ногам. Одна щека была румяней, другая бледной.

Нок сказал:

— Ну, нам, видите ли, осталось проехать не более того, что позади нас. Теперь мы остановились и не тронемся, пока не стемнеет. Надо же отдохнуть. Вылезайте, Гелли. Умывайтесь или причесывайтесь, как знаете, а мне позвольте булавку, если у вас есть. Я хочу поймать рыбу. В этой дикой реке рыбы достаточно.

Гелли погладила рукой грудь; булавка нашлась как раз на месте одной потерянной пуговицы. Она вынула булавку, и края кофточки слегка разошлись, приоткрыв край белой рубашки. Заметив это, Гелли смутилась — она вспомнила, что на нее, спящую, всю ночь смотрел мужчина, а так как спать одетой не приходилось ей никогда, то девушка бессознательно представила себя спавшей, как обычно, под одеялом. Просвет рубашки увеличил смущение. Все, что инстинктивно чувствовалось ей в положении мужчины и женщины, которых никто не видит, неудержимо перевело смущение в смятение; Гелли уронила булавку и, когда, отыскав ее, выпрямилась, лицо ее было совсем красным и жалким.

— Хорошо, что булавка железная, — сказал Нок. — Ее легко гнуть; стальная сломалась бы.

Простодушная близорукость этого замечания вернула Гелли душевное равновесие. Она вышла из лодки, за ней Нок. Сказав, что пойдет вырезать удочку, он потерялся в кустах, и Гелли в продолжение нескольких минут оставалась одна. Плеснув из горсточки на лицо воды, девушка утерлась платком и, поправив прическу над речным вздрагивающим зеркалом, поднялась к вершине берегового холма. Здесь она решила “собраться с мыслями”. Но мысли вдруг разбежались, потому что занялось и блеснуло перед ней такое жизнерадостное, великолепное утро, когда зелень кажется садом, а мы в нем детьми, прощенными за какую-то гадость. Солнечный шар плавился над синей рекой, играя с пространством легкими, дрожащими блестками, рассыпанными везде, куда направлялся взгляд. Крепкий густой запах зелени волновал сердце, прозрачность далей казалась широко раскинутыми, смеющимися объятиями; синие тени множили тонкость утренних красок, и кое-где в кудрявых ослепительных просветах блистала лучистая паутина.

Нок вышел из кустов с длинным прутом в руках. Гелли, переполненная восхищением, громко сказала:

— Какое дивное утро!

Нок опасливо посмотрел на нее. Она хотела быть, как всегда, сдержанной, но, против воли, сияла бессознательным оживлением.

“Ну, что же, — враждебно подумал он, — не воображаешь ли ты, что я попался на эту нехитрую удочку? Что я буду ахать и восхищаться? Что я раскисну под твоим взглядом? Девчонка, не мудри! Ничего не выйдет из этого”.

— Извините, — холодно сказал он. — Ваши восторги мне скучноваты. И затем, пожалуйста, не кричите. Я хорошо слышу.

— Я не кричала, — ответила Гелли, сжавшись.

Незаслуженная, явная грубость Нока сразу расстроила и замутила ее. Желая пересилить обиду, она спустилась к воде, тихо напевая что-то, но опасаясь нового замечания, умолкла совсем.

“Он положительно меня ненавидит; должно быть, за то, что я напросилась ехать”.

Эта мысль вызвала припадок виноватости, которую она постаралась, смотря на удившего с лодки Нока, рассеять сознанием необходимости ехать, что нашла нужным тотчас же сообщить Ноку.

— Вы напрасно сердитесь, Трумвик, — сказала Гелли, — не будь отец болен, я не просила бы вас взять меня с собой. Поэтому представьте себя на моем месте и в моем положении… Я ухватилась за вас поневоле.

— Это о чем? — рассеянно спросил Нок, поглощенный движением лесы, скрученной из похищенных в бортах пиджака конских волос. — Отойдите, Гелли, ваша тень ложится на воду и пугает рыбу. Не я, впрочем, виноват, что ваш отец захворал… И вообще, моя манера обращения одинакова со всеми… Клюет!

Гелли, покорно отступив в глубину берега, видела, как серебряный блеск, вырвавшись из воды, запрыгал в воздухе и, закружившись вокруг Нока наподобие карусели, шлепнулся в воду.

— Рыба! Большая! — вскричала Гелли.

Нок, гордый удачей, ответил так же азартно, оглушая скачущую в руках рыбу концом удилища:

— Да, не маленькая. Фунта три. Рыба, знаете, толстая и тяжелая: мы ее зажарим сейчас. — Он подтолкнул лодку к берегу и бросил на песок рыбу; затем, осмотревшись, стал собирать валежник и обкладывать его кучей, но валежника набралось немного. Гелли, стесняясь стоять без дела, тоже отыскала две-три сухих ветки. Порывисто, с напряжением и усердием, стоящим тяжелой работы, совала она Ноку наломанные ее исколотыми руками крошечные прутики, величиной в спичку. Нок, выпотрошив рыбу, поджег хворост. Огонь разгорался неохотно; повалил густой дым. Став на колени, Нок раздувал хилый огонь, не жалея легких, и скоро, поблизости уха, услышал второе, очень старательное, прерывистое: — фу-у-у! фу-у-у! — Гелли, упираясь в землю кулачками с сжатыми в них щепочками, усердно вкладывала свою долю труда; дым ел глаза, но, храбро прослезившись, она не оставила своего занятия даже и тогда, когда огонь, окрепнув и заворчав, крепко схватил хворост.

— Ну, будет! — сказал Нок. — Принесите рыбу. Вон она!

Гелли повиновалась.

Выждав, когда набралось побольше углей, Нок разгреб их на песке ровным слоем и аккуратно уложил рыбу. Жаркое зашипело. Скоро оно, сгоревшее с одной стороны, но доброкачественное с другой, было извлечено Ноком и перенесено на блюдо из листьев.

Разделив его прутиком, Нок сказал:

— Ешьте, Гелли, хотя оно и без соли. Голодными мы недалеко уедем.

— Я знаю это, — задумчиво произнесла девушка.

Съев кое-как свою порцию, она, став полусытой, затосковала по дому. Ослепительно, но дико и пустынно было вокруг; бесстрастная тишина берега, державшая ее в вынужденном обстоятельствами плену, начинала действовать угнетающе. Как сто, тысячу лет назад — такими же были река, песок, камни; утрачивалось представление о времени. Она молча смотрела, как Нок, спрятав лодку под свесившимися над водой кустами, набил и закурил трубку; как, мельком взглядывая на спутницу, хмуро и тягостно улыбался, и странное недоверие к реальности окружающего моментами просыпалось в ее возбужденном мозгу. Ей хотелось, чтобы Трумвик поскорее уснул; это казалось ей все-таки делом, приближающим час отплытия.

— Вы хотели заснуть, — сказала Гелли, — по-моему, вам это прямо необходимо.

— Я вам мешаю?

— В чем? — раздосадованная его постоянно придирчивым тоном, Гелли сердито пожала плечами. — Я, кажется, ничего не собираюсь делать, да и не могу, раз вы заявили, что поедете в сумерки.

— Я ведь не женщина, — торжественно заявил Нок, — меньше сна или больше — для меня безразлично. Если я вам мешаю…

— Я уже сказала, что нет! — вспыхнула, тяжело дыша от кроткого гнева, Гелли, — это я, должно быть, — позвольте вам сказать прямо, — мешаю вам в чем-то… Тогда не надо было ехать со мной. Потому что вы все нападаете на меня!

Ее глаза стали круглыми и блестящими, а детский рот обиженно вздрагивал. Нок изумленно вынул изо рта трубку и осмотрелся, как бы призывая свидетелями небо, реку и лес в том, что не ожидал такого отпора. Боясь, что Гелли расплачется, отняв у него тем самым — и безвозвратно — превосходную позицию сильного презрительного мужчины, Нок понял необходимость придать этому препирательству “серьезную и глубокую” подкладку —

немедленно; к тому же, он хотел, наконец, высказаться, как хочет этого большинство искренно, но недавно убежденных в чем-либо людей, ища слушателя, убежденного в противном; здесь дело обстояло проще: самый пол Гелли был отрицанием житейского мировоззрения Нока. Нок сначала нахмурился, как бы проявляя этим осуждение горячности спутницы, а затем придал лицу скорбное, горькое выражение.

— Может быть, — сказал он, веско посылая слова, — я вас и задел чем-нибудь, Гелли, даже наверное задел, допустим, но задевать вас, именно вас, я, поверьте, не собирался. Скажу откровенно, я отношусь к женщинам весьма отрицательно; вы — женщина; если невольно я перешел границы вежливости, то только поэтому. Личность, отдельное лицо, вы ли, другая ли кто — для меня все равно, в каждой из вас я вижу, не могу не видеть, представительницу мирового зла. Да! Женщины — мировое зло!

— Женщины? — несколько оторопев, но успокаиваясь, спросила Гелли, — и вы думаете, что все женщины…

— Решительно все!

— А мужчины?

— Вот чисто женский вопрос! — Нок подложил табаку в трубку и покачал головой. — Что “а мужчины?..” Мужчины, могу сказать без хвастовства, — начало творческое, положительное. Вы же начало разрушительное!

Разрушительное начало, взбудораженное до глубины сердца, с минуту, изумленно подняв тонкие брови, смотрело на Нока с упреком и вызовом.

— Но… Послушайте, Трумвик! — Нок заговорил языком людей ее круга, и она сама стала выражаться более легко и свободно, чем до этой минуты. — Послушайте, это дерзость, но — не думаю, что вы говорите серьезно. Это обидно, но интересно. В чем же показали себя с такой черной стороны мы?

— Вы неорганизованная стихия, злое начало.

— Какая стихия?

— Хоть вы, по-видимому, еще девушка, — Гелли побагровела от волнения, — я могу вам сказать, — продолжал, помолчав, Нок, — что… значит… половая стихия. Физиологическое половое начало переполняет вас и увлекает нас в свою пропасть.

— Об этом я говорить не буду, — звонко сказала Гелли, — я не судья в этом.

— Почему?

— Глупо спрашивать.

— Вы отказываетесь продолжать этот разговор?

Она отвернулась, смотря в сторону, ища понятного объяснения своему смущению, которое не могло, как она хорошо знала, вытекать ни из жеманности, ни из чопорности, потому просто, что эти черты отсутствовали в ее характере. Наконец, потребность быть всегда искренней взяла верх; посмотрев прямо в глаза Ноку чистым и твердым взглядом, Гелли храбро сказала:

— Я сама еще не женщина; поэтому, наверное, было бы много фальши, если бы я пустилась рассуждать о… физической стороне. Говорите, я, может быть, пойму все-таки и скажу, согласна с вами или нет!

— Тогда знайте, — раздраженно заговорил Нок, — что так как все интересы женщины лежат в половой сфере, они уже по тому самому ограниченны. Женщины мелки, лживы, суетны, тщеславны, хищны, жестоки и жадны.

Он потревожил Гартмана, Шопенгауэра, Ницше и в продолжение получаса рисовал перед присмиревшей Гелли мрачность картины будущего человечества, если оно, наконец, не предаст проклятью любовь. Любовь, по его мнению, — вечный обман природы, — следовало бы давно сдать в архив, а романы сжечь на кострах.

— Вы, Гелли, — сказал он, — еще молоды, но когда в вас проснется женщина, она будет ничем не лучше остальных розовых хищников вашей породы, высасывающих мозг, кровь, сердце мужчины и часто доводящих его до преступления.

Гелли вздохнула. Если Нок прав хоть наполовину, — жизнь впереди ужасна. Она, Гелли, против воли сделается змеей, ехидной, носительницей мирового зла.

— У Шекспира есть, правда, леди Макбет, — возразила она, — но есть также Юлия и Офелия…

— Неврастенические самки, — коротко срезал Нок.

Гелли прикусила язык. Она чуть было не сказала: “я познакомила бы вас с мамой, не умри она четыре года назад”, и теперь благодарила судьбу, что злобный ярлык “самок” миновал дорогой образ. У нее пропала всякая охота разговаривать Нок, не заметив хмурой натянутости в ее лице, сказал, разумея себя под переменою “я” на “он”:

— У меня был приятель. Он безумно полюбил одну женщину. Он верил в людей и женщин. Но эта пустая особа любила роскошь и мотовство. Она уговорила моего приятеля совершить кражу… этот молодой человек был так уверен, что его возлюбленная тоже сошла с ума от любви, что взломал кассу патрона и деньги передал той, — дьяволу в человеческом образе. И она уехала от мужа одна, а я…

Вся кровь ударила ему в голову, когда, проговорившись в запальчивости так опрометчиво, он понял, что рассказ все-таки необходимо закончить, чтобы не вызвать еще большего подозрения. Но Гелли, казалось, не сообразила в чем дело. Обычная слабая улыбка вежливого внимания освещала ее осунувшееся за ночь лицо.

— Что же, — вполголоса договорил Нок, — он попал на каторгу.

Наступило внимательное молчание.

— Он и теперь там? — принужденно спросила Гелли.

— Да.

— Вам его жалко, конечно… и мне жалко, — поспешно прибавила она, — но поверьте, Трумвик, человек этот не виноват!

— Кто же виноват?

Нок затаил дыхание.

— Конечно, она.

— А он?

— Он сильно любил, и я бы не осудила его.

Нок смотрел на нее так пристально, что она опустила глаза.

“Догадалась или не догадалась? Э, черт! — решил он, — мне, в сущности, все равно. Она, конечно, подозревает теперь, но не посмеет выспрашивать, а мне более ничего не нужно”.

— Я засну. — Он встал, потягиваясь и зевая.

— Да, засните, — сказала Гелли, — солнце высоко.

Нок, не отвечая, улегся в тени явора, закрыв голову от комаров пиджаком, и скоро уснул. Во сне, — как ни странно, как это ни противно его мнениям, но как согласно с человеческой природой, он видел, что Гелли подходит к нему, сидящему, сзади, и нежно прижимает теплую ладонь к его глазам. Его чувства при этом были странной смесью горькой обиды и нежности. Сон, вероятно, принял бы еще более сложный характер, если бы Нок не проснулся от нерешительного мягкого расталкивания. Открыв глаза, он увидел будившую его Гелли и последнее прикосновение ее руки слилось с наивностью сна. Стемнело. Красное веко солнца скрывалось за черным берегом; сырость, тяжесть в голове и грозное настоящее вернули Нока к его постоянному за последние дни состоянию угрюмой настороженности.

— Простите, я разбудила вас, — сказала Гелли, — нам пора ехать.

Они сели в лодку; снова зашумела вода; около часа они плыли не разговаривая; затем, слыша, как Нок часто и хрипло дышит (подул порывистый встречный ветер, и вода взволновалась), Гелли сказала:

— Передайте мне весла, Трумвик, вы отдохнете.

— Весла тяжелые.

— Ну, что за беда! — Она засмеялась. — Если окажусь неспособной, прошу прощения. Дайте весла.

— Как хотите, — ответил Нок.

“Пускай гребет, в самом деле, — подумал он, — голосок-то у нее стал потверже, это сбить надо”.

Они пересели. Нок услышал медленные, неверные всплески, ставшие постепенно более правильными и частыми. Гелли еле удерживала весла, толстые концы которых ежеминутно грозили вырваться из ее рук. Откидываясь назад, она тянулась всем телом, и, что хуже всего, ее ногам не было точки опоры, они не доставали до вделанного в дно лодки специально для упора ногам деревянного возвышения. Ноги Гелли беспомощно скользили по дну, и, с каждым взмахом весел, тело почти съезжало с сиденья. Отгребаемая вода казалась тяжелой и неподвижной, как если бы весла погружались в зерно. Руки и плечи девушки заболели сразу, но ни это, ни болезненное сердцебиение, вызвавшее холодный пот, ни тяжесть и мучительность судорожного дыхания не принудили бы ее сознаться в невольной слабости. Она скорее умерла бы, чем оставила весла. Не менее получаса Гелли выносила эту острую пытку и, под конец, двигала веслами машинально, как бы не своими руками. Нок, мрачно думавший о жестоком прошлом, встрепенулся и прислушался: весла ударяли вразброд, слабыми, растерянными всплесками, почти не двигая лодку.

— Ага! Гелли! — сказал он. — Возвращайтесь на свое место, довольно!

Она не могла даже ответить. Нок, выпустив руль, подошел к ней. Слабые отсветы воды позволили ему, нагнувшись, рассмотреть бледное, с крепко зажмуренными глазами и болезненно раскрывшимся ртом лицо девушки. Он схватил весла, желая отнять их. Гелли не сразу выпустила их, но, и выпуская, все еще пыталась взмахнуть ими, как заведенная. Она

открыла глаза и выпрямилась, полусознательно улыбаясь.

— Ну что? — с внезапной жалостью спросил Нок.

— Нет, ничего, — через силу ответила она, стараясь отдышаться сразу. Затем боязнь насмешки или укола заставила ее гордо выпалить довольно смелое заявление: — Я могла бы долго грести, так как весла не очень тяжелы… Только ручки у них толстые, — наивно прибавила она.

Они пересели снова, и Нок задумался. Он был несколько сконфужен и тронут. Но он постарался придать иное направление мыслям, готовым пристально остановиться на этом гордом и добром существе. Однако у него осталось такое впечатление, как будто он шел и вот зачем-то остановился.

Тучи сгустились, ветер стал ударять сильными густыми рывками. На руку Нока упала капля дождя, и в отдаленном углу земной тьмы блеснул короткий голубой свет. Лодку покачивало, вода зловеще всплескивала. Нок посмотрел вверх, затем, перестав грести, сказал:

— Гелли, надо пристать к берегу. Будет гроза. Переждать ее на воде немыслимо; лодку затопит ливнем или опрокинет ветром. Держите руль к берегу. IV

Место, куда пристали они, было рядом невысоких песчаных бугров. Путешественники сошли на берег. Нок, опасаясь, что вода от ливня сильно поднимется, с большими усилиями втянул лодку меж буграми в естественное песчаное углубление. По берегу тянулся редкий, высокий лес, являющийся плохой защитой от грозовой бури, и Нок нашел нужным предупредить девушку об этом.

— Мы вымокнем, — сказал он, — с чем примиритесь заранее — некуда скрыться. Вы боитесь?

— Нет, но неприятно останавливаться.

— Ужасно неприятно.

Они встали под деревом, с тоской прислушиваясь к шуму его листвы, по которой защелкал дождь. Ветер, затихая на мгновение, ударял снова, как бы набравшись сил, еще резче и неистовее. Тучи, спустившиеся над лесом с решительной мрачностью нападения, задавили наконец единственный густо-синий просвет неба, и тьма стала полной. Было сиротливо и холодно; птицы, вспархивая без крика, летели низом, вихляющим трусливым полетом. Свет молнии, вспыхивавший пока редко, без грома, показал Ноку за обрывом лису, нюхавшую воздух, острая ее морда и поджатая передняя лапа исчезли мгновенно, как появились.

Междуцарствие тишины и грозы кончилось весьма решительным шквалом, сразу взявшим быстроту курьерского поезда; в его стремительном напряжении деревья склонились под углом тридцати градусов, а мелкая поросль затрепетала как в лихорадке. Листья, сучья, разный древесный сор понесся меж стволов, ударяя в лицо. Наконец, скакнула жутким синим огнем гигантская молния, по земле яростно хлестнуло дождем, и взрывы неистового грома огласили пустыню.

Мокрые, как губки в воде, Гелли и Нок стояли в ошеломлении, прижавшись спинами и затылками к стволу. Они задыхались. Ветер душил их; ему помогал ливень такой чудовищной щедрости, что лес быстро наполнился шумом ручьев, рожденных грозой. Гром и молния чередовались в диком соперничестве, заливающем землю приступами небесного грохота и непрерывным, режущим глаз, холодным, как дождь, светом, в дрожи которого деревья, казалось, шатаются и подскакивают.

— Гелли! — закричал Нок. — Мы все равно больше не смокнем. Выйдем на открытое место! Опасно стоять под деревом. Дайте руку, чтобы не потеряться; видите, что творится кругом.

Держа девушку за руку, ежеминутно расползаясь ногами в скользкой грязи и высматривая, пользуясь молнией, свободное от деревьев место, Нок одолел некоторое расстояние, но, убедившись, что далее лес становится гуще, остановился. Вдруг он заметил огненную неподвижную точку. Обойдя куст, мешавший внимательно рассмотреть это явление, Нок различил огромный переплет, находившийся так близко от него, что виден был огарок свечи, воткнутый в бутылку, поставленную на стол.

— Гелли! — сказал Нок. — Окно, жилье, люди! Вот-вот, смотрите!

Ее рука крепче оперлась о его руку, девушка радостно повторила:

— Окно, люди! Да, я вижу теперь. О, Трумвик, бежим скорей под крышу! Ну!

Нок приуныл, охваченный сомнением. Именно жилья и людей следовало ему избегать в своем положении. Наконец, сам измученный и озябший, рассчитывая, что в подобной глуши мало шансов знать кому-либо его приметы и бегство, а в крайнем случае положившись на судьбу и револьвер, Нок сказал:

— Мы пойдем, только, ради бога, слушайтесь меня, Гелли: не объясняйте сами ничего, если вас спросят, как мы очутились здесь. Неизвестно, кто живет здесь; неизвестно также, поверят ли нам, если мы скажем правду, и не будет ли от этого неприятностей. Если это понадобится, я расскажу выдумку, более правдоподобную, чем истина; согласитесь, что истина нашего положения все-таки исключительная.

Гелли плохо понимала его; вода под платьем струилась по ее телу, поддерживая одно желание — скорее попасть в сухое, крытое место.

— Да, да, — поспешно сказала девушка, — но, пожалуйста, Трумвик, идем!..

Через минуту они стояли у низкой двери бревенчатой, без изгороди и двора, хижины.

Нок потряс дверь.

— Кто стучит? — воскликнул голос за дверью.

— Застигнутые грозой, — сказал Нок, — они просят временно укрыть их.

— Что за дьявол! — с выражением изумления, даже пораженности откликнулся голос. — Медор, иди-ка сюда, эй, ты, лохматый лентяй!

Послышался хриплый глухой лай.

Неизвестный, все еще не открывая дверей, спросил:

— Сколько вас?

— Двое.

— Кто же вы, наконец?

— Мужчина и женщина.

— Откуда здесь женщина, любезнейший?

— Скучно объясняться через дверь, — заявил Нок, — пустите, мы устали и смокли.

Наступила короткая тишина; затем обитатель хижины, внушительно стуча чем-то об пол, крикнул:

— Я вас пущу, но помните, что Медор без намордника, а в руках я держу двухствольный штуцер. Входите по одному; первой пусть войдет женщина.

Встревоженная Гелли еще раз за время этого разговора почувствовала силу обстоятельств, бросивших ее в необычайные, никогда не испытанные условия. Впрочем, она уже несколько притерпелась. Звякнул отодвигаемый засов, и в низком, грязном, но светлом помещении появилась совсем мокрая, тяжело дышащая, бледная, слегка оробевшая девушка в шляпе, изуродованной и сбитой набок дождем. Гелли стояла в луже, мгновенно образовавшейся на полу от липнущей к ногам юбки. Затем появился Нок, в не менее жалком виде. Оба одновременно сказали “уф” и стали осматриваться. V

Хозяин хижины, оттянув собаку за ошейник от ног посетителей, на которые она обратила чрезмерное внимание и продолжала взволнованно ворчать, загнал ее двумя пинками в угол, где, покружившись и зевнув, волкодав лег, устремив беспокойные глаза на Гелли и Нока. Хозяин был в цветной шерстяной рубахе с засученными рукавами, плисовых штанах и войлочных туфлях. Длинные, жидкие волосы, веером спускаясь к плечам, придавали неизвестному вид бабий и неопрятный. Костлявый, невысокого роста, лет сорока — сорока пяти, человек этот с румяным, неприятно открытым лицом, с маленькими ясными глазами, окруженными сеткой морщин и вздернутой верхней губой, открывавшей крепкие желтоватые зубы, производил смутное и мутное впечатление. В очаге, сложенном из дикого камня, горели дрова, над огнем кипел черный котелок, а над ним, шипя и лопаясь, пеклось что-то из теста. У засаленного бурого стола, кроме скамьи, торчали два табурета. Жалкое ложе в углу, отдаленно напоминающее постель, и осколок зеркала на гвозде доканчивали скудную меблировку. Под полками с небольшим количеством необходимой посуды висели ружья, капканы, лыжи, сетки и штук пятнадцать клеток с певчими птицами, возбужденно голосившими свои нехитрые партии. На полу стоял граммофон в куче сваленных старых пластинок. Все это было достаточно густо испещрено птичьим пометом.

— Так вот, дорогие гости, — сказал несколько нараспев и в нос неизвестный, — садитесь, садитесь. Вас, вижу я, хорошо выстирало. Садитесь, грейтесь.

Гелли села к огню, выжимая рукава и подол юбки. Нок ограничился тем, что, сняв мокрый пиджак, сильно закрутил его над железным ведром и снова надел. Стекла окна, озаряемые молнией, звенели от грома.

— Давайте знакомиться, — добродушно продолжал хозяин, отставляя ружье в угол. — Ах, бедная барышня! Я предложу вам, господа, кофею. Вот вскипел котелок — а, барышня?

Гелли поблагодарила очень сдержанно, но так тихо и ровно, что трудно было усомниться в ее желании съесть и выпить чего-нибудь. Злосчастная рыба давно потеряла свое подкрепляющее действие. Нок тоже был голоден.

Он сказал:

— Я заплачу. Есть и пить, правда, необходимо. Дайте нам то, что есть.

— Разве берут деньги в таком положении? — обиженно возразил охотник. — Чего там! Ешьте, пейте, отдыхайте — я всегда рад услужить, чем могу.

Все это произносил он раздельно, открыто, радушно, как заученное. На столе появились хлеб, холодное мясо, горячая, с огня, масляная лепешка и котелок, полный густым кофе. Собирая все это, охотник тотчас же заговорил о себе. Больше всего он зарабатывает продажей птиц, обученных граммофоном всевозможным мелодиям. Он даже предложил

показать, как птицы подражают музыке, и бросился было к граммофону, но удержался, покачав головой.

— Ах я, дурак, — сказал он, — молодые люди проголодались, а я вздумал забавлять их!

— Кстати, — он повернулся к Ноку и посмотрел на него в упор, — вверху тоже дожди?

— Мы едем снизу, — сказал Нок, — в Зурбагане отличная погода… Как вас зовут?

— Гутан.

— Милая, — нежно обратился Нок к девушке, — что если Трумвик и Гелли попросят этого доброго человека указать где-нибудь поблизости сговорчивого священника? Как ты думаешь?

Гутан поставил кружку так осторожно, словно малейший стук мог заглушить ответ Гелли. Она сидела против Нока, рядом с охотником.

Девушка опустила глаза. Резкая бледность мгновенно изменила ее лицо. Ее руки дрожали, а голос был не совсем бодр, когда она, отбросив, наконец, опасное колебание, тихо сказала:

— Делай как знаешь.

Гроза стихала.

Гутан опустил глаза, затем отечески покачал головой.

— Конечно, я на вашей стороне, — сочувственно сказал он, — семейный деспотизм штука ужасная. Только, как мне ни жаль вас, господа, а должен я сказать, что вы проехали. Деревня лежит ниже, верст десять назад. Там есть отличный священник, в полчаса он соединит вас и возьмет, честное слово, сущие пустяки…

— Что же, беда не велика, — спокойно сказал Нок, — все, видите ли, вышло очень поспешно, толком расспросить было некого, и мы, купив лодку, отправились из Зурбагана, рассчитывая, что встретим же какое-нибудь селение. Виноваты, конечно, сумерки, а нам с Гелли много было о чем поговорить. Вот заговорились — и просмотрели деревню.

— Поедем, — сказала Гелли, вставая. — Дождя нет.

Нок пристально посмотрел в ее блестящие, замкнутые глаза.

— Ты волнуешься и торопишься, — медленно произнес он, — не беспокойся; все устроится. Садись.

Истинный смысл этой фразы казался непонятным Гутану и был очень недоверчиво встречен девушкой, однако ей не оставалось ничего другого, как сесть. Она постаралась улыбнуться.

Охотник подошел к очагу. Неторопливо поправив дрова, он, стоя спиной к Ноку, сказал:

— Смешные вы, господа, люди. Молодость, впрочем, имеет свои права. Скажу я вам вот что: опасайтесь подозрительных встреч. Два каторжника бежали на прошлой неделе из тюрьмы; одного поймали вблизи Варда, а другой…

Он повернулся как на пружинах, с приятной улыбкой на разгоревшемся румяном лице, и быстро, но непринужденно уселся за стол. Его прямой, неподвижный взгляд, обращенный прямо в лицо Нока, был бы оглушителен для слабой души, но молодой человек, захлебнувшись кофеем, разразился таким кашлем, что побагровел и согнулся.

— …другой, — продолжал охотник, терпеливо выждав конца припадка, — бродит в окрестностях, как я полагаю. О бегстве мошенников было, видите ли, напечатано в газете, и приметы их там указаны.

— Да? — весело сказала Гелли. — Но нас, знаете, грабить не стоит, мы почти без денег… Как называется эта желтая птичка?

— Это певчий дрозд, барышня. Премилое создание.

Нок рассмеялся.

— Гелли трудно напугать, милый Гутан! — вскричал он, — что касается меня, я совершенный фаталист во всем.

— Вы, может быть, правы, — согласился охотник. — Советую вам посмотреть лодку, — вода прибыла, лодку может умчать разливом.

— Да, правильно. — Нок встал. — Гелли, — громко и нежно сказал он, — я скоро вернусь. Ты же посмотри птичек, развлекись разговором. Вероятно, тебя угостят и граммофоном. Не беспокойся, я помню, где лодка, и не заплутаюсь.

Он вышел. Гелли знала, что этот человек ее не оставит. Острота положения пробудила в ней всю силу и мужественность ее сердца, способного замереть в испуге от словесной обиды, но твердого и бесстрашного в опасности. Она жалела и уважала своего спутника, потому что он на ее глазах боролся, не отступая до конца, как мог, с опасной судьбой.

Гутан подошел к двери, плотно прикрыл ее, говоря:

— Эти певчие дрозды, барышня, чудаки, страшные обжоры, во-первых, и…

Но эта бесцельная болтовня, видимо, стесняла его. Подойдя к Гелли вплотную, он, перестав улыбаться, быстро и резко сказал:

— Будем вести дело начистоту, барышня. Клянусь, я вам желаю добра. Знаете ли вы, кто этот господин, с которым вам так хочется обвенчаться?

Даже чрезвычайное возбуждение с трудом удержало Гелли от улыбки, — так ясно было, что охотник поддался заблуждению. Впрочем, присутствие Гелли трудно было истолковать в ином смысле — ее наружность отвечала самому требовательному представлению о девушке хорошего круга.

— Мне, кажется, да, знаю, — холодно ответила Гелли, вставая и выпрямляясь. — Объясните ваш странный вопрос.

Гутан взял с полки газету, протянул Гелли истрепанный номер.

— Читайте здесь, барышня. Я знаю, что говорю.

Пропустив официальный заголовок объявления, а также то, что относилось к второму каторжнику, Гелли прочла:

“…и Нок, двадцати пяти лет, среднего роста, правильного и крепкого сложения, волосы вьющиеся, рыжеватые, глаза карие; лицо смуглое, под левым ухом большое родимое пятно, величиной с боб; маленькие руки и ноги; брови короткие; других примет не имеет. Каждый обнаруживший местонахождение указанных лиц, или одного из них, обязан принять все меры к их задержанию, или же, в случае невозможности этого, — поставить местную власть в известность относительно поименованных преступников, за что будет выдана установленная

законом награда”.

Гелли машинально провела рукой по глазам. Прочитанное не было для нее новостью, но отнимало — и окончательно — самые смелые надежды на то, что она могла крупно, фантастически ошибиться.

Вздохнув, она возобновила игру.

— Боже мой! Какой ужас!

— Да, — с грубой торопливостью подхватил Гутан, не замечая, что отчаянное восклицание слишком подозрительно скоро прозвучало из уст любящей женщины. — Не мое дело допытываться, как он, и так скоро, обошел вас. Но вот с кем вы хотели связать судьбу.

— Я очень обязана вам, — сказала Гелли с чувством глубокого отвращения к этому человеку. Она, естественно, тяжело дышала; не зная, чем кончится мрачная история вечера, Гелли допускала всякие ужасы. — Как видите, я потрясена, растерялась. Что делать?

— Помогите задержать его, — сказал Гутан, — и клянусь вам, я не только доставлю вас обратно в город, но и уделю еще четвертую часть награды. Молодые барышни любят принарядиться… — Он пренебрежительно окинул взглядом жалкий костюм Гелли. — Жизнь дорожает, а я хозяин своему слову.

Рука Гелли невольно качнулась по направлению к пышущей здоровьем щеке охотника, но девушка перемогла оскорбление, не изменившись в лице.

— Хорошо, согласна! — твердо произнесла она. — Я не умею прощать. Он скоро придет. Вы не боитесь, что отпустили его?

— Нет. Он ушел спокойно. Даже если и догадывается, что маска сорвана, — одного меня он, конечно, не побоится. У него — револьвер. Оттянутый карман в мокром пиджаке заметно выдает форму предмета. Я должен его связать, схватить его сзади. Вы подведите его к клетке и займите какой-нибудь птицей. В это время возьмите у него из кармана револьвер. Иначе, — Гутан угрожающе понизил голос, — я осрамлю вас на весь город.

— Хорошо, — едва слышно сказала Гелли. Она говорила и двигалась, как бы в ярком сне, где все решения мгновенны, полны кошмарной тоски и тайны. — Да, вы сообразили хорошо. Я так и сделаю.

— Улыбайтесь же! Улыбайтесь! — вдруг крикнул Гутан. — Вы побелели! Он идет, слышите?!

Звук медленных, за дверью, шагов, приближающихся как бы в раздумьи, был слышен и Гелли. Она придвинулась к двери. Нок, широко распахнув дверь, прежде всего посмотрел на девушку.

— Нок, — громко сказала она; охотник не догадался сразу, что внезапная перемена имени выдает положение, но беглец понял. Револьвер был уже в его руке. Это произошло так быстро, что, поспешно переступая порог, чтобы не видеть свалки, Гелли успела только проговорить: — Защищайтесь, — это я хотела сказать.

Последним воспоминанием ее были два мгновенно преображенных мужских лица.

Она отбежала шагов десять в мокрую тьму кустов и остановилась, слушая всем своим существом. Неистовый лай, выстрел, второй, третий; два крика; сердце Гелли стучало, как швейная машина в полном ходу; в полуоткрытую дверь выбрасывались тени, быстро меняющие место и очертания; спустя несколько секунд звонко вылетело наружу оконное стекло и наступила несомненная, но удивительная в такой момент тишина. Наконец, кто-то,

черный от падающего сзади света, вышел из хижины.

— Гелли! — тихо позвал Нок.

— Я здесь.

— Пойдемте. — Он хрипло дышал, зажимая ладонью нижнюю, разбитую губу.

— Вы… убили?

— Собаку.

— А тот?

— Я связал его. Он сильнее меня, но мне посчастливилось запутать его в скамейках и клетках. Там все опрокинуто. Я также заткнул ему рот, пригрозив пулей, если он не согласится на это… Самому разжимать рот…

— О, бросьте это! — брезгливо сказала Гелли.

Так тяжело, как теперь, ей не было еще никогда. На долгие часы померкла вся казовая сторона жизни. Лесная тьма, борьба, кровь, предательство, жестокость, трусость и грубость подарили новую тень молодой душе Гелли. Уму было все ясно и непреложно, а сердцу — противно.

Нок, приподняв лодку, освободил ее этим от дождевой воды и столкнул на воду. Они двигались в полной тьме. Вода сильно поднялась, более внятный шум ускоренного течения звучал тревожно и властно.

Несколькими ударами весел Нок вывел лодку на середину реки и приналег в гребле. Тогда, почувствовав, что связанный и застреленная собака отрезаны, наконец, от нее расстоянием и водой, Гелли заплакала. Иного выхода не было ее потрясенным нервам; она не могла ни гневаться, ни быть безучастной к только что происшедшему, — особенно теперь, когда от нее не требовалось более того крайнего самообладания, какое пришлось выказать у Гутана.

— Ради бога, не плачьте, Гелли! — сказал, сильно страдая, Нок. — Я виноват, я один.

Гелли, чувствуя, что голос сорвется, молчала. Слезы утихли. Она ответила:

— Мне можно было сказать все, все сразу. Мне можно довериться, — или вы не понимаете этого. Вероятно, я не пустила бы вас в эту проклятую хижину.

— Да, но я теперь только узнал вас, — с грустной прямолинейностью сообщил Нок. — Моя сказка о священнике и браке не помогла: он знал, кто я. А помогла бы… Как и что сказал вам Гутан, Гелли?

Гелли коротко передала главное, умолчав о четверти награды за поимку.

“Нет, ты не стоишь этого, и я тебе не скажу, — подумала она, но тут же отечески пожалела уныло молчавшего Нока. — Вот и присмирел”.

И Гелли рассмеялась сквозь необсохшие слезы.

— Что вы? — испуганно спросил Нок.

— Ничего; это — нервное.

— Завтра утром вы будете дома, Гелли. Течение хорошо мчит нас. — Помолчав, он

решительно спросил: — Так вы догадались?

— Мужчине вы не рискнули бы рассказать историю с вашим приятелем! Пока вы спали, у меня вначале было смутное подозрение. Голое почти. Затем я долго бродила по берегу; купалась, чтобы стряхнуть усталость. Я вернулась; вы спали, и здесь почему-то, снова увидев, как вы спите, так странно и как бы привычно закрыв пиджаком голову, я сразу сказала себе: “его приятель — он сам”; плохим другом были вы себе, Нок! И, право, за эти две ночи я постарела не на один год.

— Вы поддержали меня, — сказал Нок, — хорошо, по-человечески поддержали. Такой поддержки я не встречал.

— А другие?

— Другие? Вот…

Он начал рассказ о жизни. Возбуждение чувств помогло памяти. Не желая трогать всего, он остановился на детстве, работе, мрачном своем романе и каторге. Его мать умерла скоро после его рождения, отец бил и тридцать раз выгонял его из дому, но, напиваясь, прощал. Неоконченный университет, работа в транспортной конторе и встреча, в парке, при подкупающих звуках оркестра, с прекрасной молодой женщиной были переданы Ноком весьма сжато; он хотел рассказать главное — историю отношений с Темезой. Насколько поняла Гелли, — крайняя идеализация Ноком Темезы и была причиной несчастья. Он слепо воображал, что она совершенна, как произведение гения, — так сильно и пылко хотелось ему сразу обрести все, чем безыскусственные, но ненасытные души наделяют образ любимой.

Но он-то был для своей избранницы всего пятой, по счету, прихотью. Благоговейная любовь Нока сначала приподняла ее — немного, затем надоела. Когда понадобилось бежать от терпеливого, но раздраженного, в конце концов, мужа с новым любовником, Темеза — отчасти искренно, отчасти из подражания героиням уголовных романов — стала в позу обольстительной, но преступной натуры. К тому же весьма крупная сумма, добытая Ноком ценой преступления, стоила в ее глазах безвыездного житья за границей.

Нок был так подавлен и ошеломлен вероломством скрывшейся от него — к новой любви — Темезы, что остался глубоко равнодушным к аресту и суду. Лишь впоследствии, два года спустя, в удушливом каторжном застенке он понял, к чему пришел.

— Что вы намерены делать? — спросила Гелли. — Вам хочется разыскать ее?

— Зачем?

Она молчала.

Нок сказал:

— Никакая любовь не выдержит такого огня. Теперь, если удастся, я переплыву океан. Усните.

— Какой сон!

“Однако я ведь ничего не могу для него сделать, — огорченно думала Гелли. — Может быть, в городе… но что? Прятать? Ему нужно покинуть Зурбаган как можно скорее. В таком случае, я выпрошу у отца денег”.

Она успокоилась.

— Нок, — равнодушно сказала девушка, — вы зайдете со мной к нам?

— Нет, — твердо сказал он, — и даже больше. Я высажу вас у станции, а сам проеду немного дальше.

Но — мысленно — он зашел к ней. Это взволновало и рассердило его. Нок смолк, умолкла и девушка. Оба, подавленные пережитым и высказанным, находились в том состоянии свободного, невынужденного молчания, когда родственность настроений заменяет слова.

Когда в бледном рассвете, насквозь продрогшая, с синевой вокруг глаз, пошатывающаяся от слабости, Гелли услышала отрывистый свисток паровоза, — звук этот показался ей замечательным по силе и красоте. Она ободрилась, порозовела. Низкий слева берег был ровным лугом; невдалеке от реки виднелись черепичные станционные крыши.

Нок высадил Гелли.

— Ну вот, — угрюмо сказал он, — вы через час дома… Все.

Вдруг он вспомнил свой сон под явором, но не это предстояло ему.

— Так мы расстаемся, Нок? — сердечно спросила Гелли. — Слушайте, — она, достав карандаш и покоробленную дождем записную книжку, поспешно исписала листок и протянула его Ноку. — Это мой адрес. В крайнем случае — запомните это. Поверьте этому — я помогу вам.

Она подала руку.

— Прощайте, Гелли! — сказал Нок. — И… простите меня.

Она улыбнулась, примиренно кивнула головой и отошла. Но часть ее осталась в неуклюжей рыбачьей лодке, и эта-то часть заставила Гелли обернуться через немного шагов. Не зная, какой более крепкий привет оставить покинутому, она подняла обе руки, быстро вытянув их, ладонями вперед, к Ноку. Затем, полная противоречивых, смутных мыслей, девушка быстро направилась к станции, и скоро легкая женская фигура скрылась в зеленых волнах луга.

Нок прочитал адрес: “Трамвайная ул., 14–16”.

— Так, — сказал он, разрывая бумажку, — ты не подумала даже, как предосудительно оставлять в моих руках адрес. Но теперь никто не прочитает его. И я к тебе не приду, потому что… о, господи!.. люблю!.. VI

Нок рассчитывал миновать станцию, но когда стемнело и он направился в Зурбаган, предварительно утопив лодку, голодное изнурение двух суток настолько помрачило инстинкт самосохранения, что он, соблазненный полосой света станционного фонаря, тупо и вместе с тем радостно повернул к нему. Рассудок не колебался, он строго кричал об опасности, но воспоминание о Гелли, безотносительно к ее приглашению, почему-то явилось ободряющим, как будто лишь знать ее было, само по себе, защитой и утешением — не против внешнего, но того внутреннего — самого оскорбительного, что неизменно ранит даже самые крепкие души в столкновении их с насилием.

Косой отсвет фонаря напоминал о жилом месте и, главное, об еде. От крайнего угла здания отделяли кусты пространством сорока-пятидесяти шагов. На смутно различаемом перроне двигались тени Нок не хотел идти в здание станции; на такое безумство — еще в нормальном сравнительно состоянии — он не был способен, но стремился, побродив меж запасных путей, найти будку или сторожку, с человеком, настолько заработавшимся и прозаическим, который, по недалекости и добродушию, приняв беглеца за обыкновенного городского бродягу, даст за деньги перекусить.

Нок пересек главную линию холодно блестящих рельс саженях в десяти от перрона и, нырнув

под запасный поезд, очутился в тесной улице товарных вагонов. Они тянулись вправо и влево; нельзя было угадать в темноте, где концы этих нагромождений. В любом направлении — окажись здесь десятки вагонов — Нока могла ждать неприятная или роковая встреча. Он пролез еще под одним составом и снова, выпрямившись, увидел неподвижный глухой поезд. По-видимому, тут, на запасных путях, стояло их множество. Отдохнув, Нок пополз дальше. Почти не разгибаясь даже там, где по пути оказывались тормозные площадки — так болела спина, он выбрался, в конце концов, на пустое в широком расхождении рельс, место; здесь, близко перед собой, увидел он маленькую, без дверей будку, внутри ее горел свечной огарок; сторожа не было; над грубой койкой на полке лежал завернутый в тряпку хлеб, рядом с бутылкой молока и жестянкой с маслом. Нок осмотрелся.

Действительно, кругом никого не было, ни звука, ни вздоха не слышалось в этом уединенном месте, но неотразимое ощущение опасности повисло над душой беглеца, когда, решившись взять хлеб, он протянул, наконец, осторожную руку. Ему казалось, что первый же его шаг прочь от будки обнаружит притаившихся наблюдателей. Однако тряпка из-под хлеба упала на пол без сотрясения окружающего, и Нок уходил спокойно, с пустой, легкой, шумной от напряжения головой, едва удерживаясь, чтобы тотчас же не набить рот влажным мякишем. Он шел по направлению к Зурбагану, удаляясь от станции. Справа тянулся ряд угрюмых вагонов, слева — песчаная дорожка и за ней выступы палисадов; верхи деревьев уныло чернели в полутьме неба.

Внезапно, как во сне, из-за вагона упал на песок, быстро побежав к Ноку, огонь ручного фонаря; некто, остановившись, хмуро спросил:

— Зачем вы ходите здесь?

Нок отшатнулся.

— Я… — сказал он и, вдруг потеряв самообладание, зная, что растерялся, вскочил на первую попавшуюся подножку. Нога Нока, крепко и молча схваченная снизу сильной рукой, выдернулась быстрее щелчка.

— Стой, стой! — оглушительно крикнул человек с фонарем.

Нок спрыгнул между вагонов. Затем он помнил только, что, вскакивая, пролезая, толкаясь коленями и плечами о рельсы и цепи, спрыгивал и бежал в предательски тесных местах, пьяный от страха и тьмы, потеряв хлеб и шляпу. Вскочив на грузовую платформу, он увидел, как впереди скользнул вниз прыгающий красный фонарь, за ним второй, третий; сзади, куда обернулся Нок, тоже прыгали с тормозных площадок настойчивые красные фонари, шаря и светя во всех направлениях.

Нок тихо скользнул вниз, под платформу. Единственным его спасением в этом прямолинейном лесу огромных, глухих ящиков было держаться одного направления — куда бы оно ни вело; кружиться и путаться означало гибель. Сжав зубы, с замолкшей душой и судорожно хлопающим сердцем, прополз он под несколькими рядами вагонов, бесшумно и быстро, среди криков, скрипа шагов и мелькающего по рельсам света. В одном месте Нок стукнулся головой о нижний край вагона; от силы удара молодой человек чуть не свалился навзничь, но, пересилив боль, пополз дальше. Боль, одолев страх, прояснила сознание. Им, видимо, руководил инстинкт направления, иногда действующий — в случаях обострения чувств. Шатаясь, Нок встал на свободном месте — то была покинутая им в момент встречи фонаря песчаная дорожка, окаймленная палисадами; перепрыгнув забор, Нок мчался по садовым кустам и клумбам к следующему забору. За забором и небольшим пустырем лежал лес, примыкающий к Зурбагану; Нок бросился в защиту деревьев, как в родной дом.

Бежать, в точном смысле этого слова, не было никакой возможности среди тонущих во тьме преград — стволов, сплетений чащи, бурелома и ям. Нок падал, вставал, кидался вперед,

опять падал, но скорость его отчаянных движений, в их совокупности, равнялась, пожалуй, бегу. Единственной его целью — пока — было отдалиться как можно недостижимее от преследователей. Однако через пятнадцать — двадцать минут наступила реакция. Тело отказалось работать, оно было разбито и исцарапано. Ноги согнулись сами, и обожженные легкие дергались болезненными усилиями, почти не хватая воздуха. Покорность изнеможению заставила Нока сесть; сев, он уронил голову на руки и стих; невольная слабость вздоха несколько облегчила нервы, подавленные молчанием.

“Гелли теперь дома, — подумал он, — да, она уже давно дома. У нее хорошо, тепло. Там светлые комнаты; отец, сестра; лампа, книга, картина. Милая Гелли! Ты, может быть, думаешь обо мне. Она приглашала меня зайти. Дурак! Я сам буду там; я хочу быть там. Хочу тепла и света; страшно, нестерпимо хочу! Не вешай голову, Нок, приходи в город и отыщи ад… Впрочем, я разорвал его…”

Он вздрогнул, вспомнив об этом, но, покачав головой, застыл в горькой радости и темном покое. Он был бы настоящим преступником, вздумав идти к этой, невиноватой ни в чьей судьбе, девушке. За что она должна возиться с бродягой, рискуя сплетнями, допросами, обидой? Он снова утвердился в своей шаткой, болезненной озлобленности против всех, кроме Гелли, бывшей, опять-таки, по крайнему его мнению, диковинным, совершенно фантастическим исключением. Теперь он жалел, что прочитал адрес, но, попытавшись вспомнить его, убедился в полной неспособности памяти воспроизвести пару легко начертанных строк. Он смутился, но тотчас дал себе за это пощечину. Все оборвалось, исчез всякий след к прошлому — и дом, и улица, и номер квартиры — от этого страдало самолюбие Нока. Он все-таки хотел сам не пойти; теперь воля его была ни при чем; им распорядилась, без принуждения, его память. Она же сделала его одиноким; он как бы проснулся. Гелли и Зурбаган внезапно отодвинулись на тысячу верст; город, пожалуй, скоро вернулся на свое место, но это был уже не тот город.

Когда возбуждение улеглось, Нок вспомнил о потерянном хлебе. К удивлению беглеца, это воспоминание не вызвало приступа голода; но озноб и сухость во рту, принятые им, как случайные последствия треволнений, — усилились. Колени ударяли о подбородок, а руки, сложенные в обхват колен, судорожно сводило лихорадочными, неудержимыми спазмами.

— Я не должен спать, — сказал Нок, — если засну, то завтра, совсем обессилевшего, меня может поймать не только здоровенный мужчина в мундире, а простая кошка.

Он встал, спросил у леса: “В какую же сторону я пойду, господа?” — и прислонился головой к дереву. Так, трясясь, выждал он момента, когда озноб сменился жаром; легкое возбуждение казалось наркотически приятным, как кофе или чай после работы. В это время со стороны Зурбагана всплыли из глубины молчания — тишины и шорохов леса — фабричные гудки ночной смены. Нок тронулся в разнотонно-певучую сторону. Высокие, нервные и средние, покладистые гудки давно уже стихли, но долго еще держался низкий, как рев бычьей страсти, вой пушечного завода, и Нок слабо кивнул ему.

— Ты, старина, не смолкай, — сказал он, — мне говорить не с кем и — помилуй бог — идти не к кому…

Но стих и этот гудок.

Нок, машинально, придерживаясь одного направления, брел, разговаривая вслух то с Гутаном, то с Гелли, то с воображаемым, неизвестным спутником, шагающим рядом. Временами он принимался петь арестантские песни или подражать звукам разных предметов, говоря стеклу: “Дзинь!”, дереву — “Туп!”, камню — “Кокк!”, но все это без намерения развлечься. Сравнительно скоро после того, как залился первый гудок, он очутился на ровном, просторном месте и, сквозь дремотную возбужденность жара, понял, что

близок к городу.

Потому, что нащупывать вокруг было более нечего, — ни стволов, ни кустов, Нок впал в апатию. Сев, он растянулся и задремал; затем погрузился в больной сон и проспал около двух часов. Сверкающий дым труб, солнце и постройки городского предместья предстали его глазам, когда, подняв голову, вошел он ослабевшей душой в яркий свет дня, требующего настойчивости и осторожности, сил и трудов. Как показалось ему, — он окреп; встав, Нок вырвал у пиджака подкладку и наскоро устроил из кусков черной материи род головного убора — вернее, повязку, о форме и удачности которой ему не хотелось думать.

Приближаясь к городу, Нок у первого переулка внезапно остановился с полным соображением того, что на городских улицах показываться опасно. Однако идти назад не было смысла. Покачав головой, поджав губы и улыбнувшись, он открыл дверь первого попавшегося трактира, сел и попросил есть.

— Еще папирос, — прибавил он, механически водя ложкой по немытой тарелке с супом.

Подняв глаза, он с беспокойством и тоской увидел, что глаза всех посетителей, слуг и хозяина молчаливо обращены на него. Он с трудом закурил, с трудом проглотил ложку соленого, горячего супа. Ложку и папиросу он, не замечая этого, держал в одной руке. Есть ему не хотелось. Положив на стол серебряную монету, Нок сказал:

— Не обращайте, господа, никакого внимания. Рано я вышел из больницы, вот что.

Выйдя на улицу, он очень тихо, бесцельно, сосредоточенно думая о преимуществах пишущей машины Ундервуд перед такой же Ремингтон, пересек несколько пустырей, усыпанных угольным и кирпичным щебнем, и поднялся по старым, каменным лестницам Ангрской дороги на мост, а оттуда прошел к улицам, ведущим в центр города. Здесь, неподалеку от площади “Светлый Шар”, он посидел несколько минут на бульварной скамейке, соображая, стоит ли идти в порт днем, дабы спрятаться в угольном ящике одного из пароходов, готовых к отплытию. Но порт, как и вокзал, разумеется, набит сыщиками; Нат Пинкертон расплодил их по всему свету в тройном против обычного количестве.

“Опасно двигаться; опасно сидеть; все опасно после Гутана и вчерашней скачки с препятствиями, — сказал Нок, тупо рассматривая прохожих, в свою очередь даривших его взглядом минутного любопытства, благодаря черной повязке на голове. В остальном он не отличался от присущего большому городу типа бродяг. Вдруг он почувствовал, что упадет, если посидит еще хоть минуту. Он встал, маленькими неверными шагами одолел приличное расстояние от площади до Цветного Рынка и сел снова, на краю маленького фонтана, среди детей, прежде всего солидно положивших в рот пальцы, чтобы достойным образом воззриться на “дядю”, а затем презрительно возвратившихся к своей песочной стряпне.

Здесь на Нока бросился человек.

Он выскочил неизвестно откуда, может быть, он шел по пятам, присматриваясь к спрятанной в рукаве фотографии. Он был в черном костюме, черном галстуке и черной шаблонной “джонке”.

— Стой! — и крикнул и сказал он.

Нок побежал, и это были последние его силы, которые тратил он, — вне себя, — содрогнувшись в тоске и ужасе.

За ним гнались, гнались так же быстро, как бежал он, кидаясь от угла к углу улиц, сворачивая и увертываясь, как безумный. И вдруг, с чугунной дощечки одного из домов, сорвавшись, ударила его в сердце надпись забытой улицы, где жила Гелли. Теперь казалось, — он всегда

помнил номера квартиры и дома. Лишенный способности рассуждать, с ощущением счастья, которое вот-вот оторвут, вырвут из рук, а самого его отбросят далеко назад, в тяжелую тьму страдания, Нок повернулся и разрядил весь револьвер в побежавших назад людей. Улица шла вниз, крутыми зелеными поворотами, узкая, как труба. Увидев спасительный номер, Нок остановился на четвертом этаже крутой лестницы, сначала позвонил, а затем рванул дверь, и ее быстро открыли. Потом он увидел Гелли, а она — жалкое подобие человека, хватающегося за стену и грудь.

— Гелли, милая Гелли! — сказал он, падая к ее ногам. — Я… весь; все тут!

Последним воспоминанием его были странные, прямые, доверчивые глаза — с выражением защиты и жалости.

— Анна! — сказала Гелли сестре, смотревшей на бесчувственного человека с высоты своих пятнадцати лет, причастных отныне строгой и опасной тайне. — Запри дверь; позови садовника и Филиппа. Немедленно, сейчас же перенесем его черным ходом, через сад, к доктору. Потом позвони дяде.

Минут через пятнадцать указания почтенных прохожих надоумили полицию позвонить в эту квартиру. Чины исполнительной власти застали оживленную игру в четыре руки двух девушек. Обе фальшивили, были несколько бледны и кратки в ответах. Впрочем, визит полиции не вызывает улыбки.

— Мы не слыхали, бежал кто по лестнице или нет, — мягко сказала Гелли.

И кому в голову пришло бы спросить барышню почтенной семьи:

— Не вы ли спрятали каторжника?

С сожалением оканчиваем мы эту историю, тем более, что далее она лучше и интереснее. Но дальнейшее составило бы материал для целого романа, а не коротенькой повести. А главное вот что: Нок благополучно переплыл море и там, за границей, через год обвенчался с Гелли. Они жили долго и умерли в один день.

Убийство в Кунст-Фише

…Так произошли вещи, о которых более логические умы принуждены думать лишнее; во всяком случае — придавать им расплывчатость и неопределенность, без чего им, пожалуй, не стоило бы и размышлять о происшествии в предместье Кунст-Фиш. На мой, в то время, пытливый взгляд — ожидалось торжество судебного следствия. Из этого правильно заключить, что — вообще — я думал нормально; лишь неопределенный страх гнал меня прочь отовсюду; отовсюду, где мне мерещилось преследование. Болезнь эта достаточно известна; ее симптомы изучены, ее явления однородны, поэтому я предлагаю сразу увидеть меня среди роскошных парков Кунст-Фиша, скрывающегося в кустах или перелезающего ограды с чувством смертельной опасности, сжимающей свой черный круг по всем путям, на которые ступал я. Ее не было, — этой опасности, так же как у меня не было достаточного самообладания и рассудка, чтобы перестать мучить себя.

Когда луна скрылась, я почувствовал себя лучше: в тьме есть гарантии, важные злодеям и жертвам. В этот момент я находился перед стеной, покрытой виноградными лозами. Вокруг по смутно проступающей белизне статуй и скамеек едва можно было судить о направлении и расположении аллей. Чей был этот сад, — я не знал, не мог также восстановить

последовательность забросивших меня сюда условий, но помнил с горечью и отвращением к жизни, что страх — необъяснимый страх гнал меня весь день из конца в конец города; что я бродил, прятался, бежал и скрывался от неизвестных врагов, подстерегающих меня в толпе, за углами зданий и везде, где было место ступить ноге человеческой.

Вдруг луна вышла и озарила сад, выделив мою тень в тени кустов. Серебристо-трепещущие деревья стояли в центре черных кругов. Лужайки дымились. Я был виден, виден весь всем и каждому, кто захотел бы всадить нож или пулю в мою похолодевшую кожу.

В это время запел — очень далеко и спокойно — петух.

Кого предостерегал он? Не было времени думать о нерешенной загадке его тройного ночного крика. Казалось, силы ночи играют на его нервах в определенные часы, — что мог бы он рассказать сам?! Но мысль эта, как коротко пролитая струя, плеснула и разбилась бесформенно.

И я тотчас вернулся к своей главной заботе — бежать. Быть может, за стеной крылись новые обстоятельства, новые спасительные условия. Я разыскал ящик, встал на него и перескочил по ту сторону стены.

В это время я уже чувствовал изнурение, требующее приюта. С наступлением утра припадок ослабевал; тени вечера обостряли его; ночь терзала, как пытка. Я хотел разыскать что-нибудь, — трещину, собачью конуру, подвал — все равно, лишь бы забыться сном, начинавшим мучить меня не менее сильно, чем страх. Осмотрясь, я увидел, в кругу высоких дубов, небольшой дом того легкого и острого типа, какой быстро вошел в моду с счастливой руки Дорна, застроившего немало загородных участков подобными зданиями.

Свет луны снова пошел на убыль, так что рассмотреть дом я мог только отчасти. В свете внутреннего окна, скрытого под навесом, выступала полукруглая терраса, и я довольно смело поднялся на нее по изящным ступеням, перевитым среди перил цветущим австрийским вьюнком. Как был уже поздний, глубоко ночной час — средина ночи, — то я не ожидал встретить на террасе людей, надеясь быстро разыскать среди ниш и внутренних лесенок, — так как эти дома изобиловали подобными практически ненужными добавлениями, — тот безопасный угол и тьму, где мог бы заснуть. Я шел тихо, я двигался мимо единственного освещенного на террасу окна и на мгновение заглянул в него.

У камина стоял, ко мне спиной, стройный человек, подняв, как бы с намерением ударить нечто, на чем еще не остановилось мое внимание, бронзовые каминные щипцы; но он тихо опустил их и повернулся.

Следя за направлением его взгляда, я увидел молодую женщину, сидящую в низком кресле; ее ноги были вытянуты, лицо откинуто с напряженной и нетерпеливой улыбкой, — которая, раз ожидаемое движение не совершилось, тотчас перешла в ласковое и смелое выражение. Тогда неплотно прикрытое окно позволило мне слышать их разговор.

Но прежде я укажу вам вещь, какую единственно угрожали разбить щипцы, единственно — потому, что на каминной доске более ничего не было.

Я говорю о небольшой фарфоровой статуе, изображавшей бегущего самурая, с рукой, положенной на рукоять сабли. Нечего говорить, что японцы вообще неподражаемы в жизненности этих своих изделий.

Желтое лицо с острыми косыми глазами и свисавшими кончиками черных усов, под которыми змеилась тонкая азиатская улыбка, так естественно отражало угрожающее движение тела, что хотелось посторониться. Он был в шитом шелками и золотом кимоно. За драгоценным поясом туго торчали две сабли. Левая нога, с отставшей от туфли пяткой, была как раз в том

вытянутом положении, какое видал я в пьесе “Куросиво”, где японский артист, пав, ловит бегущего врага за ногу.

Более нечего сказать об этой небольшой статуе, — уже мое внимание было отвлечено коротким и странным разговором.

— В конце концов, это — ребячество, — сказал мужчина, сев рядом с той, кто продолжала смотреть на самурая с задумчивой насмешливостью. — Ее можно убрать, Эта.

— Нет. — Женщина засмеялась, выразив смехом что-то обдуманное и злое. — Он хотел, чтобы подарок стоял здесь, в этой гостиной. Тем более, что он связал с ним себя.

— То есть?

— Но, боже мой, пусть он смотрит, если ему так хочется, на меня с тобой глазами этого идола. Впрочем, ему никогда не везло в подарках; он покупает то, что нравится ему, а не мне.

— Не это же он хотел сказать?

— Тебе ли упрекать меня, Дик? Но я часто не знаю сама, что делаю, я слишком люблю тебя и ненавижу его. Но он скоро, — о! — слишком скоро, — вернется!

— Не думай, Эта. Пока мы вместе — сейчас.

— Но он сумел отравить это “пока”. — Она взяла сумочку, где лежало письмо, расправила его на коленке и, подняв, стала читать тем тоном, каким читают газету:

“С некоторых пор меня все более тревожат, смущают мысли о тебе. Уже год, как мы расстались. Но нужно окончить дела, в них наше будущее. Я вижу, дорогая, странные и дерзкие сны: тебя целует другой… прости, но это лишь сон… Твои письма нервны и коротки. Я приеду через месяц. Посылаю тебе старинную статуэтку самурая, купленную мной на аукционе, — вместо меня посылаю ее, так как долго с чувством свидания рассматривал эту вещь, зная, что твои глаза также увидят ее. Но я не умею сказать, что чувствую. Да сохранит и защитит тебя этот воин, как если бы я сам был с тобой”.

— Я вижу только, — сказал Дик, — что твой муж, Эта, пламенно любит тебя. И он сильно тоскует. Прости мою вспышку и… щипцы.

Я смотрел. Они встали, обнялись, и я отступил со смущением, так как поцелуй был хорош. Что бы ни делали эти люди, — они любили друг друга. Неожиданно свет погас.

Обманывал меня слух, или то твердило естественное мое волнение, но я чувствовал шорох, шепот, дыхание двух, — и чувствовал, что теперь там свой и все отрицающий мир. Вдруг крик нарушил эту страстную тишину, — мертвящий, рассекающий душу вопль.

Я вздрогнул; лед и огонь смешались в моей душе. Еще теперь, по пугающему звуку воспоминания, я вижу, как страшен был этот цепляющийся всем отчаянием своим за тьму крик существа, рухнувшего под ноги ужасу.

Он смолк, повторился, перешел в стон и исчез. Затем послышалось странное сухое и жесткое сцепление звуков в которых решительно ничего нельзя было понять.

Довольно было мне и того, что перенес я до этого крика до этой сцены, окончившейся так потрясающе мрачно. Не думаю, чтобы тряс я дверь, соображая, что-либо в те головокружительные мгновения. Но я сломал и распахнул дверь.

С помощью спичек я разыскал выключатель и осветил спокойно-роскошную комнату, где за поцелуем промчался и угас крик. Они лежали крест-накрест. Но я больше не мог рассматривать эту трепещущую, почти живую смерть, залитую кровью, еще лишь минуту назад цветущую розами и огнем. И я бежал в тьму, но где блуждал и где был — не знаю.

Как рассвело — бред кончился, и, в тысячный раз давая клятву не злоупотреблять более кокаином, я, дрожа от усталости и тоски, грелся вином в кафе, из окна которого видны были заставы и фермы.

Я сидел и вспоминал то, что рассказал вам, и вспомнил о том снова, со всей яркостью вторичного переживания, когда, уже днем, с ужасом споткнулся в газете о заголовок: “Загадочное убийство в Кунст-Фише”.

Не столь отменно разрабатывая факты, ибо они, наверное, были подчинены приличию, сообщение детально останавливалось на характере ран, имеющих точный вид сабельных ударов, нанесенных сильной и холодной рукой.

Что было думать об этом? Но была выражена надежда, что экстренное возвращение Ван-Форта, мужа убитой женщины, “прольет свет” на ставящее в тупик происшествие, — я не помню где еще я читал подобное выражение в таком же лишенном ограбления и всяких следов случае. Однако никто не может принудить людей “думать лишнее” — о чем упомянул я в начале этих страниц.

Мое сердце полно смирения, и я благодарю судьбу за взгляд, каким иду мимо точек и запятых среди строк.

Гладиаторы

Повторяю, — я ничего не выдумываю. После долгого периода, после несказанных нравственных мучений, после молчания, вынужденного рядом тягчайших обстоятельств, я получил возможность открыть кое-что, но еще далеко не все, об Авеле Хоггее, человеке, придумавшем и выполнившем столь затейливые и грандиозные преступления, — единственно удовольствия и забавы ради, — что, когда будут они описаны все, многими овладеет тяжесть, отчаяние и ярость бессилия.

Наступил вечер, когда вилла Хоггея “Гауризанкар” наметила огненный контур свой в холмистом склоне садов. Здание было иллюминовано. Казалось, ожидается съезд половины города, между тем подобные вечера редко посещались более чем шестью лицами, не считая меня. Никто посторонний, подозрительный, ненадежный не мог посетить их, тем более оргию того рода, какая предполагалась теперь. Но шесть человек, подобных самому Авелю, участвовали в его затеях почти всегда, хоть не могли тратить так много денег, как он, особенно на покупку людей.

“Пусть будет сегодня Рим”, — сказал жене Хоггей, когда я рассматривал мраморные колонны, увитые розами, и, бросая взгляд на огромные столы, чувствовал все ничтожество современного желудка перед изобилием, точно повторяющим безумие древних обжор. Разумеется, это была более декорация, чем ужин — едва ли тысячную часть всего могли съесть Хоггей и его гости, — но он хотел полного впечатления. “Рим”, — повторил он своим тихим, не знающим возражений голосом, и точно — воскресший Рим глянул вокруг нас.

Единственно, что нарушало иллюзию, — это костюмы. Сесть в триклиниуме во фраке, не делаясь нимало комичным, — так поступить мог только Хоггей. Он презирал покупаемое,

презирал Рим Стере высчитал, что обратив состояние Хоггея в алмазы, можно было бы нагрузить ими броненосец. Такие вещи делают фрак величественным. Его друзья, его неизменные спутники, имена которых шуршат сухо, как банковые билеты: Гюйс, Аспер, Стере, Ассандрей, Айнсер и Фрид, — отсвечивали меньшим могуществом, но в тон тех групп алмазов, которыми мог бы обернуться Хоггей. Естественно, что тога, туника, сандалии могли и не быть. Над белыми вырезами фраков поворачивались желтые сухие глаза владык.

Воспоминание сохранило мне смуглые руки рабынь, блеск золота и вихри розовых лепестков, слоем которых был покрыт пол, когда рой молодых девушек, вскидывая тимпаны, озарил грубое пьянство трепетом и мельканием танцев. Я погрузился в дикий узор чувств, напоминающий бессмысленные и тщетные заклинания. Яркость красок била по глазам. Музыка, подтачивая волю, уносила ее с дымом курений в ослепительное Ничто.

В то время, как пьянство и античный разврат (когда он не был античен?) развязывали языки, Хоггей молчал; лишь три раза сказал он кому-то “нет”. Так сонно, что я подумал самое худшее о его настроении.

Но не успел я обратиться к нему по своей обязанности врача с соответствующим вопросом, как он, хрустнув пальцами, крикнул мне: “Фергюсон, ступайте к бойцам, осмотрите и выведите. Вино не действует на меня!”

Повинуясь приказанию, я отправился к гладиаторам. То были два молодых атлета, купленные Хоггеем для смертельной борьбы. Я застал их вполне готовыми, в тихой беседе; крепко пожав друг другу руки, они взяли оружие и сошли вниз.

Я знал условия. Оставшийся живым получал 500 тысяч, вдвое большую сумму получала семья убитого. Так или иначе, они жертвовали собой ради своих близких. У меня не было мужества посмотреть им в глаза. Конечно, все сложные объяснения по поводу трупа были уже придуманы; недосмотр покрывался, как всегда, золотом.

Да простит мне читатель эту сухость, это отвращение к подробностям, я только прибавлю, что их тренировал Больс.

Временно умолк говор, когда два стальных мужских тела, блестя бронзой вооружения, звонко сошли по лучезарной, полной цветов лестнице к взорам гостей. “Подождите, мы заключим пари”, — сказал Гюйс. Немедленно были заключены пари. Сам Хоггей, которому было все равно — выиграть или проиграть, покрыл кляксами миллионный чек. Наконец подал он знак.

Я был близко, так близко к сражающимся, что слышал перебой их дыхания. Они разошлись, сошлись; перед метнувшимися вверх щитами звякнули их мечи. Все чаще встречались клинки; в свете люстр, отброшенные его заревом, трепетали светлые дуги. Но оба были искусны. Ни один удар не обнаруживал растерянности или трусливой поспешности; казалось, они фехтуют. Лишь особый трепет рокового усилия, заключенный в каждом ударе, показывал, что борьба не шуточная.

Если еще был у зрителей остаток пьяной флегмы, то он исчез, уступив кровожадному азарту. Все повскакали. Некоторые подошли совсем близко, криками и жестами ободряя самоубийц. Бой затянулся, искусство соперников, очевидно, становилось меж ними и заветной наградой. Тем временем поощрения приняли оскорбительный характер ударов хлыста. “К делу! — ревел Хоггей, — убей его! Я плачу только за короткие удовольствия!” — “Коровы!” — орал Фрид. — “Это драка пьяных!” — взывал Аспер. — “Ударьте их в зад!” — “Суньте им в нос огня!” Такие и им подобные восклицания повторялись хором. Раздался треск, лопнул один щит, и гладиатор сбросил его. — “Проткни мясо!” — сказал Хоггей.

Вдруг разом опустились мечи, последнее восклицание вызвало и опередило развязку. “Ральф, — сказал старший боец младшему. — Ты слышал! Я теперь действительно не

владею собой. Я продал жизнь, но не продавал чести, следуй за мной!” И их мечи свистнули по толпе. Отступив за колонну, я видел, как Хоггей рухнул с рассеченной головой. Разразилось исступление, наполнившее зал кровью и трупами. Меньше всех растерялся Ассандрей, лишенный нервов. Он стрелял на расстоянии четырех шагов. Нападающие им были убиты, но из зрителей уцелело лишь трое.

Уэльслей был мертв, Ральф, испуская последнее дыхание, приподнялся и плюнул Ассандрею в лицо:

— Виват, Цезарь! Умирающие приветствуют тебя!

Он прохрипел это, затем испустил дух.

Приказ по армии

Великая европейская война 1914–1917 гг. была прекращена между Фиттибрюном и Виссенбургом обывательницей последнего, девицей Жанной Кароль, девяти лет и трех месяцев. Правда, эта война была прекращена не совсем, не более как, может быть, на один час и только в одном месте, — что до этого? Важно событие.

Часов около пяти пополудни на пыльной дороге, огибавшей лес, носивший местами следы крупной вырубки, показались два существа, из которых одно, побольше, — бунтовало и густо ревело, утирая окровавленными руками вспухшие от слез глаза, а другое, поменьше, — настойчиво влекло первое по направлению к крышам деревни. Уцепившись за братнину рубашку, девочка резко дергала ее каждый раз, как только мальчик, вспоминая о мужской самостоятельности, начинал вырываться крича:

— Ступай к черту, Жанна! Не твое дело. Не пойду!

Но он, тем не менее, шел отлично и довольно скоро, сопротивляясь более по привычке, чем серьезно. Ему было 11 лет. Его мужское чувство, источник презрения к “девчонкам”, было опрокинуто и уничтожено ударом кулака в нос. Он затеял драку и ретировался с позором. Жанна сердилась, но и жалела его; все произошло на ее глазах.

— Пожалуйста, не реви, — говорила она, — нам надо торопиться; дома, наверное, уже беспокоятся, и все по твоей милости. Как хорошо, что я была тут. Уж и измочалили бы тебя.

— Хы… — ревел Жан, — я их сам измочалю; погоди, как встретим в другой раз, я покажу. Хы. Вдвоем каждый может. Нет, ты испробуй один на один, вот сейчас. С грязью смешаю.

— Вот ты бы и не дразнил их.

— Я не дразнил.

— Врешь. Ты же бросал им вдогонку камешки и кричал: “Фиттибрюнский домовой лезет в кашу с головой! Ты головку обсоси, съешь и больше не проси”. — А ты же знаешь, что фиттибрюнские на стенку прут, как им сказать это?

— Эх, дура ты, дура! — вскричал Жан. — Что ты смыслишь в наших делах вообще? Девчонка. А это ничего, что они поют: “В Виссенбурге на сосне видит мясо мышь во сне”…

— Ну, поют, а теперь не пели; ты сам раздразнил их.

— Все равно; все они жулики.

Этот решительный аргумент приободрил Жана и временно парализовал девочку. Споря, оба разгорячились и остановились.

За их спиной стоял лес; впереди, пониже дороги, пестрела обширная вырубка с кустами и пнями среди стен дров, занимавших большую часть открытой равнины. Дрова эти, составленные тесными линиями четырехугольников, не позволяли ничего видеть далее двадцати шагов.

Уже третий день в окрестности шли бои; иногда дым на горизонте указывал пожар далекой деревни. Непрерывно падали за горизонтом тяжелые пушечные удары; и тогда, казалось, к ногам, остановясь, подкатывается чуть слышный толчок.

— Тебе когда-нибудь здорово попадет с твоим языком, — сказала девочка. — Что? Из носа-то что течет? Небось, не сливки.

— Кровь, — сказал Жан, рассматривая запачканные пальцы. — Ничего. Мы, мужчины, должны приучаться сражаться. А вы будете шить и плакать.

— Видать, что сражался. Глаз-то какой толстый стал.

— А наплевать. Все надо стерпеть. Зато как выросту и поступлю в солдаты, станут говорить: “Эге, Жан Кароль будет генералом”.

— Это ты-то?

— А что же? Вон сколько дров! Смотри. Столько солдат на свете и еще больше. Все они могут стать генералами и отвоевать знамя. А тебе нечего делать у нас.

Жанна задумалась. Машинально держась за рукав мальчика, смотрела она на раскинутые по вырубке стены дров, представляя, что все это босоногие Жаны с раскрашенными носами. В ее маленькой душе жила отвага ее знаменитой тезки, но отвага, направленная к поучению и примирению. Ее глазки блеснули.

— И я бы вас встретила, — вскричала она. — Уж я бы вас отчитала. Вот, Жан, если все эти дрова станут солдатами и закричат на меня, я им скажу: “Ступайте домой, солдаты. Отдаю вам приказ по всей армии: драться нехорошо. У нас курицу сегодня зарезали, вот так и вас всех зарежут. И постреляют. У-у! Пошли, пошли. Разойдитесь. Наплачешься с вами, как вас побьют. Мы тоже скоро уедем; уж по деревне все отцы говорят, что здесь нельзя жить. Чего дома не сидите? Чего пришли? Раздумайте-ка воевать. Чтобы и духу вашего не было. А то устанете и к обеду опоздаете”.

Она воодушевилась, проголосив эту тираду стремительным и сердитым звонком, но тут же соскочила с пня, на который встала ради величия, и спряталась за Жана, успевшего только закричать: “Ай!” Над поленницами взлетели сотни фуражек, и вся засада французов, выступив из-за прикрытия, где отлежала бока, поджидая делавший обход германский эскадрон, с хохотом повалила к девочке.

Судьбе угодно было показать и второй конец этого эпизода. Еще Жанна сидела на плече рослого пехотинца, который, вертясь волчком, звал всех идти полюбоваться “на исчадие антимилитаризма, опасное, как змея” — как, градом прошумев в лесу, выкатился конный отряд.

Неожиданность, венчаемая малюткой, видимой подобно знамени всем, произвела мгновенное действие холостого выстрела. Положение было странное и глупое. Щелкнули затворы драгун, но дула опустились; француз стал вертеть над головой носовой платок.

— Дальше, дальше, боши! — вскричала засада. — Мы обедаем. Читаем “Берлинер Тагеблат”.

И понемногу завязался разговор. Он кончился благополучно, как обычно кончаются подобные случаи непредвиденного помешательства, и стычки не произошло. Детей вывели на дорогу, приказали им идти домой. Жан злился.

— Дура, ты все спутала, — говорил он. — Вот попало бы драгунам на орехи.

— Ну, иди же, иди, — хмуро сказала девочка.

Бродяга и начальник тюрьмы

“Свет полон несправедливости. Ни одно дарование не находит достойной оценки. К чему, например, высшее образование, честолюбивые мечтания, безусловная порядочность, аккуратность, наконец, почерк, каким не постыдились бы писать на Олимпе? Увы, все тщета”.

Так рассуждал начальник тюрьмы в Н. — городке, столь уединенном и малом, что он никак не мог позволить себе роскошь иметь большую тюрьму и важных преступников. Едва ли было хоть раз, что все сорок камер тюрьмы заняты постояльцами. Как правило, одновременно находилось в ней не более десяти арестантов; но не было блестящих имен. Ни Равашоль, ни Джек-Потрошитель, ни Картуш, ни Ринальдо Ринальдини — но мелкие воры и серые жулики да бродяги.

Таким образом, Пинкертон, начальник тюрьмы, возненавидевший свою громкую фамилию именно за ее блеск фальшивого бриллианта, вечно страдал желчью и напрасным честолюбием.

Наступила весна. Тысячи честолюбцев, легионы непонятых Наполеонов возделывают в это время грядки или окапывают клумбы. Это их роковая судьба: сажать салат и пионы, в то время как их более счастливые камрады насаживают пограничные столбы.

Так поступал теперь и Пинкертон: он бродил по маленькому тюремному саду, намечая, где, что и как посадить. Садик был отделен от тюремного двора живой изгородью; с другой стороны к нему примыкала наружная стена. У стены стояло кресло-качалка; побродив, Пинкертон сел в нее, утомленный ночной работой, и стал жмуриться под жаркими лучами, как кот. Солнце, накаливая стену, образовало здесь род парника; начальник вспотел.

Вошел часовой с хлипким мышеподобным субъектом, достаточно рваным, чтобы подробно не описывать его костюм. Его маленькие глаза бегали с задумчивым выражением; короткое, костлявое лицо, укрытое гнедой пеленой, имело философский оттенок, свойственный вообще бродягам.

— Можешь ты копать землю? — спросил Пинкертон. — Вообще — умеешь ли работать в саду? Ступайте, Смит, я буду сидеть здесь.

Часовой ушел; начальник повторил вопрос.

— Умею ли? — почтительно переспросил рваный субъект, — но, право, вы меня рассмешили. Я работал в висячих садах герцогини Джоанны Фиоритуры, в парке лорда Альвейта, в оранжереях знаменитого садовода Ниццы Кумахера, и я…

— Похоже, что ты врешь, — перебил Пинкертон, зевая и располагаясь удобнее. — Только вот

что, приятель: видишь эти две клумбы? Надо их поднять выше.

— Пустое дело, — сказал бродяга. — Не извольте беспокоиться. Однажды, путешествуя, — пешком, разумеется, — из Белграда в Герцеговину, я возымел желание украсить придорожные луга. Я нашел старую лопату. Что же? К вечеру полторы мили лугов были покрыты клумбами, на которых росли естественные дикие цветы!

— Как ты лжешь! — сказал Пинкертон. — Зачем ты лжешь?

Прежде чем ответить, бродяга сделал несколько ударов киркой, затем оперся на нее с видом отдыхающего скульптора.

— Это не ложь, — грустно сказал он. — Боже мой! Какая весна! Вспоминаю мои приключения среди гор и долин Эвареска. Великолепно идти босиком по свежей пыли. Крестьяне иногда сажают обедать. Спишь на сене, повторяя милый урок из раскинутой над головой астрономии. Как пахнет. Там много цветов. Идешь, как будто по меду. Также озера. Я имел удочки. Бывали странные случаи. Раз я поймал карпа в двадцать два фунта. И что же? В его желудке оказался серебряный наперсток…

— На этот раз ты действительно безбожно врешь! — крикнул Пинкертон. — Карп в двадцать два фунта — абсурд!

— Как хотите, — равнодушно сказал бродяга, — но ведь я его ел.

Наступило молчание. Арестант разрывал небольшой участок.

— Нет лучше наживки, — сказал он, вытаскивая из глыбы и перебрасывая с руки на руку огромного ленивого червя, — как эти выползки для морского окуня. Вот обратите внимание. Если его разорвать на небольшие куски, а затем два или три из них посадить на крючок, то это уже не может сорваться. Испытанный способ. Между тем профаны надевают один кусок, отчего он стаскивается рыбой весь.

— Глупости, — сказал Пинкертон. — Как же не сорвется, если выползка перевернуть и проколоть несколько раз, головкой вниз.

— Вверх головкой?!

— Нет, вниз.

— Но обратите внимание…

— А, черт! Я же говорю: вниз!

Арестант сожалительно посмотрел на начальника, но не стал спорить. Однако был он задет и, взметывая киркой землю, бурчал весьма явственно:

— …не на всякий крючок. Притом рыба предпочитает брать с головы. Конечно, есть чудаки, которые даже о поплавке знают не больше кошки. Но здесь…

Снова устав, землекоп повернулся к Пинкертону, убедительно и кротко журча:

— А знаете ли вы, что на сто случаев мгновенного утопления поплавка — девяносто пустых, потому что рыба срывает ему хвост?! Головка же тверже держится. Однажды совершенно не двигался поплавок, лишь только повернулся вокруг себя, и я понял, что надо тащить. А почему? Она жевала головку; и я подсек. Между тем…

Его речь текла плавно и наивно, как песня. Жара усиливалась. От ног Пинкертона к глазам

поднималось сладкое сонное оцепенение; полузакрыв глаза, вслушивался он в ропот и шепот о зелени глубоких озер, и, наконец, чтоб ясно представить острую дрожь водяных кругов вкруг настороженного поплавка, зажмурился совершенно. Этого только и ожидал сон: Пинкертон спал.

— Это так портит нервы, — ровно продолжал бродяга, грустно смотря на него и тихо жестикулируя, — так портит нервы плохая насадка, что я решил сажать только вверх. И очень тщательно. Но не вниз.

Он умолк, задумчиво осмотрел Пинкертона и, степенно оглянувшись, взял из его лежавшего на столике портсигара папироску. Закурив ее и вздохнув, причем его глаза мечтательно бродили по небу, он пускал дым, повторяя: — “Нет, нет, — только вверх. И никогда — вниз. Это ошибка”.

Он бросил окурок, не торопясь подошел к дальнему углу сада, где сваленные одна на другую пустые известковые бочки представляли для него известный соблазн, и влез на гребень стены. — “Вниз, — бормотал он, — это ошибка. Рыба непременно стащит. Исключительно — вверх!”

Затем он спрыгнул и исчез, продолжая тихо сердиться на легкомысленных рыбаков.

На облачном берегу

На облачном берегу

I

Когда Август Мистрей и его жена Тави решили, наконец, зачеркнуть след прекрасной надежды, им не оставалось другого выбора, как поселиться на непродолжительное время у Ионсона, своего дальнего родственника. Год назад, когда дела Ионсона пошли в гору, этот человек, возбужденный успехом, много, фальшиво и горячо болтал, поэтому его тогдашнее приглашение приехать, когда того захочется Мистреям, в только что приобретенное имение Мистреи рассматривали до сего времени как истинный огонь сердца и просто потянулись к нему, вздохнув о чудесном уголке, владеть которым были бы не в состоянии, даже заплатив деньги вторично.

Это было семь дней назад. Мистрей побледнел и прикрыл глаза, а Тави, уцепившись маленькими руками за решетку ворот, приподнялась на цыпочки, чтобы хоть еще раз оглянуть цветущий солнечный завив садовой аллеи. Хозяйка, кокетливая молодая женщина со спокойным лицом, провожая их, тронула легким движением руки ветку лавра, как бы погладив ее, и это движение, полное чувства собственности, отразилось в душе Тави беззлобной грустью. Ее с мужем ограбили так умно, что было бы бесцельно искать мошенника; бесцельно было бы растравлять боль поисками концов. Кроме того, как Тави, так и ее муж питали глубочайшее отвращение ко всякой грязной борьбе.

— Зачем вы доверились этому человеку? — спросила хозяйка. — Почему вы ранее не посетили нас без него?

— Он сказал… — захлебываясь, начала Тави и посмотрела на мужа. — А? Разве не так?

— Ну, говори, — кротко согласился Мистрей.

Тави, помахивая указательным пальцем, начала робко и строго:

— Мы поместили объявление… знаете? В той газете, где попугай. Мы продали кое-что; собственно говоря, продали все, но наша мечта зажить наконец в живописном солнечном уголке должна же была исполниться? Вот пришел тот самый О'Тэйль…

— Но мы уже говорили это, — мягко перебил Мистрей. — О! Злое дело. Ну, короче сказать, нас обманули, и никто не виноват, кроме нас. Мы отдали почти все деньги, так как нас уверили, что на владение уже есть много охотников, что надо спешить.

— Но ведь вы даже не посмотрели, что покупаете?

— Увы! — сказал Мистрей. — По словам этого мошенника, здесь чудесным образом оказывалось налицо все, что удовлетворяет вполне наши вкусы. И в этом смысле он не обманул нас.

— Он производил, — краснея, сказала Тави, — вполне, знаете ли, приличное впечатление. Мы были так рады.

— Это верно, — подтвердил Мистрей и устало кивнул жене. — Тави, пора уезжать.

— Обратитесь немедленно в суд, — сказала хозяйка, — может быть, еще не поздно разыскать преступника.

Говоря это, она сламывала одну за другой тяжелые пунцовые розы, пока не собрался в ее энергичной, смуглой руке букет, полный прихотливой листвы. Затем она передала цветы расстроенной молодой женщине.

— Возьмите, — нежно произнесла она. — мне хочется хоть этим утешить вас.

Тави, развеселясь на мгновение, взяла подарок и отошла, чувствуя себя совершенно пристыженной. Оба молчали. Перед тем как сесть в экипаж, она, виновато, но твердо посмотрев на Мистрея, отбежала в сторону и пристроила свой букет в пышной траве так, чтобы он не упал. Затем, вздохнув, Тави промаршировала с Мистреем под руку несколько шагов нога в ногу.

— Я возвратила их земле и солнцу. Не стерпеть их в руке. Потому что они — не наши. II

Муж и жена были не одни. С ними ехал к Ионсону слепой старик, Нэд Сван. Он ослеп лет тридцать назад, но продолжал по-своему, видением, видеть все, о чем ясно и просто говорили ему, так как навсегда сохранил внутреннее лицо явлений. Те, кто некоторое время заботился о нем, бросили его, как бросают газету. Сван просидел до вечера в отравленной тишиной комнате, затем вышел на лестницу, постучал в первую попавшуюся квартиру, и Тави, взволнованно посуетясь, сказала Местрею:

— Дай ухо. Нет, не драть. А я тебе скажу: он вполне, вполне порядочный человек и может умереть. Поселим его у нас.

Нэд Сван говорил о своем прошлом четырьмя словами: “Не будем вспоминать пустяков” — и, улыбаясь, смотрел закрытым, напряженным лицом в угол стены. Он был сутул, юношески стар, сед и приветлив.

Как стало смеркаться, наемный экипаж путешественников прибыл к воротам Ионсона. В этом месте огненная от заката стрела ущелья лежала на лиловой зелени крутых склонов, льющих девственные дебри свои с полнотой и размахом песни. Отсюда начинали бешеное восхождение знаменитые утесы Органной Горы, овеянные спиралью тропинок, заламывающих головокружительный взлет над поясом облаков.

Давно уже разговор Мистрея и Тави стал лишь тем, что видели они, выраженным с тихой страстностью великой любви к чистой и прекрасной земле. “Смотри!” — говорила Тави; затем оба кивали. — “Смотри! — говорил Мистрей. — А там?!” — “Да, да!” — “А там! Смотри!” — Так они ехали и восклицали.

— О, если бы нам здесь жить! — сказал Мистрей. — Как тихо! Как все прозрачно!

Время от времени Нэд Сван спрашивал их, что видят они. Тогда, стараясь подражать книжному способу выражения, Мистрей кратко сообщал характер пейзажа, и, кивнув, слепой покрывал действительное, чего видеть не мог, плавными соответственными видениями, черты и краски которых были не более далеки от истины, чем король Лир — от короля вообще.

В этом же деле помогала ему и Тави. Она изъяснялась сбивчиво, например, так: “Ручей, как бы вам сказать, машет из-за ветвей платочком”. Но в ясных колебаниях ее голоса, напоминающих приветливое подталкивание, Сван ловил больше для своего таинственного рисунка, чем в подробной передаче Мистрея.

Как солнце село, за поворотом горной дороги начался спуск, и минут через десять карета прогрохотала перед освещенными окнами Ионсонова дома. III

— Две массы, — сказал негр. — И один небольшой дама. Там, на дворе. Я сказал: вы не спал.

Когда Ионсон встал из-за письменного стола, его опередила проворная, ширококостная женщина с маленьким узлом редких волос на макушке и холодно-терпким выражением пожилого лица, темный цвет которого чем-то отвечал характеру ее быстрого взгляда. За ней вслед вышла огромная фигура Ионсона.

Два негра с фонарями, подняв их, освещали группу.

— Да, конечно, я рад, — сказал Ионсон несколько не тем тоном, какой рассчитывал услышать Мистрей; затем пристально посмотрел на жену, в поджатых губах которой таилось неодобрение по адресу прибывших. Тем не менее она нашла нужным сказать:

— Да, да. Нас почти никто не посещает, кроме деловых людей. Это нам приятно, конечно.

Последнюю фразу Тави могла принять как на свой счет, так и на счет “деловых людей”. Она ответила:

— Простите, пожалуйста, если приехали неудачно. А Мистрей все расскажет. Мы не одни. Вот Сван, вы видите? Мы не расстаемся. Вы не покинете нас, Нэд?

— Пока не закрылись глаза ваши, — раздельно и внятно произнес слепой. Он стоял, держась под руку Мистрея, и, опустив голову, казалось, слышал уже холод чужого угла, враждебного согревающему доверию.

— Марта, — сказал Ионсон жене, — надо распорядиться. Войдите, гости.

Все прошли тогда в огромный зал, развернутый электричеством. Здесь была симметрически расставлена жесткая тяжелая мебель; несколько дешевых картин в дорогих рамах тускло разнообразили массивность жилья, выстроенного из крупных камней в виде казармы. Эта казарменность прочно отражалась внутри короткими окнами и серой обивкой стен; двери закрывались плотно и с гулом, унылый оттенок которого невозможно поймать ухом чернил.

Тави привела Свана в угол, где он сел, слушая разговор. Она пыталась благодарить Ионсона за то, что полтора года назад доставил он им светлое удовольствие приглашением посетить

свой дом. Но Ионсон ответил искренно непонимающим взглядом, и Тави умолкла. Затем говорил Мистрей. Он рассказал о мошенничестве, жертвой которого сделались они благодаря тонким уловкам, рассчитанным на их доверчивость; о своей мечте поселиться навсегда среди тихих деревьев, подальше от городских дел, и как купленная усадьба оказалась чужой.

На середине его рассказа пришла Марта, сев рядом с мужем в позе, какие принимаются на дешевых фотографиях, если снялась пара. На Марте было черное шелковое платье, в руках держала она колоссальный веер, не подвергая его однако опасности треснуть движениями мощных дланей.

Выслушав, Ионсон громко захохотал.

— Недурно обтяпано, — сказал он и толкнул локтем жену. — А, Марта?! Слышала ты такое?

— Чудеса, — ответила та, бесцеремонно рассматривая гостей. — Все продали?

— Увы, — сказал Мистрей, — и наше маленькое наследство и мебель. Иначе не составлялось необходимой суммы.

— Так какого же черта, — возразил Ионсон, поглаживая колено, — какого же, я говорю, черта не посмотрели вы свою кошку в мешке?!

— Кошку? — удивилась Тави.

— Ну да; я говорю об усадьбе. Вам надо было приехать на место и рассмотреть, что вам предлагают купить. Ведь вы сваляли дурака. Кто виноват?

— Дурака, — машинально повторил Мистрей, — да, дурака. Но…

Он умолк. Тави открыла рот, но почувствовала, что, сказав, понята не будет. За них ответил Нэд Сван:

— Мои друзья, — тихо повел он из угла, — не будут в претензии, если я доскажу за них. Они хотели бы радоваться неожиданности, той, может быть, незначительной, но всегда приятной неожиданности, когда, ступая на свою землю, еще не знаешь ее. Они дорожат свежестью впечатления, особенно в таком серьезном деле, где первое впечатление навсегда окрашивает собой будущее. Вот почему они поверили спокойному болтуну.

Тави сконфуженно рассмеялась. Мистрей застегнул кнопку блузы, раскрывшуюся на ее плече, затем сказал:

— Пожалуй, так и было оно.

— Х-ха… — крякнул Ионсон, играя узлами челюстей, и посмотрел на жену.

Та, подняв веер, склонилась над его ухом, шепча:

— Ты видишь, что это идиоты. Но они не все продали…

Едва он успел движением головы спросить, в чем дело, как Марта обратилась к молодой женщине:

— Это настоящий жемчуг?

— Мой? — Тави коснулась жемчужной нитки, нежившей ее шею гладким прикосновением крупных, как бобы, зерен. — О! Он настоящий. Хвостик наследства, которого теперь нет.

— Хвостик не плох, — сказал Ионсон, вставая и приглядываясь с высоты своих семи футов. Он прищурился. — Да. Но ведь вокруг вашей шеи висит по крайней мере пять недурных имений.

Тави вздохнула весело и задорно.

— Надо вам объяснить, я вижу, — сказала она, лукаво подмигнув мужу. — Эта ниточка нас сосватала. Когда Мистрей пришел сказать… самые хорошие вещи… и… тогда он увидел эти жемчужины на моем столе. Они еще от прабабушки. Вот он воодушевился и представил мне в лицах, как на дне морском раковина дремлет, сияя. Как она живет глубокой жемчужной мыслью. И… и… как она любит, закрывает свою жемчужину, а мы сидели рядом… и… и…

— …и поцеловались, конечно, — добродушно пробасил Сван.

— Нэд! Думайте про себя! — крикнула Тави. — Что за суфлер там, в углу?!

Воцарилось натянутое молчание.

— Ничего, что я так сказала? — повернулась тави к мужу.

Он взглядом успокоил ее.

— Все ничего, все пройдет, — сказал он и, обратясь к Ионсону, добавил: — Разумеется, не продаются такие вещи, как не продаются обручальные кольца.

— Здорово! — сказал Ионсон.

— Что же вы теперь будете делать? — спросила Марта.

— Прежде всего — подумать. — Мистрей невольно вздохнул. — Только несколько дней, дорогой Ионсон. Пусть она порадуется дикой красоте ваших мест.

— При-ро-да! — протянул Ионсон. — Моя болезнь та, что завод плохо работает. Есть, правда…

— Ужин есть, — сказал негр в пиджаке, раскрывая дверь.

— Вы давно ослепли? — спросила Марта у Свана.

— Давно. IV

Отрывистое настроение хозяев мало улучшилось за столом, хотя Ионсон пил много и жадно. Но Марта стала внимательней. От ее любезностей подчас хотелось крикнуть, однако резкая болтовня стерла отчасти натянутость, делавшуюся уже невыносимой для Тави.

Наконец, слегка качнувшись, так как промахнулся опереться локтем о стол, Ионсон счел нужным посвятить Мистрея в свои дела. Завод гибнет. Его преследуют неудачи, долги растут, близятся роковые взыскания, спрос мал, застой и кризис в торговле. Однако он не унывает. Всю жизнь приходилось ему выпутываться из положений гораздо худших, — туча рассеется.

Мистрей выразил надежду, что она рассеется быстрее всех ожиданий. Как у Тави слипались глаза, он не поддерживал особенно разговора; молчал и Нэд Сван. Незадолго перед тем, как часы ударили полночь, под окном дома мелькнул громовой выстрел, сопровождаемый собачьим лаем и криками.

— Это вернулся Гог, — заметила Марта, — наш сын.

По всему дому пронеслось хлопанье дверей, затем высокий, как его отец, молодой человек с

нелюдимым лицом появился перед собранием. Его голова, по-горски, была обвязана красным платком, жесткая борода неестественно, как черная наклейка, обходила полное, загорелое лицо с неприятным ртом и бесцветными, медленно устанавливающими взгляд, сонно мигающими глазами. В его руках был карабин.

— Чужая собака, — сказал он, несколько смутясь при виде чужих, и повернулся уйти. — В голову. Ха-ха!

— Сядь, — сказал Ионсон.

Гог, пробормотав что-то, скрылся, стукнув о дверь дулом ружья.

— Невежа! — закричал вслед отец.

Мать пояснила:

— С него взятки гладки: раз уж набрал в рот воды или не хочет чего-нибудь, — упрашивать бесполезно.

Об этом не говорили больше. Посидев еще несколько времени, гости были отведены в приготовленные для них комнаты. Перед тем, как лечь, оба зашли к Нэду, посмотреть, не нужно ли ему что-нибудь.

— Ну, что вы скажете, — спросил Мистрей, — каковы впечатления ваши?

— Вижу отчетливо всех троих. — Сван слепо прищурился в тот свой мир, где так все было знакомо ему. — Ионсон: черный, большой рот и рыжая черта поперек налитого кровью глаза. Его жена: зубчатый небольшой круг с клювом спрута внутри. Гог… этот неясно… да: тьма, две медные точки и крылья совы.

— Ну, вот еще, — с некоторым неудовольствием отнеслась Тави, — милый Нэд, вы нервны сегодня. Но, правда, что-то беспокойно и мне.

— Кажется, мы приехали неудачно, — заметил Мистрей, но, не желая расстраивать Тави, прибавил: — Все это пустая мнительность… Нэд, спокойной вам ночи!

— Благодарю. Да будут спокойны и ваши ночи, — ответил Сван, — спокойны, пока я слеп.

Муж и жена давно привыкли уже к странной манере, в какой иногда выражал мысли свои Нэд Сван; поэтому, не обращая особенного внимания на его последние слова, попрощались и удалились к себе. V

Несколько дней прожили они, сходя по утрам в долины или поднимаясь среди цветущих теснин к затейливым углам горного мира, где яркие неожиданности пейзажа напоминают ряд радостных встреч с лучшими из своих желаний, принявших кроткую или захватывающую дыхание видимость. Среди этого мира, неподалеку от дома, рвал дымом нежную красоту гор завод Ионсона, — трубы, обнесенные стенами и складами. Казалось, был перенесен он сюда из города каким-то подземным путем, вынырнув вдруг среди зеленого сияния склонов. Без вопросов смотрела на него Тави, иногда говоря тихое “А!..” — если случившийся тут же Ионсон объяснял что-нибудь. И она спешила на озеро, где с удочками в руках, беспечные обобранные люди вбирали всем существом своим блеск бездонной воды, отражающей их фигуры.

Нэд Сван неизменно сопровождал их. Благодаря его присутствию прогулки гостей были медленны и покойны, так как надо было вести слепца, дав ему держаться за себя или за конец палки, другой конец которой Мистрей брал под мышку. Нэд Сван расспрашивал их, слушал и говорил о своем.

Меж тем впечатления дома, — естественным путем взаимного отчуждения, скрывать которое все же приходилось известным усилием, — стали за их спиной, но редко они оборачивались к острому их лицу. Там крикливыми голосами, счетами и проклятиями, бранью и своеобразной душевной отрыжкой, точно обозначающей все колебания делового дня, текла, собранная в жидкий узел на маковке, своя жизнь. Хозяева и гости встречались редко. Гог приходил иногда к обеду, но чаще давал знать о существовании своем окрестными выстрелами или хохотом где-то позади конюшен, который звучал так долго, ровно и громко, что хотелось закрыть окно. Он почти ничего не говорил, здоровался чуть ли не с отвращением и был вообще — сам.

Прошла неделя, а эти чужие друг другу люди так же мало знали взаимно о себе, как при первой встрече.

Под вечер следующего дня пьяный, но отлично держащийся на ногах, внезапно получивший дар речи Ионсон вошел в комнату гостей с таким видом, что сразу, еще до первого слова, создалось предчувствие некоего делового момента. VI

— Мне надо поговорить с вами, Мистрей, — медленно сказал Ионсон. Избегая смотреть в глаза, он ворочал засунутыми в карманы брюк кулаками, как будто месил. — И с вашей женой также. Есть дело. То есть я хочу говорить о деле, если вы против ничего не имеете.

— Нет, я слушаю вас. — Мистрей посадил Ионсона и сел против него. Тави сидела в глубине комнаты, укрытая тенью, выказываясь оттуда далекой и тихой. — Предупреждаю, однако, что я не деловой человек. В этом могли вы убедиться из моего опыта покупки чужой земли.

Взгляд Ионсона блеснул двусмысленно.

— Гм… — сказал он, — да, каждый может стать, конечно, добычей изворотливых молодцов… однако… но я скажу прямо, что дело касается только вас и меня.

— А меня? — рассмеялась Тави.

— Вас? Ну, и вас, конечно. Оно касается вас обоих, но более всего — одного меня.

— Так говорите, — сказал Мистрей, намеренно избегая паузы.

Ионсон грузно вздохнул, сдвинув лицо так, что все его черты собрались к глазам, старавшимся пристально отметить что-то в лицах жены и мужа, — нечто, указывающее линию дальнейшего разговора.

— Я разорен, — хрипло заявил он, — разорен в лоск и не больше как через месяц должен буду уйти отсюда. Есть только один выход из положения. Слушайте: мне предлагают крупную партию сырья почти даром. Почему это так, я сам хорошо не знаю; знаю лишь, что человек, с которым веду переговоры, безусловно надежен. В моем распоряжении еще есть двадцать четыре часа. Если я внесу половину суммы, — товар мой, и я через две недели выпускаю его готовыми фабрикатами по цене, значительно более дешевой, чем рыночная. Таким образом, помимо крупной прибыли, я получаю заказы и задатки, чем отсрочиваю и частью оплачиваю векселя. Но сегодня, или — самое позднее — завтра, надо уплатить тому человеку тридцать тысяч.

Он смолк, откинулся, полузакрыв глаза, затем внезапно и нагло бросил упорный взгляд на Мистрея, хлопнув по колену рукой.

— Так, — сказал, подумав, Мистрей, — но, право, я неважный советчик.

— Совет мне не нужен.

— Тогда… что?!

— Деньги.

— Как?!

— Жемчуг, — сказал Ионсон, волнуясь уже заметным образом. — У вашей жены есть жемчуг. Он стоит шестьдесят верных. Постойте, я кончу. Вы даете мне жемчуг в обеспечение поставки. Я закладываю его. Он будет цел, ручаюсь своей честью. Ровно через месяц, ни днем раньше, ни позже, я возвращаю вам вещь обратно, плюс двадцать процентов на сто. И мы квит.

Наступило молчание. Тави пересела к Мистрею. Ее рука поднялась было к шее, где снимавшееся лишь на ночь кружило в электрическом свете огненно-молочный блеск свой ее радужное воспоминание, как опустилась вновь с гордостью, выраженной тихой улыбкой. Впрочем, она взглянула на мужа не без лукавства, предчувствуя интересный ответ.

— И вы подумали это? — сказал Мистрей. — Но я скажу так же прямо, как прямо обратились ко мне вы: на это мы не пойдем.

Ионсон проглотил слюну.

— Почему? — глухо и вкрадчиво спросил он.

— Это невозможно.

— Так почему, черт возьми?

Красными пятнами покрылось его лицо. Он встал и сел снова с силой, так, что затрещал стул. Беспомощно и свирепо звучали его слова.

— Послушайте, — начал он, помяв руки, — здесь нет риска. Я отвечаю и могу поклясться…

— Мне жаль вас, — твердо перебил Мистрей, — но пачкать душу свою я не буду. В этой вещи, о которой вы говорите с понятной, на ваш взгляд, легкостью, так как для вас это — просто ценность, — в этой вещи заключен первый наш простой вечер, — мой и жены моей. Эта вещь не продается и не закладывается. Она уже утратила ту ценность, которая дорога вам; ее ценность иная. Я сказал все.

Ионсон встал.

— Отлично, — сказал он, качая головой гневно и медленно, как если бы рассуждал об отсутствующих. — Эти люди… ха… Эти люди приезжают к тебе, Ионсон. Да. Что они просят? Нет, они ни-че-го не просят. Они благородны. Это гости. Они живут, едят, пьют…

— Мистрей! — едва могла сказать Тави.

Мистрей быстро положил руку на плечо Ионсона.

— Выйдите и ложитесь спать, — сказал он так тихо и явственно, что Ионсон отшатнулся. — Мы не останемся здесь более десяти минут. Тави! — но она уже встала, смотря в окно.

Здесь он заметил, что дверь раскрыта. Мягко держась за притолоку, стоял с опущенной головой Нэд Сван. Он кашлянул.

— О! Да, вот что это! — вскричала, увидев его, Тави. — Собирайтесь и вы, Нэд.

— Я готов, — печально сказал слепой.

Ионсон вышел, смотря на гостей с расстояния нескольких шагов, через дверь. Он топнул

ногой.

— Ступайте под окно! — закричал он. — Там вам швырнут багаж.

Сван знаком остановил Мистрея.

— Багаж моих друзей, а также и мои пожитки, — сказал он, повернув лицо к Ионсону, — останутся пока здесь. Они будут выкуплены через несколько дней суммой, вознаграждающей Ионсона. Он нес расходы. Мы пили и ели у него.

— Благодарю, Сван, — сказала Тави. — Так надо.

Они вышли немедленно. Никто не провожал их ни бранью, ни дальнейшими разговорами об этой оскорбительной стычке. У подъезда стоял Гог. Он видел, как три человека, не оглядываясь, медленным шагом отошли прочь и скрылись в лесу. VII

Тропа, которой они шли, вилась отлогим зигзагом; у самых ног их падали от уступа к уступу молчаливые, ярко озаренные склоны. Казалось, здесь был предел разнообразию: едва утомленный сверкающей пустотой долин глаз переходил к ближайшим явлениям, как висящие над головой скалы или поворот, оттененный светлой чертой неба, по-иному колебали волнение, вызванное и ровно поддерживаемое оглушительной тишиной стремнин.

Устав, путники сели, свесив ноги над бездной. Вначале показалось Мистрею, что Тави говорит что-то, — такой сосредоточенной трубочкой вытянулись ее губы, шепча или мурлыкая про себя. Но она просто летала, держась руками за землю, по противоположному склону, отделенному от нее не более как перелетом ядра. Она летала, мысленно опускаясь там, где было более живописно. Ее глаза ярко блестели.

— О, Мистрей! — могла она только сказать, прижав руку к сердцу. — Нэд, простите меня за то, что у меня есть зрачки.

Сван помолчал. Странная улыбка прошла по его лицу.

— Я вижу, — сказал он. — Но я вижу иначе: тем настроением, какое сообщается мне от вас.

Оглянувшись, Мистрей заметил в скале подобие ниши, что и было приветствуемо как приют. Сухие кусты росли густо вокруг. Это годилось для костра. Неподалеку, на мшистом отвесном скате висел, перескакивая внизу, прозрачный ручей. Тави залезла на ореховое дерево, порвав юбку. Сван выгрузил из кармана большой кусок хлеба.

— Я взял с собой, — сказал он, — это припишем к счету.

Они долго сидели у огня, разговаривая и восхищаясь романтичностью положения. Затем Тави положила голову на колени мужа и уснула, а он прислонился к стене.

Сван лег у выхода ниши. VIII

В самом зените ночи, вставшей высоко вверху и молча смотревшей вниз на отражение свое по пропастям и обвалам, из ущелья на дорогу вышел медведь. Став к ветру, неодобрительно слушал он глубиной ноздрей, сосавших пахнущий камнем и листвой воздух, мельчайший крап оттенков его: не тронет ли тоскливым ознобом внутри дыхания, не ясным ли станет памятный от прежних встреч шагающий образ с направленной к медвежьим глазам черной чертой, откуда надо ждать треска и боли.

Но колеблющийся баланс воздушных течений сдвинул легкую ткань опасного запаха, расслоил и переместил ее. Тогда, шумно вздохнув, медведь фыркнул в пыль уснувшей тропы. Коза, еж и лисица явились умственному взору его, так как вчера были на этом месте

— но слабо; явление отмечало значительный промежуток времени. Тогда той частью души, которая у зверей похожа на состояние сонного человеческого сознания, когда, дремля, натуживается оно никогда не приходящим воспоминанием, медведь двинулся по тропе вниз, раскачивая головой и осторожно следя, не пересечется ли путь подозрительным воздушным узором.

Вдруг он остановился и сел, подняв голову, как собака. Ветер, случайно завернув вспять, хлопнул его по ноздрям одеждой и телом нескольких людей, находившихся где-то совсем близко. Он ощутил слабый позыв желудочного беспокойства, и лапы его отяжелели. Однако он не убежал и не вскарабкался выше, а с недоумением разминал запах, вслушиваясь в него с медленно проходящим испугом. Запах был лишен яда, то есть мог принадлежать только другой породе, может быть, в чем-то равной образу, шагающему с гремящей чертой в лапах.

Зверь подвинулся, фыркая тихо и вопросительно. Он видел, как мы днем. Совсем войдя в группу, он приблизил носовое внимание свое к лицу Тави и успокоился. Затем, мягко перешагнув ноги Мистрея, провел, почти касаясь мордой, по контуру тела Свана.

Все утихло, все заленилось в нем, но пахло еще чем-то, давно забытым. Это была хлебная корка. Он тихо слизнул ее, поиграв челюстями, и лег, вытянув голову к ногам спящей женщины, — как ковер из его меха, лежащий, быть может, теперь под человечески-звериной ногой.

Он спал. Когда снова его начал мучительно волновать тот запах, за две мили от которого поспешил он обеспечить себе спокойную ночную прогулку, горное чудовище выползло на тенистый свет звезд, и, дыбом, тронулось к Гогу, поспешно направившему гремящую черту в косматое сердце. Но медведь только махнул лапой. Пощечина обнажила скулы и, мгновенно помертвев, согнутый в коленях страшным ударом, человек, видевший всю ночь только жемчуг, отправился на край бездны.

Сказалось ли темное прошлое семьи в том, что у человека, который плеснулся с полумильной высоты о широкий камень, подобно воде, красное пятно, покрывшее известняк, расплылось в форме ножа, — мы не знаем. Осталось лишь прошлое. Будущее растеклось по скале и высохло в отвесных лучах.

Утром Мистрей сказал Свану, что на золе следы лап, прося не говорить жене о своем открытии.

Сван обратил с тихой улыбкой серебряный взгляд к обрыву, где — лишь он один знал — упал сын Ионсона. Но это знание было равно сну, не выразимому словом.

Все трое благополучно спустились к горному поселению, где смогли нанять мулов.

Через неделю они получили свой багаж — без письма.

Корабли в Лиссе

I

Есть люди, напоминающие старомодную табакерку. Взяв в руки такую вещь, смотришь на нее с плодотворной задумчивостью. Она — целое поколение, и мы ей чужие. Табакерку помещают среди иных подходящих вещиц и показывают гостям, но редко случится, что ее собственник воспользуется ею как обиходным предметом. Почему? Столетия остановят его? Или формы иного времени, так обманчиво схожие — геометрически — с формами новыми, настолько различны по существу, что видеть их постоянно, постоянно входить с ними в

прикосновение — значит незаметно жить прошлым? Может быть, мелкая мысль о сложном несоответствии? Трудно сказать. Но — начали мы — есть люди, напоминающие старинный обиходный предмет, и люди эти, в душевной сути своей, так же чужды окружающей их манере жить, как вышеуказанная табакерка мародеру из гостиницы «Лиссабон». Раз навсегда, в детстве ли или в одном из тех жизненных поворотов, когда, складываясь, характер как бы подобен насыщенной минеральным раствором жидкости: легко возмути ее — и вся она в молниеносно возникших кристаллах застыла неизгладимо… в одном ли из таких поворотов, благодаря случайному впечатлению или чему иному, душа укладывается в непоколебимую форму. Ее требования наивны и поэтичны: цельность, законченность, обаяние привычного, где так ясно и удобно живется грезам, свободным от придирок момента. Такой человек предпочтет лошадей — вагону; свечу — электрической груше; пушистую косу девушки — ее же хитрой прическе, пахнущей горелым и мускусным; розу — хризантеме; неуклюжий парусник с возвышенной громадой белых парусов, напоминающий лицо с тяжелой челюстью и ясным лбом над синими глазами, предпочтет он игрушечно-красивому пароходу. Внутренняя его жизнь по необходимости замкнута, а внешняя состоит во взаимном отталкивании. II

Как есть такие люди, так есть семьи, дома и даже города и гавани, подобные вышеприведенному примеру — человеку с его жизненным настроением.

Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс, кроме, разумеется, Зурбагана. Интернациональный, разноязычный город определенно напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены как попало среди неясных намеков на улицы, но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть в Лиссе уже потому, что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские, пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен: где-нибудь на бугрообразном дворе — огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пение вдали и его эхо в овраге; рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками; блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне — о влюбленности и свиданиях; гавань — грязная, как молодой трубочист; свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана; ночью — магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами — вот Лисс. Здесь две гостиницы: «Колючей подушки» и «Унеси горе». Моряки, естественно, плотней набивались в ту, которая ближе; которая вначале была ближе — трудно сказать; но эти почтенные учреждения, конкурируя, начали скакать к гавани — в буквальном смысле этого слова. Они переселялись, снимали новые помещения и даже строили их. Одолела «Унеси горе». С ее стороны был подпущен ловкий фортель, благодаря чему «Колючая подушка» остановилась как вкопанная среди гиблых оврагов, а торжествующая «Унеси горе» после десятилетней борьбы воцарилась у самой гавани, погубив три местных харчевни.

Население Лисса состоит из авантюристов, контрабандистов и моряков; женщины делятся на ангелов и мегер, ангелы, разумеется, молоды, опаляюще красивы и нежны, а мегеры — стары; но и мегеры, не надо забывать этого, полезны бывают жизни. Пример: счастливая свадьба, во время которой строившая ранее адские козни мегера раскаивается и начинает лучшую жизнь.

Мы не будем делать разбор причин, в силу которых Лисс посещался и посещается исключительно парусными судами. Причины эти — географического и гидрографического свойства; все в общем произвело на нас в городе этом именно то впечатление независимости и поэтической плавности, какое пытались выяснить мы в примере человека с цельными и ясными требованиями. III

В тот момент, как начался наш рассказ, за столом гостиницы «Унеси горе», в верхнем этаже,

пред окном, из которого картинно была видна гавань Лисса, сидели четыре человека. То были: капитан Дюк, весьма грузная и экспансивная личность; капитан Роберт Эстамп; капитан Рениор и капитан, более известный под кличкой «Я тебя знаю»: благодаря именно этой фразе, которой он приветствовал каждого, даже незнакомого человека, если человек тот выказывал намерение загулять. Звали его, однако, Чинчар.

Такое блестящее, даже аристократическое общество, само собой, не могло восседать за пустым столом. Стояли тут разные торжественные бутылки, извлекаемые хозяином гостиницы в особых случаях, именно в подобных настоящему, когда капитаны — вообще народ, недолюбливающий друг друга по причинам профессионального красования, — почему-либо сходились пьянствовать.

Эстамп был пожилой, очень бледный, сероглазый, с рыжими бровями, неразговорчивый человек; Рениор, с длинными черными волосами и глазами навыкате, напоминал переодетого монаха; Чинчар, кривой, ловкий старик с черными зубами и грустным голубым глазом, отличался ехидством.

Трактир был полон; там — шумели; там — пели; время от времени какой-нибудь веселый до беспамятства человек направлялся к выходу, опрокидывая стулья на своем пути; гремела посуда, и в шуме этом два раза уловил Дюк имя «Битт-Бой». Кто-то, видимо, вспоминал славного человека. Имя это пришлось кстати: разговор шел о затруднительном положении.

— Вот с Битт-Боем, — вскричал Дюк, — я не побоялся бы целой эскадры! Но его нет. Братцы-капитаны, я ведь нагружен, страшно сказать, взрывчатыми пакостями. То есть не я, а «Марианна», «Марианна», впрочем, есть я, а я есть «Марианна», так что я нагружен. Ирония судьбы: я — с картечью и порохом! Видит бог, братцы-капитаны, — продолжал Дюк мрачно одушевленным голосом, — после такого свирепого угощения, какое мне поднесли в интендантстве, я согласился бы фрахтовать даже сельтерскую и содовую!

— Капер снова показался третьего дня, — вставил Эстамп.

— Не понимаю, чего он ищет в этих водах, — сказал Чинчар, — однако боязно подымать якорь.

— Вы чем же больны теперь? — спросил Рениор.

— Сущие пустяки, капитан. Я везу жестяные изделия и духи. Но мне обещана премия!

Чинчар лгал, однако. «Болен» он был не жестью, а страховым полисом, ища удобного места и времени, чтобы потопить своего «Пустынника» за крупную сумму. Такие отвратительные проделки не редкость, хотя требуют большой осмотрительности. Капер тоже волновал Чинчара — он получил сведения, что его страховое общество накануне краха и надо поторапливаться.

— Я знаю, чего ищет разбойник! — заявил Дюк. — Видели вы бригантину, бросившую якорь у самого выхода? «Фелицата». Говорят, что нагружена она золотом.

— Судно мне незнакомо, — сказал Рениор. — Я видел ее, конечно. Кто ее капитан?

Никто не знал этого. Никто его даже не видел. Он не сделал ни одного визита и не приходил в гостиницу. Раз лишь трое матросов «Фелицаты», преследуемые любопытными взглядами, чинные, пожилые люди, приехали с корабля в Лисс, купили табаку и более не показывались.

— Какой-нибудь молокосос, — пробурчал Эстамп. — Невежа! Сиди, сиди, невежа, в каюте, — вдруг разгорячился он, обращаясь к окну, — может, усы и вырастут!

Капитаны захохотали. Когда смех умолк, Рениор сказал:

— Как ни крути, а мы заперты. Я с удовольствием отдам свой груз (на что мне, собственно, чужие лимоны?). Но отдать «Президента»…

— Или «Марианну», — перебил Дюк. — Что, если она взорвется?! — Он побледнел даже и выпил двойную порцию. — Не говорите мне о страшном и роковом, Рениор!

— Вы надоели мне со своей «Марианной», — крикнул Рениор, — до такой степени, что я хотел бы даже и взрыва!

— А ваш «Президент» утопнет!

— Что-о?

— Капитаны, не ссорьтесь, — сказал Эстамп.

— Я тебя знаю! — закричал Чинчар какому-то очень удивившемуся посетителю. — Поди сюда, угости старичишку!

Но посетитель повернулся спиной. Капитаны погрузились в раздумье. У каждого были причины желать покинуть Лисс возможно скорее. Дюка ждала далекая крепость. Чинчар торопился разыграть мошенническую комедию. Рениор жаждал свидания с семьей после двухлетней разлуки, а Эстамп боялся, что разбежится его команда, народ случайного сбора. Двое уже бежали, похваляясь теперь в «Колючей подушке» небывалыми новогвинейскими похождениями.

Эти суда: «Марианна», «Президент», «Пустынник» Чинчара и «Арамея» Эстампа спаслись в Лиссе от преследования неприятельских каперов. Первой влетела быстроходная «Марианна», на другой день приполз «Пустынник», а спустя двое суток бросили, запыхавшись, якорь «Арамея» и «Президент». Всего с таинственной «Фелицатой» в Лиссе стояло пять кораблей, не считая барж и мелких береговых судов.

— Так я говорю, что хочу Битт-Боя, — заговорил охмелевший Дюк. — Я вам расскажу про него штучку. Все вы знаете, конечно, мокрую курицу Беппо Маластино. Маластино сидит в Зурбагане, пьет «Боже мой»[3] и держит на коленях Бутузку. Входит Битт-Бой: «Маластино, подымай якорь, я проведу судно через Кассет. Ты будешь в Ахуан-Скапе раньше всех в этом сезоне». Как вы думаете, капитаны? Я хаживал через Кассет с полным грузом, и прямая выгода была дураку Маластино слепо слушать Битт-Боя. Но Беппо думал два дня: «Ах, штормовая полоса… Ах, чики, чики, сорвало бакены…» Но суть-то, братцы, не в бакенах. Али — турок, бывший бепповский боцман — сделал ему в бриге дыру и заклеил варом, как раз против бизани. Волна быстро бы расхлестала ее. Наконец Беппо в обмороке проплыл с Битт-Боем адский пролив; опоздал, разумеется, и деньги Ахуан-Скапа полюбили других больше, чем макаронщика, но… каково же счастье Битт-Боя?! В Кассете их швыряло на рифы… Несколько бочек с медом, стоя около турецкой дыры, забродили, надо быть, еще в Зурбагане. Бочонки эти лопнули, и тонны четыре меда задраили дыру таким пластырем, что обшивка даже не проломилась. Беппо похолодел уже в Ахуан-Скапе, при выгрузке. Слушай-ка, Чинчар, удели мне малость из той бутылки!

— Битт-Бой… я упросил бы его к себе, — заметил Эстамп. — Тебя, Дюк, все равно когда-нибудь повесят за порох, а у меня дети.

— Я вам расскажу про Битт-Боя, — начал Чинчар. — Дело это…

Страшный, веселый гвалт перебил старого плута.

Все обернулись к дверям, многие замахали шапками, некоторые бросились навстречу вошедшему. Хоровой рев ветром кинулся по обширной зале, а отдельные выкрики,

расталкивая восторженный шум, вынеслись светлым воплем:

— Битт-Бой! Битт-Бой! Битт-Бой, приносящий счастье! IV

Тот, кого приветствовали таким значительным и прелестным именованием, сильно покраснев, остановился у входа, засмеялся, раскланялся и пошел к столу капитанов. Это был стройный человек, не старше тридцати лет, небольшого роста, с приятным открытым лицом, выражавшим силу и нежность. В его глазах была спокойная живость, черты лица, фигура и все движения отличались достоинством, являющимся скорее отражением внутреннего спокойствия, чем привычным усилием характера. Чрезвычайно отчетливо, но негромко звучал его задумчивый голос. На Битт-Бое была лоцманская фуражка, вязаная коричневая фуфайка, голубой пояс и толстые башмаки, через руку перекинут был дождевой плащ.

Битт-Бой пожал десятки, сотни рук… Взгляд его, улыбаясь, свободно двигался в кругу приятельских осклаблений; винтообразные дымы трубок, белый блеск зубов на лицах кофейного цвета и пестрый туман глаз окружали его в продолжение нескольких минут животворным облаком сердечной встречи; наконец он высвободился и попал в объятия Дюка. Повеселел даже грустный глаз Чинчара, повеселела его ехидная челюсть; размяк солидно-воловий Рениор, и жесткий, самолюбивый Эстамп улыбнулся на грош, но по-детски: Битт-Бой был общим любимцем.

— Ты, барабанщик фортуны! — сказал Дюк. — Хвостик козла американского! Не был ли ты, скажем, новым Ионой в брюхе китишки? Где пропадал? Что знаешь? Выбирай: весь пьяный флот налицо. Но мы застряли, как клин в башке дурака. Упаси «Марианну».

— О капере? — спросил Битт-Бой. — Я его видел. Короткий рассказ, братцы, лучше долгих расспросов. Вот вам история: вчера взял я в Зурбагане ялик и поплыл к Лиссу; ночь была темная. О каперах слышал я раньше, поэтому, пробираясь вдоль берега за каменьями, где скалы поросли мхом, был под защитой их цвета. Два раза миновал меня рефлектор неприятельского крейсера, на третий раз изнутри толкнуло опустить парус. Как раз… ялик и я высветились бы, как мухи на блюдечке. Там камни, тени, мох, трещины, меня не отличили от пустоты, но не опусти я свой парус… итак, Битт-Бой сидит здесь благополучно. Рениор, помните фирму «Хевен и К°»? Она продает тесные башмаки с гвоздями навылет; я вчера купил пару и теперь у меня пятки в крови.

— Есть, Битт-Бой, — сказал Рениор, — однако смелый вы человек. Битт-Бой, проведите моего «Президента»; если бы вы были женаты…

— Нет, «Пустынника», — заявил Чинчар. — Я ж тебя знаю, Битт-Бой. Я нынче богат, Битт-Бой.

— Почему же не «Арамею»? — спросил суровый Эстамп. — Я полезу на нож за право выхода. С Битт-Боем это верное дело.

Молодой лоцман, приготовившийся было рассказать еще что-то, стал вдруг печально серьезен. Подперев своей маленькой рукой подбородок, взглянул он на капитанов, тихо улыбнулся глазами и, как всегда щадя чужое настроение, пересилил себя. Он выпил, подбросил пустой стакан, поймал его, закурил и сказал:

— Благодарю вас, благодарю за доброе слово, за веру в мою удачу… Я не ищу ее. Я ничего не скажу вам сейчас, ничего то есть определенного. Есть тому одно обстоятельство.

— Хотя я и истратил уже все деньги, заработанные весной, но все же… И как мне выбирать среди вас? Дюка? О, нежный старик! Только близорукие не видят твоих тайных слез о просторе и, чтобы всем сказать: нате вам! Согласный ты с морем, старик, как я, Дюка люблю. А вы, Эстамп? Кто прятал меня в Бомбее от бестолковых сипаев, когда я спас жемчуг раджи?

Люблю Эстампа, есть у него теплый угол за пазухой. Рениор жил у меня два месяца, а его жена кормила меня полгода, когда я сломал ногу. А ты — «Я тебя знаю», Чинчар, закоренелый грешник — как плакал ты в церкви о встрече с одной старухой?.. Двадцать лет разделило вас да случайная кровь. Выпил я — и болтаю, капитаны: всех вас люблю. Капер, верно шутить не будет, однако — какой же может быть выбор? Даже представить этого нельзя.

— Жребий, — сказал Эстамп.

— Жребий! Жребий! — закричал стол. Битт-Бой оглянулся. Давно уже подсевшие из углов люди следили за течением разговора; множество локтей лежало на столе, а за ближними стояли другие и слушали. Потом взгляд Битт-Боя перешел на окно, за которым тихо сияла гавань. Дымя испарениями, ложился на воду вечер. Взглядом спросив о чем-то, понятном лишь одному ему, таинственную «Фелицату», Битт-Бой сказал:

— Осанистая эта бригантина, Эстамп. Кто ею командует?

— Невежа и неуч. Только еще никто не видел его.

— А ее груз?

— Золото, золото, золото, — забормотал Чинчар, — сладкое золото…

И со стороны некоторые подтвердили тоже:

— Так говорят.

— Должно было пройти здесь одно судно с золотом. Наверное, это оно.

— На нем аккуратная вахта.

— Никого не принимают на борт.

— Тихо на нем…

— Капитаны! — заговорил Битт-Бой. — Совестна мне странная моя слава, и надежды на меня, ей-богу, конфузят сердце. Слушайте: бросьте условный жребий. Не надо вертеть бумажек трубочками. В живом деле что-нибудь живое взглянет на нас. Как кому выйдет, с тем и поеду, если не изменится одно обстоятельство.

— Валяй им, Битт-Бой, правду-матку! — проснулся кто-то в углу.

Битт-Бой засмеялся. Ему хотелось бы быть уже далеко от Лисса теперь. Шум, шутки развлекали его. Он затем и затеял «жребий», чтобы, протянув время, набраться как можно глубже посторонних, суетливых влияний, рассеяний, моряцкой толковни и ее дел. Впрочем, он свято сдержал бы слово, «изменись одно обстоятельство». Это обстоятельство, однако, теперь, пока он смотрел на «Фелицату», было еще слишком темно ему самому, и, упомянув о нем, руководствовался он только удивительным инстинктом своим. Так, впечатлительный человек, ожидая друга, читает или работает и вдруг, встав, прямо идет к двери, чтобы ее открыть: идет друг, но открывший уже оттолкнул рассеянность и удивляется верности своего движения.

— Провались твое обстоятельство! — сказал Дюк. — Что же — будем гадать! Но ты не договорил чего-то, Битт-Бой!

— Да. Наступает вечер, — продолжал Битт-Бой, — немного остается ждать выигравшему меня, жалкого лоцмана. С кем мне выпадет ехать, тому я в полночь пришлю мальчугана с

известием на корабль. Дело в том, что я, может быть, и откажусь прямо. Но все равно, играйте пока.

Все обернулись к окну, в пестрой дали которого Битт-Бой, напряженно смотря туда, видимо, искал какого-нибудь естественного знака, указания, случайной приметы. Хорошо, ясно, как на ладони, виднелись все корабли: стройная «Марианна», длинный «Президент» с высоким бугшпритом; «Пустынник» с фигурой монаха на носу, бульдогообразный и мрачный; легкая, высокая «Арамея» и та благородно-осанистая «Фелицата» с крепким, соразмерным кузовом, с чистотой яхты, удлиненной кормой и джутовыми снастями, та «Фелицата», о которой спорили в кабаке — есть ли на ней золото.

Как печальны летние вечера! Ровная полутень их бродит, обнявшись с усталым солнцем, по притихшей земле; их эхо протяжно и замедленно-печально; их даль — в беззвучной тоске угасания. На взгляд — все еще бодро вокруг, полно жизни и дела, но ритм элегии уже властвует над опечаленным сердцем. Кого жаль? Себя ли? Звучит ли неслышный ранее стон земли? Толпятся ли в прозорливый тот час вокруг нас умершие? Воспоминания ли, бессознательно напрягаясь в одинокой душе, ищут выразительной песни… но жаль, жаль кого-то, как затерянного в пустыне. И многие минуты решений падают в неумиротворенном кругу вечеров этих.

— Вот, — сказал Битт-Бой, — летает баклан; скоро он сядет на воду. Посмотрим, к какому кораблю сядет поближе птица. Хорошо ли так, капитаны? Теперь, — продолжал он, получив согласное одобрение, — теперь так и решим. К какому он сядет ближе, того я провожу в эту же ночь, если… как сказано. Ну, ну, толстокрылый!

Тут четыре капитана наших обменялись взглядами, на точке скрещения которых не усидел бы, не будучи прожженным насквозь, даже сам дьявол, папа огня и мук. Надо знать суеверие моряков, чтобы понять их в эту минуту. Между тем неосведомленный о том баклан, выписав в проходах между судами несколько тяжелых восьмерок, сел как раз между «Президентом» и «Марианной», так близко на середину этого расстояния, что Битт-Бой и все усмехнулись!

— Птичка божия берет на буксир обоих, — сказал Дюк. — Что ж? Будем вместе плести маты, друг Рениор, так, что ли?

— Погодите! — скричал Чинчар. — Баклан ведь плавает! Куда он теперь поплывет, знатный вопрос?!

— Хорошо; к которому поплывет, — согласился Эстамп.

Дюк закрылся ладонью, задремал как бы; однако сквозь пальцы зорко ненавидел баклана. Впереди других, ближе к «Фелицате», стояла «Арамея». В ту сторону, держась несколько ближе к бригантине, и направился, ныряя, баклан; Эстамп выпрямился, самолюбиво блеснув глазами.

— Есть! — кратко определил он. — Все видели?

— Да, да, Эстамп, все!

— Я ухожу, — сказал Битт-Бой, — прощайте пока; меня ждут. Братцы-капитаны! Баклан — глупая птица, но клянусь вам, если бы я мог разорваться на четверо, я сделал бы это. Итак, прощайте! Эстамп, вам, значит, будет от меня справка. Мы поплывем вместе или… расстанемся, братцы, на «никогда».

Последние слова он проговорил вполголоса — смутно их слышали, смутно и поняли. Три капитана мрачно погрузились в свое огорчение. Эстамп нагнулся поднять трубку, и никто, таким образом, не уловил момента прощания. Встав, Битт-Бой махнул шапкой и быстро

пошел к выходу.

— Битт-Бой! — закричали вслед. Лоцман не обернулся и поспешно сбежал по лестнице. V

Теперь нам пора объяснить, почему этот человек играл роль живого талисмана для людей, профессией которых был организованный, так сказать, риск.

Наперекор умам логическим и скупым к жизни, умам, выставивший свой коротенький серый флажок над величавой громадой мира, полной неразрешенных тайн, в кроткой и смешной надежде, что к флажку этому направят стопы все идущие и потрясенные, — наперекор тому, говорим мы, встречаются существования, как бы поставившие задачей заставить других оглядываться на шорохи и загадочный шепот неисследованного. Есть люди, двигающиеся в черном кольце губительных совпадений. Присутствие их тоскливо; их речи звучат предчувствиями; их близость навлекает несчастья. Есть такие выражения, обиходные между нами, но определяющие другой, светлый разряд душ. «Легкий человек», «легкая рука» — слышим мы. Однако не будем делать поспешных выводов или рассуждать о достоверности собственных своих догадок. Факт тот, что в обществе легких людей проще и ясней настроение; что они изумительно поворачивают ход личных наших событий пустым каким-нибудь замечанием, жестом или намеком, что их почин в нашем деле действительно тащит удачу за волосы. Иногда эти люди рассеянны и беспечны, но чаще оживленно-серьезны. Одна есть верная их примета: простой смех — смех потому, что смешно и ничего более; смех, не выражающий отношения к присутствующим.

Таким человеком, в силе необъяснимой и безошибочной, был лоцман Битт-Бой. Все, за что брался он для других, оканчивалось неизменно благополучно, как бы ни были тяжелы обстоятельства, иногда даже с неожиданной премией. Не было судна, потерпевшего крушения в тот рейс, в который он вывел его из гавани. Случай с Беппо, рассказанный Дюком, не есть выдумка. Никогда корабль, напутствуемый его личной работой, не подвергался эпидемиям, нападениям и другим опасностям; никто на нем не падал за борт и не совершал преступлений. Он прекрасно изучил Зурбаган, Лисс и Кассет и все побережье полуострова, но не терялся и в незначительных фарватерах. Случалось ему проводить корабли в опасных местах стран далеких, где он бывал лишь случайно, и руль всегда брал под его рукой направление верное, как если бы Битт-Бой воочию видел все дно. Ему доверяли слепо, и он слепо — верил себе. Назовем это острым инстинктом — не все ли равно… «Битт-Бой, приносящий счастье» — под этим именем знали его везде, где он бывал и работал.

Битт-Бой прошел ряд оврагов, обогнув гостиницу «Колючей подушки», и выбрался по тропинке, вьющейся среди могучих садов, к короткой каменистой улице. Все время он шел с опущенной головой, в глубокой задумчивости, иногда внезапно бледнея под ударами мыслей. Около небольшого дома с окнами, выходящими на двор, под тень деревьев, он остановился, вздохнул, выпрямился и прошел за низкую каменную ограду.

Его, казалось, ждали. Как только он проник в сад, зашумев по траве, и стал подходить к окнам, всматриваясь в их тенистую глубину, где мелькал свет, у одного из окон, всколыхнув плечом откинутую занавеску, появилась молодая девушка. Знакомая фигура посетителя не обманула ее. Она кинулась было бежать к дверям, но, нетерпеливо сообразив два расстояния, вернулась к окну и выпрыгнула в него, побежав навстречу Битт-Бою. Ей было лет восемнадцать, две темные косы под лиловой с желтым косынкой падали вдоль стройной шеи и почти всего тела, столь стройного, что оно в движениях и поворотах казалось беспокойным лучом. Ее неправильное полудетское лицо с застенчиво-гордыми глазами было прелестно духом расцветающей женской жизни.

— Режи, Королева Ресниц! — сказал меж поцелуями Битт-Бой. — Если ты меня не задушишь, у меня будет чем вспомнить этот наш вечер.

— Наш, наш, милый мой, безраздельно мой! — сказал девушка. — Этой ночью я не ложилась, мне думалось после письма твоего, что через минуту за письмом подоспеешь и ты.

— Девушка должна много спать и есть, — рассеянно возразил Битт-Бой. Но тут же стряхнул тяжелое угнетение. — Оба ли глаза я поцеловал?

— Ни один ты не целовал, скупец!

— Нет, кажется, целовал левый… Правый глаз, значит, обижен. Дай-ка мне этот глазок… — И он получил его вместе с его сиянием.

Но суть таких разговоров не в словах бедных наших, и мы хорошо знаем это. Попробуйте такой разговор подслушать — вам будет грустно, завидно и жалко: вы увидите, как бьются две души, пытаясь звуками передать друг другу аромат свой. Режи и Битт-Бой, однако, досыта продолжали разговор этот. Теперь они сидели на небольшом садовом диване. Стемнело.

Наступило, как часто это бывает, молчание: полнота душ и сигнал решениям, если они настойчивы. Битт-Бой счел удобным заговорить, не откладывая, о главном.

Девушка бессознательно помогала ему.

— Сделай же нашу свадьбу, Битт-Бой. У меня будет маленький.

Битт-Бой громок расхохотался. Сознание положения отрезало и отравило смех этот коротким вздохом.

— Вот что, — сказал он изменившимся голосом, — ты, Режи, не перебивай меня. — Он почувствовал, как вспыхнула в ней тревога, и заторопился. — Я спрашивал и ходил везде… нет сомнения… Я тебе мужем быть не могу, дорогая. О, не плачь сразу! Подожди, выслушай! Разве мы не будем друзьями, Режи… ты, глупая, самая лучшая! Как же я могу сделать тебя несчастной? Скажу больше: я пришел ведь только проститься! Я люблю тебя на разрыв сердца и… хоть бы великанского! Оно убито, убито уже, Режи! А разве к тому же я один на свете? Мало ли хороших и честных людей! Нет, нет, Режи; послушай меня, уясни все, согласись… как же иначе?

В таком роде долго говорил он еще, перемалывая стиснутыми зубами тяжкие, загнанные далеко слезы, но душевное волнение спутало наконец его мысли.

Он умолк, разбитый нравственно и физически, — умолк и поцеловал маленькие, насильно отнятые от глаз ладони.

— Битт-Бой… — рыдая, заговорила девушка. — Битт-Бой, ты дурак, глупый болтунишка! Ты ведь еще не знаешь меня совсем. Я тебя не отдам ни беде, ни страху. Вот видишь, — продолжала она, разгорячась все более, — ты расстроен. Но я успокою тебя… ну же, ну! — Она схватила его голову и прижала к своей груди. — Здесь ты лежи спокойно, мой маленький. Слушай: будет худо тебе — хочу, чтобы худо и мне. Будет тебе хорошо — и мне давай хорошо. Если ты повесишься — я тоже повешусь. Разделим пополам все, что горько; отдай мне бОльшую половину. Ты всегда будешь для меня фарфоровый, белый… Я не знаю, чем уверить тебя: смертью, быть может?!

Она выпрямилась и сунула за корсаж руку, где, по местному обычаю, девушки носят стилет или небольшой кинжал.

Битт-Бой удержал ее. Он молчал, пораженный новым знанием о близкой душе. Теперь решение его, оставаясь непреклонным, хлынуло в другую форму.

— Битт-Бой, — продолжала девушка, заговоренная собственной речью и обманутая подавленностью несчастного, — ты умница, что молчишь и слушаешь меня. — Она продолжала, приникнув к его плечу: — Все будет хорошо, поверь мне. Вот что я думаю иногда, когда мечтаю или сержусь на твои отлучки. У нас будет верховая лошадь «Битт-Бой», собака «Умница» и кошка «Режи». Из Лисса тебе, собственно, незачем больше бы выезжать. Ты купишь нам всю новую медную посуду для кухни. Я буду улыбаться тебе везде-везде: при врагах, при друзьях, при всех, кто придет, — пусть видят все, как ты любим. Мы будем играть в жениха и невесту — как ты хотел улизнуть, негодный, — но я уж не буду плакать. Затем, когда у тебя будет свой бриг, мы проплывем вокруг света тридцать три раза…

Голос ее звучал сонно и нервно; глаза закрывались и открывались. Несколько минут она расписывала воображаемое путешествие спутанными образами, затем устроилась поудобнее, поджав ноги, и легонько, зевотно вздохнула. Теперь они плыли в звездном саду, над яркими подводными цветами.

— … И там много тюленей, Битт-Бой. Эти тюлени, говорят, добрые. Человеческие у них глаза. Не шевелись, пожалуйста, так спокойнее. Ты меня не утопишь, Битт-Бой, из-за какой-то там, не знаю… турчаночки? Ты сказал — я Королева Ресниц… Возьми их себе, милый, возьми все, все…

Ровное дыхание сна коснулось слуха Битт-Боя. Светила луна. Битт-Бой посмотрел сбоку: ресницы мягко лежали на побледневших щеках. Битт-Бой неловко усмехнулся, затем, сосредоточив все движения в усилии неощутимой плавности, высвободился, встал и опустил голову девушки на клеенчатую подушку дивана. Он был ни жив ни мертв. Однако уходило время; луна поднялась выше… Битт-Бой тихо поцеловал ноги Режи и вышел, со скрученным в душе воплем, на улицу.

По дороге к гавани он на несколько минут завернул в «Колючую подушку». VI

Было около десяти вечера, когда к «Фелицате», легко стукнув о борт, подплыла шлюпка. Ею правил один человек.

— Эй, на бригантине! — раздался сдержанный окрик.

Вахтенный матрос подошел к борту.

— Есть на бригантине, — сонно ответил он, вглядываясь в темноту. — Кого надо?

— Судя по голосу — это ты, Рексен. Встречай Битт-Боя.

— Битт-Бой?! В самом деле… — Матрос осветил фонарем шлюпку. — Вот так негаданная приятность! Вы давно в Лиссе?

— После поговорим, Рексен. Кто капитан?

— Вы его едва ли знаете, Битт-Бой. Это — Эскирос, из Колумбии.

— Да, не знаю. — Пока матрос спешно спускал трап, Битт-Бой стоял посреди шлюпки в глубокой задумчивости. — Так вы таскаетесь с золотом?

Матрос засмеялся.

— О, нет, — мы нагружены съестным, собственной провизией нашей да маленьким попутным фрахтом на остров Санди.

Он опустил трап.

— А все-таки золото у вас должно быть… как я понимаю это, — пробормотал Битт-Бой, поднимаясь на палубу.

— Иное мы задумали, лоцман.

— И ты согласен?

— Да, так будет, должно быть, хорошо, думаю.

— Отлично. Спит капитан?

— Нет.

— Ну, веди!

В щели капитанской каюты блестел свет. Битт-Бой постучал, открыл двери и вошел быстрыми прямыми шагами.

Он был мертвецки пьян, бледен, как перед казнью, но, вполне владея собою, держался с твердостью удивительной. Эскирос, оставив морскую карту, подошел к нему, щурясь на неизвестного. Капитан был пожилой, утомленного вида человек, слегка сутулый, с лицом болезненным, но приятным и открытым.

— Кто вы? Что привело вас? — спросил он, не повышая голоса.

— Капитан, я — Битт-Бой, — начал лоцман, — может быть, вы слышали обо мне. Я здесь…

Эскирос перебил его:

— Вы? Битт-Бой, «приносящий счастье»? Люди оборачиваются на эти слова. все слышал я. Сядьте, друг, вот сигара, стакан вина; вот моя рука и признательность.

Битт-Бой сел, на мгновение позабыв, что хотел сказать. Постепенно соображение вернулось к нему. Он отпил глоток; закурил, насильственно рассмеялся.

— К каким берегам тронется «Фелицата»? — спросил он. — Какой план ее жизни? Скажите мне это, капитан.

Эскирос не очень удивился прямому вопросу. Цели, вроде поставленной им, — вернее, намерения — толкают иногда к откровенности. Однако, прежде чем заговорить, капитан прошел взад-вперед, чтобы сосредоточиться.

— Ну что же… поговорим, — начал он. — Море воспитывает иногда странные характеры, дорогой лоцман. Мой характер покажется вам, думаю, странным. В прошлом у меня были несчастья. Сломить они меня не смогли, но благодаря им открылись новые, неведомые желания; взгляд стал обширнее, мир — ближе и доступнее. Влечет он меня — весь, как в гости. Я одинок. Проделал я, лоцман, всю морскую работу и был честным работником. Что позади — известно. К тому же есть у меня — была всегда — большая потребность в передвижениях. Так я задумал теперь свое путешествие. Тридцать бочек чужой солонины мы сдадим еще скалистому Санди, а там — внимательно, любовно будем обходить без всякого определенного плана моря и земли. Присматриваться к чужой жизни, искать важных, значительных встреч, не торопиться, иногда — спасти беглеца, взять на борт потерпевших крушение; стоять в цветущих садах огромных рек, может быть — временно пустить корни в чужой стране, дав якорю обрасти солью, а затем, затосковав, снова сорваться и дать парусам ветер, — ведь хорошо так, Битт-Бой?

— Я слушаю вас, — сказал лоцман.

— Моя команда вся новая. Не торопился я собирать ее. Распустив старую, искал я нужных мне встреч, беседовал с людьми, и, один по одному, набрались у меня подходящие. экипаж задумчивых! Капер нас держит в Лиссе. Я увильнул от него на днях, но лишь благодаря близости порта. Оставайтесь у нас, Битт-Бой, и я тотчас же отдам приказание поднять якорь. Вы сказали, что знали Рексена…

— Я знал его и знаю по «Радиусу», — удивленно проговорил Битт-Бой, — но я еще не сказал этого. Я… подумал об этом.

Эскирос не настаивал, объяснив про себя маленькое разногласие забывчивостью своего собеседника.

— Значит, есть у вас к Битт-Бою доверие?

— Может быть, я бессознательно ждал вас, друг мой.

Наступило молчание.

— Так в добрый час, капитан! — сказал вдруг Битт-Бой ясным и бодрым голосом. — Пошлите на «Арамею» юнгу с запиской Эстампу.

Приготовив записку, он передал ее Эскиросу.

Там стояло:

«Я глуп, как баклан, милый Эстамп. „Обстоятельство“ совершилось. Прощайте все — вы, Дюк, Рениор и Чинчар. Отныне этот берег не увидит меня.»

Отослав записку, Эскирос пожал руку Битт-Бою.

— Снимаемся! — крикнул он зазвеневшим голосом, и вид его стал уже деловым, командующим. Они вышли на палубу.

В душе каждого несся, распевая, свой ветер: ветер кладбища у Битт-Боя, ветер движения — у Эскироса. Капитан свистнул боцмана. Палуба, не прошло десяти минут, покрылась топотом и силуэтами теней, бегущих от штаговых фонарей. Судно просыпалось впотьмах, хлопая парусами; все меньше звезд мелькало меж рей; треща, совершал круги брашпиль, и якорный трос, медленно подтягивая корабль, освобождал якорь из ила.

Битт-Бой, взяв руль, в последний раз обернулся в ту сторону, где заснула Королева Ресниц.

«Фелицата» вышла с потушенными огнями. Молчание и тишина царствовали на корабле. Покинув узкий скалистый выход порта, Битт-Бой круто положил руль влево и вел так судно около мили, затем взял прямой курс на восток, сделав почти прямой угол; затем еще повернул вправо, повинуясь инстинкту. Тогда, не видя вблизи неприятельского судна, он снова пошел на восток.

Здесь произошло нечто странное: за его плечами раздался как бы беззвучный окрик. Он оглянулся, то же сделал капитан, стоявший возле компаса. Позади них от угольно-черных башен крейсера падал на скалы Лисса огромный голубой луч.

— Не там ищешь, — сказал Битт-Бой. — Однако прибавьте парусов, Эскирос.

Это и то, что ветер усилился, отнесло бригантину, шедшую со скоростью двадцати узлов, миль на пять за короткое время. Скоро повернули за мыс.

Битт-Бой передал руль вахтенному матросу и сошел вниз к капитану. Они откупорили

бутылку. Матросы, выпив тоже слегка «на благополучный проскок», пели, теперь не стесняясь, вверху; пение доносилось в каюту. Они пели песню «Джона Манишки».

Не ворчи, океан, не пугай.

Нас земля испугала давно.

В теплый край —

Южный край —

Приплывем все равно.

Припев:

Хлопнем, тетка, по стакану!

Душу сдвинув набекрень,

Джон Манишка без обмана

Пьет за всех, кому пить лень.

Ты, земля, стала твердью пустой:

Рана в сердце… Седею… Прости!

Это твой

След такой…

Ну — прощай и пусти!

Припев:

Хлопнем, тетка, по стакану!

Душу сдвинув набекрень,

Джон Манишка без обмана

Пьет за всех, кому пить лень.

Южный Крест там сияет вдали.

С первым ветром проснется компас.

Бог, храня Корабли,

Да помилует нас!

Когда зачем-то вошел юнга, ездивший с запиской к Эстампу, Битт-Бой спросил:

— Мальчик, он долго шпынял тебя?

— Я не сознался, где вы. Он затопал ногами, закричал, что повесит меня на рее, а я убежал.

эскирос был весел и оживлен.

— Битт-Бой! — сказал он. — Я думал о том, как должны вы быть счастливы, если чужая удача — сущие пустяки для вас.

Слово бьет иногда насмерть. Битт-Бой медленно побледнел; жалко исказилось его лицо. Тень внутренней судороги прошла по нему. Поставив на стол стакан, он завернул к подбородку фуфайку и расстегнул рубашку.

Эскирос вздрогнул. Выше левого соска, на побелевшей коже торчала язвенная, безобразная опухоль.

— Рак… — сказал он, трезвея.

Битт-Бой кивнул и, отвернувшись, стал приводить бинт и одежду в порядок. Руки его тряслись.

Наверху все еще пели, но уже в последний раз, ту же песню. Порыв ветра разбросал слова последней части ее, внизу услышалось только:

«Южный Крест там сияет вдали…», и, после смутного эха, в захлопнувшуюся от качки дверь:

«…Да помилует нас!»

Три слова эти лучше и явственнее всех расслышал лоцман Битт-Бой, «приносящий счастье».

Канат

Посмотри-ка, кто такой

Там торчит на минарете?

И решил весь хор детей:

“Это просто воробей!” Величко

I

Если бы я был одержим самой ужасной из всевозможных болезней физического порядка — оспой, холерой, чумой, спинной сухоткой, проказой, наконец, — я не так чувствовал бы себя отравленным и погибшим, как в злые дни ужасной и сладкой фантазии, закрепостившей мои мозг грандиозными образами человеческих мировых величин.

Кому не случалось, хоть раз в жизни, встретить на улице блаженно улыбающуюся личность, всегда мужчину, неопределенного или седоволосого возраста, шествующего развинченной, но горделивой походкой, в сопровождении любопытных мальчишек, нагло смакующих подробности нелепого костюма несчастного человека?

Рассмотрим этот костюм: на голове — высокая шляпа, утыканная петушьими и гусиными перьями, ее поля украшают солдатская кокарда, бумажка от карамели и елочная звезда; сюртук, едва скрепленный сиротливо торчащей пуговицей, испещрен обрывками цветных лент, бантами и самодельными орденами, из которых наиболее почетные, наиболее внушительные и грозные обслужены золотой бумагой. В руке безумца палочка с золотым шариком или сломанный зонтик, перевитый жестяной стружкой.

Это — король, Наполеон, Будда, Христос, Тамерлан… все вместе. Торжественно бушует мозг, сжигаемый ядовитым светом; в глазах — упоение величием; на ногах — рыжие опорки; в душе — престолы и царства. Заговорите с грандиозным прохожим — он метнет взгляд, от которого душа проваливается в пятки пяток; вы закуриваете, а он видит вас, стоящего на коленях; он говорит — выкрикивает, весь дергаясь от полноты власти: “Да! Нет! Я! Ты! Молчать!” — и эта отрывистая истерика, мнится ему, заставляет дрожать мир.

Такой-то вот дикой и ужасной болезнью, ужасной потому, что — перевернем понятия — у меня бывали приступы просветления, я был болен два года тому назад, в самую счастливую, со стороны фактов, эпоху моей жизни: брак по любви, смешные и хорошие дети — и золото, много золота в виде бледных желтых монет, — наследство брата, разбогатевшего чайной торговлей. II

Я потерял в памяти начало болезни. Я никогда не мог впоследствии, не могу и теперь восстановить то крайне медлительное наплывание возбужденного самочувствия, в котором постепенно, но ярко меняется оценка впечатления, производимого собой на других. Приличным случаю примером может здесь служить опрокинутость музыкального впечатления, вызываемого избитым мотивом. Нормальный порядок дает вначале сильное удовольствие, понижающееся по мере того, как этот мотив, в повторении оставаясь одним и тем же, заучивается детально до такой степени, что даже беглое воспоминание о нем отбивает всякую охоту повторить его голосом или свистом.

Такая избитость мотива делает его надоедливым и пустым. Теперь — если представить шкалу этого привыкания в обратном порядке — получится нечто похожее на шествие от себя, как от обыкновенного человека, к восхищению собой, — во всех смыслах, — к фантастическому, счастливому упоенью.

Я не могу точно рассказать всего. Меня это волнует. Я как бы вижу себя перед зеркалом в вычурно горделивой позе, с надменным лицом и грозно пляшущими бровями. Но — главное, главное необходимо мне рассказать потому, что в процессе писания я, обнажив это главное от множества перемешанных с ним здоровых моментов, ставлю между ним и собой то решительное расстояние зрителя, когда он знает, что не является частью мрачного и унылого пейзажа.

Отменно хорошее настроение, упорная мысль о чем-либо, поразившем внимание, и особенный род ликующей нервности служили для меня точными признаками надвигающегося безумия. Однако способность к самонаблюдению, неуловимо исчезая, скоро уступала место демону Черного Величия. В период протрезвления я вспоминал все. Отчаяние ума, свирепствующего в бессильной тоске анализа, подобного цифрам бухгалтерской книги, рассказывающей крах предприятия, отчаяние хозяина, видящего, как пожар уничтожает его дом и уют, — вот пытка, которую я переносил три с половиной года.

Демон овладевал мною с помощью следующих ухищрений.

Первое: мир прекрасен. Все на своем месте; все божественно стройно и многозначительно в некоем таинственном смысле, который виден мне тридцать шестым зрением, но не укладывается в слова.

Второе: я всех умнее, хитрее, любопытнее, красивее и сильнее.

Третье: впечатление, производимое мною, незабываемо глубоко, я очаровываю и покоряю. Каждый мой жест, самый незначительный взгляд, даже мое дыхание держат присутствующих в волшебном тумане влюбленного восхищения; их глаза не могут оторваться от моего лица; они уничтожаются и растворяются в моей личности; они для меня — ничто, а я для них — все.

Четвертое: я — владыка, император неизвестной страны, пророк или страшный тиран. Мне угрожают бесчисленные опасности; меня стерегут убийцы; я живу в дворцах сказочной красоты и пользуюсь потайными ходами. Меня любят все красавицы мира.

Пятое: мне поставлен памятник, и памятник этот — я, и я — этот памятник. Чувство жизни не позволяет мне оставаться подвижным на пьедестале, а чувство каменной статуйности заставляет ходить. III

Теперь, полностью восстановляя канат и все, что с ним связано, я опишу события на фоне припадка болезни, временами взглядывая на себя со стороны. Это необходимо.

Я шел по набережной. Стоял кроткий апрельский день. Белые балконы, желтые плиты тротуара и голубая река с перекинутыми вдали отчетливыми мостами казались мне, в торжественной строгости моего отношения ко всему этому блеску жизни, робкой лестью побежденных неукротимому победителю. Мое предназначение — спасти мир; мои слова и добродетель Великого Пророка стоят неизмеримо выше соблазнов несовершенного человеческого зрения, так как второе, пророческое мое зрение видело “вещи в себе” — потрясающую тайну вселенной.

Я родился в Сирии три тысячи лет тому назад; я бессмертен и всеобъемлющ; не умирал и не умру; мое имя — Амивелех; мое откровение — благостное злодейство; я обладаю способностью превращений и летаю, если того требуют обстоятельства.

Я захотел есть и вошел в кафе.

Низенькое длинное помещение это было отмечено посредине узкой, прилегающей бордюром к стенам и потолку аркой. Я принял ее за зеркало благодаря странному совпадению. Столик, за которым я сидел лицом к арке, одинаковый с другими столиками, помещался геометрически точно против столика, стоявшего за аркой. У того столика, на равном моему расстоянии от бордюра, так же уперев руки в лицо, сидел второй я. Беглый взгляд, каким я обменялся с воображаемым благодаря всему этому зеркалом, вскоре отразил, надо думать, сильнейшее мое изумление, так как мое предполагаемое отражение встало. Тогда я заметил то, чего не замечал раньше: что этот неизвестный — чудовищно похожий на меня человек — одет различно со мной. Иллюзия зеркала исчезла.

Он встал, перешел, внимательно присматриваясь ко мне, узкое, почти лишенное посетителей зало и сел у окна вне поля моего зрения, так что, желая взглядывать на него, я должен был отрываться от еды и поворачивать голову. Я взволнованно ждал. Я знал, кто это с моим взглядом и моими щеками. Это был он, князь мира сего, вечный и ненавистный враг.

Я съел то, что подал издали наблюдавший за моими движениями слуга с чрезвычайно глупым и напряженным лицом, затем решительно повернулся к нему. Я хотел немедленной схватки, борьбы чудесных влияний и торжества Духа.

— Ты — трус! — громко сказал я, стукнув кулаком по столу.

В продолжение всего нашего разговора, начатого так шумно, но оконченного вполголоса, — так как речь шла о полубожеских силах, — в углах залы и за стойкой происходили отвратительные кривляния. Люди шептались, подмигивали друг другу, показывали на нас пальцами и кивали. Зная, что они помешаны, я не обращал на этих жалких отродий особенного внимания. Вся сила моего волнения сосредоточилась на нем. Я повторил:

— Ты — трус!

Он молчал, загадочно улыбаясь, как бы думая обмануть меня относительно истины своего существа, затем встал и пересел за мой столик. Держался он очень скромно; его поза,

движения, улыбка и взгляды говорили о могучем притворстве. Я видел его крайне внимательные зрачки и читал в них: казалось, их черный блеск блистал рыжим огнем ада. Однако вся моя пророческая проницательность спасовала перед западней мстительного плана, изобретенного этим Двуличным.

— До удивления, — начал он, — до крайнего удивления похожи мы с вами, сударь. Смею спросить, кто вы и ваше имя?

Мгновение я колебался: сорвать с него маску или притвориться наивным? Подумав, я решил быть самим собой, относительно же него держаться доверчиво, дабы показать врагу все презрение, какое я мог обнаружить таким явно издевательским способом.

Я сказал:

— До крайнего, крайнего удивления. Мое имя — Амивелех. Вы, конечно, не знаете этого. Откуда вы можете иметь, в самом деле, какие-либо сведения обо мне? Наша страна пустынна, это — страна вздохов, и я послан Пророком Пророков ради страшного труда спасительного злодейства. А вы?

— Я — Марч. Канатоходец Марч.

Он говорил, конечно, подобострастно, но в слове “Марч” слышалась профессиональная гордость. Меня сильно забавляло все это. Дьявол на земле должен иметь профессию! Доверия к профессионалу у людей значительно больше, чем к тем, кто на вопрос о себе невразумительно отвечают: “Я… собственно… знаете…” — и тому подобное.

— Итак?

— Совершенно верно. Я зарабатываю хлеб очень трудным искусством.

— Знаю, — сказал я. — Вы появляетесь над толпой в шелковом раззолоченном костюме. В руках у вас шест. Вы бегаете взад и вперед по туго натянутой проволоке, приседаете и приплясываете с похвальной целью доказать зрителю, что это не так легко, как кажется.

— Совершенно верно, господин Амивелех. Я здорово устаю. Когда я был помоложе, мне легко давались такие вещи, как переход Ниагары или подскакивание на одной ноге. А теперь не то. Жаль, что вы, глубокоуважаемый Амивелех, имеете о нашем ремесле туманное представление. Оно очень нелегкое и опасное. Вы, например… хо-хо! Я говорю, что если бы вы… попробовали… Даже вообразить это нельзя без ужаса. Нет, нет, у меня очень мягкое сердце. Одна мысль о том, что вам, например, пришло в голову… У меня даже голова закружилась… Тьфу! Какие иногда бывают смешные мысли!

— Марч! — внушительно сказал я. — Я вижу, как извивается и трепещет твоя душа. Спрячь ее!

— Вот так штука! — захохотал он. — Задали же вы мне задачу! Да разве от вас спрячешь что-нибудь? Вы людей насквозь видите!

— А! Ты дрожишь?!

— Дрожу, весь дрожу, господин Амивелех. Дело в том, что у меня, знаете, есть воображение. Воображение — это мое несчастье. Оно меня мучает, господин Амивелех, особенно в те минуты, когда ходишь по проволоке. Ты идешь, а оно тебе говорит: “Марч, твоя левая нога поскользнулась”… И мне нужно крепко стоять этой ногой. Она утомляется, вздрагивает. Опять голос: “Марч, ты теряешь равновесие… наклонился… падаешь… вот твое тело у земли — три фута, фут, дюйм… удар!” Становится очень холодно, господин Амивелех, пот бежит по лицу, шест тяжелеет, канат стремится выскользнуть из-под ног. Я на уровне циферблата

соборных часов — раз было так — и я вижу, что стрелки больше не двигаются. Мне нужно еще полчаса увеселять публику. Но стрелки не двигаются… Ах! Вот вам воображение, господин Амивелех, ну его к черту!

— Так далеко? — спросил я. — Конечно, ты шутишь, опасливый Марч. Но я, я могу помочь твоей беде. Повелеваю: расстанься с воображением!

— Готово! — воскликнул он, подняв с выражением необычайного изумления свои, такие же, как мои, черные глаза к потолку. — Ага! Вот оно и улетело… воображение… дымчатый комочек такой. Чуть-чуть осталось его… совсем немного…

Его притворство становилось невыразимо отвратительным. Он потирал руки и вкрадчиво улыбался. Он обшаривал взглядом мое лицо и кривлялся, как продажная женщина.

— Сегодня, в три часа дня, — продолжал он, осторожно понизив голос, — я выступаю на площади Голубого Братства со своей обычной программой. Работая, я буду думать о вас, только о вас, дорогой учитель Амивелех. Я горжусь, что несколько похож на вас, — смел ли я быть совершенно похожим? — что судьба оказала мне великую честь, создав меня как бы в подражание великому вашему существу! О, я преклоняюсь перед вами! Ваша жизнь драгоценна! Одна мысль, что каким-то чудом вы могли бы оказаться на моем месте, не имея ни малейшего представления о том, как надо держаться на канате… что вы шатаетесь, падаете… какой ужас! Вот он, остаток воображения. Да сохранит вас бог! Пусть никогда нелепая мысль…

Я остановил его жестом, от которого содрогнулись в своих пыльных гробницах египетские цари. Он искушал меня. Он становился железною пятой своего черного духа на белое крыло моего призвания, и я принял вызов с царственной свободой цветка, безначально распространяющего аромат в жадном эфире.

— Марч! — тихо заговорил я. — На наш невиданный поединок смотрит погибающая вселенная. Так надо, и да будет так! Я, а не ты, я в три часа дня сегодня появлюсь на площади Голубого Братства и заменю тебя со всем искусством жалкой твоей профессии!

— Но…

— Ни слова. Ни сло-ва, Марч!

— Я…

— Молчи! Тише!

— Вы…

— Слушай, не думаешь ли ты, что тайна великой борьбы священна? Умолкни! Когда говорит Амивелех, молчат даже амфибии. Мы отправляемся!

Наступило молчание. За прилавком кафе сидели три кобольда — свита ненавистного Марча. Я слышал, как гремит в его душе подлая, трескучая радость. Что касается меня, то я переживал нечто подобное величавому грому — предчувствие пышного торжества. Я знал, что уничтожу черного двойника. Я уже видел его полный отчаяния полет в бездну, откуда он появился.

Мы молча смотрели друг ни друга. Нас соединял жуткий ток взаимного понимания. Затем Марч, таинственно подмигнув мне, встал и вышел. Я, не торопясь, последовал за ним. IV

Когда я очнулся от продолжительного раздумья, в течение которого совершенно не замечал и не мог заметить, что говорю и делаю и что говорил Марч, я увидел, что стою в просторной

полотняной палатке у стола, на котором лежал расшитый золотом бархатный костюм Марча. Полуприподнятая занавеска входа позволяла видеть часть площади, черную от массы людей. Неясный, хлопотливый шум проникал в палатку. Я видел еще нижнюю часть столбов, между которыми была протянута проволока; дальний столб казался не толще карандаша, а ближний, почти у самой палатки, толщиной с хорошую мачту. Лестница, приставленная к нему, отбрасывала на столб тень; между лестницей и столбом, среди булыжников, искрилась трава. Помню, меня как бы толкнула эта простота обыкновеннейшего явления: трава, камни. Не более как на момент я содрогнулся от сильнейшей тоски. Не будь со мной Марча, я, может быть, оказался бы в начале реакции, перелома. Я вспомнил о нем, как о дьяволе, и внутренний, неизъяснимый удар безумия тотчас же вернул меня в круг ложного озарения.

Замысел Марча, как искусителя, был ясен до очевидности. Зная, что я бессмертен, хитрец этот надеялся, — о, жалкий! — увидеть мое унижение, когда, по злобным его расчетам, я, силой его заклинаний, грохнусь с высоты пятиэтажного дома. Нимало не сомневался я, что именно этим вознамерился вечный мой враг стяжать лавры победителя. Я знал, однако, что не только по проволоке, а по морской буре могу пройтись с легкостью водяной блохи, не замочив ноги. Поэтому, сгорая от нетерпения скорее поразить демона своей властью над послушной материей, я, оглянувшись на Марча с гримасой, надо полагать, не совсем вежливой, стал раздеваться так порывисто, что оборвал несколько пуговиц.

Разумеется, я вел себя, как заправский канатоходец. Хотя Марч помогал мне одеваться, я чувствовал, что мог бы отлично справиться без него. На мне появилось трико телесного цвета, короткие штаны голубого бархата с таким обилием позументов, что я напоминал сказочную жар-птицу, и плюшевая зеленая шляпа с белым пером.

Как только Марч пытался подать мне совет касательно баланса или чего другого, я мигом осаживал его, говоря, что все эти указания бесполезны даже попугаю на жердочке, не только мне, поющему хвалу Духу. Я взглянул в зеркало и подбоченился. Затем я стал дрыгать поочередно ногами, любуясь их формами и упругостью. Послав иронический воздушный поцелуй Марчу, смотревшему на меня, — притворно, конечно, — с беспредельным обожанием, я, подняв голову, вышел из палатки и огляделся.

Ха! Гул и рев! Толпа побелела от поднятых для рукоплесканий рук. Здравствуйте, компрачикосы! Я кивнул и стал взбираться по лестнице.

С момента моего выхода меня охватил вдруг подмывающий, как стремительная волна, род нервной насыщенности, заполнившей все видимое пространство. Я как бы двигался в невесомой плотности, став частью среды, единородно слитой и напряженной в той же степени неуловимо быстрых вибраций, какие, — я потрясенно чувствовал это, — пронизывают меня с ног до головы вихренными касаниями. Я сделался легким, как в отчетливом сне, когда отсутствуют ощущения тяжести и мускульных усилий. Мне было ясно, что я лишь делаю вид, будто подымаюсь, пользуясь, с соответственными тому движениями, перекладинами лестницы. Мной двигало желание двигаться. Я не испытывал, не замечал усилий. Я мог, в том же или ином любом темпе, совершить лестничное путешествие на луну, дыша по окончании его ни чаще, ни медленнее. Только исключительной остротой безумия могу я объяснить такое состояние и то, что произошло дальше.

Подымаясь в подымающемся вместе со мной, застрявшем в ушах обширном гуле толпы, рассматривая ее овал, охвативший линию натянутой между столбов проволоки, я на теплом ветре между небом и землей был соединен с зрителями именно той нервной насыщенностью пространства, о которой упомянул выше. Я не могу объяснить, как я воспринимал токи, подобные электрическим, которые, безостановочно вступая в меня волнистыми усилениями, составляли как бы нечто среднее между настроением, выраженным словами, и яркой догадкой, подтвержденной обострением интуиции.

Эти колебания токов, относимые мною тогда за счет пророческого прозрения, я покажу наиудобнее простыми словами, ставя в вину несовершенству человеческого языка вообще то странное обстоятельство, что мы осуждены читать в собственной душе между строк на невероятно фантастическом диалекте.

Я воспринимаю следующее:

Он вышел из палатки.

Он приближается к лестнице.

Он лезет по лестнице.

Он продолжает ловко взбираться по лестнице.

Скоро он перейдет на проволоку.

Неизменным, основным тоном этих поступлений была уверенность, — серьезная, непоколебимая уверенность в том, что я, Марч, искусный канатоходец, покинул палатку и делаю совершенно безошибочно все нужное для того, чтобы произвести ряд опытов напряженного равновесия. Я был патентованным сумасшедшим, но не настолько, чтобы в этом исключительном положении не отмечать некоторою, таившеюся захирело и глухо, здоровою частью души своеобразного действия, производимого всплывающим извне массовым тоном уверенности. Представьте человека, связанного по рукам и ногам, в полном неведении относительно срока освобождения, представьте затем, что веревки, стянувшие его тело, чудесно ослабевают в сюрпризной, очаровательно доброй постепенности; что обнадеженный человек, пробуя двигать членами, двигается действительно, встает, ходит, подпрыгивает, и вы получите некоторое приближение к истине моих ощущений, с той разницей, что я нимало не сомневался в родстве своем со всем чудесным и исключительным.

Взобравшись наверх, я уселся в приделанное к концу бревна деревянное кресло, а ноги опустил на толстую блестящую проволоку, тянувшуюся от моих ступней вогнутой воздушной чертой к далекому противоположному столбу с маленьким на нем цветным флагом. Второй флаг, сзади, над моей головой, шелестел под ветром, иногда касаясь лица, и это — близость предмета, с которым вообще соединено понятие высоты, предмета, употребленного согласно своему назначению, — более, чем доказательства глаз, дало мне то острое ощущение высоты, которое одновременно гипнотизирует, туманит и возбуждает, подобно ожиданию выстрела. Я сидел под небом, над охваченной глазами толпой, а предо мной на специальной рогатке лежал поперек каната длинный тяжелый шест, служащий необходимым балансом.

Послав зрителям воздушный поцелуй, я услышал рев и рукоплескания. О, если бы они знали, кто я! Впрочем, я собирался немного погодя сойти к ним с проволоки по воздуху. Все вопросы должно было решить это чудесное схождение небесного ставленника. Я решил дать великое откровение.

Радостно засмеявшись, так как очевидность моего торжества была полной, я встал, взял шест (я должен был до времени быть во всем Марчем) и, отделившись таким образом от последнего прочного основания, ступил на зыбкую проволоку. Не долее как секунду я стоял совершенно неподвижно над пустотой, с чувством немоты мысли и остолбенения; затем двинулся и пошел. V

Да, я пошел, и пошел не с большим затруднением, чем то, с каким, расставив руки, способен пройти по ровному толстому бревну всякий человек, вообще способный ходить. Оркестр заиграл марш. Я ставил ноги в такт музыке, колебля шест более для своего развлечения, чем по необходимости, так как, повторяю, после первого впечатления внезапности пустоты я

оказался вне губительной нормы. Нормально я должен был оцепенеть, потерять самообладание, зашататься, с отчаянием полететь вниз, не попытавшись, быть может, даже ухватиться за проволоку. Вне нормы я оказался, — необъяснимо и, главное, самоуверенно, — стойким, без тени головокружения и тревоги. Я продолжал быть в фокусе напряженных токов, излучаемых огромной толпой; их незримое действие равнялось физическому. Я двигался в совершенно поглощающем мое телесное сознание незримом хоре уверенности, знания того, что я, Марч, двигаюсь и буду двигаться по канату, не падая, до тех пор, пока мне этого хочется.

Разумеется, в те минуты я не был занят подробным анализом ощущений. Я восстановил и определил их впоследствии. Я думал главным образом о посрамлении Марча, о тех муках, какие должен испытывать он теперь, видя, что его расчеты на мою гибель рассыпались в прах, и о том, что блаженство духовной власти в соединении с маршем “Славные ребята”, — предел восторга, выносимого человеком.

При каждом шаге ноги мои, согласно закону тяжести, находились в вершине тупого угла, образуемого проволокой. Она колебалась, отвечая давлению ноги многократным, разливающимся по всей ее длине гибким волнением; я шел как бы по глубокому сену. Постепенно, когда я начал приближаться к середине пути, раскачивания проволоки делались сильнее и глубже. Это, при почти полной атрофии физического сознания, при машинальности движений моих, производило на меня страннейшее впечатление. Мне казалось, что между мной и проволокой нет никакой связи, кроме обманчивого подобия взаимной зависимости, что канат, таинственным образом подражает — следует моим движениям, и я, если бы захотел, мог бы успешно шествовать над ним, заставляя проволоку так же колебаться и оттягиваться вниз, как следуя по ее линии.

Я только что собрался произвести этот опыт — опыт окончательного презрения ко всяким точкам опоры, как быстро, но незаметно для себя вынужден был перейти к созерцанию новых, весьма значительных и конкретных прозрений — результату сложности, возникшей в первоначальном однородном тяготении токов. Я мог бы даже сказать, откуда, из какой части толпы шли тяги знаменуемости оригинальной. Остальные видоизменения токов, словесная душа их, воспринимались мной на протяжении всего кольца зрителей; иногда лишь незначительные, дрожащие колебания давали в этой среде сгустки подобно скрещиванию лучей рефлекторов.

Первоначально стало навеиваться в меня нечто хмыкающее, ровное, как барабанная трель, что, обострив внимание, я безотчетно стал переводить так: “Это акробат Марч, Марч, чувствующий себя на канате, как дома. Вот мы на него смотрим. Акробаты, говорят (мы говорим, все говорят), показывают иногда чудеса ловкости. Острое восхищение — увидеть чудеса ловкости! Однако этот Марч, видимо, не из тех. Он идет по канату; просто идет. А что же дальше? Нам мало этого. Пусть он станет на голову и завертится волчком. Разве это так трудно — идти по канату? Я не пробовал идти по канату. Я, может быть, попробую. Да. Вдруг это совсем пустяковое дело? Наверное, это не совсем замысловатое дело. Вот он идет; просто идет и держит в руках шест высоко над землей. Он идет, а мы смотрим (скучно!), как он идет, как будет идти”.

Этот чужой идиотизм заставил меня насторожиться. Я охлаждался, начал охлаждаться, как кипяток, когда в него суют ложку, уменьшает бурление. Я осмотрелся. Я был наравне с крышами. Преглупый вид у крыш! Их выпяченные слуховые окна зевали, как беззубые рты. Внизу весело носилась лохматая собачка, взад-вперед, взад-вперед! У меня тоже был фоксик, я о нем вспомнил теперь и удивился. Зачем, собственно, фоксик Амивелеху? Я — кто же такой? Я — Амивелех, да…

Неожиданно в противное густое хмыканье врезался развеселивший меня тонкий вздох радости:

— Весьма приятно, и мы благодарны. Ходите на здоровье! Хорошо видеть ловких людей!

Я не успевал думать. Я был прикован к хору своей души, где смешивались все тяги и перекликались волеизъявления. Это начинало мне мешать двигаться; я подходил к другому столбу, но, находясь от него не далее как в двадцати футах, остановился. Я чувствовал себя мошкой, попавшей в чей-то большой, неподвижно смотрящий глаз, на самое пламя зрения, в то время как должен был держать сам в себе все видимое и невидимое. Я решил немедленно сойти по воздуху к зрителям, сбросив жалкую личину канатоходца. Марч не мог быть в претензии на меня, так как, по моему мнению, я достаточно доказал ему всю невозможность дальнейшей борьбы. Движение по воздуху, надо полагать, окончательно уничтожило бы бессмысленного противника.

Размышляя об этом, я в то же время обратил внимание на суматоху, поднявшуюся слева от меня, сзади толпы. Там бесновалась кучка людей, в средине которой, схваченный за ворот, извивался человек в котелке. Раздавались крики: “Мошенник! Вор! Я тебе покажу! Полицию!” — и т. п. По-видимому, поймали карманника. Потому ли, что это банальное приключение вызвало ряд мыслей практического характера, закрепленных чьим-то пронзительным визгом, или нервная система, перегруженная безумием до отказа, напряженно ждала малейшего движения, чтобы, прорвав плен, излить яд, — только я почувствовал, что внутренние мои движения, их сверкающий вихрь внезапно остановились. Сознание прояснилось. Туча ассоциаций, сопровождающих понятие воровства, во всей их плотно земной зависимости, включительно до размышлений о пользе исправительных тюрем, мгновенно оседлав мозг, разодралась с великими тайнами Амивелеха, прозаически погасила их, и я, продолжая стоять на проволоке с шестом в усталых руках, проникся, несмотря на жару, терпким ознобом. Я потрясенно возвратился к действительности. Видения, жалостно побледнев, взвились подобно волшебному пейзажу театрального занавеса, и за ними сам себе предстал я — лунатик, разбуженный на карнизе крыши, я — чиновник торговой палаты Вениамин Фосс, над грозно ожидающей пустотой, в костюме канатоходца, с головокружением и отчаянием.

Давно уже настойчивый холод (понятия времени, разумеется, здесь очень условны) отвратительного желания, разлитого в толпе, осенял меня убийственными посылами. Теперь усилилось людское тяготение. Меня попросту желали видеть убитым. Началось это глухо и спрятанно, как чирканье спички поджигателя, опасающегося произвести шум. Желающие не хотели желать. Они рассматривали свои черные мысли, как неответственную игру ума. Однако хотение это было сильнее принципов гуманности. Раздвигая корни, оно укреплялось в податливом состоянии душ с неуклонностью вожделения. Его зараза действовала взаимно среди всех, объединенных раздражающей зрительной точкой — мной, могущим потерять равновесие. Я читал:

— “Почему ты не падаешь? Мы все очень хотим этого. Мы, в сущности, явились сюда затем, чтобы посмотреть, не упадешь ли ты с каната случайно. Все мы можем упасть с каната, но ты не падаешь, а нужно, чтобы упал ты. Ты становишься против всех. Мы хотим тебя на земле, в крови, без дыхания. Надо бы тебе зашататься, перевернуться и грохнуться. Мы будем стоять и смотреть — надеяться. Мы желаем волнения, вызванного твоим падением. Если ты победишь наше желание тем, что не упадешь, мы будем думать, что, может быть, когда-нибудь, кто-то все-таки упадет при нас. Падай! Падай! Падай! Ну же… ну!.. Падай, а не ходи! Падай!”

Я смутно, с ужасом воспринимал это. Я действительно шатался. Шест бешено прыгал в моих руках. Каждое, казалось бы, целесообразное усилие вызывало неописуемое волнение проволоки. Спина и ноги готовы были сломаться от напряжения. Площадь, заполненная народом, кружилась и опрокидывалась: на нее стремглав падало небо. Солнце пылало у моего лица.

— Спасите! Спасите! — закричал я.

Дальнейшее не во всем подвластно памяти. Я выпустил шест, мгновенно черкнувший воздух; затем, согнувшись, ухватился руками за канат и повис, содрогаясь от потрясения. Канат вследствие сильного толчка бешено раскачался! Проволока резала руки. С воплями, в отчаянии бессмысленной смерти, сопротивляясь падению, я наконец испытал нечто напоминающее насильственное, грубое разжатие пальцев. Это было очень болезненно. Я выпустил канат с ощущением стремительного полета вверх, и сознание мое смолкло.

Я упал в сетку. Помощники Марча успели, подбежав как раз вовремя, растянуть ее подо мной. Суматоха, поднявшаяся после этого несчастного случая, доставила мне множество неприятностей. Марч скрылся. Два дня я доказывал следствию и корреспондентам, что, будучи Фоссом, никак не могу быть Марчем. Самоличность моя, подтвержденная второстепенными физическими различиями и показаниями моей семьи, установила, однако, что я, даже на пристальный взгляд, несомненно разительно схож с Марчем, не исключая голоса и еще кое-чего, заметного при движении.

Я объяснил приключение капризом, похмельной фантазией; хождение объяснил гимнастикой юности… Так ли это? Этот вопрос, может быть, мысленно задавали многие, знающие меня. Но кто им ответит? Я спрятал правду в момент своей болезни, навсегда оставившей меня после каната. Я не испытывал даже легчайших приступов. Идея величия безвозвратно померкла. Я слышу: “Падай!” — всякий раз, когда при мне произносят сколько-нибудь заметное, отрешившееся в особую жизнь имя. Между тем я очень люблю людей. Их неудержимо страстное отношение к чужой судьбе заставляет внимать различного рода рукоплесканиям с пристальностью запоздавшего путника, придерживающего пальцем спуск револьвера. Кислота, а не помада заставляет блестеть железо. Вот, это бы железо…

Поиски Марча привели к полному разъяснению его авантюры. Его жизнь была застрахована крупной суммой — значительным состоянием, а ряд шантажей, жертвами которых являлись богатые истеричные дамы, заставлял думать о безопасности. Раскалив податливого безумца, так заметно похожего на него. Марч после неминуемой, по его расчетам, моей смерти — при первых же шагах по проволоке — получал через жену страховую премию, а через гроб “Фосса-Марча” — загробную жизнь под любым именем.

Мне кажется, мое толкование вполне правильно. Я с благодарностью вспоминаю этого человека. Я каждый день пью за его здоровье. Это мой избавитель. Его портрет вы можете видеть в “Вестнике цирковых деятелей” за 1913 год. В нем нет ничего дьявольского.

Рене

I

Ворота закрылись.

Новичок, переходивший двор, бережно охранялся. Его окружал взвод солдат; привратник не выпускал револьвера из руки все время, пока опасный преступник находился в поле его зрения.

Шамполион презрительно улыбнулся. Провинциальная тюрьма с ее старомодными ключами, живописной плесенью стен и окнами, напоминавшими бойницы, смешила человека, ускользавшего из гигантских международных ловушек Парижа, Лондона и Нью-Йорка, — образцовых тюрем, равных чистотой госпиталю и безвыходностью — могиле. Он попался случайно, не сомневаясь, что убежит при первом удобном случае.

Справа от ворот, примыкая к наружной стене тюрьмы, стоял дом смотрителя; часть его окон, заделанных, подобно тюремным, решетками, выходила на двор. Смотритель, взволнованный гораздо более Шамполиона ответственным и немаловажным событием, сидел за письменным столом мрачной конторы острога, готовясь с достоинством встретить легендарного гостя, а у окна квартиры стояла Рене, дочь смотрителя. Она видела, как Шамполион быстро повернул голову, скользнув взглядом по закоулкам двора, — привычка хищника, везде ожидающего засады или лазейки. Не долее как на секунду взгляд Рене встретился с взглядом Шамполиона. Он заметил молодые глаза и неясное за тенью плюща лицо.

Но ей он был виден весь. Его лицо, чувственное и тонкое, с высокомерными холодными глазами, неподвижно блестящими под высокой чертой бровей, дышало жизнью огромного, неуследимого напряжения, подобно обманной неподвижности электрического вала динамо, вихренное вращение которого немыслимо поймать зрением. Шамполион скрылся под аркой, но Рене долго еще казалось, что его глаза блестят в пространстве, где встретились их взгляды.

В этот день отец с дочерью обедали позднее обыкновенного. Старик Масперо захлопотался внутри тюрьмы, осматривая предназначенную преступнику камеру, пробуя ключи и замки, выстукивая решетки и отдавая множество приказаний, изолирующих Шамполиона от застенного мира. Венцом принятых мер было распоряжение сопровождать арестованного конвоем из четырех человек при всяком оставлении камеры. Впрочем, Масперо надеялся ускорить перевод Шамполиона в центральную тюрьму, сбыв таким образом с плеч тяжесть ответственности. Встревоженный, несмотря на все предохранительные мероприятия, событием столь исключительным, Масперо вошел наконец один к узнику с полуофициальной улыбкой, заискивая у того, кто благодаря фактам и репутации был хозяином положения.

— С вами будут хорошо обращаться, — пробормотал он, — но и вы должны обещать мне не бежать отсюда. Бегите из другой тюрьмы, — откуда хотите. Уважьте старика! Меня могут прогнать. Я и дочь останемся без куска хлеба.

— Хорошо, — сказал Шамполион и расхохотался.

Он небрежно развалился на койке, упираясь в нее локтем, в его позе было уже нечто свободное, разрушающее тюрьму. Масперо вышел со стесненным сердцем.

За обедом старик рассказал дочери подробности ареста Шамполиона. Облава завела преступника на ярмарочную площадь, где в это время известный канатоходец Данио собирался перейти по канату реку, неся за плечами любого желающего. Шамполион, замешавшись в толпу, окружавшую акробата, выразил согласие быть пассажиром Данио так быстро и решительно, что сыщики, только расспросив присутствующих, догадались, кто это такой, недосягаемый для них, движется по канату за плечами канатоходца, почти достигнув противоположного берега. Ширина реки отнимала надежду опередить смельчака, взяв лодку, и Шамполион скрылся бы, не приключись с Данио непредвиденного несчастия: пряжка ремней, державших Шамполиона, погнулась, скользнув вниз, и пассажир нарушил общее равновесие. Оба упали в воду. Искусный пловец, Данио спас себя и Шамполиона, но последний, оглушенный падением, потерял сознание. Его взяли.

Рене мало ела, внимательно слушала, и глаза ее блестели, как у детей в театре. Она сказала:

— Удивительно, что такой человек — преступник.

— И прибавь — безжалостный, — заметил отец.

“Таких может изменить только любовь”, — подумала девушка. Шамполион поразил ее

воображение; его жизнь, способности и присутствие не далее сорока футов от обеденного стола казались ей чудом яркой могущественности среди мелкой вынужденной планомерности повседневной жизни. Он давил тюрьму, сознание и занимал мысль. Рене читала о нем в газетах судебные и хроникерские заметки, — настоящие таинственные романы: наружность Шамполиона вполне отвечала ее представлению о нем.

Остаток дня и вечер прошли всецело под впечатлением этого имени. Приезжали прокуроры, судьи, адвокаты, командир гарнизона и просто любопытные официального мира. Масперо водил их смотреть арестанта сквозь секретное отверстие двери. Множество рассказов выслушала Рене. Шамполион был сыном высокопоставленного лица и цирковой наездницы. Он получил блестящее образование, говорил на всех европейских языках, был заядлым спортсменом. Все его предприятия были осуществляемы, психологически и технически, с точностью математических формул. Он был изобретателен и бесстрашен. За ним числилось множество похищений, шантажей, потрясенных банков, три изумленных миллиардера (говорим: “изумленных”, так как охранение собственности американских владык идеально) и шесть убийств, совершенных в силу преступной необходимости, чего не отрицали и власти. Он не жалел денег. Сподвижники и женщины боготворили его.

Камера, отведенная ему, была в нижнем этаже, против ворот. Ее окна приходились в уровень с плитами двора. Встав ночью, Рене видела, как тускло освещенное изнутри окно это маячит ритмически ударяющей по решетке тенью — Шамполион ходил там, думая о своем. Под утро Рене видела сон, полный страхов, тоски, слез и изнеможения. II

Рене родилась и выросла в тюрьме. Роды убили мать; девочка росла у отца. Ее домашнее образование было делом двух арестантов, из которых один, бывший учитель, провел в тюрьме четыре года; второй, осужденный на более короткий срок, давал Рене уроки на пятнадцатом и шестнадцатом году ее жизни. Это был поэт, погубивший свою будущность убийством любовника жены. Он великолепно знал историю, его воображение, соответственно своему несчастию, любовно рылось в тюремных исторических эпизодах: Латюд, Железная Маска, Бенвенуто Челлини и другие были постоянным предметом его бесед. Рене от рождения слышала звон цепей, скрип тюремных запоров; видела унылые, безнадежные взгляды конвоиров и узников. Постоянные разговоры отца и его гостей о жизни тюрьмы, суде, бегствах и наказаниях, в связи с упорной мечтательностью, приучили ее представлять жизнь общим жестоким пленом, разрушить который дано только героям. Характер ее был замкнутый и печальный. Привычка к чтению, к красивой идеализованности изображаемой жизни создавала в ее душе вечный разлад с действительностью, мелочно хаотичной и скудной. Ее мечтой было яркое возрождение, взрыв чувств и событий, восстание во имя несознанного блаженства.

Шамполион властно занял пустое место ее сознания, место, где должен был гудеть колокол чувств, направленных к означенной цели. Она мало думала об его убийствах. Это были слишком заурядные факты во всем ансамбле необыкновенной биографии. Его преступный авантюризм слишком поражал внимание для того, чтобы укладываться в какие-либо позорящие определения. Однако Рене была умна и чиста душой. Она не думала, чтобы вполне сложившийся темперамент, наклонности и образ жизни могли отбросить себя. Но она верила, что все это, сохранив свою форму, может стать сущностью облагороженной. Она представляла гениальные способности Шамполиона действующими в том же духе авантюризма, видимо, органически свойственного ему, но, так сказать, действующего по другому поводу. Она видела его Рокамболем, освобождающим похищенных детей, восстанавливающим завещания, отыскивающим клады, отнимающим награбленное, наконец, убивающим чудовищ в человеческом образе, — словом, преступающим закон там, где последний бессилен, извращен или подкуплен. В таком роде деятельности сохранились все прежние приемы и методы, вся прелесть риска и напряжения, все напряжение сил. Шамполион становился провидением, переданным в человеческие руки, со всеми страстями, ошибками и увлечениями человека. Это было бы, так сказать, провидение, разменявшее свой

мистический аппарат на кинжал и отмычки.

Рене в это время исполнилось двадцать лет. Она была умеренно высока, того прекрасного телосложения, которое спокойно восхищает. Богатые пышностью и длиной, темные волосы ее были заплетены в одну косу, окружающую голову почти трижды. Белый, нежных и мягких очертаний высокий лоб отвечал общему серьезному выражению лица с ясными глазами, смотрящими свободно, но грустно. Страстная суровая складка рта бесподобно преображалась улыбкой, заразительно открытой и чистой.

Хотя Масперо с первого же дня усердно хлопотал о переводе Шамполиона в центральный острог, однако из-за некоторых формальностей арестант пробыл в С.-Ж. пять суток. III

Немыслимо провести границу там, где кончаются предчувствия и начинается подлинная любовь. Лучший пример этому — засыпание. Засыпающий еще здесь, на кровати, он сознает это, ощущая свое тело, постель, дыхание, но мысли его уже фантастически искажены, а тьма закрытых глаз полна непроизвольно возникающих сцен. Все спутано, отвлечено; сон и предсонная явь слиты в рассеянности сознания, и вот где-то, неуловимо мгновенно, гаснет некий тончайший луч. Полный сон поглощает дух; в новом мире причудливой жизнью фантасмагорий живет и действует человек.

На четвертый день Рене увидела Шамполиона гуляющим. Во всех концах двора стояли вооруженные часовые, наблюдая с угрюмым любопытством каждое движение узника. Из трусости его не заковали; он быстро ходил по диагонали двора, сосредоточенно куря папиросу. Рене стояла у окна, отдалясь в сторону, в тени плюща. Она хорошо рассмотрела его. Он двигался с легкостью ножа, рассекающего воздух, стремительно поворачиваясь на концах диагонали, подобно движению вспархивающей птицы. Холодный магнетический взгляд его, падая на стены, окно, за которым была Рене, и на лица часовых, казалось, оставлял везде невидимый след.

Сердце Рене глухо и сильно билось. Она боялась встретить глаза Шамполиона, но в то же время хотела этого. Солнце, выскользнув из-за крыши, озарило двор и глубину решетчатого окна. Тогда Шамполион увидел Рене. Ее прикованный прямой взгляд, слабая улыбка и нечто в выражении лица — некая счастливая растерянность — заставили его, вздрогнув от неожиданности, задержать шаг. Он был в трех шагах от окна, когда сказал, чувствуя, что не ошибется:

— Я вас, кажется видел вчера; лучше, если бы этого не было… для меня.

Ровный, немигающий взгляд его усилил значение слов, произнесенных так, что их слышала только Рене. Она вспыхнула, но не отошла от окна. Тревога и грусть овладели ею. Шамполион между тем, проходя мимо часового, сказал ему что-то такое, отчего солдат зычно захохотал. Рене запомнила это. Заставить расхохотаться самого жестокого и угрюмого из часовых — чего-нибудь стоило.

По многим расчетам, Шамполион предпочитал бежать из этой тюрьмы, чем с дороги или же в большом городе. После восьми прежних побегов он вправе был ожидать при перевозке далее исключительно строгих мер, делающих побег длительной китайской головоломкой, требующей риска и сложной, организованной помощи. Поэтому, подходя снова к окну, в надежде удостовериться, точно ли есть успех с этой стороны, он сказал с тою же расчетливостью тона и силы голоса:

— Как зовут вас?

— Рене.

— Рене, мне дадут “веселую вдову”?

— Нет, — сказала она почти невольно, одними губами, и отошла.

Шамполион понял. Рене прошла в столовую, обдернула скатерть, закрыла лежавшую на диване книгу, затем, открыв дверь отцовского кабинета, задумчиво подтянула гирю стенных часов и села, пытаясь сосредоточиться. Мысль об отце, ранее заботливая и ясная, была теперь жестка и упорна, устремлена в одну точку, полезную замыслу, таившемуся в тьме чувств, каждое движение которых гудело, как колокол. Она знала, что не отступит. Монотонное течение ее жизни подошло к концу и падало.

Вечером, перед тем как идти спать, она сказала отцу:

— Не могу представить, что было бы, удайся Шамполиону бежать.

— Очень просто, — поморщился Масперо. — Мне каждую ночь снится это. Меня прогонят, а ты пойдешь работать приказчицей или прачкой.

Рене промолчала. Слова отца тронули, но не взволновали ее, подобно жалобе безнадежно больного, которому все равно определена смерть. Внутренняя связь между нею и прошлым исчезла. Она чувствовала себя чужой, в чужом доме, с чужим, жалким и мешающим человеком. Слепая к прошлому, оглушенная любовью, она была беспомощна и сильна. Новый мир, созданный ею, давил, все разрушая.

— Тебе все-таки нужно присматривать самому.

— Да; эти ключи, — он хлопнул рукой по крышке письменного стола, — я никому не даю, даже помощнику. Они для ночных обходов.

— Дубликаты?

— Дубликаты, Рене. Моя ведомость просит тебя уйти, а то я спутаю цифры.

Рене разделась и легла, прислушиваясь. Масперо же работал до половины второго. Она слышала, как он насвистывает, что означало конец работы; затем Масперо поднялся наверх, в свою спальню. Рене продолжала тихо лежать, выжидая, когда тишина окончательно ободрит ее. Но тишина не нарушалась ничем; с кухни и с верха не доносилось ни малейшего шороха. Она встала в тоскливом напряжении риска.

Так как в кабинете было темно, то Рене хотела зажечь свечку, но, подумав, не решилась на это. Ключ от письменного стола Масперо клал в коробку с почтовой бумагой; так было и на этот раз. Она взяла его с страхом убийцы, заносящего нож.

Этот маленький ключ, казалось, вобрал всю силу тюрьмы, — так резко и тяжело чувствовала его рука. С этого момента до конца Рене не покидало некоторое представление об ужасе, какой следовало бы испытывать; однако ее личная опасность рассеивала настоящий ужас, и только его тень следовала за нею, пока длилась драма.

План Рене был вполне обдуман, прост и по-женски мудр, так как не выходил за пределы сложившихся обстоятельств.

Правое крыло тюрьмы соединялось коридором с флигелем Масперо: его железная дверь открывалась из кухни. Отсюда Рене намеревалась пройти в тюрьму.

Со связкой ключей в руках, с головой, покрытой платком, готовая на все, ощупью нашла она перо и бумагу и ощупью вывела прощальную строчку: “Папа, прости! Рене” — стояло невидимое.

— Прости… — прошептала она и внезапно заплакала, но внезапно и удержала слезы.

Служанка спала в сенях. Пройдя кухню, Рене остановилась перед дверью, вынужденная зажечь свечу, — без этого нельзя было рассмотреть ключ и скважину.

Дверь открылась. Здесь всегда стоял часовой. Увидев дочь начальника, он поднялся с табурета. Рене, изредка посещая тюрьму, никогда не приходила ночью, и поэтому часовой удивился. Его настороженный взгляд собрал все силы Рене. Она сказала:

— Отец не совсем здоров; я пришла вместо него. 23-й номер утром с конвоем переводится в Д., я хочу осмотреть камеру и арестованного — не приготовил ли он чего для побега.

— Едва ли; стерегут хорошо.

— Ну да, мы обещали принять все меры.

Небрежно позвякивая ключами, вошла она, спустясь по винтовой лестнице, в коридор нижнего этажа. Здесь было мрачно, как в склепе. Глухой красноватый свет ламп озарял симметрический ряд серых дверей в глубоких нишах.

Часовой, стоявший в дальнем конце, быстро пошел навстречу девушке. Она сказала ему то же, что и первому, и с тем же успехом. Солдат, нагнувшись, загремел ключами в замке 23-го номера.

— Теперь, — сказала Рене, — не отходите от дверей и входите тотчас, как я позову вас, в случае… чего.

Ноги ее подкашивались, но лицо оставалось сумрачно-деловым. Толкнув дверь, она, не торопясь, прикрыла ее и очутилась лицом к лицу с Шамполионом.

Как ни дорого было каждое мгновение, она не могла сразу поднять глаз. Подняв их, она более не смущалась. Любовь, стыд, волнение, тяжесть темного будущего, — все чувства окаменели в ней, кроме страстной пожирающей торопливости. Шамполион сумрачно смотрел на нее, ничем не выдавая ни радости, ни даже слегка насмешливого любопытства к дальнейшему. Он был одет.

— Встаньте за дверью, — шепнула Рене, — сзади; когда войдет часовой…

Все понимая, он бесшумно взял одеяло и встал в углу.

— Ах!.. Киваль… — негромко позвала Рене, — зайдите сюда!

Часовой быстро вошел, прикрыв дверью Шамполиона. Через секунду он уже задыхался, мотая закутанной одеялом головой. Шамполион повалил его, связав ноги шнурком револьвера, а руки простынею, и поднялся, тяжело дыша.

— Теперь идите… — она поморщилась, зная, что сцена борьбы повторится. — Пройдите по концу коридора до лестницы и быстро, без звука, быстро поднимитесь, когда я уроню ключи.

Она двинулась, а Шамполион, разорвав тюфяк, вытряс солому и с холстом в руках следовал на расстоянии за Рене. Девушка подошла к часовому у дверей кухни.

— Все благополучно, — она попыталась открыть замок, но не смогла, — что с замком? Попробуйте-ка вы, я не могу открыть.

Часовой, став спиной к лестнице, протянул руку за ключами и нагнулся поднять их, потому что Рене, передавая, уронила связку. Железный стук пролетел в коридоре.

Быстрее, чем этого ожидала, Рене увидела Шамполиона, сидящего на солдате, голова

которого путалась в холщовом комке. Рене помогла связать; затем, держа своей маленькой горячей рукой за руку Шамполиона, провела беглеца сквозь темные комнаты к парадной двери, выходившей непосредственно в пустой переулок. Здесь не было часового, — вечная ошибка предусмотрительности, охватывающей зрением горизонты, но не замечающей апельсинной корки под сапогом.

Они вышли. Шел дождь, порывами ударял ветер.

— Все кончено, — сказала Рене.

— Я никогда не забуду этого, — проговорил Шамполион. — Так… я свободен.

— И я.

— Мне нельзя медлить, — продолжал Шамполион, догадываясь, что хочет этим сказать Рене, но жестко, с хищностью противясь этому. Он брал свое, давя чужую судьбу, хотел быть один. — Я бегу, бегу поспешно к своим. А вы?

— Я? Разве…

В этот момент они рядом проходили глухой переулок. Шел дождь, порывисто хлестал ветер.

Она сжалась, и тень предчувствия тронула ее душу. Шамполион повторил:

— Я иду к своим, девушка. Слышите?

Все еще не понимая, она по инерции продолжала идти рядом с ним, задыхаясь и с трудом ускоряя шаг, так как Шамполион шел все быстрее, почти бежал. Тогда, уверенный, что это навязчивость, он резко остановился и обернулся.

— Ну! Что вам? — быстро и зло спросил он.

— Я…

Она замолчала. Он легко, коротким и равнодушным ударом толкнул ее в грудь, — просто, как отталкивают тугую дверь.

Рене упала. Когда она поднялась, в переулке никого не было. Шел все сильнее крупный осенний дождь. IV

Прошло два года.

В большой квартире улицы Падишаха сидел человек, искусно загримированный англичанином. Его собеседник, коренастый господин с толстым лицом, стоял у окна, смотря на улицу. Второй говорил, не оборачиваясь, пониженным голосом.

— Полосатый, вчерашний, — сказал он. — Наружность фланера. Покупает газету.

— Обычная история, — ответил другой. — Так началось с Тэсси. Кажется, теперь твоя очередь, Вест?

— Не твоя ли, Шамполион, дружище?

— Нет, это не в силах простого сыщика. Я вечно и оригинально двигаюсь.

— Да. Однако по какому кругу?

Шамполион вздрогнул. Вест остро подметил положение. Круг продолжал суживаться. Так

началось месяцев шесть назад. Опасность, как зараза, перебрасывалась с города на город; целые округи становились угрозой, все более уменьшая свободную территорию, в которой знаменитый преступник мог еще действовать, но и то с массой предосторожностей. Он терпел неудачи там, где проверенный расчет безошибочно обещал жатву. Дела срывались, пропадали важные письма, шесть второстепенных и двое первоклассных сообщников сидели в тюрьме. Шамполион боролся с новым невидимым врагом, чуждым, судя по справкам, ленивой и почти сплошь продажной государственной полиции. Она беспомощно топталась на месте, устремляясь иногда с громом на след собственных ног. Ему не раз приходилось подвергаться систематическому преследованию, но это было именно преследование, хождение следом за ним; теперь к нему шли часто навстречу, шли и за ним, и со стороны, — так что не раз только особая увертливость спасала его от топора “веселой вдовы”: злая и твердая рука ловила его. Огромные связи, какими располагал он, беспомощно молчали, бессильные выяснить инициативу организации; он же стремился, покинув круг, заставить облаву стукнуться лбами на пустом месте, но этого пока не удавалось привести в исполнение. Растягиваясь и еще сильнее сжимаясь вновь, круг не выпускал цели из своей гибкой черты.

— Следовало бы, — сказал Шамполион, пропуская замечания Веста, — дать этому фланеру путеводителя.

“Путеводитель”, то есть лицо, отводящее след на себя, вызвав чем-нибудь подозрение, употреблялся в неясных случаях для проверки, действительно ли установлено наблюдение и за кем именно; диверсия в пустоту.

— Да он ушел, — сказал Вест.

— Тем лучше.

Шамполион первый заметил фланера. Не случись этого, Вест был бы избавлен от подмигивания, означавшего приказ удалиться.

— Вест, я вернусь завтра. Если что случится, ты позвонишь.

— Ну, да.

Их разговор перешел в мрачную область хищений; затем Шамполион вышел.

Вест, заложив руки в карманы, качнулся на носках. Его неподвижное лицо, прекрасно удерживая в присутствии Шамполиона внутренний смех, тронулось по углам глаз ясной улыбкой. Он сел и крепко задумался.

Со всеми предосторожностями, отвечающими его привычкам и положению, Шамполион прибыл в другую квартиру. Дама, с которой он поздоровался, была красивым воплощением женственности в том его редком виде, который восхищает и трогает. Ее тихую красоту и обаяние, производимое ею, следовало назвать более утешением, чем восторгом, — глубоким сердечным отдыхом. Вместе с тем, не было в ней ничего неземного, никаких мистических, томно-болезненных теней; расцвет жизни сказывался во всем, от твердости рукопожатия до звучной простоты голоса.

Их познакомил месяца два назад скромный курорт — вынужденный отдых Шамполиона. Здесь, отсиживаясь ради безопасности, встретил он молодую вдову Полину Турнейль. Сближение имело началом серьезный разговор о жизни, начавшийся случайно, но приведший к тому, что элегантный цинизм Шамполиона, уступив глубокому впечатлению, произведенному молодой женщиной, прикинулся из уважения к ней шатким пессимистическим мировоззрением.

Из уважения, да. В жизни Шамполиона было много связей и женщин эпизодических, и он совершенно не уважал их. Его любили как живую сенсацию. К нему льнули подобострастно и трепетно, отдаваясь в добровольное рабство ради таинственной, зловещей тени, отбрасываемой опасным любовником. Любопытство и страх приковывали к нему. Во всех его прежних любовницах была некая крикливость духа, в разной, конечно, степени, но одинаково напоминающая цветок, украшенный нелепо торчащим бантом. Не веря в существование женщин иного склада, он случайно встретил живое противоречие и внутренне понял это.

Встречи их повторялись, он искал их и, сказав, наконец, “люблю”, почувствовал, что сказал наполовину правду. Она не знала, кто он. Ее “да”, как можно было подумать, выросло из одиночества, симпатии и благородного доверия, свойственного крупным натурам. Впоследствии он надел маску политического заговорщика, чтобы хотя этим объяснить сложную таинственность своей жизни, — роль выигрышная даже при дурном исполнении, чего не приходится сказать о Шамполионе. К тому же отважный скептик грандиознее самого пышного идеалиста. Он знал, что червонный валет даже крупнейшей марки не может быть героем Полины, и так привык к своей роли, что иногда мысленно продолжал лживый разговор в тоне и духе начатого.

Ее характер был открытым и ровным; ее образованность, естественно сливаясь с ее природным умом, не поражала неприятной нарочитостью козыряния; ее веселие не оскорбляло; ее печаль усиливала любовь; ее ласка была тепла и нежна, а страсть — чиста, как полураскрытые губы девочки. Она взяла и держала Шамполиона без всякого усилия, только тем, что жила на свете.

Шамполион стирал грим, сняв правую бакенбарду; левую тихонько потянула Полина, и бакенбарда отстала, при чем оттопырившаяся щека издала забавный глухой звук.

— Благодарю, — сказал он. — Три дня я не мог быть и тосковал о тебе.

Обняв женщину, он приник к ее лицу долгим поцелуем, возвращенным хотя короче, но не менее выразительно. Ее рука осталась лежать на его плече, затем сдвинулась, поправляя пластрон.

— Ты озабочен?

— Да. Меня ловят.

— Так надо подумать, — сказала она, вздрогнув и с серьезным лицом усаживаясь за стол. — Насколько все плохо?

Шамполион рассказал, не прибегая даже к ощутительному извращению фактов. Преследование одинаково по существу, — кто бы ни подвергался ему, вор или Гарибальди.

— Боже! Береги себя, Коллар! — сказала Полина. — Хочешь в Америку?

— Нет, я подумаю, — ответил Шамполион, садясь рядом с нею. — Явного еще ничего нет. Пока я думаю о тебе.

Когда он говорил это, целуя ее руки, глуховатый мужской голос, скользя по телефонному проводу из пространства в пространство, оканчивал разговор следующими словами:

— Итак, в шесть — тревога.

— Да, так решено, — прозвучал ответ.

— И мы отдохнем.

— Отдохнем, да…

Аппараты умолкли.

На рассвете Шамполион внезапно проснулся в таком ровном и тихом настроении, что мысли его, ясно возникая среди остатков дремоты, связной непрерывностью своей напоминали чтение книги. Он лежал на спине. На спине же, рядом с ним, лежала Полина, слегка повернув к нему голову, и ему показалось, что сквозь тени ее ресниц блестел взгляд. Он хотел что-то сказать, но, присмотревшись, убедился в ошибке. Она спала. Край сорочки на полуоткрытой груди вздрагивал, едва заметными движениями следуя ритму сердца, и от этого, силой таинственного значения наших впечатлений, Шамполион ощутил мягкую близость к спящему существу и радость быть с ним. Он тихо положил руку на ее сердце, отнял ладонь, откинул с маленького уха послушные волосы и весело посмотрел в потолок, где среди голубых квадратов были нарисованы листья, цветы и птицы. Тогда, желая и не желая будить Полину, он осторожно покинул кровать, налил воды с сиропом и присел у окна, наблюдая стаю голубей, клевавших на еще не подметенной мостовой.

Было так тихо, что долгий телефонный звонок, деловой трелью прорезавший молчание комнат, неприятно оживил Шамполиона, рассеянно сидевшего у окна. Полина не проснулась, лишь ее голова сонным движением повернулась от стены к комнате.

Шамполион снял трубку аппарата, бывшего в кабинете, через три двери от спальни.

— Говорите и слушайте, — условно сказал он.

— Все ли здоровы? — спросили его.

— Смотря какая погода.

— Одевайтесь теплее; ветер довольно резок.

— Я слушаю.

— Все хорошо, если состоится прогулка.

— Так.

— Продаете ли вороную лошадь?

— Нет, я купил еще одну закладку.

Шамполион резко отбросил трубку. Звонил и говорил Вест. Весь этот разговор, составленный из выражений условных, означал, что Шамполион должен спасаться, покинуть город ранее полудня и по одному, строго определенному направлению. Сыск установил след, организовав западню.

Когда Шамполион вернулся в спальню, он выглядел уже чужим мирной обстановке квартиры. Все напряжение опасности отразилось в его лице; глаза запали, блестя скользящим, жестко сосредоточенным взглядом, и каждая черта определилась так выпукло, словно все лицо, фигуру преступника облил сильнейший свет. Шамполион быстро оделся и решительно разбудил Полину.

— Который час? — потягиваясь, спросила она.

— Час отъезда. Вставай. Нельзя терять ни минуты, — я под угрозой.

Она вскочила, сильно протерла глаза; затем, взволнованная тоном, бросила ряд вопросов.

Он, взяв ее руки, сказал:

— Да, я бегу. Не время расспрашивать.

— Я с тобой.

— Если можешь… — радостно сказал он. — Ты первая, которой я говорю так.

— Верю.

Ее тоскующее прекрасное лицо горело слезами. Но это не были слезы слабости. Одеваясь, она заметила:

— Путешественник с дамой меньше возбудит подозрений.

— Да, и это в счет на худой конец.

— Куда мы едем?

— В Марсель. По многим причинам я могу ехать лишь в этом направлении.

Турнейль не ответила. Шамполион быстро гримировался. Когда Полина обернулась на его возглас, перед ней стоял выцветший, сутулый человек лет пятидесяти с развратным лицом грязного дельца, брюшком, лысиной и полуседыми длинными бакенбардами.

— Это жестоко! — насильно улыбнулась она, припудривая глаза.

— Жестоко, но хорошо. Наконец, вот! — Он, подбросив, поймал блестящий револьвер. — Возьми деньги.

— Я взяла.

Теперь, вполне готовый к отъезду и борьбе, он почувствовал лихорадочную усталость азартного игрока, которому с уходом годов длиннее кажутся когда-то короткие в своей остроте ночи, тягостнее — ожидания ставок и раздражительнее — проигрыш, усталость подчеркивалась любовью. Он желал бы вновь присесть у окна, смотреть на голубей и слышать ровное дыхание спящей женщины.

Они вышли, взяв лишь по небольшому саквояжу. Шамполион, не будя прислуги, открыл двери собственным, сделанным на всякий случай ключом.

В тревоге промелькнули вокзалы, билетная касса и дебаркадер. Поезд отошел. В купе, кроме них, никого не было.

Поезд шел полями с осевшим на ложбинах утренним чистым туманом. Пунцовые и белые облака, сторонясь, пропускали низкий пук ярких лучей, западавших на возвышения. Еще нигде не было видно людей, лишь изредка одинокая фура с дремлющим на ней мужиком сторожила закрытый переезд; это продолжение безлюдной тишины, в которой проснулся Шамполион, помогало ему разбираться в себе. Сидя против Полины, смотря на нее и разговаривая, он продолжал ощупью, бессознательно, отбрасывать тревогу роковых возможностей, разбираться в обстоятельствах и мысленно вести расчеты с опасностью во всех ее видах, рисуемых его опытным, точным воображением.

— Твоя жизнь ужасна, — сказала Полина. — Спасаться и нападать; быть постоянно настороже, проверять себя, испытывать других… Какая пытка! Какой заговор изменил сущность мира? Коллар, оставь политику, пока не ушла жизнь. Еще не поздно. Мы можем скрыться навсегда в далекой стране.

— Это не для меня, — коротко ответил Шамполион.

— Ты не придаешь значения моим словам.

— Не раз мы говорили об этом. Я все-таки люблю в жизни ее холодное, головокружительное бешенство.

— Коллар, это пройдет, пройдет, может быть, скоро, и ты не вернешь уже тихого угла, который ждал тебя вместе со мной.

— Не могу.

— Решись все-таки. Мне достаточно твоего слова, Коллар. Марсель ведет и в Англию и в Америку.

— Я стремлюсь в Лондон.

— Нет. Дальше.

— Как ты настойчива!

— Знаешь, ведь я люблю.

— Но и я, черт возьми! Однако не любовь решает судьбу! Оставим это.

Он отвернулся к окну, выдохнув сигарный дым с силой, разбившей его о стекло круглым пятном.

С тоскливым, страстным вниманием смотрела женщина на того, кто был (назвался) Коллар. Мысли ее мешались. Наконец, воля одержала победу, и Шамполион, взглянув снова, не заметил и следа тонкой игры страстей, схлынувшей в глубину женской души.

— С.-Ж., — сказал кондуктор, проверяя билеты.

Полина подала свой. Один его угол был согнут.

— Есть здесь буфет, Коллар?

— Есть; это маленький городок.

— Ты знаешь?

— Да, я здесь был.

Приключение в тюрьме два года назад озарило его холодным воспоминанием. Останавливаясь, вагон вздрогнул; скрипнули тормоза.

Снова открылась дверь, пропустив трех кондукторов, и по непроизвольному движению их лиц, выдавших нападение прямым взглядом на руки Шамполиона, он мгновенно сообразил, что путешествие кончено. В купе было тесно. Один из сыщиков загородил своей фигурой Полину, Шамполион не видел ее. Было уже поздно думать о чем-либо. Его вязали и били; он вывертывался, как скользящая большая рыба в жадных руках, и изнемог. Ручные кандалы покончили дело. Выходя, в толпе, запрудившей проход, ослепленный волнением, он, задыхаясь, громко сказал:

— Где ты?

Ему ответил — ниоткуда и близко — мертвый, как стук, голос:

— Буду с тобой… V

Палач грелся на кухне, неотступно думая о шее преступника с вялым, нудным содроганием раба, ждущего подачки и плети. Это был хмурый старик. Ему обещали сто франков и четверть срока. Он не смел отказаться. Кроме того, в его измученном тюрьмой сердце жила смелая надежда вернуться на три года скорее к заброшенным огуречным грядкам, забыв о маленьких девочках, плачущих всегда горько и громко.

Стояло холодное, темное и сырое утро. Шамполион не спал. К четырем часам его оставило мужество. Но не страх сменил стиснутую силу души, ее давила тяжесть — фатализм внешнего. Он сидел в камере 23, из которой два года тому назад был выпущен, как гордая птица, скромной и смелой девушкой. Город был тот, в котором его поймали тогда и теперь. Запыленная надпись на подоконнике, выцарапанная гвоздем, сделана была его скучающей, небрежной рукой; надпись гласила:

“Еще не пришел мой час”.

“Еще” и “не” стерлись. Остальное потрясло приговоренного. Но к подоконнику, как к магниту, обращались его глаза, и с холодом, с непонятной жаждой мучительства он внимательно повторял их, вздрагивая, как от ножа.

Власти, боясь бегства, покончили с ним скоро и решительно. Скованный по рукам и ногам, Шамполион просидел только неделю. Суд приехал в С.-Ж., собрав наскоро обвинения по самым громким делам бандита, судьи выслушали для приличия защиту и обвинение и постановили гильотину.

Полины Шамполион больше не видел. Он думал, что ее держат в другой тюрьме. Представляя, как она перенесла известие о том, кто Коллар, он весь сжимался от скорби, но сам отдал бы голову за то, чтобы увидеть Турнейль. Надежды на это у него не было.

— Вина! — сказал он в окошечко.

Немного спустя дверь открылась. Казенная рука грубо протянула бутылку. Шамполион пил из горлышка. Настроение стало светлее и шире; искры бесшабашности заблестели в нем, смерть показалась жизнью… Вдруг тяжкий удар отчетливого сознания истребил хмель.

— Жизни! — закричал Шамполион. — Жизни вовсю!

Но припадок скоро прошел. Наступил счастливый момент безразличия, — разложения нервов. Шамполион сидел, механически покачивая головой, и думал об опере.

Состояние, в котором он находился, можно сравнить с несуществующим длительным взрывом. Малейший шорох волновал слух. Поэтому долгий ворочающийся звон ключа в двери заставил его вскочить, как от электрического заряда.

Он вскочил: за женщиной, прямо вошедшей в камеру, стояла тень в казенном мундире. Тень сказала:

— По особому разрешению.

Слов этих он не расслышал. Взмахнув скованными руками — единственный доступный ему теперь жест, — он бессознательно рванул кандалы. Нечто в лице Турнейль — не торжественность предсмертного свидания — молчание в ее лице — поразило его. Возвращая самообладание, он сказал:

— Полина?! Да, ты! Видишь?

Она молчала. Ненависть и любовь по-прежнему спорили в ее сердце, и самое памятное объятие не было памятнее короткого толчка в грудь.

— Я пришла, — холодно сказала она, заметив, что молчание становится тягостным, — увидеть вас снова, Шамполион, в том же месте, из которого когда-то освободила. Ведь я — Рене.

Он не сразу понял это, но когда наконец понял, в нем не было уже ни мыслей, ни слов — одни грохочущие воспоминания. Он стоял совершенно больной, больной неописуемым потрясением. Из глубины памяти, раздвигая ее смутные тени, отчетливо вышел образ закутанной в платок девушки; образ этот, стремительно потеряв очертания, слился с образом Полины Турнейль и стал ею.

— Вы предали… — страшась всего, сказал он, когда боль, усиливаясь, не позволяла более молчать.

— Да.

— Вы — Рене!

— Да.

— Знайте, — сказал он, помедлив и смеясь так презрительно, как смеялся в лучшие дни своего блестящего прошлого, — я снова оттолкнул бы вас… туда!.. прочь!..

Жалкая, измученная улыбка появилась на бледных губах Рене. Даже ее незаурядные силы давила тяжесть этой победы, в которой победитель, сражая самого себя, не просит и не дает пощады. Простить она не могла.

— Да, вы толкнули меня совершенно простым движением. В грязь. Я упала… и еще ниже. Я продавалась за деньги. Меня встретил Турнейль, я взяла остаток его чахоточной жизни и его миллионы. Почти все это ушло на вас, Шамполион. Лучшие сыщики помогали мне. Продался Вест и другие. Вас вели под руки с завязанными глазами к яме… но как это было дьявольски трудно, признаюсь! И вот вы упали.

— Сыщики? — недоверчиво спросил он. — Кто же? Не однобокие ли умом Гиктон и Фазелио?

— Все равно. Ждущие признания гении имеются и в этой среде.

— Может быть. Вы довольны?

— А? Я не знаю, Шамполион.

Она с трудом прошептала это, и он увидел, что глаза ее полны слез. Шамполион сел, понурясь. Тогда быстрым материнским движением она прижала его горячую голову к своей нежной груди и горько заплакала, а он, поборов опустошение души, тоже приник к ней, тронутый силой этой любви, нашедшей исход в ненависти, любви ненавидящей — чувстве ужасной сказки.

Рене встала.

— Отец умер, спился, — сказала она. — Мои мечты, те, с которыми я освободила тебя, ты знаешь, потому что знаешь меня. Прощай же! Когда ты… уходишь?

— С последним ударом пяти.

— Скоро придет священник.

— Он скажет мне о пустом небе.

— Наполним же его опрокинутую чашу последними взглядами. Ты помнишь мои слова в вагоне?

— Помню “Буду с тобой”.

— И буду… и буду с тобой.

— Рене! — сказал он, останавливая ее. — Не дух ли ты? Кто пустил тебя сюда, в эту могилу?

— Те, кто имеет власть и знает мою судьбу.

Она вышла; ее последний взгляд воодушевил и успокоил Шамполиона. Он думал о закутанной девушке, лица которой хорошенько даже не рассмотрел, и о только что ушедшей женщине, которую потерял. Но казалось, что в сумраке начинающегося рассвета в камере с бледным огнем лампы еще длится ее невидимое присутствие.

Он приблизился к подоконнику и спокойно прочитал то, что не стирается никогда:

“…пришел мой час”.

Рене была одна. Когда часы, висевшие против нее, начали отбивать пять и пробил последний, сильнее других прозвучавший удар, — удар вдали громко прозвучал в ней, вихрем сметая прошлое. Ее трясло, зубы стучали. Она выпила яд, крепко прижала к глазам мокрый платок и прилегла на диван.

Ива

I

Начало легенды о Бам-Гране относится к глубокой древности. Округ Потонувшей Земли славится вообще легендами, среди которых Одноглазый Контрабандист, Железная Пятка и другие, давно уже повешенные бандиты, играют крупную роль, но самой выдержанной, тонкой, самой, наконец, изящной я считаю фигуру Бам-Грана. На этот счет мое мнение расходится с мнением остальных, когда-либо внимавших легенде; все же я остаюсь и останусь навсегда при своем. Особенно, если я закурил.

Да. Ничто лучше струи табачного дыма не приближает моей душе этот реальный и изменчивый образ существа с нежной, но лукавой душой, существа, созданного порывом ветра и фразой доктора-акушера. Как рассказывают, Бам-Гран родился в самую свирепую бурю, какую можно представить на берегу Тихого океана, от родителей, вполне способных произвести такого сына. Отец этого существа беседовал на Хуан-Фернандеце с тенью Робинзона или, вернее, Александра Селькирка, так как автор снабдил знаменитого героя псевдонимом во избежание упреков от его родственников. Простой матрос благодаря этому разговору получил некоторые литературные сведения, а также указание относительно клада, зарытого сбежавшим из Монте-Карло кассиром лет пятьдесят назад. Клад состоял из пяти тысяч двадцатифранковиков, оставленных в славном учреждении преимущественно русскими Собакевичами и Базаровыми.

Разбогатев, матрос повел недостойный образ жизни и женился на ясновидящей, некоей

Луизе Бастер, имевшей все данные сделаться второй Анной Гресс, не увидь она во время одного из сеансов нечто, посеребрившее ее волосы белой мукой страха. Она никогда никому не говорила об этом, и даже муж ее не узнал, отчего можно так испугаться, засыпая под блеском лунного камня гипнотизера Берга.

Наконец — все пропил матрос, все проиграл в карты, все раздарил фальшивым красноносым приятелям и дал, как водится в таких случаях, зарок вести лучшую жизнь. Лучшая жизнь, естественно, началась со страшной нищеты. В то время Луиза была беременна. Основательно протрезвившийся муж со страхом ждал увеличения семейства, но чем ближе подступало время родить, тем спокойней становилась жена. Выведенный однажды из жалкого своего равновесия кротким благодушием женщины, матрос начал исступленно кричать: “Если родится сын, пусть не будет у него ни семьи, ни дома, ни родины, ни денег; пусть он живет со зверями, вырастет скандалистом, и пусть всегда скалит зубы, как ты теперь, подлая. Если родится дочь…”

Едва он начал определять судьбу дочери, как помертвевшая от испуга женщина слабо подняла руку, успев сказать: — “Только не злой, не злой”. Затем заклинание матроса, очевидно, произвело действие, так как с несчастной начались родовые схватки. Матрос бросился за доктором и привез его в самый нужный момент.

Когда рассказ о Бам-Гране подходил к этому месту его истории, рассказчик поникал головой, смотря исподлобья, делал произвольную паузу, затем, веще протянув руку и блистая вдохновенным лицом, внушительно и быстро шептал, задыхаясь от естественного волнения: “Была ночь. Ветер ударял с силой пушечного снаряда. И вот — мальчик лежит на руках доктора. Едва были окончены хлопоты по этому делу, как доктор сел писать рецепт, а колокол на церкви, двинутый ветром, жутко раскатил: Бам… “Гран”, — сказал в это же время доктор, выписывая рецепт, вслух. Его рука застыла — заметьте — застыла, перо застыло, и родители застыли от ужаса: новорожденный, приятно улыбнувшись, помахал ручкой, чихнул и внятно произнес: “Бам-Гран”. II

Молодой человек, пришедший из ивовых зарослей, что внизу, по отмели реки Адары тянутся на протяжении трех миль в длину и полуторы в ширину, не пользовался уважением населения, так как не удовлетворял основному требованию — “иметь здравый рассудок”. О нем было известно, что он ведет жизнь дикаря, что он кого-то ждет и имеет непонятную цель, связанную со своей зарослью. Звали его Франгейт.

Его волосатая голова была обвязана синим платком; старый пиджак, подпоясанный широким ремнем на манер блузы, открывал шею и расстегнутый воротник смятой белой рубашки. Цвет брюк и состояние их можно вообразить, — но какой бытовик воздержится от указания, что они были оттопырены на коленях.

Лицо Франгейта являлось смесью обдуманной, упрямой силы с болезненно-тонкой восприимчивостью, — лицо глубоко чувствующего человека, способного, не морщась, нанести смертельный удар, если встретится неотстранимый вызов. Он был широкоплеч, сутул, тонок в талии, ступал крепко и медленно, смотрел прямо и, когда улыбался, застенчивое озарение широкого смуглого лица выказывало белые ровные зубы, блестевшие, как у девушек. Его волосы и глаза были почти черны; он не расставался с коротким ружьем, висевшим всегда на его правом плече вниз прикладом, и курил маленькую японскую трубку, набивая ее в рассеянности иногда так крепко, что огонь не просасывался.

В этот день Ахуан-Скап мог по праву гордиться тем, что на него обращены глаза всего мира. Отношения между солнцем и луной достигли противоречия, называемого обыкновенно “затмением”. Задолго перед тем компетентные люди установили и объявили повсюду, что на этот раз затмение можно отлично наблюдать именно из Ахуан-Скапа, в силу чего затерянный полудикий город, преподнесший астрономам такое редкое лакомство, должен был

отпраздновать свою пчелиную свадьбу, погрузясь затем снова в так громко потревоженное забвение.

Как ни был озабочен Франгейт тем, что в неизвестной стране чужие люди покупали за деньги право смотреть на лицо девушки, увлеченной ярким огнем созданной из пустяков жизни, как мучительно ни разрывал он любящей мыслью тяжелое, глухое пространство, скрывающее где-то в бесформенном слиянии всех вещей и явлений его стройную Карион, — он не мог не обратить внимания, что город принял важный, шумный и такой чистый вид, какого не было со времен последнего циклона, выбившего из всех улиц и тюфяков пыль не хуже голландки, моющей свой тротуар мылом. Дома были украшены флагами. С балконов свешивались ковры и цветные материи, а у фонтана, где бегали и приплясывали ребятишки, играл хор трубачей, торжественно шевеля золотом больших труб. Кроме того, всюду развивалось самое усиленное движение: по шоссе, огибающему скалистый узор горных возвышенностей, неслись расфранченные экипажи, полные разодетой публики, лошадиные зубы и скулы которой, совместно с золотыми набалдашниками тростей, ярко сияли от солнца. Время от времени видел Франгейт фигуры, вызывающие представление о костях, — нескладные старики, в очках, с ящиками и какими-то инструментами под мышкой, озираясь дико и неприспособленно, стремились, развевая полы макинтошей и пряди седых волос, к какому-то таинственному пункту. Нечто похожее видел Франгейт один раз, когда в город нагрянула партия землемеров. Меж тем все или почти все, кого встречал он, смотрели вверх, задрав головы, на лицах же появилось столько темных очков, что все, казалось, ослепли или тренируются в выпрашивании милостыни под незрячих. Кроме того, прошествовали шагом в сопровождении чрезвычайной охраны четыре большие подводы, нагруженные большими и малыми телескопами в зеленых чехлах, открывающих проницательному взору уличной детворы свои медные части, вычищенные до боли в глазах.

— Быть может, — сказал Франгейт одному из тех людей со старческими, сухими лицами, осматривать которых ему доставляло не меньшее удовольствие, чем некогда взирать на мумии в Лисском музее, — может быть, вы объясните мне снисходительно, что значит этот гром, блеск и оживление?

Приезжий остановился, строго ловя сверх очков, не дерзость ли блеснет в лице вопрошателя, но Франгейт смотрел на него лишь любопытно и кротко.

— Я вижу, вы не здешний, — сказал старец, беря Франгейта за пуговицу пиджака и отводя в сторону. — Вот! — Он извлек золотые часы с хрустальной крышкой и сунул их к глазам Франгейта. — Мы имеем точное время — десять часов сорок три минуты одиннадцатого утра 22 февраля тысяча девятьсот двадцать третьего года, а в двенадцать с одной минутой первого того же числа и этого же года начнется солнечное затмение, которое продлится один час и сорок минут. Труба упала! — вскричал он затем, яростно потопал ногами и ринулся к подводе, где загремели небесные принадлежности.

“В таком случае, — подумал Франгейт, — надо торопиться. Если я не куплю теперь же пороху, крючков, пистонов и табаку, лавки, несомненно, закроются, так как часть торгашей будет ожидать конца мира, а другая — начала дневного света, покупатели же исчезнут на крыши”.

На рынке Франгейт увидел на возвышении человека, размахивающего руками; вокруг него, покатываясь от смеха, роилась рыночная толпа. III

Туда пока что трудно было пробраться. Настроенный невесело, Франгейт задумчиво смотрел на развлекающуюся толпу, машинально прислушиваясь в то же время к разговору под навесом рыночного трактира. Разговор этот, с трубками в зубах, вела компания трубочистов; их ведьмины хвосты, которыми прополаскивают они щели труб, свешивались с их плеч ниже сиденья вместе с остальными орудиями пыток. Нет еще автора, который описал бы

физиономию трубочиста без мыла, поэтому и мы не посягаем на трудную задачу, а предоставляем солнечному лучу, проникающему сквозь дыры холста трактирной палатки, играть на лицах негритянского цвета с европейскими очертаниями.

Каждый раз, как прихлебывал трубочист из стакана, немного черной мути осаживалось с усов на дно.

— Так вот, — говорил наиболее пьяный из них, — я не настолько пьян, чтобы нести вздор. А все это штуки Бам-Грана, которого давно уже не было в нашем городе.

— Давно или недавно, — сказал другой, — а сдается, что начинается похожее на ветер с горы.

— Что же это за “ветер с горы”? — спросил гуртовщик, пересев из угла к столу.

— Ветер с горы… Э, это страшная вещь, — сказал трубочист. — То дело произошло лет двадцать назад, когда в Ахуан-Скапе не было и половины домов. Слушайте: начался ветер. Ветры бывали, само собой, и раньше, но такого не упомнит даже моя бабушка, а она еще, слава богу, жива. Не был он ни силен, ни холоден, но дул все в одну сторону и намел песку с подветренной стороны к стенам фута на три. Наступила такая тоска, что хоть вешайся. Действовал этот ветер, как вино или горе. Все побросали свои занятия, лавки закрылись, мужья бросили жен и ушли в неизвестную сторону. В то же время четырнадцать человек кончили самоубийством, спился целый квартал и сошла с ума добрая половина. Вот что такое “ветер с горы”. Я сам чувствовал себя так, как будто потерял дом и семью и надо идти разыскивать их где-то на краю света. Но известно, что все это штуки Бам-Грана. Однажды…

— А кто такой этот Бам-Гран? — спросил молодой солдат.

Вопрос был, очевидно, так неуместен, невежествен и невежлив, что рассказчик, зацепив бороду черной клешней, крякнул, посмотрел вверх и горько покачал головой. На тупило молчание, а незаметно для себя, но сильно покрасневший солдат стал беззаботно крутить ус, смотря в пространство с напряжением затаенной обиды.

Заинтересованный, Франгейт подошел ближе.

— Слушай, молодчик, — начал поучать дерзкого трубочист, — скажем, идешь ты по улице и видишь, что тебе несут на блюде жареную свинью. Хорошо. Не спрашивая лишний раз, почему и как эта свинья, берешь ты ее в обе руки и ищешь места, где закусить, а свинья преспокойно слезает с блюда, идет рядом и говорит: “Экий ты дурак, братец. Экий же ты осел, молодой человек”. Так вот это и есть Бам-Гран, если только он вознаградит тебя тут же, толкнув под ногу золотую монету.

Гомерический хохот окружил растерявшегося солдата. Перебивая шум, трубочист продолжал:

— Бам-Гран ходит в зеленом сюртуке, на голове у него цилиндр, жилет модный и брюки модные, а сапоги блестят, как зеркало. Если ты его встретишь и поладишь с ним, то он сделает тебе все, что ты хочешь, хоть клад достанет; кроме того, знает он птичий и звериный язык и может показать в любом месте земли, что там делается. Но он, видишь, очень нервен, и угодить ему трудно, как барышне, если она, закатив глаза, начнет бить ногами и требовать немедленно яду, а если не угодишь, то он исчезнет, как все равно — пфу.

Улыбаясь, Франгейт двинулся дальше, попав теперь как раз на пустое место, с которого расходилась толпа и где можно было почти вплотную придвинуться к возвышению. IV

Еще не начиналось затмение, но легкие облака, время от времени набегая на солнце, как бы

готовили жителей для предчувствия его великой ночной тени. Как это, так и другие настроения смешанного характера, напоминающие не то объезд, не то нашествие гастролеров, тронули уже душу Франгейта беззвучной мелодией, располагающей к странностям. Но был он все же громко озадачен тем, как выглядел человек, стоявший на бочке — именно тот человек, вокруг которого толпились и зубоскалили обыватели. Франгеит даже вздрогнул и отступил, невольно оглянувшись на палатку трактира, где нарисовали ему портрет легендарного фантома, — так точно описал трубочист костюм человека на бочке.

Легким движением воли отогнав суеверие, Франгеит внимательно присмотрелся. Острые, как шпильки, глаза смотрели прямо на него с лица, очень худого, но не болезненного; могучий и кроткий сарказм змеился в углу тонких губ, обведенных длинной золотистой бородой, завивавшейся наподобие штопора и висевшей ниже второй пуговицы цветного жилета. Темно-зеленый сюртук скрывал до колен тонкие ноги, небрежно заведенные буквой Х. Большой палец правой руки был засунут в верхний карман жилета, отчего острое плечо пыжилось вверх соответственно такому же напыщенному выражению локтя, подрагивающего так независимо, что хотелось снять шляпу; левую руку держал он вытянутой вперед, показывая небольшой ящичек, содержимое которого рассмотреть было довольно трудно, — блестело там и темнело нечто искрящееся. Высокий цилиндр делал рост субъекта еще больше на взгляд. Маленькие огненные усы под острым, тонким носом закручены были вверх с отчетливостью осенних былинок, рдеющих на солнце торчком. Но невозможно было уловить основное выражение лица — оно менялось с беспрерывностью бегущих теней. Рассмотрев основательно наружность, Франгеит начал наконец понимать, что выкрикивает этот человек таким бесподобно оглушительным петушиным голосом:

— Почтенные люди, думающие, что я смеюсь над вами, сделайте серьезное лицо и берите из первых рук первый товар в мире. Нигде нет таких закопченных стекол, как у меня. Они выкопчены на свечке самоубийцы и выломаны из развалин древнего храма Атлантиды, где умели делать стекло тогда, когда предки ваши еще ловили когтями летучих мышей. Обратите внимание, что, купив у меня стекло, вы тем самым равняетесь с орлами, взирающими, не моргнув, на солнце. Таким образом, вы лично убедитесь в существовании протуберанцев и солнечных пятен, — следовательно, в том, что наука не лжет, а это дает спокойный сон самым пытливым умам. Кроме того, на что вы ни взглянете через такое стекло, все явится перед вами в самом неожиданном свете. Обладая им, можете вы быть уверены также, что вам повезет в игре, любви и политике. Не прося дорого, даже совсем не прося денег, требую лишь, чтобы желающий приобрести это замечательное стекло, тотчас и единым духом вышвырнул все до одной монеты, какие у него есть, на землю или отдал первому встречному.

— Нашел дурака, — сказал мясник, сунув под передник руки и оглядываясь на других, с негодованием внимавших оратору. — Пойду я, разобью банку из-под варенья и накопчу, сколько хочу.

Тотчас несколько человек поддержали его горячими заявлениями о том, что первый раз видят наглеца или сумасшедшего, пытающегося ограбить их таким лукавым и непонятным способом. Тем временем некая проворная девица, растолкав любопытствующих, протискалась к человеку в цилиндре и, самоотверженно кинув через плечо мелкую медь, так как более ничего не имела, получила от продавца кусочек черного стекла, немедленно навела его на своего кавалера, но, с визгом бросив стекло, побледнела и перекрестилась. Тотчас обступили ее подруги, соболезнуя и спрашивая; биясь в их объятиях, отталкивала она также и кавалера, крича, что ее околдовали.

Франгейт немедленно подошел к ней, пытаясь узнать, в чем дело. Смущенный не менее своей подруги, кавалер приступил тоже с расспросами.

— Ах, ах, — выговорила сквозь слезы девушка, — если бы ты знал, как выглядишь ты через

это стекло. Бог с тобой, не хочу тебя обижать, но, право, сердце мое сгорело, так похож был ты на обезьяну с собачьей мордой… Не покупайте! Не покупайте! — завизжала она, топча стекло, — вон его, вон бесовское копченое производство.

— Молчать! — громовым голосом крикнул человек с бочки. — Не поддавайтесь истерике. Верно, пробежала тут случайно собака, а где-нибудь взвизгнула обезьяна… Много ли надо для девичьего овечьего сердца. Раз, два — и готово оскорбление кавалеру. Почтенный пострадавший, идите сюда. У меня есть для вас наиудобнейшее закопченное стекло, с помощью которого вы, направив его на собаку, немедленно различите в ней лучшие человеческие черты, и обида ваша окажется торжеством. Но только швырните деньги и наступите на них. И бойтесь обмануть меня размером отвергнутой суммы, ибо я вижу во всех карманах так же просто, как вы — друг друга. Несчастный обескураженный, слушайте, что говорю я!

Еще не знал Франгейт, потешаться ли ему этой сиеной или принять в ней какое-нибудь участие, как начал, сначала тихо, а потом все громче, перелетать шепот: “Бам-Гран. Бам-Гран. Бам-Гран. Слепые и дураки, слышали вы о Бам-Гране?.. А если слышали, то вот он, вот. Бегите — это и есть Бам-Гран. Старуха его узнала”.

— Что за болтовня… — сказал Франгейт, обернувшись к наводящему на человека с бочкой револьвер охотнику, вытаращенные глаза которого уже чем-то стреляли. — Устыдитесь, приятель.

Но вяло произнес он эти слова. К его сердцу подступил холод неведомого события. Минутами казалось все сном, мгновениями — оглушительно ярким, как если открывать и закрывать форточку на шумную улицу. Револьвер стукнул возле самого его уха, но Бам-Гран, если это был он, засмеялся и спокойно махнул рукой; из нее тихо перелетела обратным путем горячая пуля, попав охотнику в бороду. В это время дневной свет был уже неестественно дик и сумрачен.

— Начинается! — закричал кто-то. Успев подсмотреть, как с негодованием и ужасом охотник выцарапал из бороды пулю, Франгейт, а за ним все подняли головы к почерневшему глубоким отрезом солнцу; немощно, полумертво горело оно, почти без лучей, в грозном смятении.

Великая тень вылилась с высот на землю. Тогда все, устрашенные зрелищем, пустились бежать, и скоро площадка перед бочкой опустела; пуста была и сама бочка, и Франгейт с отчаянием заглянул под нее. V

Везде хлопали полотняные навесы, трещали замки — то закрывались лавки. Темно было уже, как перед сильной грозой.

Сердце Франгейта болело и горело теперь от страха, что исчез навсегда Бам-Гран, которого он принимал слепо. Как с нами, когда, после череды томительных глухих дней, полных всякого ожидания, случается что-либо, внезапно подхлестывая замершую жизнь счастливым ударом, и мы, наперелом двух настроений, делаемся горячи, легки, нервны и певучи, еще не входя в подробные разъяснения громкой случайности, — так Франгейт вышел в то мгновение из круга в прорыв, даже не подумав о том, но следуя лишь душевной повелительной жажде, в надежде столь странной, что и размышлять об этом было бы ему не под силу.

— Бам-Гран, — вскричал он, даже не прислушиваясь к своему голосу, как бывает не при неуверенности, а от полноты страданий, — Бам-Гран! Я брошу все деньги, только покажитесь мне.

— Бросай, — раздалось где-то так лукаво и тонко, как на пискливой ноте замирает скрипичная струна…

“Не мышь ли пискнула?” — подумал Франгейт. Однако он не колебался, подобно тонущему, срывающему с себя одежду, и, вывернув судорожно карман, мрачно разбросал все немногие свои монеты, топнув от нетерпения ногой. Тотчас взял его кто-то под руку. Рванувшись, он увидел цилиндр, под ним неукротимым синим огнем блестели насмешливые глаза. VI

Пустынно было кругом.

— Я знаю, — начал Франгейт, — как скучно выслушивать чужие истории, но…

Собеседник перебил его, сказав:

— Рассказ должен быть интересен. Я должен быть заинтригован или растроган. Без этого у нас ничего не выйдет. Вот щель; войдем в нее, как два луча: зеленый и желтый; но страха не должно быть у тебя, я ведь Бам-Гран, Бам-Гран, я — большой звон. Слушай меня в сердце своем; я хочу играть, вечно шевелить пыль, — он топнул ногой и свистнул. — Маленький смерч для начала, крошечный, как хвостик козы, — затем будем говорить.

Тотчас две струйки ветра выползли из-под ног Франгейта и, крутя с пылью бумажку, темным винтом проплыли, на манер вальса, в неестественную тьму этого дня. Меж двумя лавками, на груде ящиков с соломой, Бам-Гран уселся, вытянув и скрестив ноги. Перемогая оцепенение и головокружение, Франгейт прислонился к стенке. Думая, что говорит громко, — так было сильно его волнение, — он тихо и быстро шептал; когда же очнулся, возле него никого не было, лишь два пальца, прямо против лица, торчали из щели деревянной стены лавки, помахивая черным стеклом.

— Против большой ивы, на косе у красного бакена, — зашептал некто сквозь стену, — не отнимая глаз от стекла, смотри на воду и вокруг; появится множество людей, не достигших цели. С ними разговор короткий: просто молчать. Но как только увидишь человека с важным и тихим лицом в старинном костюме, прикладывающего к сердцу пистолет, громко скажи ему: “Подожди, Рауссон, есть слово и для тебя”. Тогда увидишь, как поступать. Есть часы разные, но нет лучше часа затмения. Оно началось, ступай. VII

Не размышляя и не ожидая ничего более, Франгейт поспешно выбрался с опустевшего рынка. На улицах сновала толпа; присев, выли собаки; где-то пьяный стрелял в луну, надеясь простым убийством девственницы вернуть дню блеск; в небе же среди равнодушно блестящих звезд сиял слабый кольцеобразный свет вокруг черного, зловещего ядра, которое, казалось, и есть само потухшее солнце.

Повернув к реке и одолев плоские скаты, за которыми далеко внизу тянулась обширная ивовая заросль, Франгейт невольно поддался впечатлению, что стоит ночь. Смыкаясь над его головой, мрачные завалы кустарника изредка пропускали звезду, но пахло сухим песком и нагретой зеленью, чего не бывает ночью. Птицы, трагически свистя крыльями, носились в тоске, и их изменившийся, устрашенный крик пугал, как неожиданный стон. Путаясь и торопясь, избитый по лицу ветвями, прошел Франгейт к тысячелетнему дереву; меж ним и материком, чернея, блестела вода.

Он прислонился к стволу под спадающими вокруг листьями, далеко впереди него трогающими воду, колеблющую и отстраняющую их быстрым течением. Запах сырой реки стал крепче, острее пахло песком, цветы и листья, казалось, возбужденные всеобщей тишиной, излучали острый, отчетливый аромат.

Тут, немного передохнув от ходьбы, Франгейт вынул из кармана стекло.

Оно было не больше ладони, но толще, чем обыкновенные оконные стекла, и закопчено только слегка в исчерна фиолетовый тон. Прежде чем начать его испытание, прошел он немного вправо, где меж двумя пнями наклонно торчал ивовый прут с выбегающими из

влажной, как будто отпотевшей коры новыми узкими и яркими листьями. Они были еще нежны и слабы, как почки, но в глазах Франгейта превосходили всю красоту остальной всякой растительности.

— Мое чудо, — сказал он с суровой глубиной одинокого восхищения и дрожащей рукой подержал один листик снизу, как держат за подбородок ребенка. И, вырвав вздох, медленными кругами повернулись перед ним три года тоски.

Вокруг прута было выведено на песке множество раз одно и то же имя: “Карион”. “То ли, что я писал это, помогло зацвести пруту, — размышлял Франгейт, — или есть на то причины таинственные?” Поддавшись мгновенному внушению, он извлек стекло и посмотрел сквозь него на зеленеющий прут.

У корней двигалось, присев на корточки, ничтожное существо, в капюшоне и длиннополом халатике; крошечные турецкие туфли были ему велики, и он поправлял их, топая сердито ногой каждый раз, как, поспешив, оставался об одной туфле. Франгейт безошибочно видел, что существо работает увлеченно, но не мог различить движений, а также предметов, с помощью которых орудовало это создание. — “Крыса, что ли?” — нетерпеливо сказал он, трогая ногой упавшего кувырком вершкового старика. “Не крыса, но доктор растений, — гневно завизжало создание, — вы совершенно меня расстроили, и я пролил свой хлорофилл. Желаю вам наступить на змею”. Он скрылся, а Франгейт стал щупать траву на том месте, где стоял карликовый доктор, но комары, жутко напав стаей, нестерпимо изжалили его, и он выпрямился.

— Будет дело, — сказал Франгейт, весь дрожа, как в те минуты, когда в лесу его удочки водила большая рыба. Вновь поспешил он к тысячелетней иве, прикрыв глаза чудным стеклом, и, прислонясь к стволу, замер.

Прошло очень немного времени, как услышал он ровный плеск весел; глухо шумя песком, на отмель выползла, перевалясь, лодка. Начала светиться вода и стала прозрачной, как будто вся глубина ее слилась с воздухом. Тогда увидел он странную форму большой мели, которую представлял ранее треугольником; она имела вид виноградного листа, с отвесным обрывом на глубине, по обрыву всплывали и опускались черные палки рыб. Меж тем, сидевшие в лодке встали, вооруженные с головы до ног, вышли гуськом. — “Наконец-то, — сказал первый, с суровым и неприятным лицом, — черный клад у острого камня дался нам в руки”. Но красный блеск выстрела мгновенно опрокинул его; выстрел был из кустов, и двое живых, прячась за лодкой, открыли встречный огонь. — “Билль опередил нас”, — сказал шепотом, умирая, второй с лодки, и, тихо повернув ее, третий, живой, скрылся за поворотом реки.

Сказать, что Франгейт слышал выстрелы, было нельзя, но он переживал их. Еще светлее стало на берегу и, как нарисованные на прозрачном озаренном стекле, выделились тончайшим узором все стволы, ветки и листья: сквозь них до самого горного ската можно было бы читать справочный петит “Зурбаганского Ежемесячного Глашатая”. По обширному плато ивовой заросли мерцали и плыли клады. Бочки среди костей, с лопнувшими в земле обручами, открывали тусклое золото; малые и большие бочонки, набитые драгоценностями, спали между корней, и жуки точили их дерево. Среди этих гробниц какой-нибудь истлевший холщовый узел или горшок с окисленным серебром жадно таились на глубине двенадцати футов, в то время как целая лодка, увязанная и обитая кожами, тащила драгоценную утварь времен Колумба.

Меж тем, не было теперь места на реке и на берегу, где встретил бы взгляд пространство, свободное от тел человеческих; даже у ног Франгейта дремали с карандашами в зубах пуделеобразные поэты, и сладкие стоны их взывали к ускользающей вечности. В кустах возлежали лентяи, почесывая грязную шею и мечтая о женитьбе с приданым. Их собаки неодобрительно спали задом к небритым физиономиям. Усидчивые рыболовы, скорчившись,

как калмык на седле, гипнотически приникали взглядом к таинственному волнению поплавка, а внизу, на глубине приманки, прожорливые, поседелые в боях рыбы осторожно откусывали ту половину червяка, где не колол их рыло крючок. Пьяницы с бутылкой в руках, растроганно обращаясь к каждому дереву с торжественной, но маловразумительной речью, шатались, выискивая укромное место, и, сев циркулем, приступали к священнодействию, потирая руки. Среди этой толпы, полной одинокого смеха, возгласов, звучащих рассеянно или со скорбью, далеких, настораживающих зовов, появились черные лодки пиратов. Они гребли, налегая на весла, и у их ног бились связанные женщины.

Наконец появились люди, не достигшие цели. Они двигались над водой, против течения, с взглядом, направленным в глубокую и ясную даль. Франгейт не ошибся, разглядывая их с сильным сердцебиением. Сначала было их не так много, не более десяти сильных, но усталых фигур, затем вся тень, подобная туче, стелющейся над водой, рассеялась, зашумев вокруг него неудержимой толпой и бесчисленным блеском упорных взглядов, направленных к невидимому препятствию… — “Не падай, — сказал кто-то рядом с Франгейтом; в ответ послышался стон. — Немного… еще немного терпения”. “О, нет более сил”. — “Тогда я пойду один”. — “Не ходи этой дорогой, она трудна”. — “Значит, это моя дорога”, — сказал невидимый голосом, напоминающим треск сердито захлопнутой двери. Все более раздавалось слов, песен, рыданий и восклицаний. Но вот выделился из толпы красивый, как грозный свет вечернего окна, стройный и важный человек с тихим лицом; улыбаясь, он отошел в сторону, провел по высокому ясному лбу белым платком и, расстегнув камзол, приставил пистолет к сердцу. “Будь счастлива, дорогая, — сказал он, — мой путь кончен, я ухожу”.

— Стойте! — крикнул, похолодев, Франгейт, так как вдруг опустела река, и берег вновь погрузился в тьму; все отшатнулось, пропало. Лишь темный силуэт с белым платком вглядывался в него. — Остановитесь, — продолжал Франгейт. — для вас есть дело, и это дело — мое. — Вспомнив, что исказил фразу, назначенную самим Бам-Граном, он торопливо поправился, прокричав: — Стой, Рауссон, есть дело и для тебя.

— Слова не имеют особенного значения, — сказал тот, кого назвали Рауссоном, — я понял вас с первого обращения.

Подойдя, он мягко взял руку Франгейта маленькой, горячей рукой и крепко пожал ее.

— Только безумное сердце остановит меня, — сказал он, — безумное, как мое. Ваше сердце такое. Скажите, друг мой, что я могу сделать для вас?

Франгейт опустил стекло, — оно упало меж корней в воду и навсегда исчезло. Но Рауссон был тут; солнце, как при раннем рассвете, уже могуче и щедро искрило воду реки, освобождаясь от тени, а печальная рослая фигура самоубийцы, полная случайной жизни, оставалась стоять рядом с Франгейтом, и тени их, две, чернели на засветлевшем песке.

Стараясь говорить кратко, Франгейт рассказал про девочку и ее прут. Прут был неочищенная от коры удочка, которой она с ним вместе ловила рыбу.

— Она танцевала, — с горечью сказал он, — еще совсем маленькая, она танцевала так хорошо под любую музыку, что ее заставляли иногда сделать это. Наши семьи были соседями. За все время нашей дружбы я сделал ей более сотни удочек, но, когда она выросла и стала носить длинное платье, она все чаще поглядывала на пароходы и не раз намекала, что нам придется скоро расстаться. Довольно вам сказать, что в этой иве мы облазили все кусты, играя в разбойников, и мне очень не хотелось, чтобы она уехала, но ей так вскружили голову ее танцами, что она все время смотрела на свои ноги, и, откровенно сказать, я тоже любовался ими. Последний день стояли мы здесь, на этом самом месте, затем она села в лодку, и я выстрелил, чтобы остановить пароход. Мы отплыли немного,

чтобы нас не слышали другие провожающие. — “Слушай, Карион, — сказал я, — останься, здесь на реке так хорошо и светло”. Но она была смущена, смеялась и шутила уклончиво. — “Подумай, что ты прочтешь мое имя в афишах”, — сказала она. Я молчал. Тогда она взяла одну из удочек, что лежали здесь, воткнула ее и легкомысленно произнесла: — “Я вернусь, если этот прут зацветет. Иначе, ты можешь меня презирать до конца дней”. Кто внушил ей такую мысль?.. Немедленно я вынул нож и сделал отчетливую на пруте зарубину. — “Узнаешь ты эту метку?” — сурово спросил я. Немного струсив, она поклялась, что узнает. Тогда я сказал: — “Здесь, где я тебя отпустил, я буду ждать и не уйду никуда, пока не зазеленеет твой прут”, — и с той же минуты свято поверил в это. Она холодно выдернула свою руку из моей и пошла к лодке задумчиво. Прошло три года, не было от нее ни письма, ни слуха о ней; ее брат тоже уехал, мать умерла. Раз десять в день ходил я смотреть на ту удочку, что торчит там, между двумя пнями, пока третьего дня не увидел, что на ней вспухли четыре почки, и стал несколько сумасшедшим. Теперь необходимо узнать, где находится эта, — а она всегда говорила правду, она всегда держала слово, — эта маленькая увлекающаяся девушка.

Некоторое время они молчали. Рауссон посмотрел вдаль и как бы отсутствовал.

— Вы поступили правильно, — сказал он, — и я в совершенном восхищении от вашей истории. Пространство огромно, в нем нет еще указаний. Представьте себе ясно ее.

Не было ничего легче для Франгейта в эту минуту.

— Ну, так, — сказал Рауссон, — вы отправитесь в Сан-Риоль и спросите в театре Элен Грен.

— Но… — начал Франгейт, — ее, как я вам сказал, зовут Карион.

На это он не получил ответа. Полный блеск солнца воскресил уже зелень пустыни, и голубое над синей рекой пространство улыбкой трогало далекие горы. VIII

После солнечного затмения жители Ахуан-Скапа были, среди общего благополучия наблюдений, несколько скандализованы заявлением двух астрономов, передававших по секрету всем, кто мог или хотел им верить, что луна окривела на правый глаз, почему, сочтя неудобным из деликатности лорнировать ее посредством телескопических стекол, ученые мужи поспешили вознаградить себя обильным возлиянием на веранде “Тропического кафе” под мелодию “Марша идиотов” (бывшего о ту пору в большой моде). Одновременно с тем некоторые прохожие, воспользовавшиеся для любознательных своих изысканий осколками темного стекла, разбитого на базаре истеричной девицей, были смущены тем обстоятельством, что солнце грозило им кулаком… Хотя в компетентных кругах наиболее посещаемых харчевен сии противоестественные случайности были приписаны Бам-Грану, газеты таинственно молчали, оставляя каждого думать, что он хочет.

В настроении вышеописанных событий плотно пообедавшая компания пассажиров, наслаждавшаяся летним вечером на шезлонгах палубы парохода “Адмирал Гент”, стала постепенно говорить о вещах, привлекших сосредоточенное внимание одинокого пассажира с кожаной сумкой через плечо, сидевшего пока в стороне. Он пересел так, что очутился сзади кружка, и, слушая, не раз пытался вмешаться в разговор, но удерживался. Однако было произнесено имя, после которого он судорожно, глубоко вздохнул, решив о чем-то спросить.

Между тем седой, плотный бакенбардист, вытянув огромные ноги в зеркальных сапогах, сказал:

— Решительно она затмила ее. Элен нервнее и эластичнее, но у этой Марианны Дюпорт бесподобная техника, кроме того, множество мелких неожиданностей жеста, производящих обаятельное впечатление. Исход борьбы меж ними решен. Я высчитал это с метром в руках по столбцам театральной хроники “Обозревателя”, и, как сейчас помню, на Элен Грен

приходится десять дюймов за неделю против двух с половиной метров “блистательной Марианны”.

Предупреждая смех слушателей, человек с сумкой обратился к бакенбардисту:

— Позвольте спросить вас, — сказал он при всеобщем несколько ироническом внимании, — разговор, кажется, идет об Элен Грен, артистке театра?

— Именно так, — ответил пассажир, оскаливаясь с фальшивой любезностью человека, чувствующего свое превосходство. — Вы любитель балета?

— Меня зовут Франгейт, — сказал молодой человек, — я плохо знаю, что такое балет. Меня интересует, не знаете ли вы также другой подобной артистки, — ее имя Карион. Карион Фэм.

— Но это — одно лицо, — вмешался человек с длинными волосами, с пышным галстуком и измятым лицом. — Сценическая фамилия интересующей вас артистки Грен. А настоящая — совершенно верно — Карион Фэм, хоть я удивляюсь, как вам стало известно настоящее ее имя.

Пропуская бесцеремонность тона, Франгейт, помолчав, спросил:

— Но почему же она переменила имя? Так, я слышал, бывает в монастырях. Разве поступивший на сцену уходит от жизни? И главное — “Карион Фэм” гораздо красивее.

— Пожалуй, — сказал капитан парохода, — пожалуй. Вроде как бы и уходит. Уходит от многого.

Франгейт снова раскрыл рот, но общество, заметив его надоедливое оживление, поспешно забалагурило. Он отошел и стал смотреть на темную воду, бегущую под водоворот колес. Впереди, как бы нависшая в воздухе, светилась пелена огней. — “Скоро ли Сан-Риоль?” — спросил он матроса. — “Вот — это он виден”, — сказал матрос. IX

Перед последним актом спектакля через тонкие перегородки уборных слышался ретивый мужской смех, лукавый, сдержанный шепот и гневные восклицания. По коридору хлопали двери, вдали играла музыка, перебиваемая шорохом и стуком кулис.

В уборной Элен Грен стояли два человека: она и грузный господин с умным порочным лицом. Девушка, нервически оправляя окружающую ее гибкий стан стрелой газового кольца, трепещущую, как туман, юбку, сдержанно, но тяжело дышала, улыбаясь и смотря вниз; ее губы были искусаны от волнения, ноги машинально переступали на месте. Ниже колен, под шелковым трико, видны были вздувшиеся веревкой вены. По напудренному лицу пробегала мгновениями глубокая бледность.

— Так это было хорошо, Безантур?

— Отлично, маленькая моя. Теперь тебе предстоит нанести последний удар. Симпатии вернулись к тебе. В антракте Глаубиц сказал, крепко пожав мне руку: — “Она восхитительна. К ней вернулась вся прежняя экспрессия. Боюсь, что Марианна сегодня проведет плохую ночь. Пишу статью, равную блеску ног Элен Грен”, — и он усмехнулся, очень довольный.

— Подай мне кокаин, — быстро сказала Карион.

Безантур взял с ее туалетного стола хрустальный флакон и зацепил в нем крошечным серебряным острием ложечки немного белого порошка. Девушка втянула его, как нюхают табак, прижав одну ноздрю, затем другую. Краска вернулась к ее лицу, глаза стали ненормально блестеть. Теперь она не чувствовала усталости.

Уже музыка начинала то место, с какого должна была выступать Элен Грен. Волнуясь, подняла она голову и вышла к расступившейся перед ней толпе закулисных гостей, толкающихся в проходах сцены.

Режиссер, поддерживая балерину под локоть, вывел ее к кулисе. — “Раз… два…” — считал он. Затем танцующее, ею самой не чувствуемое тело в облаке газа было передано силой музыки и момента ослепительно яркому помосту, полному женской толпой с заученной неподвижной улыбкой гримированных лиц и открытой пастью авансцены, где в глубоких сумерках притушенных ламп слышалось сдержанное напряжение зрителей.

Только что Марианна Дюпорт кончила свое соло, покрытое, после глубокой паузы, ревом аплодисментов. Теперь должна была танцевать соло Элен. Оркестр начал быстрый, плывущий мотив. Уже чувствуя победу по холоду рук и ног, пробегающему иногда сквозь все тело болезненной электрической волной, Карион выбросилась из рук партнера, поднявшего ее выше головы, с силой птицы; едва коснувшись земли, немедленно завладела она сценой и зрителями, стремясь вверх такими быстрыми и сильными движениями, что оркестр вынужден был ускорить темп. Несясь мимо левого угла сцены, мельком взглянула она на вызывающее лицо Дюпорт.

— Карион! — раздался взволнованный мужской голос из первого ряда кресел. — Я, верно, угадал сразу. Но сомневался, так как ошибиться было бы глупо. Смотри. Лови. Это твоя метка на иве.

Ее как будто ударили по ногам. Следуя обычаю, быстро нагнулась она поднять венок или то, что мелькнуло в воздухе, как венок. Это был связанный кольцом ивовый прут с редкими молодыми листьями. Она подняла и, вся вздрогнув, старалась некоторое время понять, что все это значит. Наконец сцена на берегу выступила среди волнений этого вечера хлестким и неприятным ударом, напоминающим холодную каплю дождя, упавшую на лицо в разгаре веселья огненного летнего дня. Ее порыв согнулся и смолк, сердце упало; легкий гнев вместе с холодным любопытством остановил упоительное движение, и Карион, выпрямившись, просительно посмотрела на то место первого ряда, где сияло загорелое лицо привставшего и махающего рукой Франгейта.

Заставив себя кивнуть, она сделала это вполне театрально, хотя с упреком себе. Вся сцена, включая кивок, длилась не более минуты — минуты, в течение которой было совершенно нарушено равновесие духа одной женщины и укрепилось — другой. Карион, не оглянувшись, ушла с раздражением; ее провожал несколько приподнятый шум ровных аплодисментов. Так на весы успеха одинокий человек из ивовой заросли бросил решительный груз — не в пользу своей любви.

Окруженный легкой атмосферой скандала, выражаемой изумленными или негодующими взглядами, Франгейт просидел тихо, с упавшим сердцем, до занавеса. Он чувствовал, что она уедет. Он видел, как девушка передала ветку руке, высунувшейся из-за кулис, и множество раз ошибаясь всевозможными переходами, спрашивая с краской в лице, как идти, попал в коридор, где газовые рожки делали белый день среди ночи. Рассеянно посмотрев на змеиные глаза горничной, он стукнул в заветную дверь одновременно рукой и сердцем, затем очнулся среди цветов, разбросанного платья и зеркал. Здесь пахло тяжелыми ароматами и жженым волосом.

— Здравствуй, дикое прошлое, — полусмеясь и прислушиваясь к шуму за дверью, сказала девушка. — У тебя уже борода. Ты слышал обо мне. Как? Где? Что значит твоя оригинальная выходка? О, если бы ты подождал немного! Ведь ты зарезал меня. Я сразу устала, у меня был очень трудный момент… меня сильно избили. И все пропало…

Франгейт не кончил. Он потрепал ее руку, дружески похлопав холодные пальцы своей

сильной рукой.

— Я знаю, что тебе тяжело, — сказал он, — я чувствовал, что тяжело; потому и разыскал и приехал к тебе. Но дай взглянуть.

Он обвел ее лицо пристальным взглядом. От прежней Карион сохранилась лишь упрямая верхняя губка и глаза, — остальные черты, оставшись почти прежними, приобрели острый оттенок лихорадочной жизни.

— Ты похудела и очень бледна, — сказал он, — это, конечно, оттого, что нет света наших долин. Смотри, как у тебя напружены на руках жилы. Твое сердце слабеет. Бросай немедленно свой театр. Я не могу видеть, как ты умираешь. В каких странных условиях ты живешь! Здесь нет нашей ивы, и наших цветов, и нашего чудесного воздуха. Тебя, верно, здесь держат насильно. Однако я здесь, если так. Ты будешь снова розовой и веселой, когда перестанешь портить лицо различными красками. Зачем ты назвалась Элен Грен? Вместе с именем как будто подменили тебя. Разве не ужасает тебя жизнь среди этих картонных роз и холщовой реки? Я видел нарисованную луну, когда сюда шел, — она валялась в углу. Тебе надо быть здоровой, как раньше, и бросить этот убийственный мир. Слушай… я говорю много оттого, что мне дико и непривольно здесь. Слушай: давно уже, так как я хорошо знаю реку, зовут меня лоцманом на два парохода, и ты будешь жить со мной спокойно, как твоя рука, когда лежит она ночью под головой. Вспомни, как золотист и сух песок на ивовой заросли, вспомни купанье и как кричала ты утром пронзительное “а-а” и болтала ногами. Идем. Идем, Карион, скоро будет обратный пароход, в три часа ночи, — погода отличная.

Говоря так, он притягивал и целовал ее руки, заглядывая в глаза.

Она отняла руки.

— Ты… ты говоришь очень смешно, Франгейт. Думаешь ли ты о том, что говоришь?

— Я думал все время.

— Знаешь ли ты, что такое “артист”? Артист — это человек, всецело посвятивший себя искусству. Я уже известна; вот-вот — и слава разнесет мое имя дальше той трущобы, где я родилась. Как же ты думаешь, что я могу бросить сцену?

— Прут был посажен тобой, — кротко возразил Франгейт, — случилось истинное чудо, что он дал листья. Я всей душой хотел этого. Это была твоя память, и ты поклялась ею, что возвратишься. Разве я не могу верить тебе?

— Нет, можешь, — сказала она с трудом, вся дрожа. Ее взгляд стал остер и неподвижен, лицо побелело. Взяв шарф, она, не сводя взгляда с Франгейта, стала медленно окутывать им шею, смотря с открытой и глубокой ненавистью. И вся она напоминала теперь отточенный нож, взятый неосторожной рукой.

Франгейт смолк. Несколько выражений пробежало в омраченном его лице: боль, тревога, нежность; наконец, залилось оно глубоким, ярким румянцем.

— Нет, — сказал он. — Я не хочу жертвы, я пришел только сказать, что ива цветет и что не поздно еще. Простите меня, Элен Грен. Будьте счастливы.

Так он ушел и очутился на улице, идя совершенно спокойно, как для прогулки. На темной площади встретил его неподвижно ожидающий Рауссон, шепча на ухо тайные, заманчивые слова. Но у него хватило силы подождать ровно три года, пока снова не зацвело сердце, как та ива, которую спрыскивал хлорофиллом доктор растений.

Серый автомобиль

I

16 июля, вечером, я зашел в кинематограф, с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним разговором с Корридой. Я встретил ее переходящей бульвар. Еще издали я узнал ее порывистую походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланялся, пытаясь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивленным выражением глазах, выглядящих так строго под гордым выгибом шляпы.

Я повернулся и пошел рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага, иногда взглядывая в мою сторону, помимо меня. Я замечал, что на нее часто оглядываются прохожие, и радовался этому. «Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена, и завидуют мне». Я так увлекся развитием этой мысли, что не слышал обращений Корриды, пока она не крикнула:

— Что с вами? Вы так рассеянны. Я ответил:

— Я рассеян лишь потому, что иду с вами. Ничье другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой, древней музыкой ощущения полноты жизни и совершенного спокойствия.

Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила:

— Когда окончите вы ваше изобретение?

— Это тайна, — сказал я. — Я вам доверяю более, чем кому бы то ни было, но не доверяю себе.

— Что это значит?

— Единственно, что неточным объяснением замысла, еще во многих частях представляющего сплошной туман, могу повредить сам себе.

— Тысяча вторая загадка Эбенезера Сиднея, — заметила Коррида. — Объясните по крайней мере, что подразумеваете вы под неточным объяснением?

— Слушайте: лучше всего мы помним те слова, которые произносим сами. Если эти слова рисуют что-либо заветное, они должны совершенно отвечать факту и чувству, родившему их, в противном случае искажается наше воспоминание или представление. Примесь искажения остается надолго, если не навсегда. Вот почему нельзя кое-как, наспех, излагать сложные явления, особенно если они еще имеют произойти: вы вносите путаницу в самый процесс развития замысла.

Эту тираду мою она выслушала с любезной миной, но насторожась; я чувствовал, что мое общество становится ей все тягостнее. Мы молчали. Я не знал, попрощаться мне или идти далее. К последнему я не видел поощрения, наоборот, лицо Корриды выглядело так, как если бы она шла одна. Наконец, она сказала:

— Брат подарил мне новый «Эксцельсиор». Большое общество отправляется на прогулку через два дня; это будет настоящее маленькое скорострельное путешествие. Я присоединяюсь. Хотите, я возьму вас с собой?

— Нет, — сказал я твердо, хотя острое мучение она слышала, надо думать, в тоне этого слова. Не желая показаться грубым, я прибавил:

— Вы знаете, как я ненавижу этот род спорта. — Я едва не сказал: «эти машины», но

предпочел более общее уклонение.

— Но почему?

— Я некогда довольно распространился об этом в вашем присутствии, — сказал я, — я вызвал веселый, слишком веселый смех, и не хотел бы слышать его второй раз.

— Решительно вы озадачиваете меня. — Она остановилась у подъезда, взглянув мельком, прищуренными глазами на вывеску мод, и я понял, что надоел. Вывеска была только предлогом. — Да, вы озадачиваете меня, Сидней, и я думаю, что лишь плохое состояние ваших нервов причиной такой странной ненависти к… к… экипажу. — Она рассмеялась. — Прощайте.

Я поцеловал ее руку и поспешно ушел, чтобы не уличить случайно эту девушку в дезертирстве — она могла выйти, не посмотрев, здесь ли я еще.

Мне не было стыдно. Я мог бы любезно лгать, поехать с компанией идиотов и долго, долго смотреть на нее. Но я уже дал слово не лгать, так очень устал от лжи. Как все, я жил окруженный ложью, и ложь утомила меня.

Когда я переходил улицу, направляясь в кинематограф, под ноги мне кинулся дрожащий, растущий, усиливающийся свет и, повернув голову, я застыл на ту весьма малую часть секунды, какая требуется, чтобы установить сознанию набег белых слепых фонарей мотора. Он промчался, ударив меня по глазам струёй ветра и расстилая по мостовой призраки визжащих кошек, — заныл, взвыл и исчез, унося людей с тупыми лицами в котелках.

Как всегда, каждый автомобиль прибавлял несколько новых черт, несколько деталей моему отвращению. Я запомнил их и вошел в зал.

Это был скверный театрик третьего разряда, с грязным экраном и фальшивящей пианолой. Она разыгрывала трескучие арии. Картина, каких много — тысячи, десятки тысяч, была пуста и бессодержательна, но доставляла мне огромное удовольствие именно тем, что для ее развития затрачено столько энергии, — беспрерывного, мелькающего движения экранной жизни. Я как бы видел игрока, ставящего безуспешно огромные суммы. Аппарат, силы и дарование артистов, их здоровье, нервы, их личная жизнь, машины, сложные технические приспособления — все это было брошено судорожною тенью на полотно ради краткого возбуждения зрителей, пришедших на час и уходящих, позабыв, в чем состояло представление, — так противно их внутреннему темпу, так неестественно опережая его, неслись все эти нападения и похищения, пиры и танцы. Мое удовольствие, при всем том, было не более как злорадство. На моих глазах энергия переходила в тень, а тень в забвение. И я отлично понимал, к чему это ведет.

Между тем, — частью рассматривая содержание картины, я обратил другую, большую часть внимания на появляющийся в ней время от времени большой серый автомобиль — ландо. Я всматривался каждый раз, как он появлялся, стараясь припомнить — видел я его где-либо ранее или мне это только кажется, как часто бывает при схожести видимого предмета с другим, теперь забытым. Это был металлический урод обычного типа, с выползающей шестигранной мордой, напоминающий поставленную на катушки калошу, носок которой обращен вперед. На шофере был торчащий ежом мех. Верхнюю половину лица скрывали очки, благодаря чему, особенно в условиях мелькающего изображения, рассмотреть черты лица было немыслимо, — и однако я не мог победить чувства встречи; я проникся уверенностью, что некогда видел этого самого шофера, на этой машине, при обстоятельствах давно и прочно забытых. Конечно, при бесчисленной стереотипной схожести подобных явлений, у меня не было никаких зрительных указаний — никаких примерно индивидуальных черт мотора, но его цифр С.С.77–7, — некогда — я остро чувствовал это — имела связь с определенным уличным впечатлением, характер и суть которого, как ни тщился я вспомнить,

не мог. Память сохранила не самый номер, но слабые ощущение его минувшей значительности.

Однако этого не могло быть. Фильма вышла из американской фабрики, и съемка различных ее сцен была произведена, судя по характеру улиц, в Нью-Йорке, следовательно, тамошняя бутафория пользовалась предметами местными; я же не выезжал из Аламбо лет пять и никогда не был в Америке. Следовательно, мнимое воспоминание было не более как эффектом случайного происхождения. И тем не менее, — этот автомобиль с этим шофером я видел.

Когда нами овладевает уверенность в чем-нибудь, хотя бы мало— или совсем необоснованная, бороться с ней так же трудно, как птице, севшей на вымазанные клеем листья, — каждое движение прочь ловит и связывает ее крылья новой помехой. Таковы фантомы ревности или преследования, болезни — всего, что так или иначе угрожает. Самые разумные усилия приводят здесь к новым доказательствам, возникающим из пустоты. Уверенность того рода, какой я проникся в кинематографе, не имела ничего пугающего или неприятного, если не считать моего отвращения к автомобилю, но я досиживал сеанс со странным чувством начала некоего события, ткущего уже невидимую паутину свою.

Я не касаюсь персонажей той хищной и дрянной пьесы, которая держала на привязи жалкое воображение зрителей чрезмерными прыжками и сатанинскими преступлениями, очевидно, смакуемыми известного рода публикой, выносящей отсюда азарт и идеал свой… Но автомобиль С.С.77–7 я прослеживал каждый раз чрезвычайно внимательно, волнуясь при каждом его появлении. Их было шесть или семь. Наконец, он выкатился с холма издали серым наростом среди живописных картин дороги и начал валиться по ее склону на зрителя, увеличиваясь и приближаясь к натуральной величине. Он мчался на меня. Одно мгновение края полотна были еще частью пейзажа, затем все вспыхнуло тьмой, оскалившей два наносящиеся фонаря, и призрак исчез, лишь тень — воображенное продолжение движения — рискнула над головой бесшумной дрожью сумерек; и вновь вспыхнул пейзаж.

Более мне нечего было делать в кинематографе. К моим соображениям относительно автомобиля прибавилась еще одна черта, может быть — верное указание одно из тех, которым мы бываем обязаны так называемой случайности. Это соображение я пока не развертывал, оставляя будущему придать ему силу — если понадобится — действия, но холод великого подозрения уже охватил меня. Поддавшись необъяснимому толчку — словно на меня пристально обернулся кто-то — я прочел аршинные буквы ярко озаренного плаката, украшавшего вход в театр.

Название гласило:

СЕРЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Мировая драма в 6.000 метров!

Лучший боевик сезона!

Масса трюков! II

Нечто весьма неприятное вошло в меня, как будто мне наступили на ногу, нагло рассмеявшись и продолжая подсмеиваться за спиной. Поспешно я отошел, стараясь быстрой ходьбой и мелкими уличными наблюдениями разогнать скверное настроение, но оно медленно уступало моим усилиям, ловя каждую паузу размышлений, чтобы опять поставить, на некотором расстоянии впереди меня, слова «серый автомобиль». Хотя так как я прошел два квартала, графическая отчетливость букв исчезла — их заменил звук, казалось, эти два слова повторял кто-то далеко, тихо и тяжело. Я всегда избегал алкоголя, обращаясь к нему лишь в исключительных случаях, но теперь почувствовал необходимость выпить чего-нибудь.

Как известно, улица современного города подстерегает каждое желание наше, спеша удовлетворить его всегда кстати подвернувшейся вывеской или витриной. Я совершенно уверен, что человек, проходя фруктовыми рядами Голландской Биржи и почувствовавший нужду в каком-нибудь геодезическом инструменте, непременно увидит инструмент этот в окне невесть откуда взявшегося специального магазина.

Вино караулит нас в самых, казалось бы, для того неприспособленных местах. Что может быть вину убыточнее глухого угла между стеной Географического Института и Бульвара Секретов, где даже днем так густы тени огромных деревьев, что вся стена пахнет прохладой и сыростью; там почти нет эпилептического уличного движения, брызги которого разлетаются по бесчисленным ресторанам, звеня золотом и посудой. Однако, огибая этот угол, я увидел небольшую каменную пристройку, которой либо не было ранее, либо я не замечал ее. Эта пристройка, на два окна со стеклянной дверью меж ними, была маленьким рестораном, окруженным трельяжем, и я сел за стол у двери в качалку.

Здесь было немного посетителей. Смотря через окно в помещение, я увидел двух толстяков, играющих в домино, дремлющего, протянув ноги, пароходного механика с опущенной со стола кистью руки, в которой еле дымилась готовая упасть папироска, и трех закинувших нога на ногу женщин; они курили, забрасывая лицо вверх и выпуская дым медленными, однообразными кольцами.

Лакей подал ликер. Это был особенный травяной экстракт, очень крепкий. Я выпил две рюмки, выпил, помедлив и отставив графин, третью.

Действие не замедлило сказаться. Я ощутил ровную теплоту и точный ритм момента, быть может, определяемый скоростью биения сердца, может быть — пульсом внимания, интервалами его плавно набегающей остроты; мышление протекало интенсивно и бодро. Выпив, я рассмеялся над своим недавним волнением, прислушиваясь к свистящему по временам шелесту шин, с ясным сознанием, что меж мной и серым 77–7 не может возникнуть никакой связи, что ее нет. Уравновешенно остер и точен был я в тот момент в каждом отчетливом впечатлении своем — состояние, дающее ни с чем не сравнимое удовольствие, и я пользовался этой минутой, чтобы обдумать некоторые моменты моего изобретения.

Коррида Эль-Бассо, женщина неизвестной национальности — я говорю это смело, так как имею для того веские основания, — была заинтересована моим изобретением из вежливости. От меня зависело превратить эту форму чувства, эту пустую приятную улыбку, вызванную хорошим пищеварением, в чувство, быть может, в страсть. На это я не терял надежды. Но я должен был поразить и тронуть ее сразу, врасплох, может быть, в такую минуту, когда мое присутствие ею будет только терпимо. Когда наступит момент, изобретение — или вернее, то о чем она думает, как об изобретении — встретит ее всем блеском и обдуманностью крайней, болезненной, всеохватывающей решимости, — оно вызовет глубокое и яркое возрождение. Тем лучше. Тогда я узнаю истинную природу женщины Корриды Эль-Бассо, которую полюбил. Я увижу, есть ли другой оттенок в ее лице цвета желтого мела. Я услышу, как звучит ее голос, говоря «ты». И я почувствую силу ее руки, — ту особенную женскую силу, которая, переходя теплом и молчанием в наши руки, так электрически замедляет дыхание.

Удобно покачиваясь, я был мысленно в своей «лаборатории», в ущелье Калло, окрещенном так, вероятно, родственником знаменитого художника или его поклонником. На мое плечо легла легкая нервная рука: не оборачиваясь, я знал, что это Ронкур. Действительно, он сел против меня, спрашивая, что я делаю здесь?

— Отличное место для свидания, — прибавил он, — или для самоубийства. Свет окна, таинственная сеть листьев на тротуаре, одиночество и вино. Сидней, я иду в казино Лерха, там сегодня состоится оригинальное состязание. Это в вашем вкусе. Вы слышали о

необыкновенном счастье мулата Гриньо? Вот уже третий день, как он выигрывает беспрерывно в покер, собрав, кроме золота и драгоценностей, целый том чеков. Хотите посмотреть на игру? Там толпа.

Лучшего предложения мне не мог сделать никто. Отлично, если в сложном узле жизни, трудясь над ним, выберете вы отдыхом интересный спектакль, еще отличнее, если представление возникло самостоятельно, если вам предстоит развязка подлинного события с хором, статистами и неподдельной экспрессией главных героев сцены. Ронкур взял меня под руку и увел. III

Казино Лерха известно как колоссальный приют всякому преступлению. На его фронтоне ночью таинственно и печально белеет мраморная Афина-Паллада. У озаренных ступеней, сходящих веером к скверу, толпятся продавцы кокаина, опиума и сладострастных фотографий.

Длинная цепь автомобилей стояла здесь по обе стороны мостовой. Время от времени один из них, вздрагивая и гудя, отходил из строя полукругом, взвевал пыль и, пророкотав, исчезал вдали, каждый раз, как я видел это, у меня поднималось к сердцу ощущение чужого всему, цинического и наглого существа ради цели невыясненной. Обычно продолговатые ямы этих массивных, безумных машин были полны людей, избравших тот или другой путь доброй волей, — но у зрения есть своя логика, отличная от логики отвлеченной. Я иногда не мог сказать сам себе: «Они едут»; я говорил: «Их увозят», наше обычное знание внутреннего, общего для всех темпа не могло слить этот темп с неестественной быстротой среди явлений, находящихся по отношению друг друга в испытанном и привычном равновесии. Проходя улицей, я был всегда расстроен и охвачен атмосферой насилия, рассеиваемой стрекочущими и скользящими с быстротой гигантских жуков сложными седалищами. Да, — все мои чувства испытывали насилие; не говоря о внешности этих, словно приснившихся машин, я должен был резко останавливать свою тайную, внутреннюю жизнь каждый раз, как исступленный, нечеловеческий окрик или визг автомобиля хлестал по моим нервам; я должен был отскакивать, осматриваться или поспешно ютиться, когда, грубо рассекая уличное движение, он угрожал мне быть искалеченным или смертью. При всем том он имел до странности живой вид, даже когда стоял молча, подстерегая. С некоторого времени я начал подозревать, что его существование не так уж невинно, как полагают благодушные простаки, воспевающие культуру или, вернее, вырождение культуры, ее ужасный гротеск…

— Прочь из четвертого измерения! — сказал Ронкур, видя, что я молча остановился на тротуаре. — Феи покидают вас, так как фонари этого подъезда могут причинить им бессонницу.

Особенностью притона была удручающая, крикливая роскошь, — правильный расчет на бессознательное, — иллюстрация к выигрышу. Мы поднялись среди блестящей заразы голубоватого света и женских тел, взвивающих на перспективах огромных картин легкие ткани. По коврам, заставляющим терять ощущение ног, мы пробрались через изысканно одетую толпу, под навесы пальмовых листьев; здесь, имея за спиной мраморную группу фонтана, а перед собой — дрожащие руки только что обнищавшего игрока, мулат Гриньо давал блестящий спектакль. IV

Я встал на возвышение у стены, Ронкур рядом со мной. Так был отлично виден и стол, и лица играющих, — их было семь человек, считая мулата.

У стола волновалась окидывающая пари толпа.

Мулат сидел, расставив локти, с засученными руками сорочки, без сюртука. На его полном, кофейного цвета лице блестел мелкий пот. Черная борода, обходя щеки и подбородок жестким кольцом, двигалась, когда, играя сжатыми челюстями, обдумывал он прикупку или

повышение ставки. Он очень часто объявлял «масть» и «фульгент», но часто и пасовал. Две ставки на моих глазах по десять и двадцать тысяч он загреб, показав всего тройку дам, в то время как противник его имел один раз — две пары семерок, второй — трех валетов. Был случай, что на каре он бросил каре с «джокером». Игра шла с «джокером», и я заметил, что «джокер» приходит к нему довольно часто.

Еще подходя к столу, я заметил, как уже упомянул об этом, игрока, бросившего бессильные карты в волнении, выказывавшем окончательный проигрыш. При мне было довольно денег, и я стал следить за игроком, чтобы сесть на его место, если он вздумает оставить стол. Это случилось скоро. Насильственно зевая, игрок встал с бледным лицом, толпа расступилась и вновь сомкнулась, когда он выбрался из ее сжимающего кольца.

Кресло стояло пустым. Взглянув на Ронкура, ответившего мне хладнокровно одобрительной улыбкой, я занял место, имея мулата прямо перед собой. Он даже не взглянул на меня. Крупье сдал карты;

Мои были лишены масти и далеки от «последовательности», короче говоря, они не представляли никакой силы; однако я не сказал «пас», но, сбросив карты, купил все пять. Теперь образовался фульгент, благодаря «джокеру», пришедшему при покупке. Как известно, «джокер» есть карта с изображением дьявола, — пятьдесят третья в колоде; она имеет условное значение — получивший «джокер» может объявить его любой картой любой масти. У меня были десятка, три семерки и «джокер»; считая его четвертой семеркой, я имел сильную комбинацию из четырех одинаковых, т. е. «каре».

— «Тысяча», — сказал я, — когда пришла моя очередь набавлять. Игрок слева бросил карты, второй сделал то же, третий сказал: «Две». — «Пять», — сказал Гриньо. При втором круге — как это почти всегда бывает, если не объявится не уступающий третий игрок, играющими остались я и Гриньо.

— Десять, — сказал я с миной и азартом новичка, желающего испугать противника. Гриньо тускло посмотрел на меня и в тон мне ответил «сто».

Теперь следовало согласиться на его сумму и открыть карты или назвать еще большую сумму, после чего он мог, если хотел, отказаться от сравнения карт, лишившись своих ста тысяч без игры. В том же положении был и я. Такова игра покер; двое, не показывая друг другу карт, назначают поочередно все большие суммы, пока кто-нибудь не струсит, опасаясь, что может отдать еще больше, если карта противника окажется сильнее его карт; или же, согласившись на последнюю названную противником сумму, открывает одновременно с ним карты, — чьи сильнее, тот забирает ставки противника и всех других игроков.

Естественно, я не знал, что на руках у мулата. У него сильнее моего «каре» могло быть: «каре» из более крупных карт, чем семерка; затем последовательность пяти карт одной масти, идущих в определенной градации: например, от шестерки к десятке, или от десятки к тузу В этих случаях он выигрывал, если, конечно, не бросил бы карт, испугавшись моего неизвестного, — прими я вид полной уверенности в победе, назначая ставку все большую. Но он мог и не испугаться, и когда, таким образом, мы открыли бы наконец свои карты, оказалось бы, что я сам навязал ему больший выигрыш, чем он рассчитывал получить.

Равным образом его карты могли быть слабее моих, они могли не иметь совсем никакой силы, если на прикупке (он сбросил и прикупил четыре) у него не образовалось даже минимального шанса — одной пары одинаковых карт, — комбинация, на которой, при смелости, вернее, отчаянности, выигрывают иногда большие суммы, если противник, вообразив, что на него нападают с каре, бросает, быть может, фульгент.

Итак, мы ничего не знали взаимно о силе карт наших. Слышав уже о дерзкой игре мулата, я предполагал вначале с его стороны простой блеф, но величина поставленной им суммы

говорила за то, что у него как бы есть основание играть крупно. Мне представлялось три положения: открыть карты, быть может, проиграв, если он сильнее меня; назначить более ста, давая тем возможность Гриньо назначить еще выше назначенного, или бросить игру, уплатив десять тысяч.

Я и собирался уже поступить так, не имея особенных оснований рисковать крупной суммой ради каре из семерок. Я еще раз рассмотрел карты, несколько удивленный тем, что спутался в счете семерок, — их было четыре. Одну из них, именно червонную, я считал десяткой, — почему, этого объяснить я не в состоянии. Таким образом, мой «джокер», — моя пятая карта, которую я мог обозначить, как любую карту, естественно, была пятой семеркой, — предел могущества в покере, — пять одинаковых карт, вещь, случающаяся крайне редко Имея на руках четыре одинаковых карты с «джокером» в придачу, вы можете обобрать противника до последней копейки, однако при условии, что он тоже имеет сильную карту.

Так я и намеревался поступить. Но следовало ничем не выдать себя, нужно было внушить Гриньо, что у меня, самое большое, — крупный «фулгент» (Две и три одинаковых, две дамы, три шестерки, примерно (Прим. автора)). Условием такого приема явилось предположение, что я имею дело с картой, не слабее фульгента. Приложив ко лбу указательный палец, я задумался — притворно, конечно, — над своей пятеркой и сжал губы, чтобы показать этим напряженный расчет. В то же время в задачу мою входило, чтобы Гриньо понял, что я притворяюсь, но неискусно; что у меня — пусть он так думает — карта слаба, так как обычно притворное колебание выражают при слабой карте, желая внушить обратное — что карта сильна, это противоречие станет понятно, если я прибавлю, что игрок с действительно сильной картой действует решительно и крупно, в расчете сбить встречный расчет. Короче говоря, действия мои должны были свестись к тому, чтобы вызвать в Гриньо заключение, обратное действительности. И я начал с долгого колебания.

Теперь, когда он, по-видимому, думал, что я притворяюсь с слабой картой, надо было показать иное — притворство с картой могущественной. Если бы он догадался, что я бью наверняка, он бросил бы карты и не стал набавлять более. Но я сказал-

— Триста тысяч.

Это была сумма, в два раза превышающая мое состояние Но я играл наверняка, я мог назначать миллионы, ничем решительно не рискуя.

Настала такая тишина, какая бывает, когда все уйдут. Но, подняв голову, я увидел бесчисленную портретную галерею алчбы, горевшей в глазах зрителей; черты их лиц стали лесом, дрожащим от возбуждения. Мулат и я были для них божествами, держащими в руках гром.

— Чек, — хрипло сказал мулат, тяжело и остро взглядывая на меня.

Как ни всматривался, я не мог понять его состояния. Он смотрел, ничем не выдавая себя, положив обе руки горкой на свои карты и тупо смотря на стол посредине расстояния меж мною и им. Отложив карты, я стал писать чек, медленно и кругло выводя буквы, ровными строчками. Перед тем как подписаться, я сморщил нос, рассеянно взглянул на мулата и подмахнул: Эбенезер Сидней.

Когда я взглянул на него, то увидел, что мизинец его левой руки предательски дрогнулся. Все стало ясно мне. Он волновался, потому что у него наверняка было каре. Он волновался от жадности, рассчитывая сорвать состояние. Как знаете вы, — мне волноваться не было никаких причин, и я мог разыгрывать сколько угодно вид человека, «дьявольски владеющего собой». Написав чек, я подал его крупье.

— Чек на триста тысяч долларов, королевскому банку в Энтвей, — громко сказал крупье.

Гриньо, видимо, повеселел.

— Пятьсот тысяч, — небрежно заявил он, сдвигая на середину стола все деньги и чеки, какие лежали перед ним.

— Принимаю, — холодно сказал я.

Рокот восхищения обошел стол. Удар на полмиллиона долларов! Ронкур смотрел на меня взглядом птички, зрящей змею. Наступил момент открыть карты. Игроки, заключавшие пари, перестали дышать.

— Ну, — сказал я, смеясь, — Гриньо, выкладывайте ваше каре! Он перевернул карты, пристукнув кистью руки, так что туз отлетел в сторону. Но там их было еще три — каре из тузов, вот что было в его руках! Бешеный рев покрыл это движение, яростный взрыв облегчения со стороны поставивших на Гриньо. Казалось, вихрь разметал толпу, она смешалась и переместилась с быстротой нападения. Ронкур горестно побледнел, я видел в его изящном лице истинное, большое горе. Почти никогда не побивают такой карты. Он знал мои денежные дела, поэтому, спокойно достав чековую книжку, спросил вполголоса:

— Вам сколько, Сидней?

— Вы ошиблись, — сказал я, показывая свои пять с улыбающимся чертом и раскладывая их одна к одной. — Гриньо, нравится вам этот джентльмен?

Момент не поддается изображению. Я не слышал криков и воплей, так как наслаждался бесконечно выражением лица опешившего мулата.

— Ваша… — сказал он сквозь звуки, напоминающие вой. Затем он откинулся, глаза его закатились… он был в обмороке. Пока его выносили, крупье, сосчитав деньги, передал их мне, заметив, что не хватает десяти тысяч. Он вызвался навести справки и ушел, я же разговаривал с Ронкуром, окруженный множеством добровольных рабов, этих щегольски одетых парий каждого крупного притона, льнущих к золотой пыли.

Меж тем вернулся крупье, и я прочитал залитую вином записку Гриньо: «Немного денег я пришлю завтра, — писал он, — но полностью у меня не хватит. Но я пришлю, в расчет ваш, новую машину, С.С.77–7, я недавно купил ее. Если хотите. В противном случае вам придется ждать, пока дьявол придет ко мне».

— Что с вами? — спросил Ронкур, видя, что я встал. Я был против зеркала и, посмотрев в него, понял вопрос. Но мне было совершенно все равно, что он подумает обо мне. От моих ног медленно, с силой отяжеления, поднялся глубокий, смертельный холод. Возбуждение азарта исчезло. Я снова посмотрел на записку, спрашивая себя, почему Гриньо вздумал написать номер? Ронкур, еще раз внимательно взглянув на меня, взял записку.

— Ну, что же? — сказал он. — Теперь ясно, что вы излечитесь от своего страшного предубеждения, — сама судьба посылает вам красивый и быстрый экипаж.

— Как вы думаете, почему он написал номер?

— Машинально, — сказал Ронкур.

— В конце концов, я думаю то же. Хотите, мы пустим его в пропасть с горы?

— Но почему?

— Мне кажется, что так нужно, — сказал я, овладевая собой. В тот вечер владели мной страшные силы — мысли и желания сливались неразделимо.

— Смотрите, что это? Все повалили, бегут. — Ронкур взял меня под руку. — Посмотрим, где происшествие.

Действительно, зала вокруг пустела. Многие оставались, но многие, перекинувшись парой слов, возводили брови и быстро исчезали в голубом дыме сверкающей анфилады дверей. Я шагнул было за Ронкуром, но случилось, что любопытство наше было удовлетворено немедленно; три завсегдатая, издали махая руками, прокричали навстречу;

— Джокер убил Гриньо! Он умер от кровоизлияния в мозг!

— Как!? — сказал я. Противно некоторому возбуждению, поднявшемуся при этом известии, — оно холодно повернулось во мне; оно подействовало значительно слабее, чем записка с цифрой — такой многозначительной, такой глухой, молчащей и говорящей на языке вещей, нам недоступном, — я с ужасом заметил, что болтаю совершенный вздор, смеясь и отвечая невпопад тем, кто окружал меня в эту минуту. Меж тем, трагическая гримаса обошла залы, на мгновение смутив суеверных и тех, у кого не совсем умерло сердце, после чего все стали по-прежнему отчетливо слышать оркестр, и движение восстановилось. Смеясь проходили пары. Рой женщин, окружив толстяка, масляно плывущего среди их назойливого цветника, улыбался так невинно, как если бы резвился в раю. V

Видя, что я до крайности возбужден, и по-своему понимая мое состояние, Ронкур не удерживал меня, когда я направился к выходу. Я пожелал ему скорой удачи. Он остался за баккара.

В моем состоянии была черная, косая черта, вызванная запиской мулата. Эта черта резко пересекала пылающее поле моего возбуждения, — как ни странно, как ни противно моему изобретению, неожиданное богатство, казалось, не только приближает меня к Корриде, но ставит рядом с ней. Разумеется, такое вредное впечатление коренилось в собственной натуре ее. Она жила скверно, то есть была полным, послушным рабом вещей, окружавших ее. Эти вещи были: туалетными принадлежностями, экипажами, автомобилями, наркотиками, зеркалами и драгоценностями. Ее разговор включал наименования множества бесполезных и даже вредных вещей, как будто, отняв эту основу ее жизни, ей не к чему было обратить взгляд. Из развлечений она более всего любила выставки, хотя бы картин, так как картина, безусловно, была в ее глазах прежде всего — вещью. Она не любила растений, птиц и животных, и даже ее любимым чтением были романы Гюисманса, злоупотребляющего предметами, и романы детективные, где по самому ходу действия оно неизбежно отстаивается на предметах неодушевленных. Ее день был великолепным образцом пущенной в ход машины, и я уверен, что ее сны составлялись преимущественно из разных вещей. Торговаться на аукционе было для нее наслаждением.

При всем том, я любил эту женщину. В Аламбо она появилась недавно; вначале приехал ее брат, открывший деловую контору; затем приехала она, и я познакомился с ней, благодаря Ронкуру, имевшему какие-то дела с ее братом. И около этого пустого существования легла, свернувшись кольцом, подобно большой собаке, моя великая непринятая любовь. Тем не менее, когда я думал о ней, мне легче всего было представить ее манекеном, со спокойной улыбкой блистающим под стеклом.

Но я любил в ней ту, какую хотел видеть, оставив эту прекрасную форму нетронутой и вложив новое содержание. Однако я не был столь самонадеян, чтобы безусловно положиться на свои силы, чтобы уверовать в благоприятный результат попыток. Я считал лишь, что могу и обязан сделать все возможное. Я, к сожалению, хорошо знал, что такое проповедь, если ее слушает равнодушное существо, само смотрящее на себя лишь как на сладкую физическую цель и мысленно переводящее весь искренний жар ваш в вымысле циничном, с насмешкой над бессилием вашим овладеть положением. Поэтому мой расчет был не на слова, а на действия ее собственных чувств, если бы удалось вызвать перерождение. Немного, — о,

совсем немного хотел я: живого, проникнутого легким волнением румянца, застенчивой улыбки, тени задумчивости. Мы часто не знаем, кто второй живет в нас, и второй душой мучительницы моей мог оказаться добрый дух живой жизни, который, как красота, сам по себе благо, так как заражает других.

Именно так я думал, так и передаю, не пытаясь в этом — в священном случае придать выражениям схоластический оттенок, столь выгодный в литературном отношении, ибо он заставляет подозревать прием — вещь сама по себе усложняющая впечатление читателя. Я всегда думал об этой женщине с теплым чувством, а я знаю, что есть любовь, готовая даже на смерть, но полная безысходной тоскливой злобы. У меня не было причины ненавидеть Корриду Эль-Бассо. В противном случае я был бы навсегда потерян для самого себя. Я мог только жалеть.

У меня было время думать обо всем этом, когда быстро и с облегчением я удалялся от клуба в свете электрических лун, чрезвычайно счастливый тем, что не мог ответить мулату, так как неизбежно должен был сказать «да», то есть согласиться принять машину, из противоречия и вызова самому себе; нас всегда тянет смотреть дальше, чем мы опасаемся или можем. Благодаря печальному случаю, машина оставалась при нем, ненужная ему самому. Свежесть перелетающего крепким порывом морского ветра, опахивая лицо, несколько уравновесила настроение; уже готовый улыбнуться, я переходил улицу, почти пустую в тот час ночи, неторопливо и эластично. Меня заставил обернуться ровный звук сыплющегося где-то вблизи песка. Я поскользнулся, и меня это спасло, так как мое тело, потеряв равновесие, шатнулось в сторону судорожными шагами как раз перед налетающим колесом. Еще не успело исчезнуть зрительное ощущение страшной близости, как, с пронзительным, взвизгивающим лаем, огромный серый автомобиль мелькнул в свете угла и скрылся в замирающем шипении шин. Его фонари были потушены, он был пуст Шофера я не успел рассмотреть. Я не успел также заметить его номер.

При всем очень тщательном внимании к себе после этого происшествия я заметил, что мое сердце бьется лишь немного сильнее, что я почти не испугался. Я даже был чему-то отчасти рад, так как получил некоторое предупреждение. Ни одной мысли по этому поводу я в тот момент не мог отыскать в отчетливой форме; все они, крайне живые и многочисленные, напоминали перебор струн, намекающий уже на мелодию, но звучащий понятно лишь знающему мотив уху, — я же не знал мелодии. Вам знакома попытка оживить сон немедленно по пробуждении, когда его сцены ясно невидимы еще вами, и вы понимаете их, но не можете тотчас перевести понимание в мысль, меж тем смысл ускользает с быстротой взятой горстью воды, и улетучивается совершенною, как только полностью прояснится сознание? Подобного или почти подобного рода ощущения повернулись во мне. Я нанял фиакр, приказав ехать к себе, и прибыл в четыре ночи к подъезду, узнав, что еще не спят.

Здесь я жил гостем у семейства Кольмонс. Наши отцы вместе начинали делать богатство. Теперь дети их сошлись вместе, в одних стенах, жить для удовольствия и неопределенного приятного будущего. Я вошел, зная, что застану спор, танцы или концерт. VI

Завернув сначала к себе, я открыл бюро и уложил там свой выигрыш. Мне не хотелось сообщать о нем кому бы то ни было, по крайней мере теперь.

— В таком случае, — услышал я, подходя к двери столовой, знакомый голос Гопкинса — Гопкинс был адвокат, — его раздавило автомобилем. Вы знаете, как Сидней осторожен на этот счет. Между тем осторожные люди часто становятся жертвой именно того, чего они опасаются.

— Вы почти правы, — сказал я, входя. — Случайно не произошло именно так.

Дам не было. Моя сестра и жена старшего моего двоюродного брата, Ютеция, ушли давно

спать. Старший кузен, Кишлей, и младший, Томас, сидели в обществе гостей, Гопкинса, Стерса и «Николая». Так звали газетного критика, недавно приступившего к возведению здания своей карьеры: его фамилия была так длинна и нелепа, что я не помнил ее.

Они пили. Окна были раскрыты. Рассказав случай с автомобилем, я некоторое время слушал рассуждения и соображения адвоката, долго объяснявшего мне, почему не надо откидываться назад, если набегает автомобиль, ответил «да» и умолк. Разговор, не задержавшись на мне, вернулся к своему руслу — то был футуризм, с ненавистью отвергаемый Гопкинсом; Николай смеялся над ним. Им противился Томас и, как это ни было странно, — Кишлей, чье полное, добродушное лицо в момент методического, обдуманного и вкусного закуривания сигары казалось воплощением здоровых, азбучных истин.

— Всегда преследовали и осмеивали новаторов! — сказал Томас.

— Небольшая часть этих людей, конечно, талантливы, — возразил Гопкинс, — зато они, как это заметно по некоторым чертам их произведений, вероятно пойдут особой дорогой. Остальное — сплошная эпилепсия рисунка и вкуса.

— Я возмущен тем, что меня открыто и нагло считают дураком, — сказал Николай, — подсовывая картину или стихотворение с обдуманным покушением на мой карман, время и воображение. Я не верю в искренность футуризма. Все это — здоровые ребята, нажимающие звонок у ваших дверей и убегающие прочь, так как им сказать нечего.

— Но, — возразил Кишлей, — должна же быть причина, что это явление стало распространенно? Причины должны корениться в жизни. Вы относитесь к этому, как Сидней к автомобилю; он ни за что не поедет в нем, хотя десятки и сотни тысяч людей пользуются им каждый день.

— Кишлей прав, — сказал я, — футуризм следует рассматривать только в связи с чем-то. Я предлагаю рассмотреть его в связи с автомобилем. Это — явление одного порядка. Существует много других явлений того же порядка. Но я не хочу простого перечисления. Недавно я видел в окне магазина посуду, разрисованную каким-то кубистом. Рисунок представлял цветные квадраты, треугольники, палочки и линейки, скомбинированные в различном соотношении. Действительно, об искусстве — с нашей, с человеческой точки зрения — здесь говорить нечего. Должна быть иная точка зрения. Подумав, я стал на точку зрения автомобиля, предположив, что он обладает, кроме движения, неким невыразимым сознанием. Тогда я нашел связь, нашел гармонию, порядок, смысл, понял некое зловещее отчисление в его пользу из всего зрительного поля нашего. Я понял, что сливающиеся треугольником цветные палочки, расположенные параллельно и тесно, он должен видеть, проносясь по улице с ее бесчисленными, сливающимися в единый рисунок сточных труб, дверей, вывесок и углов. Взгляните, прижавшись к стене дома, по направлению тротуара. Перед вами встанет короткий, сжатый под чрезвычайно острым углом, рисунок той стороны, на какой вы находитесь. Он будет пестрым смешением линий. Но, предположив зрение, неизбежно предположить эстетику — то есть предпочтение, выбор. В явлениях, подобных человеческому лицу, мы, чувствуя существо человеческое, видим связь и свет жизни, то, чего не может видеть машина. Ее впечатление, по существу, может быть только геометрическим. Таким образом, отдаленно — человекоподобное смешение треугольников с квадратами или полукругами, украшенное одним глазом, над чем простаки ломают голову, а некоторые даже прищуриваются, есть, надо полагать, зрительное впечатление Машины от Человека. Она уподобляет себе все. Идеалом изящества в ее сознании должен быть треугольник, квадрат и круг.

— Черт возьми! — вскричал Гопкинс. — Не думаете же вы, что автомобиль обладает сознанием, душой?!

— Да, обладает, — сказал я. — В той мере, в какой мы наделяем его этой частью нашего существа.

— Поясните, — сказал Кишлей.

— Охотно, — сказал я. — Принимая автомобиль, вводя его частью жизни нашей в наши помыслы и поступки, мы безусловно тем самым соглашаемся с его природой: внешней, внутренней и потенциальной.

Этого не могло бы быть ни в каком случае, если бы некая часть нашего существа не была механической; даже, просто говоря, не было бы автомобиля. И я подозреваю, что эта часть сознания нашего составляет его сознание.

— Доказательства! — вскричал Николай.

— Вы могли бы с одинаковым правом потребовать доказательств, если бы я утверждал, что кошка видит иные цвета, чем мы. Между тем ни я, ни кошка не можем быть приведены к очной ставке, так как у нас нет взаимного понимания. Нет средств для этого. Однако животные должны иметь иные и, может быть, совершенно отличные, чем у нас, ощущения физические. Например, — стрекоза с ее десятками тысяч глаз. Согласитесь, что ощущения света при таком устройстве органа должны быть иными, чем наши.

— Неодушевленная материя, — сказал Кишлей. — Железо и сталь мертвы.

Я ничего не возразил на это. Мне показалось, что за окном крикнул автомобиль. Действительно, крик повторился ближе, затем под самым окном.

— Вы слышите? — сказал я. — Вот его голос — вой, отдаленно напоминающий какие-то грубые, озлобленные слова. Итак, у него есть голос, движение, зрение, быть может, — память. У него есть дом. На улице Бок-Метан стоит зайти в оптовые магазины автомобилей и посмотреть на них в домашней их обстановке. Они стоят блестящие, смазанные маслом, на цементном полу огромного помещения. На стенах висят их портреты — фотографии моделей и победителей в состязаниях. У него есть музыка — некоторые новые композиции, так старательно передающие диссонанс уличного грохота или случайных звуков, возникающих при всяком движении. У него есть наконец граммофон, кинематограф, есть доктора, панегиристы, поэты, — те самые, о которых вы говорили полчаса назад, люди с сильно развитым ощущением механизма. У него есть также любовницы, эти леди, обращающие с окон модных магазинов улыбку своих восковых лиц. И это — не жизнь? Довольно полное существование, скажу я. Кроме того, он занимается спортом, убийством и участвует в войне.

— Выходит, — сказал Николай, — что… Впрочем, я скажу короче:

некий автомобиль, покрытый грязью и ранами, вернулся с театра военных действий. Побрившись в парикмахерской, он отправился домой, где поставил в граммофон пластинку марша «За славой и торжеством» и приказал завести кинематографический аппарат с картиной «Автомобильные гонки меж Лиссом и Зурбаганом». От восторга у него лопнула шина.

— Ваш шарж показывает, что вы поняли меня, — продолжал я. — Взаимоотношения вещей, если они для меня безразличны, могут происходить так, как вытекает из их природы, как — мы этого не знаем. Но когда эти взаимоотношения наносят определенный рисунок на рисунок моей жизни, кладут нужные или вредные черты, там необходимо проследить связь явлений, чтобы знать, с какого рода опасностью имеешь дело. Берегитесь вещей! Они очень быстро и прочно порабощают нас.

— Какие же это вредные черты? — спросил Томас. — Жизнь делается сложнее, быстрее, ее

интенсивность возрастает беспрерывно. Этой интенсивности содействует техника. Не возвратиться же нам в дикое состояние? VII

С этого момента мои собеседники завладели разговором, и я терпеливо выслушивал их защиту автомобиля. Она состояла в том, что его скорость способствует быстрейшему обмену товаров, молниеносному прессованию деловых отношений и возможности перебрасываться в отдаленное место почти с быстротой чтения. Я выслушал их и ушел, посмеиваясь. У себя, оставшись один, я пересчитал деньги. Это было большое состояние. Меня тревожило немного, что я не испытываю головокружительного подъема — опьянения. Все впечатления звучали во мне тупо, как стук по толстому дереву. Я держал в руках деньги и понимал, что из состоятельного человека превратился в богатого, но думал о том, как о прочитанном в книге. Быть может, все мои желания были заслонены в тот момент главным желанием, главной и неотступной мыслью — о девушке. Кроме того, я очень устал, думая все эти дни об одном. Но я никак не мог бы выразить, даже на всех языках мира, — что такое это одно, грызущее и уничтожающее меня. Я вдумывался и понимал его, лишь как мучительное препятствие сознанию самого себя Но определить его я не мог.

Я уснул с солнечным светом, пригретый и убаюканный им из-за крыш. Завтрашний, вернее, наступивший день следовало начать действием. Я приказал разбудить себя в три часа. Мое изобретение — оно ждало — звало меня и ее. После долгого колебания я решился. Я поставлю ее лицом к лицу с Живой Смертью, ее, — Мертвую Жизнь. VIII

Мое знакомство с Корридой Эль-Бассо носило характер крайнего напряжения. Когда я не видел ее, я, при всей любви к этой девушке, мог думать о ней, как вы уже знаете, беспристрастно; я мог даже непринужденно вести не обременяющий ее разговор. Но в ее присутствии я чувствовал лишь крайне стесняющее и связывающее меня напряжение. Это происходило не столь от ее красивой и легкой внешности, овладевавшей мной повелительным впечатлением, сколько от сознания несоответствия моего душевного темпа с ее темпом души; ее темп был полон перебоев и дисгармонии, в то время как мой медленно, ровными и острыми колебаниями звучал непримиримо всему, что не было моим настроением или случайно не отвечало текущему настроению. В то время как другие почти сразу, легко осваивались и шутили с ней, я должен был оставаться в тени, так как хотел видеть ее лишь в том полном, сосредоточенном, исключительном настроении любви, в каком находился сам и которое перебить пустой болтовней казалось мне противоестественным, почти преступным. Поэтому вероятно я заставлял ее часто скучать. Но у меня не было выхода. Я хорошо знал, что не сумею перестать быть самим собой так искусно, чтобы это не обнаружилось тотчас же фальшью и ответной притворностью. Бессознательно я хотел, чтобы она ни на мгновение не забывала мою любовь, чувствуя, что я связан, рассеян и неловок единственно от любви к ней.

По всему этому я сам тяготился долго оставаться в ее присутствии, если у нее был еще кто-нибудь, кроме меня. Мое напряжение в таких случаях часто разражалось сильной глубокой тоской, после чего немыслимо было уже оставаться; мрачное лицо, в конце концов, может вызвать страх и отвращение. Но я знал, каким был бы я, если бы окончилось ее сопротивление, если бы она сказала мне «ты».

В половине пятого я взял трубку телефона; мне было невесело, меж тем я должен был говорить с веселым оживлением затейника. Но я выдержал роль.

Услышав ее голос, я увидел — в себе — и ее лицо, с больным выражением раздражительно полуоткрытого рта, с всегда немного сонными и рассеянными глазами. Ее детский лоб — в другом конце города — внушал желание погладить его.

— Так это вы, — сказала она, и я вздрогнул — так приветливо прозвучал голос, — о, я очень рада, — я должна вас поздравить.

— С чем? — Но я уже знал, что она хочет сказать.

— Говорят, вы выиграли миллион долларов.

— Нет, — только половину названной суммы.

— Недурно и это. Теперь вы, надо думать, поедете путешествовать?

— Нет, я не поеду. Но я предлагаю вам — клянусь, — редкое удовольствие. Я окончил свое изобретение. Если вы ничего не имеете против, я покажу вам его первой; никто ничего не знает об этом.

— О! Я хочу! Хочу! — вскричала она. — И как можно скорее!

— В таком случае, — сказал я, — если вы свободны, вам предстоит небольшая прогулка верхом в ущелье Калло. Это не далее пяти миль. У меня есть лошадь, вторую мне дает кузен Кишлей.

— Отлично, — сказала она после небольшой паузы. — Я согласна. Вы, право, очень добры. Через полчаса я буду у вас.

— Я жду.

На этом закончился разговор. Пока седлали лошадей, я думал, — что может произойти из всего этого? Мне показалось, что я не имею права поступать так. Но это не расхолодило меня. Напротив, я укрепился еще более в своем решении, — ибо, может быть, всю жизнь сожалел бы о своей слабости. Хуже не могло быть, — лучшему я верил.

В это время начал звонить телефон. Звонок раздался на какой-то приятной, нежной и задумчивой минуте размышлений моих. Я взял трубку.

Кто это говорил со мной? Вкрадчивый, напряженный голос, как просьба о пощаде, и такой тихий, такой отчетливый, что, казалось, можно отложить трубку, продолжая слышать его! В тот день я проснулся с ощущением тумана, — день был торжествующе ярок, но, казалось, невидимый, спокойный туман давит на мозг. Теперь это своеобразное ощущение усилилось.

То, что я услышал, напоминало окончание разговора; так бывает, если говорящий вам предварительно докончит говорить другому лицу. Этот отчетливый, стелющийся из невидимого пространства голос сказал: «… пройдет очень немного времени. — Затем послышалось обращение ко мне: — Квартира Эбенезера Сиднея?»

— Это я, — невольно я отстранил трубку от уха, чтобы она не касалась кожи, — так неестественно и отвратительно близко, как бы в самой руке моей, ковырялся этот металлический голос. Я повторил: — С вами говорит Сидней, кто вы и что желаете от меня?

— Мое имя вам неизвестно, я говорю с вами по поручению скончавшегося вчера Эммануила Гриньо, мулата. Несколько мелких дел, оставшихся им не выполненными, он поручил мне. В число их входит просьба переслать вам выигранный четырехместный автомобиль системы Леванда. Поэтому я прошу вас назначить время, когда покорнейший ваш слуга имеет исполнить поручение.

Я закричал, я затопал ногами, так мгновенно поразил меня неистовый гнев. Крича, я весь содрогался от злобы к этому неизвестному и, если бы мог, с наслаждением избил бы его.

— Подите прочь! — загремел я, — идите, я вам говорю, к черту! Мне не нужен автомобиль! Гриньо мне ничего не должен! Возьмите автомобиль себе и разбейте на нем лоб! Мерзкий негодяй, я вижу насквозь ваши намерения!

Но, сквозь мой крик, когда я задыхался и умолкал, — одновременно с моими бешеными словами, лилась речь человека, очевидно, нимало не тронутого этой бурей по проволоке. Бесстрастно и убедительно ввинчивал он ровный свой тонкий голос в мое волнение. Я слышал, изнемогая от ярости: — «примите в соображение», — «из чувства деликатности», — «сама природа случая» — и другое подобное; так методически, покойно, веревка скручивает руки вырывающегося из ее петель человека. Я бросил трубку и отошел. Через несколько минут слуга доложил, что лошади готовы.

Прекрасный день! Даже туман, о котором я говорил, как будто рассеивался по временам, чтобы я мог полно вздохнуть, однако ж, по большей части, я не переставал чувствовать его ровное угнетение. Мне хотелось встряхнуть головой, чтобы отделаться от этого ощущения. Слуга ехал сзади на второй лошади. Приблизясь к дому, где жила Коррида, я заметил ее улыбающееся лицо: она была на балконе, смотря вниз и щекой припав к рукам, охватившим ограду балкона. Она издали стала махать платком. Я подъезжал в приподнятом и несколько глупом состоянии человека, с которым хорошо потому, что он может быть полезен, что он — богат. Я не обманывал себя. Еще никогда Коррида Эль-Бассо не была так любезна со мной. Но я не хотел останавливаться на этом; моя цель была близка, хотя бы благодаря обаянию крупного выигрыша.

Оставив лошадей, я вошел твердым и спокойным шагом. Теперь, когда положением владел я, вдруг исчезла связывающая подавленность, — ощущение проклятия чувства, тяготеющего над нами, если мы, сидя рядом с любимой, испытываем одиночество. Мной стала овладевать надежда, что затеянное будет иметь успех, смысл.

Я поцеловал ее узкую руку и посмотрел в глаза. Она улыбалась.

— У вас довольный вид, — сказала Коррида, — не мудрено — два успеха, — что более важным считаете вы? Но, может быть, изобретение принесет вам еще более денег?

— Нет, оно мне не принесет ни копейки, — возразил я, — напротив, оно может меня разорить.

— Как же это?

— Если не оправдает моих надежд; оно еще не было в деле; не было опыта.

— Что же представляет оно? И какой цели должно служить?

— Но через час вы сами увидите его. Не стоит ли подождать?

— Правда, — сказала она с досадой, опуская вуаль и беря хлыст. Она была в амазонке. — Оно красиво?

— На это я могу вам ответить совершенно искренне. Оно прекрасно.

— О! — сказала она, что-то почувствовав в тоне моем. — Итак, мы отправляемся в мастерскую?

— Ну да, — и я не удержался, чтобы не подзадорить. — В мастерскую природы.

— Вы, правда, мистификатор, как говорят о вас. Все мистификаторы не галантны. Но едем.

Мы вышли, сели, и я помог ей.

— У меня отличное настроение, — заявила она, — и ваши лошади хороши тоже. Как имя моей?

— Перемена. — Имя странное, как вы сами.

— Я очень прост, — сказал я, — во мне странное только то, что я всегда надеюсь на невозможное. IX

Выехав за черту города, мы пустились галопом и через полчаса были у подъема горной тропы, по которой лежал путь к ущелью Калло. Наш разговор был так незначителен, так обидно и противоестественно мелок, что я несколько раз приходил в дурное расположение духа. Однако я никак не мог направить его хотя бы к относительной близости между нами, — хотя бы вызвать сочувственное мне настроение по отношению к пейзажу, принимавшему с тех мест, где мы ехали, все более пленительный колорит. На все, что ее не интересовало, она говорила: «О, да!» или «В самом деле?» — с безучастным выражением голоса. Но мой выигрыш продолжал интересовать ее, и она часто возвращалась к нему, хотя я рассказал ей уже все главное об этой схватке с Гриньо. «О, я его понимаю!» — сказала она, узнав, что мулата хватил удар. Но мой отказ от автомобиля вызвал глубокое, презрительное удивление, — она посмотрела на меня так, как будто я сделал что-то очень смешное, неприятно смешное.

— Это все та ваша мания, — сказала она, подумав. — Я столько уже слышала о ней! Но я — люблю эту увлекающую быстроту, люблю, когда распирает воздухом легкие. Вот жизнь!

— Быстрота падения, — возразил я. — Дикари очень любят подобную быстроту. То, что вы, кажется, считаете признаком своеобразной утонченности, есть простой атавизм. Все развлечения этого рода — спорт водный, велосипедный, все эти коньки, лыжи, американские горы, карусели, тройки, лошадиные скачки, — все есть разрастающееся увлечение головокружительными ощущениями падения. В скорости есть предел, за которым движение по горизонтальной превращается в падение. Вы наслаждаетесь чувством замирания при падении. И цель людей, рассуждающих как вы, — это уподобить движение падению. Что может быть более примитивно? И, так сказать, — бесцельно примитивно?

— Но, — сказала она, — весь темп нынешней жизни… Пестрота стала нашей природой.

— Совершенно верно, и очень худо, что так. Однако именно то, что совершается медленно, конечно, относительно медленно, так как мерила быстроты различны по природе своей, в зависимости от качества движения, — именно это наиболее ценно. Быстрота агента компании, совершающей торговые обороты, увеличивает количество, но не качество достигаемого, например, по сбыту и выделке коленкора, но пусть он попробует с его автомобильной быстротой расположить и распространить дуб, простой дуб. Деревцо это растет столетиями. Корова вырастает в два года. Настоящий, вполне сложившийся человек проделывает этот путь лет в тридцать. Алмаз и золото не имеют возраста. Персидские ковры создаются годами. Еще медленнее проходит человек дорогой науки. А искусство? Едва ли надо говорить, что его лучшие произведения видят, иногда, начало роста бороды мастера, в конце же осуществления своего подмечают и седину. Вы скажете, что быстрое движение ускоряет обмен, что оно двигает культуру?! Оно сталкивает ее. Она двигается так быстро потому, что не может удержаться.

— Не знаю, — возразила Коррида, — может быть, вы и правы. Но жить надо легко и быстро, не правда ли?

— Если бы вы умерли, — спросил я, — а затем вновь родились, помня, как жили, — вы продолжали бы жить так, как теперь?

— Ваш вопрос мне не нравится, — холодно ответила она. — Я живу плохо? Если даже так, какое право имеете вы тревожить меня?

— Это не право, а простое участие. Впрочем, я виноват, а потому должен загладить вину.

Через…

— Нет, вы не увильнете! — крикнула она, остановив лошадь. — Это уже не первый раз. Какая цель ваших вопросов?

— Коррида, — сказал я мягко, — если вы будете так добры, что, оставив пока сердиться, ответите мне еще на один вопрос, но только совершенно искренне, — даю вам слово, я так же искренно отвечу вашему раздражению.

Мы уже приближались к ущелью, из развернутой трещины которого разливался призрачный лиловый свет, полный далекой зелени. Смотря туда и припоминая, что хотел сделать, я сразу сообразил, что мой вопрос преждевременен, однако я хотел убедиться. Туман понемногу рассеивался (я говорю о внутреннем тумане, мешавшем мне ясно соображать), и я с яркостью гигантской свечи видел все чудеса, вытекающие из моего замысла. Поэтому я не колебался.

— Я жду, — сказала Коррида.

— Скажите мне, — начал я (и это останется между нами), — почему, с какой целью ушли вы из… магазина?

Сказав это, я чувствовал, что бледнею. Она могла догадаться. У вещей есть инстинкт, отлично помогающий им падать, например, так, что поднять их страшно мешает какой-нибудь посторонний предмет. Но я уже приготовился перевести свои слова в шутку — придать им рассеянный, любой смысл, если она будет притворно поражена. Я внимательно смотрел на нее.

— Из ма-га-зи-на?! — медленно сказала Коррида, отвечая мне таким пристальным, глубоким и хитрым взглядом, что я вздрогнул. Сомнений не могло быть. К тому же, цвет ее лица внезапно стал белым, не бледным, а того матового белого цвета, какой присущ восковым фигурам. Этого было довольно для меня. Я рассмеялся, я не хотел более тревожить ее.

— Более у меня нет вопросов, — сказал я, — я говорю о встрече с вами вчера, когда вы вошли в магазин. Вы тотчас вышли, и я не хотел снова подходить к вам.

— Да… но это очень просто, — ответила она, стараясь что-то сообразить. — Я не застала модистку. Но вы хотели сказать не это.

— Вы просто смутили меня резким отпором. Я спросил первое, что пришло на мысль.

Затем, не давая ей оставаться при подозрении, — если оно было, — я возвратился к игре с мулатом, рассказывал подробности стычки так юмористически, что она смеялась до слез. Мы ехали по ущелью. Слева тянулась глубокая поперечная трещина, подъехав к которой, я остановил лошадь.

— Это здесь, — сказал я.

Коррида оставила седло, и я привязал лошадей.

— Меня несколько тревожит эта таинственность, — сказала она, оглядываясь, — далеко ли тут идти?

— Шагов сто. — Чтобы она не беспокоилась, я стал снова шутить, приравнивая нашу прогулку к ветхим страницам уголовных романов. Мы пошли рядом; гладкое дно трещины не замедляло шагов, и скоро сумерки щели рассеялись, — мы подошли к ее концу, — к обрыву, висевшему отвесной чертой над залитой солнцем долиной, где, далеко внизу, крылись, подобно стаям птиц, фермы и деревни. Огромное, голубое пространство било в лицо ветром.

Здесь я остановился и показал рукой вниз.

— Вы видите? — сказал я, вглядываясь в прекрасное прищуренное лицо.

— Вид недурен, — нетерпеливо ответила она, — но, может быть мы все-таки отправимся в вашу лабораторию?!

Безумный восторг овладевал мной. Я взял ее руки и поцеловал их. Кажется, она была так изумлена, что не сопротивлялась. Уже двинул меня внутренний толчок; бессознательно оглянулся я на трещину позади нас, скрыться в которой было делом одной секунды, и загородил ее. Но мы одновременно кинулись к трещине, — по крайней мере, когда я охватил рукой ее талию, она была уже наполовину сзади меня и уперлась одной рукой в мою грудь. Ее лицо было бело, мертво, глаза круглы и огромны. Другая рука что-то быстро делала сбоку, где был карман. Задыхаясь, я тащил ее к обрыву, крича, убеждая и умоляя.

— Это один момент! Один! И новая жизнь! Там твое спасение!

Но было поздно — увы! — слишком поздно. Она вырвалась волчком невероятно быстрых движений, подняв свой револьвер. Я видел, как он дернулся в ее руке, и понял, что она выстрелила. У моего левого виска как бы повис камень. Не зная, — не желая этого, — судорожно противясь падению, — я упал, видя, как от моего лица поспешно отпрянули маленькие, лакированные ноги. Но я успел схватить их и дернул.

Она упала рядом со мной; при падении револьвер выскочил из ее руки. Я мог видеть его, повернув голову. Если бы она не мешала мне, хватаясь за мои руки, я непременно достал бы его. Но у нее была кошачья изворотливость. Схватив за талию и прижимая к себе, чтобы она не вскочила, левой рукой я уже касался револьвера, стараясь подцарапать его, но она ломала мою руку у кисти, отводя пальцы. Наконец, удар по руке камнем сделал свое. Скользнув, как сжатая рукой рыба. Коррида овладела револьвером, — здесь силы оставили меня. Я мог только лежать и смотреть.

Когда она поднялась, вскочила, револьвер был все время направлен на меня. Последовало молчание — и дыхание, — общее наше дыхание, слышное, как крик.

— Что же это! — сказала она. — Теперь говорите, слышите?! Х

Я не терял времени, чтобы она знала, чего лишается.

— Да, — сказал я, — это и есть мое изобретение. Вы видели лучезарный мир? Он зовет. Итак, бросимся туда, чтобы воскреснуть немедленно. Это нужно для нас обоих. Вам нечего притворяться более. Карты открыты, и я хорошо вижу ваши. Они закапаны воском. Да, воск капает с прекрасного лица вашего. Оно растопилось. Стоило гневу и страху отразиться в нем, как воск вспомнил прежнюю свою жизнь в цветах. Но истинная, истинная жизнь воспламенит вас только после уничтожения, после смерти, после отказа! Знайте, что я хотел тоже ринуться вниз. Это не страшно! Нам следовало умереть и родиться!

— Куда вы ранены? — сурово спросила она.

— В голову возле уха, — сказал я, трогая мокрыми пальцами мокрые и липкие волосы. — ступайте! Что вам теперь я; ваше место незанято.

Она, приподняв платье, обошла меня сзади, и я почувствовал, как моя голова приподнимается усилием маленькой, холодной руки. Послышался разрыв платка. Она туго стянула мою голову, затем снова перешла из тени к свету. Я же лежал, совершенно ослабев от потери крови, и безразлично принял эту заботу. Меня ужасало, что я не достиг цели.

— Можете вы пройти к лошади? — спросила Коррида. — Если можете, я вам помогу встать.

Если же нет, — лежите и постарайтесь быть терпеливым; я скажу, чтобы за вами приехали.

— Как хотите, — сказал я. — Как хотите. Я не могу идти к лошади. Теперь мне все равно — жить или умереть, потому что я навсегда лишился вас. Может быть, я умру здесь. Поэтому будем говорить прямо. Нашу первую встречу вы должны помнить не по Аламбо, — нет; в Глен-Арроле состоялась она. Вы помните Глен-Арроль? Старик открывал кисею, показывая вас в ящике, это был воск с механизмом внутри, — это были вы, — вы спали, дышали и улыбались. Я заплатил за вход десять центов, но я заплатил бы даже всей жизнью. Как вы ушли из Глен-Арроля, почему очутились здесь — я не знаю, но я постиг тайну вашего механизма. Он уподобился внешности человеческой жизни силой всех механизмов, гремящих вокруг нас. Но стать женщиной, поймите это, стать истинно живым существом вы можете только после уничтожения. Я знаю, что тогда ваше сердце дрогнет моей любовью. Я полумертв сам, движусь и живу, как машина; механизм уже растет, скрежещет внутри меня; его железо я слышу. Но есть сила в самосвержении, и, воскреснув мгновенно, мы оглушим пением сердец наших весь мир. Вы станете человеком и огненной сверкнете чертой. Ваше лицо? Оно красиво и с желанием подлинной красоты вошли бы вы в земные сады. Ваши глаза? Блеск волос? Характер улыбки? — Увлекающая энергия, и она сказалась бы в жизненном плане вашем. Ваш голос? — Он звучит зовом и нежностью, — и так поступали бы вы, как звучит голос. Как вам много дано! Как вы мертвы! Как надо вам умереть!

Говоря это, я не видел ее. Открыв глаза, я осмотрелся с усилием и никого не увидел. Проклятие! Ее сердце могло перейти от простых маленьких рычагов к полному, лесистому пульсу, — к слезам и радости, восторгу и потрясению, — наконец оно могло полюбить меня, сгоревшего в огне удара и ставшего смеющимся, как ребенок, — и оно ушло! Уверен, что она не хотела вспоминать Глен-Арроль. Правда, в том городишке на нее смотрели лишь уродливые подобия людей, но все-таки…

Сделав усилие, я приподнялся и сел. Моя голова не кружилась, но было такое ощущение, что она недостаточно поднята, — что она может упасть. Я сделал попытку подогнуть ноги, желая тем облегчить дальнейшее движение, и успел в этом… Наконец, я встал, хватаясь за стену, и двинулся. Мне хотелось домой, чтобы успокоиться и обдумать дальнейшее. Как я понимал, рана моя не касалась мозга, поэтому у меня не было опасения, что я свалюсь по дороге в состоянии более тяжелом, чем был. Я побрел, держась за неровные камни трещины и временами теряя равновесие, так что должен был останавливаться.

Пока я шел, сумерки (уже стемнело), распространяясь безвыходной тенью, сменились того рода неизъяснимо волнующим освещением, какое дает луна при переходе дневного света к магическому, призрачному мраку. Пройдя трещину, я увидел очарованный лог ущелья в блеске чистого месяца; дно, усеянное камнями, круглые тени которых казались черными козырьками белых фуражек, — было как ложе гигантской реки, исчезнувшей навсегда. Лошади исчезли. — Восковая взяла мою лошадь, думая, без сомнения, что я умер. Я не верил ее обещанию прислать за мной, скорее мне могли подослать убийц.

Я потрогал платок, затем снял его. Легкий жар, боль и ощущение стянутости кожи все еще были там, куда ударила пуля, но кровь уже не текла. Заподозрив, что пропитанный кровью платок может что-то сказать, я рассмотрел на свет метку. Это были не ее инициалы. Я увидел знаки, неизвестные алфавитам нашей планеты, — и понял, что никогда не смогу узнать, какая природа существа, употребляющего подобные начертания.

— Коррида! — закричал я, — Коррида! Коррида Эль-Бассо! Я люблю, люблю, люблю тебя, безумная в холодном сверкании своем, недоступная, ибо не живая, — нет, тысячу раз нет! Я хотел дать тебе немного жизни своего сердца! Ты выстрелила не в меня, — в жизнь, ей ты нанесла рану! Вернись!

И эхо, наметив «рри» из ее имени, упорно рокотало где-то за спиной высоких камней: звуки,

напоминающие отлетающий треск мотора. Меня не оставляло воспоминание о Глен-Арроле, где я в первый раз увидел ее. Да, — там, на возвышении, в белом широком ящике под стеклом лежала она, вытянув и скрестив ноги, под газом, среди пыльных цветов. Ее ресницы вздрагивали и опускались; легкая, как лепестки, грудь дышала с тихим и живым выражением. Чудилось, вот откроются эти разливающие улыбку глаза; стан изогнется в лукавой миловидности трепетного движения, и, поднявшись, скажет она великое слово, какое заключено в молчании. Теперь, с молчаливого попущения некоторых, она — среди нас, обещая так много и убивая так верно, так медленно, так безнадежно.

Томясь, вздрагивая и шатаясь, прошел я ущелье и заметил это, только когда прошел. Среди зеленого серебристого моря холмов вилось несколько троп; одна из них была круче, и я скатился по ней к лежащему ниже шоссе. Здесь, несколько в стороне, стоял дом, о котором можно только сказать стихами Грювда: «Он был беден и спал». Перешагнув низкую каменную ограду, я высмотрел, что окно не прикрыто, и сунул за стекло свой выигрыш, что-то опрокинув этим движением. Кто жил здесь? Какую силу разбужу я наутро ненужным мне подарком моим? Я знаю только, что на земле надо оставлять крупные следы; малый след скоро зарастает травой. Наутро будет крик, шум, споры и изумление, трясущиеся поджилки, вопли, может быть заболевание от восторга, — что до того? — это жизнь, ее судорога, гримаса, вой и улыбка, — всякая жизнь хороша.

Луна взошла выше; ее круглый скелет свел глаза вниз, выбелив до горизонта шоссе. Шоссе в том месте лежало растянутым римским V, — столь растянутым, что оно напоминало скорее середину двойного изгиба лука. Стоя на возвышении дороги, я видел, как противоположное далекое возвышение пересекалось темной чертой. Там возникла и стала расти точка; она увеличивалась, как расплывающееся по бумаге чернильное пятно; пятно сползало к центру вогнутости с волнующей меня быстротой. Некоторое время я шел навстречу явлению, однако оно быстро остановило меня. Я не ошибся — серый автомобиль уже поднимался навстречу мне с той неприятной легкостью автомата, какая уничтожает обычное представление об усилии. Свернув к кустам, я притаился в их сырости; теперь меж мной и автомобилем оставалось столь небольшое расстояние, что я мог рассмотреть людей, — мог сосчитать их. Их было четверо и тот самый шофер в очках, которого я видел вчера. Они осматривались; один что-то сказал другому, когда машина пронесла рыкающий треск свой мимо меня.

Все было для меня ясно теперь. Это началась охота, месть может быть, низменная и ужасная. Как напечатанные, стояли в воздухе те буквы и цифры, какие увидел я, изнемогая от ярости, и эти буквы были «С.С.», цифры те были «77–7». Воистину, я был близок к безумию. Трясясь, как будто я уже был схвачен, я искал помраченными движениями иной дороги, чем та, какой уже завладел враг мой; я спотыкался в кустах, но идти не мог. Ямы и корни так тесно сплелись между собой, что я шел, все время словно проваливаясь среди груд хвороста; сухой терн цапал за платье. Кроме того, я шел с шумом, опасным для меня в смысле погони: иные ямы были так глубоки, что я падал с болезненным сотрясением во всем теле.

Остановясь и отдышавшись, я вновь приблизился к шоссе и выглянул. Дорога была пуста. Ни слева, ни справа не доносилось ни малейшего шума; поэтому, зная, что всегда могу скрыться в кусты, я вышел на шоссе с целью пробежать как можно быстрее возможно большее расстояние.

Итак, я побежал. Некогда я бегал так хорошо, что выигрывал в состязаниях. Искусство бегать не изменило мне и теперь, — дорога правильными толчками мчалась подо мной взад; быстрое движение воздуха охлаждало разгоряченное лицо. Между тем я очень устал, но я не позволял утомлению осилить себя.

Из этого состояния меня вывела выбоина, — небольшая черная яма, приметив которую впереди, я с изумлением установил, что не могу достигнуть ее с той скоростью, какую принял

мой бег. Будучи невдалеке, она приближалась так медленно, как если бы обладала способностью произвольно увеличивать расстояние. И тогда, с тоской оглянувшись, я понял, что не бегу, а иду, еле волоча ноги; довольно было этого обратного толчка — я сел, но не мог даже сидеть; склонясь на руки, лицом в сторону ущелья, услышал я по отзвукам отдаленной дрожи земли, что погоня вернулась. Не прошло двух минут, как серый автомобиль начал налетать издали, — ко мне, готовому принять последний удар.

Я чувствовал, что бессилен пошевелиться. Я был так исступленно, бесконечно слаб, что не ощущал даже страха. Страх мог спокойно сидеть на моей шее сколько хотел, без всякой надежды вызвать малейшее искажение лица и души. Я был неподвижен, распластан, был как сама дорога. Твердой воображенной улыбкой встречал я приближение свистящих колес. Смерть — вместо солнечной, живой пропасти ликующего бессмертия — уже тронула мое лицо светлой косой луча, протянутого наползающим фонарем, — как вдруг эта железная кошка, несущаяся наперерез моего тела, застукала глухим громом, свернула и остановилась. Из нее выбежали четверо, подняли меня и перенесли на сиденье. Лишь двинув рукой, я тотчас сполз с него, перестав видеть, почти перестав слышать, — казалось мне, что глубоко под землей рвут толстый брезент. XI

Я очнулся в высокой небольшой комнате, с подозрительной тишиной вокруг и с глухой дверью. Сам я лежал на кровати, имея слева от себя небольшой столик, на нем стояли цветы — чрезвычайно искусная подделка: их лепестки (я их нюхал и трогал) обладали точь-в-точь таким же влажным холодком и такой же скользкой мягкостью, как настоящие, — они даже пахли, как настоящие. Дотронувшись до головы, я почувствовал, что она забинтована. Под потолком опускала круглую тень зеленая лампа. Себя же я чувствовал довольно сильным, чтобы говорить и требовать объяснения по поводу моего плена. Увидев провод звонка, я нажал кнопку.

Дверь открылась, и появился человек, которого я видел, несомненно, первый раз в жизни. Он был плотен и прям, с решительным, квадратным лицом и неприятно ясным взглядом, через очки. Его покровительственная улыбка, очевидно, относилась ко мне, так как моя беспомощность и моя слабость были ему приятны.

— Кто бы вы ни были, — сказал я, — ваша обязанность немедленно объявить мне, где я нахожусь.

— Вы в квартире доктора Эмерсона, — сказал он, — я — Эмерсон. Лучше ли вам теперь?

— Меня похитили, — ответил я таким тоном, чтобы было ясно мое желание прежде всего знать, что произошло за время беспамятства. — Кто вы — друг или враг? Зачем я приведен сюда?

— Я вас прошу, — сказал он с удивительной невозмутимостью, — быть совершенно спокойным. Я друг ваш; мое единственное желание — как можно скорее помочь вам выздороветь.

— В таком случае, — и я встал, свесив с кровати ноги, — я немедленно ухожу отсюда. Я достаточно здоров. Ваши действия будут известны королевскому прокурору.

Он тоже встал и позвонил так быстро, что я опоздал схватить его за руку. Немедленное появление трех рослых людей в белых колпаках и передниках заставило меня откинуться на подушку в прежней позе — сопротивление четверым было немыслимо.

Лежа, я смотрел на Эмерсона с отчаянием и негодованием.

— Итак, вы в заговоре со всеми другими, — сказал я, — хорошо, — я бессилен. Уйдите, прошу вас.

— О каком заговоре говорите вы? — спросил он, делая знак людям выйти. — Здесь нет никакого заговора; вам предстоят лечение и отдых.

— Вы притворяетесь, что не понимаете. Между тем, — и я описал рукой в воздухе круг, — дело идет о заговоре окружности против центра. Представьте вращение огромного диска в горизонтальной плоскости, — диска, все точки которого заполнены мыслящими, живыми существами. Чем ближе к центру, тем медленнее, в одно время со всеми другими точками, происходит вращение. Но точка окружности описывает круг с максимальной быстротой, равной неподвижности центра. Теперь сократим сравнение: Диск — это время, Движение — это жизнь и Центр — это есть истина, а мыслящие существа — люди. Чем ближе к центру, тем медленнее движение, но оно равно по времени движению точек окружности, — следовательно, оно достигает цели в более медленном темпе, не нарушая общей скорости достижения этой цели, то есть кругового возвращения к исходной точке.

По окружности же с визгом и треском, как бы обгоняя внутренние, все более близкие к центру, существования, но фатально одновременно с теми, описывает бешеные круги ложная жизнь, заражая людей меньших кругов той лихорадочной насыщенностью, которой полна сама, и нарушая их все более и более спокойный внутренний ритм громом движения, до крайности удаленного от истины. Это впечатление лихорадочного сверкания, полного как бы предела счастья, есть, по существу, страдание исступленного движения, мчащегося вокруг цели, но далеко — всегда далеко — от них. И слабые, — подобные мне, — как бы ни близко были они к центру, вынуждены нести в себе этот внешний вихрь бессмысленных торопливостей, за гранью которых — пустота.

Меж тем, одна греза не дает мне покоя. Я вижу людей неторопливых, как точки, ближайшие к центру, с мудрым и гармоническим ритмом, во всей полноте жизненных сил, владеющих собой, с улыбкой даже в страдании. Они неторопливы, потому что цель ближе от них. Они спокойны, потому что цель удовлетворяет их. И они красивы, так как знают, чего хотят. Пять сестер манят их, стоя в центре великого круга, — неподвижные, ибо они есть цель, — и равные всему движению круга, ибо есть источник движения. Их имена: Любовь, Свобода, Природа, Правда и Красота. Вы, Эмерсон, сказали мне, что я болен, — о! если так, то лишь этой великой любовью. Или…

Взглянув на скрипнувшую дверь, я увидел, что она приоткрылась. Усатое, хихикающее лицо выглядывало одним глазом. И я замолчал.

Эту рукопись, с вложенным в нее предписанием к начальнику Центавров немедленно поймать серый автомобиль, а также сбежавшую из паноптикума восковую фигуру, именующую себя Корридой Эль-Бассо, я опускаю сегодня ночью в ящик для заявлений.

Голос и глаз

Слепой лежал тихо, сложив на груди руки и улыбаясь. Он улыбался бессознательно. Ему было велено не шевелиться, во всяком случае, делать движения только в случаях строгой необходимости. Так он лежал уже третий день с повязкой на глазах. Но его душевное состояние, несмотря на эту слабую, застывшую улыбку, было состоянием приговоренного, ожидающего пощады. Время от времени возможность начать жить снова, уравновешивая себя в светлом пространстве таинственной работой зрачков, представляясь вдруг ясно, так волновала его, что он весь дергался, как во сне.

Оберегая нервы Рабида, профессор не сказал ему, что операция удалась, что он, безусловно, станет вновь зрячим. Какой-нибудь десятитысячный шанс обратно мог обратить

все в трагедию. Поэтому, прощаясь, профессор каждый день говорил Рабиду:

— Будьте спокойны. Для вас сделано все, остальное приложится.

Среди мучительного напряжения, ожидания и всяких предположений Рабид услышал голос подходящей к нему Дэзи Гаран. Это была девушка, служившая в клинике; часто в тяжелые минуты Рабид просил ее положить ему на лоб свою руку и теперь с удовольствием ожидал, что эта маленькая дружеская рука слегка прильнет к онемевшей от неподвижности голове. Так и случилось.

Когда она отняла руку, он, так долго смотревший внутрь себя и научившийся безошибочно понимать движения своего сердца, понял еще раз, что главным его страхом за последнее время стало опасение никогда не увидеть Дэзи. Еще когда его привели сюда и он услышал стремительный женский голос, распоряжавшийся устройством больного, в нем шевельнулось отрадное ощущение нежного и стройного существа, нарисованного звуком этого голоса. Это был теплый, веселый и близкий душе звук молодой жизни, богатый певучими оттенками, ясными, как теплое утро.

Постепенно в нем отчетливо возник ее образ, произвольный, как все наши представления о невидимом, но необходимо нужный ему. Разговаривая в течение трех недель только с ней, подчиняясь ее легкому и настойчивому уходу, Рабид знал, что начал любить ее уже с первых дней; теперь выздороветь — стало его целью ради нее.

Он думал, что она относится к нему с глубоким сочувствием, благоприятным для будущего. Слепой, он не считал себя вправе задавать эти вопросы, откладывая решение их к тому времени, когда оба они взглянут друг другу в глаза. И он совершенно не знал, что эта девушка, голос которой делал его таким счастливым, думает о его выздоровлении со страхом и грустью, так как была некрасива. Ее чувство к нему возникло из одиночества, сознания своего влияния на него и из сознания безопасности. Он был слеп, и она могла спокойно смотреть на себя его внутренним о ней представлением, которое он выражал не словами, а всем своим отношением, — и она знала, что он любит ее.

До операции они подолгу и помногу разговаривали. Рабид рассказывал ей свои скитания, она — обо всем, что делается на свете теперь. И линия ее разговора была полна той же очаровательной мягкости, как и ее голос. Расставаясь, они придумывали, что бы еще сказать друг другу. Последними словами ее были:

— До свидания, пока.

— Пока… — отвечал Рабид, и ему казалось, что в «пока» есть надежда.

Он был прям, молод, смел, шутлив, высок и черноволос. У него должны были быть — если будут — черные блестящие глаза со взглядом в упор. Представляя этот взгляд, Дэзи отходила от зеркала с испугом в глазах. И ее болезненное, неправильное лицо покрывалось нежным румянцем.

— Что будет? — говорила она. — Ну, пусть кончится этот хороший месяц. Но откройте его тюрьму, профессор Ребальд, прошу вас!

Когда наступил час испытания и был установлен свет, с которым мог первое время бороться неокрепшим взглядом Рабид, профессор и помощник его и с ними еще несколько человек ученого мира окружили Рабида.

— Дэзи! — сказал он, думая, что она здесь, и надеясь первой увидеть ее. Но ее не было именно потому, что в этот момент она не нашла сил видеть, чувствовать волнение человека, судьба которого решалась снятием повязки. Она стояла посреди комнаты как завороженная,

прислушиваясь к голосам и шагам. Невольным усилием воображения, осеняющим нас в моменты тяжких вздохов, увидела она себя где-то в ином мире, другой, какой хотела бы предстать новорожденному взгляду, — вздохнула и покорилась судьбе.

Меж тем повязка была снята. Продолжая чувствовать ее исчезновение, давление, Рабид лежал в острых и блаженных сомнениях. Его пульс упал.

— Дело сделано, — сказал профессор, и его голос дрогнул от волнения. — Смотрите, откройте глаза!

Рабид поднял веки, продолжая думать, что Дэзи здесь, и стыдясь вновь окликнуть ее. Прямо перед его лицом висела складками какая-то занавесь.

— Уберите материю, — сказал он, — она мешает. И, сказав это, понял, что прозрел, что складки материи, навешенной как бы на самое лицо, есть оконная занавесь в дальнем конце комнаты.

Его грудь стала судорожно вздыматься, и он, не замечая рыданий, неудержимо потрясающих все его истощенное, належавшееся тело, стал осматриваться, как будто читая книгу. Предмет за предметом проходили перед ним в свете его восторга, и он увидел дверь, мгновенно полюбив ее, потому что вот так выглядела дверь, через которую проходила Дэзи. Блаженно улыбаясь, он взял со стола стакан, рука его задрожала, и он, почти не ошибаясь, поставил его на прежнее место.

Теперь он нетерпеливо ждал, когда уйдут все люди, возвратившие ему зрение, чтобы позвать Дэзи и, с правом получившего способность борьбы за жизнь, сказать ей все свое главное. Но прошло еще несколько минут торжественной, взволнованной, ученой беседы вполголоса, в течение которой ему приходилось отвечать, как он себя чувствует и как видит.

В быстром мелькании мыслей, наполнявших его, и в страшном возбуждении своем он никак не мог припомнить подробностей этих минут и установить, когда наконец он остался один. Но этот момент настал. Рабид позвонил, сказал прислуге, что ожидает немедленно к себе Дэзи Гаран, и стал блаженно смотреть на дверь.

Узнав, что операция удалась блестяще, Дэзи вернулась в свою дышащую чистотой одиночества комнату и, со слезами на глазах, с кротким мужеством последней, зачеркивающей все встречи, оделась в хорошенькое летнее платье.

Свои густые волосы она прибрала просто — именно так, что нельзя ничего лучше было сделать этой темной, с влажным блеском волне, и с открытым всему лицом, естественно подняв голову, вышла с улыбкой на лице и казнью в душе к дверям, за которыми все так необычайно переменилось. Казалось ей даже, что там лежит не Рабид, а некто совершенно иной. И, припомнив со всей быстротой последних минут многие мелочи их встреч и бесед, она поняла, что он точно любил ее.

Коснувшись двери, она помедлила и открыла ее, почти желая, чтобы все осталось по-старому. Рабид лежал головой к ней, ища ее позади себя глазами в энергическом повороте лица. Она прошла и остановилась.

— Кто вы? — вопросительно улыбаясь, спросил Рабид.

— Правда, я как будто новое существо для вас? — сказала она, мгновенно возвращая ему звуками голоса все их короткое, таящееся друг от друга прошлое.

В его черных глазах она увидела нескрываемую, полную радость, и страдание отпустило ее. Не произошло чуда, но весь ее внутренний мир, вся ее любовь, страхи, самолюбие и

отчаянные мысли и все волнения последней минуты выразились в такой улыбке залитого румянцем лица, что вся она, со стройной своей фигурой, казалась Рабиду звуком струны, обвитой цветами. Она была хороша в свете любви.

— Теперь, только теперь, — сказал Рабид, — я понял, почему у вас такой голос, что я любил слышать его даже во сне. Теперь, если вы даже ослепнете, я буду любить вас и этим вылечу. Простите мне. Я немного сумасшедший, потому что воскрес. Мне можно разрешить говорить все.

В этот момент его, рожденное тьмой, точное представление о ней было и осталось таким, какого не ожидала она.

Безногий

Когда я остановился…

Как правило, я не люблю зеркал. Они возбуждают представление отчетливой призрачности происходящего за спиной, впечатление застывшей и вставшей стеной воды, некой оцепеневшей глубины, не имеющей конца и вещей в далях своих.

В особенности жутко рассматривать отражения уличного зеркала, с его неточностью вертикала, где стены и улицы клонятся, привстав, на тебя, или — прочь, вниз, подобно палубе в качку, пока не отведешь глаз.

Мы обычно рассматриваем себя изнутри, не отделяя наружности, какой смутно помним ее, от мыслей и чувств, поэтому большей частью бываем настроены несколько мстительно и настороже, когда видим эту живую форму — свое лицо — отделенной от нас в беззащитное состояние.

Я не отвернулся бы к зеркалу, не обратился бы к его немому подсказу, если б не замечание вполголоса:

— Смотри, калека, дай ему что-нибудь.

Это сказала женщина. Они сострадательнее мужчин, может быть, потому, что у них живее воображение чувств, отличное от воображения зрительного.

Я оглянулся и увидел человека в рваном пальто, сидящего на бедрах в тележке-ящике. У него было опухшее, безжизненного цвета молодое лицо; жизнь этого рассеченного пополам узника ушла в глаза, блестяще и напряженно бегающие по лицам идущей над ним толпы. Вся насильственно остановленная подвижность тела выражалась этим шагающим на привязи взглядом. Его плечи были сведены вперед, руки упирались в края ящика, палки лежали рядом.

Иногда, приподнимая черный картуз и снова туго натягивая его, он вносил этим движением в мои впечатления черту уродливого благополучия; тогда, с некоторым усилием, я мог представить, что этот человек стоит наполовину в земле, — как рабочий в водосточной канаве, — и что у него есть ноги.

Меня удерживало около него желание превзойти самого себя, постичь его ощущения, его вечное чувство укороченности, неправильного сердцебиения, его особый ход мыслей, всегда связанных с своим положением.

Я не знаю, почему было мне это нужно, так как я не люблю калек из чувства решительного, несколько раздраженного сопротивления, возбуждаемого этими переделанными, заштопанными телами, заставляющими вводить в спокойный и свежий свои мир вид несчастья уродливого, — увы, мы ищем гармонии даже в лохмотьях, картинности — в отравленной угаром мансарде, — и зрелище мужественной нужды тронет нас скорее, чем просто голодный вой, потому что первый случай картинности кует воображение.

При виде калеки я делаюсь замкнут, любопытен и холоден.

Я был таким и теперь, когда, не желая смущать несчастного, изучал его в зеркале, замечая, что и он тоже упорно смотрит мне в глаза в стекле, может быть, ожидая, что я подойду и дам денег.

Наверное, он так и думал.

Я убежден, что каждого прохожего он рассматривал исключительно с этой стороны, что его негодование было непрерывным, так как едва один из ста совал ему что-нибудь. В таких случаях калека механически кланялся и снова начинал молча вертеть ярким взглядом, находя, конечно, излишними всякие причитания и возгласы.

Когда в ящике накоплялось несколько штук бумажек, он неторопливо сортировал их и раскладывал по карманам, смотря перед собой с рассеянностью бухгалтера.

Я хорошо чувствовал и понимал это профессиональное настроение, связанное с особыми душевными искажениями, которые в свете жестокой, непроизвольной внутренней усмешки моей получали показной, театральный характер.

Калека был мне неприятен и жалок, но я не мог отойти от зеркала, рассматривая его с живейшим и ненасытным интересом, разбрасывая вокруг отрывочные картины боя, разрыва гранат, серого с розовой полосой утра, где в сумерках, с руками, оттянутыми носилками, спотыкаются санитары, и ровный, как пение самовара, стон сумеречного поля мешается с далекой пальбой.

Затем — операция, сознание новой и трудной жизни, тысячи мелких приспособлений, неизвестных до этого, сны о ногах, попытки неумелых движений, наука двигаться заново, с иным представлением о себе; согретое годами отчаяние и темное безразличие.

Между тем я замечал, что, по впечатлительности или особой нервности, машинально двигаю руками, подражая калеке, когда он возился с деньгами или менял в чем-нибудь свое положение. Эти неполные, только лишь намеченные и оборванные движения мои чрезвычайно раздражали меня, и я стал смотреть на других как в зеркале, так и по тротуару.

Эти бесчисленные шаги ног, пульсация множества сухих женских лодыжек, мерное откусывание калошами, сапогами и валенками больших, ровных кусков тротуара, шум, стук, шарканье и шелест движения вызывали во мне приятное чувство силы и равновесия, благодаря которому я могу пройти всю Тверскую, взад-вперед, поднимаясь в гору и спускаясь с нее.

Калека в ящике иначе должен ценить и сознавать пространство; оно для него — почти фикция, забытый сон; он смотрит на ближайший угол с сложным расчетом дали, и крыша Гнездниковского небоскреба должна ему казаться Монбланом.

Здесь мои размышления внезапно вспыхнули, рванувшись вслед женщине, прошедшей быстро и озабоченно сзади меня; я тотчас узнал ее, все вспомнив, что было семь месяцев назад.

Я поднимался в четвертый этаж, где мне открывали дверь, зная, как я звоню, две сестры, — младшая, держа старшую за талию и выглядывая из-за нее с шутливым вопросом: “Чего-с?”

Старшая смущалась, но не особенно; есть род приветливого смущения, действующего взаимно, и я, смущаясь сам, радовался тому. Что же разлучило нас? Я никак не мог вспомнить в эту минуту. Вообще у меня плохая память на прошлое. Первым движением моим было броситься вслед, но я почему-то не сделал этого тогда, когда она была в двух шагах, затем у меня уже не было сил двинуться.

Я точно окаменел. Я стоял, пытаясь что-то понять, но мысли так разбегались, что я сам — глухое отражение зеркала и звонкий оригинал — улица сзади меня, — все спуталось в сеть, и беглый, глубокий трепет ошеломления вызвал, наконец, эту ужасную кристаллизацию, от которой перехватило в горле.

Так! Это я смотрю на себя, я, забыв, что со мной; у меня нет ног, палки лежат рядом, и прохожие, втянув голову в плечи, посматривают на меня сверху вниз, иногда бросая бумажку.

Действительно — я очнулся. Зеркала вызывают сны — странное смешение прошлого и настоящего, меняют взгляд, цели и впечатления, — этот хоровод исчез; с болью, крутым твердым винтом прошел сквозь меня день бегущих, чужих ног и пригвоздил к ящику, где я могу шарить руками вокруг своих бедер, шурша бумажками. Я смотрю на ноги и всегда думаю о ногах и о себе.

Где же мое сокровище, белое тело мое, мои ноги, которыми всходил я на четвертый этаж, — смущаться, смотря в глаза? Я отвел взгляд от зеркала.

С рыданием, с злым воем, не удерживаясь, а торжествуя и плача, я — безнаказанный, безногий, погибший, я, в котором всегда два, — беру свои палки.

О проклятое зеркало! Бей его, я бью — раз! И лохмотья стекла остро сверкают на пустом дереве. Невероятно смешно смотреть на это со стороны.

Но мне теперь все равно. Все равно.

Веселый попутчик

Знаменитый актер Дуглас почти никому не рассказывал свою странную историю, только я да наш общий друг Эмерсон знали ее.

Теперь, когда Дуглас умер, простив всех, а в глубине души простив, быть может, и Эмерсона (я улыбаюсь, говоря так, оговариваю это с улыбкой потому, что сам не знаю себя, как и все мы), — можно безболезненно для него и безобидно для прочих очертить тайну одного дня на Сан-Риольской дороге, между Вардом и Кэзом, в изложении, хотя литературном, но вполне верном действительности.

Около четырех часов дня у большого камня, пересекающего своею тенью дорогу, присел человек лет тридцати пяти.

Босой, загорелый, небритый, он был одет или, вернее, прикрыт ужаснейшими лохмотьями, куча которых, брошенная отдельно, заставила бы бережно обойти их даже кошку.

Голову оборванца прикрывал пестрый платок, завязанный узлом на затылке. У него не было

рубашки, и голая грудь выказывалась почти вся из драного на локтях кителя, с короткими рукавами, без пуговиц, в узорах заплат.

Нижние края грязных парусиновых брюк были истрепаны в бахрому; холст просвечивал на коленях, а щели выдранных карманов блестели полоской тела.

Однако его сумрачное лицо с мягким очертанием рта и спокойными голубыми глазами не отражало удрученности, озлобления или приниженности. Поставив толстую палку между колен и беспечно оглядываясь, человек насвистывал арию из “Кармен” с искусством, выказывающим хороший слух, а также любовь к музыке.

Его взгляд упал на придорожную яму, полную дождевой воды. Насмешливо вздохнув, человек встал, подошел к этому естественному зеркалу, предку всех венецианских и парижских зеркал, и склонился над своим отражением.

Оно было не лучше, не хуже оригинала, имея, впрочем, то преимущество, что распадалось и исчезало, если болтануть воду рукой, тогда как оригинал, даже при стремительном урагане, оставался в мире вещей точно таким, как и в безмятежное утро.

Бродяга рассматривал себя с странной улыбкой удовольствия и комического презрения. Он сидел боком к яме, наклонясь и упираясь руками в траву.

Из этого сосредоточия его внезапно вывел насмешливый, степенно выговаривающий слово за словом голос неизвестного человека, раздавшийся так близко от нового Нарцисса, что тот, подняв голову, вспыхнул подобно молодой девушке, кокетство которой находит преувеличенную оценку.

На противоположном краю ямы, скрестив по-турецки ноги и сложив на груди руки, восседал почти что его двойник, с той разницей, что его лохмотья были иного цвета, платок заменяла рыжая, как огонь, шляпа, а тонкое, молодое лицо с правильными чертами выглядело моложе лет на десять. Быстрый и резкий взгляд черных глаз и упрямое выражение рта придавали его лицу впечатление опыта и душевной гибкости более старшего возраста.

— Сорокалетняя наяда без юбки перед визитом Тритона, — внушительно сказал он, смеясь глазами, — или куртизанка в спальне соперницы. Не утопитесь в своем трюмо, милейший, и не делайте таких соблазнительных глазок лягушкам, не то список ваших побед в следующей странице начнется с “ква-ква”!

— Что это значит?! — сурово воскликнул первый, одолев смущение. — Прекратите свой монолог и оставьте меня в покое.

— Как?! — сказал, издеваясь, шутник. — Как? Упустить такой случай? Покорно подать ваш эмалированный гребешок и, почтительно склоня голову, с восхищением следить за блистающими под пудрой розами и лилиями вашего очаровательного лица?! Жестокий и неописуемо чванный граф! Для этого ли…

— Меня зовут Эмерсон, — коротко перебил этот ядовитый дифирамб первый бродяга, вскакивая с бледным лицом, — и ты немедленно увидишь собственную красоту.

Насмешник не успел отступить, как суковатая палка с силой пропела возле самого его уха, едва не разбив лицо, и воткнулась в землю далеко позади. К великому удивлению Эмерсона, оборвыш, вместо того, чтобы швырнуть в него своей палкой, спокойно перешел лужу и протянул руку, ничем не выказывая трусости или хитрости.

— Я не думал, что это так серьезно для вас, — просто сказал он, в то время как Эмерсон неохотно и хмуро дотронулся до его руки, — что делать, надо как-нибудь веселить жизнь,

если она сама, забавляясь, хлопает нас по щекам каждый день, да еще при этом так брезгливо отворачивается. Однако бросим учтивости. Куда идешь, милый?

По лицу старшего прошла едва уловимая улыбка. Он ответил не сразу и попытался уклониться от прямого ответа.

— Не все ли равно? — сказал он. — Люди, подобные нам, часто идут одной дорогой, но к разной цели. Мой путь недолог.

— Не гордись, братец, тем, что ты на своем веку выпил из придорожных канав больше воды и больше накрал чужих кур, чем я. Уверяю тебя, с некоторых пор я достиг немалого искусства в этом интересном занятии, так что смогу показать тебе коллекцию петушьих гребней весом в кило.

— Надеюсь, однако, что в эту коллекцию не попадут петухи с моей фермы, — сказал Эмерсон, посмеиваясь, — в противном случае ты рискуешь потерять свои волосы.

— Ну, вот, наконец-то ты заговорил человеческим языком, — заметил бродяга, шагая рядом, — верно, ты идешь так скоро, как будто тебя и вправду ждет жена с воскресным яблочным пирогом. Обещаю тебе, дружище, если у тебя когда-нибудь будет ферма, выкрасть тебе на развод птичника петушка с курочкою и мешок овса, чтобы кормить их. Как я вижу, нам по дороге. Ну, так знай, что меня зовут Билль Железный Крючок, и если мы когда-нибудь еще встретимся, можешь смело подать мне огня для трубки, не опасаясь репрессий.

Эмерсон внимательно посмотрел на своего странного спутника. Следы голода и бессонных ночей в лице Билля наполнили его некоторым уважением к этому человеку, способному, казалось, шутить даже на смертном одре. К тому же его взгляд, несмотря на беспокойство и живость, отличался необъяснимым внутренним равновесием и лукавой, подкупающей мягкостью.

— Ты голоден? — быстро спросил он.

— Да, но в высшем смысле, — сказал Железный Крючок. — В вульгарном смысле я сожрал бы быка, а в высшем удовлетворюсь виноградинкой и глотком воды Сирано де-Бержерака.

— В таком случае, — сказал Эмерсон, — выбирай либо низший, либо высший смысл, — а может быть, есть середина между тем и другим, так как ты сегодня обедаешь у меня, где можешь в придачу получить пару сносных брюк и рубашку.

Совершенная уверенность и невозмутимость тона, каким Эмерсон высказал эти радушные вещи, произвели быстрое и ошеломительное действие. Билль Железный Крючок внезапно согнулся, как будто его ударили палкой по животу, затем сел и стал мять в ладонях лицо, удерживая такой страшный, душепожирающий хохот, какой иногда сражает нас до боли в боках, до истерических взвизгиваний и может повести к смерти, если развеселившийся таким образом человек имел в это время во рту что-нибудь рассыпчатое или колючее, скажем, сухарь или непрожеванную рыбу с костями.

Пока он хохотал, Эмерсон смотрел на него с неловким выражением досады и легкого раздражения; подметив это, Билль закатился еще неистовее.

— Как… ты… сказал?.. — выговорил он, наконец, сквозь вопли, стоны и вздохи, сморкаясь и отдуваясь, подобно купающемуся. — Как… это — а… э… о-ох! Как это ты так ловко завинтил?! “Обед”, — говоришь, — ха-ха-ха! и “штаны” — говоришь?! О-о! Я умру без погребения, канашка ты этакий! Может быть, брюки из шелкового трико? И жилет к ним — белое пике с серебряными цветочками?! Знай, что даже теперь я не променяю своих штанов на твои, а так как ты тот самый счастливый человек, у которого нет рубашки, то и не пытайся

украсть ее, чтобы подарить мне. Нет, не говори. Не говори, что ты обиделся за мои слова около лужи, — но как ты великолепно разыграл это? Подними меня, я обессилел от хохота!

— Печально, — сказал старший бродяга, — если бы ты поменьше смеялся или, по крайней мере, потрудился хорошенько меня расспросить, в чем дело, я, может быть, оставил бы тебя восхищаться моим мнимым уменьем дурачить прохожих на большой дороге; однако я не люблю, если мне навязывают несвойственную роль. Вставай, веселый человек.

Билль встал. В лице и манерах его совершилась неуловимая перемена, овладеть которой в подробностях Эмерсон не мог, но он почувствовал ее так же ясно, как хорошую погоду, смотря на просветлевшее после дождя небо. Взгляд Билля стал зорок и тверд, выражение лица блеснуло худо скрываемым превосходством, и легкая улыбка презрения, столь тонкого, что почувствовать его равнялось бы унижению, внезапно остановила речь Эмерсона. Показалось ему, что яростно хохотал, хватаясь за живот, кто-то другой — таким непохожим на прежнее обернулось перед ним странное лицо Билля.

Но он ничего не сказал об этом и, помолчав, медленно зашагал, переваривая неожиданное впечатление. Билль шел рядом, иногда взглядывая на своего спутника тем свободным движением, какое свойственно прямому и решительному характеру.

Эмерсон принадлежал к категории людей, которые, раз начав развивать внутренно какое-либо положение, хотя бы и оборванное, не могут уже удержаться, чтобы не привести это положение к развитию и окончанию в действительности. Поэтому, нахмурясь от досады на самого себя за то, что поддался мелкому чувству смешной и пустячной обиды, он все-таки досказал, что хотел.

— Все произошло из-за испорченного затвора. Я должен был поехать проверить и пересчитать плоты, прибывшие на лесопильный завод — мой завод, — крепко подчеркнул он, подозрительно всматриваясь во внимательное лицо Билля и начиная сердиться в ожидании выходки с его стороны. — Это в тридцати милях отсюда. Дело было вчера вечером. Противно обыкновению, я взял с собой штуцер, а не револьвер, как делал раньше. Мы не всегда можем дать себе отчет в некоторых движениях. Вот этот-то штуцер и сыграл со мной партию наверняка. В сумерках на лесной тропинке ускакать было немыслимо. Двое уцепились за гриву и узду, а трое столкнули с седла. Одеты они были… гм… немного получше вашего.

— Продолжайте, — мягко, но твердо перебил Билль.

— Продолжать — значит кончить, — заметил Эмерсон, с неудовольствием чувствуя на себе испытующий взгляд своего спутника. Все время рассказа его смущал также вид его босых ног, смешно торчащих из коротких штанов, и коробила нелепость положения, ярко обозначенного в безжалостном свете солнца видом настоящего придорожного дикаря-бродяги. — Я оканчиваю. От сырости или от плохой чистки, но затвор штуцера не поддавался моим усилиям, и он был отнят у меня вместе с лошадью и всем, что было на мне. Вдобавок я получил тумаки и благодарю бога, что жив. Ну-с, я шел обратно всю ночь голый, дрожа от злобы и холода. Это отрепье мне дал железнодорожный стрелочник, — я подошел к его окну в ожерелье из веников, которые связал сам. Стоило послушать наш разговор и мои объяснения… К тому же местность эта пустынна. Но путь был невелик, считая от стрелочника. В полумиле отсюда мой дом.

— Но это ужасно! — сказал Билль совершенно новым, спокойным и участливым тоном, так же не шедшим к его внешности и положению, как трудно вязался неожиданный рассказ Эмерсона с отсутствием у него рубашки. — Я не могу не верить вам, я верю, — добавил он серьезно и быстро. — Но, правда, говорят — жизнь страшнее романов. Простите мистификацию, естественно подсказанную мне моей ужасной одеждой: я — Эдмонд Роберт Дуглас, член и секретарь председателя Географического Общества в Сан-Риоле и

временный бродяга на полуострове; смотрите, как хотите, на мое поведение, но пари, которое я держал с одной дамой, по существу своему, не позволяет мне проиграть его. Я знаю, что вы удивлены, но, клянусь вам, не менее был удивлен и я, когда вы пригласили меня обедать.

— Вы лжете, — сказал, оторопев, Эмерсон.

Ему пришлось выбранить себя за поспешность, с какой бросил он оскорбление.

Дуглас, вздрогнув, остановился. Его лицо вспыхнуло, затем побледнело: судорога мучительной борьбы меж гневом и чрезвычайным усилием сдержать себя тенью прошла в его чертах с таким напряжением и достоинством, что Эмерсон только пожал плечами.

— Вы сказали странные вещи, — заметил он тоном извинения. — Да, вы поразили меня.

— Я мог бы сказать то же относительно вас. Но, помимо слов ваших, было неизъяснимое душевное движение между нами, заставившее меня поверить. Я надеюсь, что точно такое же движение возникнет у вас, если я расскажу о себе. Правда и то, что я счел вас обыкновенным бродягой, не сразу поверив; поэтому вы правы, не веря без доказательств.

— Я верю, — сказал Эмерсон просто, — вы доказали мою вину именно тем “внутренним движением”, какое только что тронуло меня. Но как необыкновенно, как странно все это! То есть, я хочу сказать, что ваше и мое положение, взятые отдельно, не есть еще редчайший курьез, — редкость заключается в нашей встрече.

— Не меньшая, чем если ухитриться поставить иглу острием на острие другой иглы, — сказал, улыбаясь, Дуглас. — Но со мной было так. На рауте у Эпстона, известного, вероятно, и вам, по слухам, миллионера, рауте в честь знаменитого путешественника Виталия Кроугли, я стал утверждать, что человек, кто бы он ни был, может без всякого вреда для своего характера и основных склонностей стать в любое положение на любой срок, возвратясь тем же, чем был. Кроугли указывал неизбежное, по его словам, давление среды, легкий, может быть, едва ощутимый осадок, муть покинутых и не свойственных данному субъекту условий. Спор произошел в присутствии — имя не играет роли — одной женщины; когда мой оппонент заявил, что стоит мне провести месяц на большой дороге, и я начну вести себя с некоторой оригинальностью, — я предложил это пари. Правда, Кроугли имел в виду мою крайнюю впечатлительность; он утверждал, что я, незаметно для самого себя, выкажу в обхождении и складе речи такие мелочи позаимствованного в новой среде багажа, какие уловятся лишь посторонними. Но мне надо было обратить на себя внимание, заставить думать обо мне одно твердое и холодное сердце. Короче говоря, я вызвался провести шесть месяцев без денег, в рубище, исходив полуостров от Кэза до Минигама и от Зурбагана до Сан-Риоля, питаясь, чем случится, с тем, что, возвратясь, немедленно явлюсь в общество заранее извещенных лиц и предоставлю их компетенции судить, оставила ли бродячая жизнь на мне и во мне хотя бы малейший след. Но я переимчив и наблюдателен, поэтому-то и раздражил вас, сознаюсь, утрированным изображением веселого Билля Железный Крючок.

— Но все это крайне интересно! — сказал Эмерсон, настолько увлеченный рассказом Дугласа, что забыл о своем странном костюме и вспомнил о нем, лишь когда за поворотом дороги показалась затейливая голубая крыша большой белой усадьбы. — Теперь мы дома, прошу вас, Дуглас, быть у меня гостем.

Показалось ли ему, что его спутник издал неопределенный быстрый звук, или тот действительно произвел нечто вроде короткого восклицания, смешанного с глухим кашлем, — только Эмерсон вопросительно взглянул на него. Но лицо Дугласа было невозмутимо спокойно. Он, казалось, с удовольствием рассматривает плантации, сад, городок служб и белую, вымощенную щебнем дорогу, поворачивающую от шоссе, через зеленые изгороди, к веранде дома.

Разговор, который вели теперь оба путника, был о редких случайностях. Вдруг Дуглас остановился, дотронувшись до плеча Эмерсона несколько фамильярным движением.

— Что вы? — спросил Эмерсон.

— Слушайте, — сказал, посмеиваясь, Дуглас, — слоняясь, я воспитал в себе беса, который так и подмывает меня перевернуть банку с орехами. Будь вы, действительно, бродягой, прикидывающимся, чтобы поморочить приятеля, собственником большой фермы, — знаете, как я заговорил бы тогда?

— А как?

— Ну… это — искусство. Например: послушай, небритая щетина, не забудь, если тебе удастся пробраться на кухню, замолвить словечко и за меня. Скажи что-нибудь сердцещипательное хозяевам — ну, хотя бы, что ты не можешь есть с аппетитом, если я не сижу рядом с тобой.

Эмерсон добродушно рассмеялся.

— Да, вы овладели этой манерой, — сказал он, — и если бы я не боялся обидеть вас, то попросил бы вначале не открывать при жене, кто вы, ради простой шутки, конечно.

— Я еще сказал бы вам, — задумчиво и хмуро продолжал Дуглас, — не иди так прямо к подъезду, как свинья прет на чужое корыто, иначе тебя отдубасят так, что вместо подачки придется мне тащить сломанные кости твои, старый плут.

Эмерсон без улыбки посмотрел на Дугласа, находя, что шутка переходит предел.

— Так, так, — рассеянно и нетерпеливо сказал он. Они шли мимо веранды.

— Анни, — сказал Эмерсон, заметив белую фигуру с книгой в руках среди узора дикого винограда. — Анни, не испугайся. Это я. Скажу кратко — меня раздели, но я цел и невредим.

Молодая женщина, вся вспыхнув от неожиданного волнения, вызванного ужасным видом мужа, быстро сбежала по лестнице, утирая слезы и удерживая нервный смех; с быстротой и живостью ощупала она Эмерсона, поворачивая его из стороны в сторону, отступая, всплескивая руками и тряся головой, как будто весь наряд пострадавшего сыпался на ее темные волосы.

— Дорогой мой! — сказала она, — но знаешь, ты бесподобен! Правда ли, что цел? Но покажись еще; повернись так. И так. Прости меня, идем, я одену тебя, бродяжка! А это…

Поймав ее взгляд, Эмерсон обернулся, сказав:

— Анни, случайная встреча; и мы уже познакомились. Но не пугайся вторично: Эдмонд Роберт Ду…

Он остановился с тревогой, пораженный до чрезвычайности. Дуглас стоял, прислонясь к молодому каштану и вытянув вперед правую руку, как будто отталкивал прочь Эмерсона или предупреждал его движение. Но Эмерсон был ошеломлен в такой степени, что мог только сказать:

— Вы… что случилось?..

Дуглас был крайне бледен; два раза порывался он заговорить, но не мог. Из его глаз скатились две крупные слезы, и он тихо снял их рукой, видимо, стыдясь этой слабости.

— Что? — сказал он, наконец, с мучительным глухим усилием. — Ничего больше, как то, что вы обманули меня. Я думал… о, черт! — выругался он, взглянув на пристально обнюхивающего его водолаза. — Я думал, что вы такой же Эмерсон, как я — Роберт Дуглас. Меня встряхнуло, но это, знаете, оттого, что я не предвидел финала. Слушая вас, я даже завидовал: ведь вы ни разу не улыбнулись, когда несли эту… когда рассказывали о нападении и стрелочнике. Да, вы — Эмерсон, и это — ваш дом, и это — ваша жена. Но я — я Билль, выгнанный за скандалы актер, мот и игрок, и ничего более. Я думал, что оба мы “ловим блох”. В нашей компании трепать языком, как трепал я, называется “ловить блох”. Иногда это скучно, иногда занятно, смотря с кем, и я думал, что наше состязание… Простите мои больные нервы. Это оттого, что и я ранее представлял себе, как вхожу в дом, где… где меня не облают. Прощайте. Кушайте на здоровье. Я отказываюсь от приглашения.

Эти беспорядочные слова бродяги глубоко тронули Эмерсона. Он обладал верным и тонким инстинктом к людям, поэтому первым его движением было взять Билля за руку и потянуть на веранду.

Билль, отняв руку, покачал головой:

— Я только больше расстроюсь.

— Так войди же и живи с нами! — вскричал Эмерсон. — И пусть меня разорвут на части мои собственные собаки, если я не сделаю из тебя человека!

Так Билль Железный Крючок поселился у Эмерсона, а впоследствии развил свое необыкновенное сценическое дарование и грянул им на больших сценах. Финальная виньетка к этому рассказу изображает крючок среди рассыпанных на столе карт; стол стоит на большой дороге, а над всем этим блестит тонкий луч восходящего солнца.

Крысолов

На лоне вод стоит Шильон,

Там, в подземельи, семь колонн

Покрыты мрачным мохом лет…

I

Весной 1920 года, именно в марте, именно 22 числа, — дадим эти жертвы точности, чтобы заплатить за вход в лоно присяжных документалистов, без чего пытливый читатель нашего времени наверное будет расспрашивать в редакциях — я вышел на рынок. Я вышел на рынок 22 марта и, повторяю, 1920 года. Это был Сенной рынок. Но я не могу указать, на каком углу я стоял, а также не помню, что в тот день писали в газетах. Я не стоял на углу потому, что ходил взад-вперед по мостовой возле разрушенного корпуса рынка. Я продавал несколько книг — последнее, что у меня было.

Холод и мокрый снег, валивший над головами толпы вдали тучами белых искр, придавали зрелищу отвратительный вид. Усталость и зябкость светились во всех лицах. Мне не везло. Я бродил более двух часов, встретив только трех человек, которые спросили, что я хочу получить за свои книги, но и те нашли цену пяти фунтов хлеба непомерно высокой. Между тем, начинало темнеть, — обстоятельство менее всего благоприятное для книг. Я вышел на тротуар и прислонился к стене.

Справа от меня стояла старуха в бурнусе и старой черной шляпе с стеклярусом. Механически тряся головой, она протягивала узловатыми пальцами пару детских чепцов, ленты и связку пожелтевших воротничков. Слева, придерживая свободной рукой под подбородком теплый серый платок, стояла с довольно независимым видом молодая девушка, держа то же, что и я, — книги. Ее маленькие, вполне приличные башмачки, юбка, спокойно доходящая до носка — не в пример тем обрезанным по колено вертлявым юбчонкам, какие стали носить тогда даже старухи, — ее суконный жакет, старенькие теплые перчатки с голыми подушечками посматривающих из дырок пальцев, а также манера, с какой она взглядывала на прохожих, — без улыбки и зазываний, иногда задумчиво опуская длинные ресницы свои к книгам, и как она их держала, и как покряхтывала, сдержанно вздыхая, если прохожий, бросив взгляд на руки, а затем на лицо, отходил, словно изумясь чему-то и суя в рот "семечки", — все это мне чрезвычайно понравилось, и как будто на рынке стало даже теплее.

Мы интересуемся теми, кто отвечает нашему представлению о человеке в известном положении, поэтому я спросил девушку, хорошо ли идет ее маленькая торговля. Слегка кашлянув, она повернула голову, повела на меня внимательными серо-синими глазами и сказала: "Так же, как и у вас".

Мы обменялись замечаниями относительно торговли вообще. Вначале она говорила ровно столько, сколько нужно для того, чтобы быть понятой, затем какой-то человек в синих очках и галифе купил у нее «Дон-Кихота»; и тогда она несколько оживилась.

— Никто не знает, что я ношу продавать книги, — сказала она, доверчиво показывая мне фальшивую бумажку, всученную меж другими осмотрительным гражданином, и рассеянно ею помахивая, — то есть, я не краду их, но беру с полок, когда отец спит. Мать умирала… мы все продали тогда, почти все. У нас не было хлеба, и дров, и керосина. Вы понимаете? Однако мой отец рассердится, если узнает, что я сюда похаживаю. И я похаживаю, понашиваю тихонько. Жаль книг, но что делать? Слава богу, их много. И у вас много?

— Н-нет, — сказал я сквозь дрожь (уже тогда я был простужен и немного хрипел), — не думаю, чтобы их было много. По крайней мере, это все, что у меня есть.

Она взглянула на меня с наивным вниманием, — так, набившись в избу, смотрят деревенские ребятишки на распивающего чай проезжего чиновника, — и, вытянув руку, коснулась голым кончиком пальца воротника моей рубашки. На ней, как и на воротнике моего летнего пальто, не было пуговиц, я их потерял, не пришив других, так как давно уже не заботился о себе, махнув рукой как прошлому, так и будущему.

— Вы простудитесь, — сказала она, машинально защипывая поплотнее платок, и я понял, что отец любит эту девушку, что она балованная и забавная, но добренькая. — Простудитесь, потому что ходите с расхлястанным воротом. Подите-ка сюда, гражданин.

Она взяла книги подмышку и отошла к арке ворот. Здесь, с глупой улыбкой подняв голову, я допустил ее к своему горлу. Девушка была стройна, но значительно менее меня ростом, поэтому, доставая нужное с тем загадочным, отсутствующим выражением лица, какое бывает у женщин, когда они возятся на себе с булавкой, девушка положила книги на тумбу, совершила под жакетом коротенькое усилие и, привстав на цыпочки, сосредоточенно и важно дыша, наглухо соединила края моей рубашки вместе с пальто белой английской булавкой.

— Телячьи нежности, — сказала, проходя мимо, грузная баба.

— Ну вот. — Девушка критически посмотрела на свою работу и хмыкнула. — Все. Идите гулять.

Я рассмеялся и удивился. Не много я встречал такой простоты. Мы ей или не верим или ее не видим; видим же, увы, только когда нам плохо.

Я взял ее руку, пожал, поблагодарил и спросил, как ее имя.

— Сказать недолго, — ответила она, с жалостью смотря на меня, — только зачем? Не стоит. Впрочем, запишите наш телефон; может быть, я попрошу вас продать книги.

Я записал, с улыбкой поглядывая на ее указательный палец, которым, сжав остальные в кулак, водила она по воздуху, учительским тоном выговаривая цифру за цифрой. Затем нас обступила и разъединяла побежавшая от конной облавы толпа. Я уронил книги, когда же их поднял, девушка исчезла. Тревога оказалась недостаточной для того, чтобы совсем уйти с рынка, а книги через несколько минут после этого у меня купил типичный андреевский старикан с козьей бородой, в круглых очках. Он дал мало, но я был рад и этому. Лишь подходя к дому, я понял, что продал также ту книгу, где был записан телефон, и что я его бесповоротно забыл. II

Вначале отнесся я к этому с легкой оторопью всякой малой потери. Еще не утоленный голод заслонял впечатление. Задумчиво варил я картофель в комнате с загнившим окном, политым сыростью. У меня была маленькая железная печка. Дрова… в те времена многие ходили на чердаки, — я тоже ходил, гуляя в косой полутьме крыш с чувством вора, слушая, как гудит по трубам ветер, и рассматривая в выбитом слуховом окне бледное пятно неба, сеющее на мусор снежинки, Я находил здесь щепки, оставшиеся от рубки стропил, старые оконные рамы, развалившиеся карнизы и нес это ночью к себе в подвал, прислушиваясь на площадках, не загремит ли дверной крюк, выпуская запоздавшего посетителя. За стеной комнаты жила прачка; я целыми днями прислушивался к сильному движению ее рук в корыте, производившему звук мерного жевания лошади. Там же отстукивала, часто глубокой ночью — как сошедшие с ума часы — швейная машина. Голый стол, голая кровать, табурет, чашка без блюдца, сковородка и чайник, в котором я варил свой картофель, — довольно этих напоминаний. Дух быта часто отворачивается от зеркала, усердно подставляемого ему безукоризненно грамотными людьми, сквернословящими по новой орфографии с таким же успехом, с каким проделывали они это по старой.

Как наступила ночь, я вспомнил рынок и живо повторил все, рассматривая свою булавку. Кармен сделала очень немного, она только бросила в ленивого солдата цветком. Не более было совершено здесь. Я давно задумывался о встречах, первом взгляде, первых словах. Они запоминаются и глубоко врезывают свой след, если не было ничего лишнего. Есть безукоризненная чистота характерных мгновений, какие можно целиком обратить в строки или в рисунок, — это и есть то в жизни, что кладет начало искусству. Подлинный случай, закованный в безмятежную простоту естественно верного тона, какого жаждем мы на каждом шагу всем сердцем, всегда полон очарования. Так немного, но так полно звучит тогда впечатление.

Поэтому я неоднократно возвращался к булавке, твердя на память, что было сказано мной и девушкой. Затем я устал, лег и очнулся, но, встав, тотчас упал, лишившись сознания. Это начался тиф, и утром меня отвезли в больницу. Но я имел достаточно памяти и соображения, чтобы уложить свою булавку в жестяную коробку, служившую табакеркой, и не расставался с ней до конца. III

При 41 градусе бред принял форму визитов. Ко мне приходили люди, относительно которых я уже несколько лет не имел никаких сведений. Я подолгу разговаривал с ними и всех просил принести мне кислого молока. Но, как будто сговорившись, все они твердили, что кислое молоко запрещено доктором. Между тем, втайне я ожидал, не покажется ли среди их мелькающих как в банном пару лиц лицо новой сестры милосердия, которой должна была быть не кто иная, как девушка с английской булавкой. Время от времени она проходила за стеной среди высоких цветов, в зеленом венке на фоне золотого неба. Так кротко, так весело сияли ее глаза! Когда она даже не появлялась, ее незримым присутствием была полна мерцающая притушенным огнем палата, и я время от времени шевелил пальцами в коробке

булавку. К утру скончалось пять человек, и их унесли на носилках румяные санитары, а мой термометр показал 36 с дробью, после чего наступило вялое и трезвое состояние выздоровления. Меня выписали из больницы, когда я мог уже ходить, хотя с болью в ногах, спустя три месяца после заболевания; я вышел и остался без крова. В прежней моей комнате поселился инвалид, а ходить по учреждениям, хлопоча о комнате, я нравственно не умел.

Теперь, может быть, уместно будет привести кое-что о своей наружности, пользуясь для этого отрывком из письма моего друга Репина к журналисту Фингалу. Я делаю это не потому, что интересуюсь запечатлеть свои черты на страницах книги, а из соображений наглядности. "Он смугл, — пишет Репин, — с неохотным ко всему выражением правильного лица, стрижет коротко волосы, говорит медленно и с трудом". Это правда, но моя манера так говорить была не следствием болезни, — она происходила от печального ощущения, редко даже сознаваемого нами, что внутренний мир наш интересен немногим. Однако я сам пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал. Поэтому когда собиралось несколько человек, оживленно стремящихся как можно чаще перебить друг друга, чтобы привлечь как можно более внимания к самим себе, — я обыкновенно сидел в стороне.

Три недели я ночевал у знакомых и у знакомых знакомых, — путем сострадательной передачи. Я спал на полу и диванах, на кухонной плите и на пустых ящиках, на составленных вместе стульях и однажды даже на гладильной доске. За это время я насмотрелся на множество интересных вещей, во славу жизни, стойко бьющейся за тепло, близких и пищу. Я видел, как печь топят буфетом, как кипятят чайник на лампе, как жарят конину на кокосовом масле и как воруют деревянные балки из разрушенных зданий. Но все — и многое, и гораздо более этого — уже описано разорвавшими свежинку перьями на мелкие части; мы не тронем схваченного куска. Другое влечет меня — то, что произошло со мной. IV

К концу третьей недели я заболел острой бессонницей. Как это началось, сказать трудно, я помню только, что засыпал все с большим трудом, а просыпался все раньше. В это время случайная встреча повела меня к сомнительному приюту. Блуждая по каналу Мойки и развлекаясь зрелищем рыбной ловли — мужик с сеткой на длинном шесте степенно обходил гранит, иногда опуская свой снаряд в воду и вытаскивая горсть мелкой рыбешки, — я встретил лавочника, у которого несколько лет назад брал бакалейный товар по книжке; человек этот оказался теперь делающим что-то казенное. Он был вхож во множество домов по делам казенно-хозяйственным. Я не сразу узнал его: ни фартука, ни ситцевой рубахи турецкого рисунка, ни бороды и усов; одет был лавочник в строгие изделия военной складки, начисто выбрит и напоминал собой англичанина, однако с ярославским оттенком. Хотя он нес толстый портфель, но не имел власти поселить меня где захочет, поэтому предложил пустующие палаты Центрального Банка, где двести шестьдесят комнат стоят как вода в пруде, тихи и пусты.

— Ватикан, — сказал я, слегка содрогаясь при мысли иметь такую квартиру. — Что же, разве там никто не живет? Или, может быть, туда приходят, а если так, то не отправит ли меня дворник в милицию?

— Эх! — только и сказал экс-лавочник, — дом этот недалеко; идите и посмотрите.

Он завел меня в большой двор, перегороженный арками других дворов, огляделся и, так как на дворе мы никого не встретили, уверенно зашагал к темному углу, откуда вела наверх черная лестница. Он остановился на третьей площадке перед обыкновенной квартирной дверью; в нижней ее щели застрял мусор. Площадка была густо засорена грязной бумагой. Казалось, нежилое молчание, стоя за дверью, просачивается сквозь замочную щель громадами пустоты. Здесь лавочник объяснил мне, как открывать без ключа: потянув ручку, встряхнуть и нажать вверх, тогда обе половинки расходились, так как не было шпингалетов.

— Ключ есть, — сказал лавочник, — только не у меня. Кто знает секрет, войдет очень свободно. Однако про секрет этот никому вы не говорите, а запереть можно как изнутри, так и снаружи, стоит только прихлопнуть. Понадобится вам выйти — сначала оглянитесь по лестнице. Для этого есть окошечко (действительно на высоте лица в стене около двери чернел вас-ис-дас с разбитым стеклом). Я с вами не пойду. Вы человек образованный и увидите сами, как лучше устроиться; знайте только, что здесь можно упрятать роту. Переночуйте дня три; как только разыщу угол — оповещу вас немедленно. Вследствие этого — извините за щекотливость, есть-пить каждому надо — соблаговолите принять в долг до улучшения обстоятельств.

Он распластал жирный кошель, сунул в мою молчаливо опущенную руку, как доктору за визит, несколько ассигнаций, повторил наставление и ушел, а я, закрыв дверь, присел на ящик. Тем временем тишина, которую слышим мы всегда внутри нас, — воспоминаниями звуков жизни, — уже манила меня, как лес. Она пряталась за полузакрытой дверью соседней комнаты. Я встал и начал ходить.

Я проходил из дверей в двери высоких больших комнат с чувством человека, ступающего по первому льду. Просторно и гулко было вокруг. Едва покидал я одни двери, как видел уже впереди и по сторонам другие, ведущие в тусклый свет далей с еще более темными входами. На паркетах грязным снегом весенних дорог валялась бумага. Ее обилие напоминало картину расчистки сугробов. В некоторых помещениях прямо от двери надо было уже ступать по ее зыбкому хламу, достигающему высоты колен.

Бумага во всех видах, всех назначений и цветов распространяла здесь вездесущее смешение свое воистину стихийным размахом. Она осыпями взмывалась у стен, висела на подоконниках, с паркета в паркет переходили ее белые разливы, струясь из распахнутых шкафов, наполняя углы, местами образуя барьеры и взрыхленные поля. Блокноты, бланки, гроссбухи, ярлыки переплетов, цифры, линейки, печатный и рукописный текст — содержимое тысяч шкафов выворочено было перед глазами, — взгляд разбегался, подавленный размерами впечатления. Все шорохи, гул шагов и даже собственное мое дыхание звучали как возле самых ушей, — так велика, так захватывающе остра была пустынная тишина. Все время преследовал меня скучный запах пыли; окна были в двойных рамах. Взглядывая на их вечерние стекла, я видел то деревья канала, то крыши двора или фасада Невского. Это значило, что помещение огибает кругом весь квартал, но его размеры, благодаря частой и утомительной осязаемости пространства, разгороженного непрекращающимися стенами и дверями, казались путями ходьбы многих дней, — чувство, обратное тому, с каким мы произносим: "Малая улица" или "Малая площадь". Едва начав обход, уже сравнил я это место с лабиринтом. Все было однообразно — вороха хлама, пустота там и здесь, означенная окнами или дверью, и ожидание многих иных дверей, лишенных толпы. Так мог бы, если бы мог, двигаться человек внутри зеркального отражения, когда два зеркала повторяют до отупения охваченное ими пространство, и недоставало только собственного лица, выглядывающего из двери как в раме.

Не более двадцати помещений прошел я, а уже потерялся и стал различать приметы, чтобы не заблудиться: пласт извести на полу; там — сломанное бюро; вырванная и приставленная к стене дверная доска; подоконник, заваленный лиловыми чернильницами: проволочная корзина; кипы отслужившего клякс-папира; камин; кое-где шкаф или брошенный стул. Но и приметы начали повторяться: оглядываясь, с удивлением замечал я, что иногда попадаю туда, где уже был, устанавливая ошибку только рядом других предметов. Иногда попадался стальной денежный шкаф с отвернутой тяжкой дверцей, как у пустой печи; телефонный аппарат, казавшийся среди опустошения почтовым ящиком или грибом на березе, переносная лестница; я нашел даже черную болванку для шляп, неизвестно как и когда включившую себя в инвентарь.

Уже сумерки коснулись глубины зал с белеющей по их далям бумагой, смежности и коридоры

слились с мглой и мутный свет ромбами перекосил паркеты в дверях, но прилегающие к окнам стены сияли еще кое-где напряженным блеском заката. Память о том, что, проходя, я оставлял позади, свертывалась, как молоко, едва новые входы вставали перед глазами, и я, в основе, только помнил и знал, что иду сквозь строй стен по мусору и бумаге. В одном месте пришлось мне лезть вверх и месить кучи скользких под ногой папок; шум, как в кустах. Шагая, оглядывался я с трепетом, — так вязок, неотделен от меня был в тишине этой самомалейший звук, что я как бы волочил на ногах связки сухих метел, прислушиваясь, не зацепит ли чей-то чужой слух это хождение. Вначале я шагал по нервному веществу банка, топча черное зерно цифр с чувством нарушения связи оркестровых нот, слышимых от Аляски до Ниагары. Я не искал сравнений: они, вызванные незабываемым зрелищем, появлялись и исчезали, как цепь дымных фигур. Мне казалось, что я иду по дну аквариума, из которого выпущена вода, или среди льдов, или же — что было всего отчетливее и мрачнее — брожу в прошлых столетиях, обернувшихся нынешним днем. Я прошел внутренний коридор, такой извилисто длинный, что по нему можно было бы кататься на велосипеде. В его конце была лестница, я поднялся в следующий этаж и спустился по другой лестнице, миновав средней величины залу с полом, уставленным арматурой. Здесь виднелись стеклянные матовые шары, абажуры тюльпанами и колоколами, змеевидные бронзовые люстры, свертки проводов, кучи фаянса и меди.

Следующий запутанный переход вывел меня к архиву, где в темной тесноте полок, параллельно пересекавших пространство, соединяя пол с потолком, проход был немыслим. Месиво копировальных книг вздымалось выше груди; даже осмотреться я не мог с должным вниманием — так густо смешалось все.

Пройдя боковой дверью, следовал я в полутьме белых стен, пока не увидел большой арки, соединяющей кулуары с площадью центрального холла, уставленного двойным рядом черных колонн. Перила алебастровых хор тянулись по высотам этих колонн громадным четырехугольником; едва приметен был потолок. Человек, страдающий боязнью пространства, ушел бы, закрыв лицо, — так далеко надо было идти к другому концу этого вместилища толп, где чернели двери величиной в игральную карту. Могла здесь танцевать тысяча человек. Посредине стоял фонтан, и его маски, с насмешливо или трагически раскрытыми ртами, казались кучей голов. Примыкая к колоннам, ареной развертывался барьер сплошного прилавка с матовой стеклянной завесой, помеченной золотыми буквами касс и бухгалтерий. Сломанные перегородки, обрушенные кабины, сдвинутые к стенам столы были здесь едва приметны по причине величины зала. С некоторым трудом взгляд набирал предметы равного всему остальному безжизненного опустошения. Я неподвижно стоял, осматриваясь. Я начал входить во вкус этого зрелища, усваивать его стиль. Приподнятое чувство зрителя большого пожара стало понятно еще раз. Соблазн разрушения начинал звучать поэтическими наитиями, — передо мной развертывался своеобразный пейзаж, местность, даже страна. Ее колорит естественно переводил впечатление к внушению, подобно музыкальному внушению оригинального мотива. Трудно было представить, что некогда здесь двигалась толпа с тысячами дел в портфелях и голове. На всем лежала печать тлена и тишины. Веяние неслыханной дерзости тянулось из дверей в двери — стихийного, неодолимого сокрушения, повернувшегося так же легко, как плющится под ногой яичная скорлупа. Эти впечатления сеяли особый головной зуд, притягивая к мыслям о катастрофе теми же магнитами сердца, какие толкают смотреть в пропасть. Казалось, одна подобная эху мысль охватывает здесь собой все формы и звоном в ушах следует неотступно, — мысль, напоминающая девиз:

"Сделано — и молчит". V

Наконец, я устал. Уже с трудом можно было различать переходы и лестницы. Я хотел есть. У меня не было надежды отыскать выход, чтобы купить где-нибудь на углу съестное. В одной из кухонь я утолил жажду, повернув кран. К моему удивлению, вода, хотя слабо, но заструилась, и этот незначительный живой знак по-своему ободрил меня. Затем я стал выбирать комнату. Это заняло еще несколько минут, пока я не наткнулся на кабинет с одной

дверью, камином и телефоном. Мебель почти отсутствовала; единственное, на что можно было лечь или сесть, это — скальпированный диван без ножек; обрывки срезанной кожи, пружины и волос торчали со всех сторон. В нише стены помещался высокий ореховый шкаф: он был заперт. Я выкурил папиросу — другую, пока не привел себя к относительному равновесию, и занялся устройством ночлега.

Давно уже я не знал счастья усталости — глубокого и спокойного сна. Пока светил день, я думал о наступлении ночи с осторожностью человека, несущего полный воды сосуд, стараясь не раздражаться, почти уверенный, что на этот раз изнурение победит тягостную бодрость сознания. Но, едва наступал вечер, страх не уснуть овладевал мной с силой навязчивой мысли, и я томился, призывая наступление ночи. чтобы узнать, засну ли я наконец. Однако чем ближе к полуночи, тем явственнее убеждали меня чувства в их неестественной обостренности; тревожное оживление, подобное блеску магния среди тьмы, скручивало мою нервную силу в гулкую при малейшем впечатлении тугую струну, и я как бы просыпался от дня к ночи, с ее долгим путем внутри беспокойного сердца. Усталость рассеивалась, в глазах кололо, как от сухого песка; начало любой мысли немедленно развивалось во всей сложности ее отражений, и предстоящие долгие бездеятельные часы, полные воспоминаний, уже возмущали бессильно, как обязательная и бесплодная работа, которой не избежать. Как только мог, я призывал сон. К утру, с телом как бы налитым горячей водой, я всасывал обманчивое присутствие сна искусственной зевотой, но, лишь закрывал глаза, испытывал то же, что испытываем мы, закрывая без нужды глаза днем, — бессмысленность этого положения. Я испытал все средства: рассматривание точек стены, счет, неподвижность, повторение одной фразы, — и безуспешно.

У меня был огарок свечи, вещь совершенно необходимая в то время, когда лестницы не освещались. Хотя тускло, но я озарил им холодную высоту помещения, после чего, заложив ямы дивана бумагой, изголовье нагромоздил из книг. Пальто служило мне одеялом. Следовало затопить камин, чтобы смотреть на огонь. К тому же по летнему времени было здесь не довольно тепло. Во всяком случае, я придумал занятие и был рад. Вскоре пачки счетов и книг загорелись в этом большом камине сильным огнем, сваливаясь пеплом в решетку. Пламя шевелило мрак раскрытых дверей, уходя в отдаление тихой блестящей лужей.

Но бесплодно тайно горел этот случайный огонь. Он не озарял привычных предметов, рассматривая которые в фантастическом отсвете красных и золотых углей, сходим мы к внутреннему теплу и свету души. Он был неуютен, как костер вора. Я лежал, подпирая голову затекшей рукой, без всякого желания задремать. Все мои усилия в эту сторону были бы равны притворству актера, укладывающегося на глазах толпы, зевая, в кровать. Кроме того, я хотел есть и, чтобы заглушить голод, часто курил.

Я лежал, лениво рассматривая огонь и шкаф. Теперь мне пришло на мысль, что шкаф заперт не без причины. Что, однако, может быть скрыто в нем, как не те же кипы умерших дел? Что еще не вытащено отсюда? Печальный опыт с отгоревшими электрическими лампочками, которых я нашел кучу в одном из таких же шкафов, заставил подозревать, что шкаф заперт без всякого намерения, лишь потому, что хозяйственно повернулся ключ. И, тем не менее, я взирал на массивные створки, солидные, как дверь подъезда, с мыслью о пище. Не очень серьезно надеялся я найти в нем что-нибудь годное для еды. Меня слепо толкал желудок, заставляющий всегда думать по трафарету, свойственному только ему, — так же, как вызывает он голодную слюну при виде еды. Для развлечения я прошел несколько ближайших от меня комнат, но, шаря там при свете огарка, не нашел даже обломка сухаря и вернулся, все более привлекаемый шкафом. В камине сумрачно дотлевал пепел. Мои соображения касались мне подобных бродяг. Не запер ли кто-нибудь из них в этом шкафу каравай хлеба, а может быть, чайник, чай и сахар? Алмазы и золото хранятся в другом месте; довольно очевидности положения. Я считал себя вправе открыть шкаф, так как, конечно, не тронул бы никаких вещей, будь они заперты здесь, а на съестное, что ни говори буква закона, — теперь

— теперь я имел право.

Светя огарком, я не торопился, однако, подвергать критике это рассуждение, чтобы не лишиться случайно моральной точки опоры. Поэтому, подняв стальную линейку, я ввел ее конец в скважину, против замка и, нажав, потянул прочь. Защелка, прозвенев, отскочила, шкаф, туго скрипя, раскрылся — и я отступил, так как увидел необычайное. Я отшвырнул линейку резким движением, я вздрогнул и не закричал только потому, что не было сил. Меня как бы оглушило хлынувшей из бочки водой. VI

Первая дрожь открытия была в то же время дрожью мгновенно, но ужаснейшего сомнения. Однако то не был обман чувств. Я увидел склад ценной провизии — шесть полок, глубоко уходящих внутрь шкафа под тяжестью переполняющего их груза. Он состоял из вещей, ставших редкостью, — отборных продуктов зажиточного стола, вкус и запах которых стал уже смутным воспоминанием. Притащив стол, я начал осмотр.

Прежде всего я закрыл двери, стесняясь пустых пространств, как подозрительных глаз; я даже вышел прислушаться, не ходит ли кто-нибудь, как и я, в этих стенах. Молчание служило сигналом.

Я начал осмотр сверху. Верх, то есть пятая и шестая полки, заняты были четырьмя большими корзинами, откуда, едва я пошевелил их, выскочила и шлепнулась на пол огромная рыжая крыса с визгом, вызывающим тошноту. Я судорожно отдернул руку, застыв от омерзения. Следующее движение вызвало бегство еще двух гадов, юркнувших между ног, подобно большим ящерицам. Тогда я встряхнул корзину и ударил по шкафу, сторонясь, — не посыплется ли дождь этих извилистых мрачных телец, мелькая хвостами. Но крысы, если там было несколько штук, ушли, должно быть, задами шкафа в щели стены — шкаф стоял тихо.

Естественно, я удивлялся этому способу хранить съестные запасы в месте, где мыши (Murinae) и крысы (Mus decum anus) должны были чувствовать себя дома. Но мой восторг опередил всякие размышления; они едва просачивались, как в плотине вода, сквозь этот апофеозный вихрь. Пусть не говорят мне, что чувства, связанные с едой, низменны, что аппетит равняет амфибию с человеком. В минуты, подобные пережитым мной, все существо наше окрылено, и радость не менее светла, чем при виде солнечного восхода с высоты гор. Душа движется в звуках марша. Я уже был пьян видом сокровищ, тем более, что каждая корзина представляла ассортимент однородных, но вкупе разнообразных прелестей. В одной корзине были сыры, коллекция сыров — от сухого зеленого до рочестера и бри. Вторая, не менее тяжеловесная, пахла колбасной лавкой; ее окорока, колбасы, копченые языки и фаршированные индейки теснились рядом с корзиной, уставленной шрапнелью консервов. Четвертую распирало горой яиц. Я встал на колени, так как теперь следовало смотреть ниже. Здесь я открыл восемь голов сахара, ящик с чаем; дубовый с медными обручами бочонок, полный кофе; корзины с печеньем, торты и сухари. Две нижние полки напоминали ресторанный буфет, так как их кладью были исключительно бутылки вина в порядке и тесноте сложенных дров. Их ярлыки называли все вкусы, все марки, все славы и ухищрения виноделов.

Следовало если не торопиться, то, во всяком случае, начать есть, так как, понятно, сокровище, имея свежий вид обдуманного запаса, не могло быть брошено кем-то ради желания доставить случайному посетителю этих мест удовольствие огромной находки. Днем ли или ночью, но мог явиться человек с криком и поднятыми руками, если только не чем-нибудь худшим, вроде ножа. Все говорило за темную остроту случая. Многого следовало опасаться мне в этих пространствах, так как я подошел к неизвестному. Между тем голод заговорил на своем языке, и я, прикрыв шкаф. уселся на остатках дивана, окружив себя кусками, положенными вместо тарелок на большие листы бумаги. Я ел самое существенное, то есть, сухари, ветчину, яйца и сыр, заедая это печеньем и запивая портвейном, с чувством чуда при каждом глотке. Вначале я не мог справиться с ознобом и нервным тяжелым смехом,

но, когда несколько успокоился, несколько свыкся с обладанием этими вкусными вещами, не более как пятнадцать минут назад витавшими в облаках, то овладел и движениями и мыслями. Сытость наступила скоро, гораздо скорее, чем я думал, когда начинал есть, вследствие волнения, утомительного даже для аппетита. Однако я был слишком истощен, чтобы перейти к резиньяции, и насыщение усладило меня вполне, без той сонливой мозговой одури, какая сопутствует ежедневному поглощению обильных блюд. Съев все, что взял, а затем тщательно уничтожив остатки пира, я почувствовал, что этот вечер хорош.

Между тем, как я ни напрягался в догадках, они, естественно, царапали, подобно тупому ножу, лишь поверхность события, оставляя его суть скрытой непосвященному взору. Расхаживая в спящих громадах банка, я, быть может, довольно верно понял, чем связан мой лавочник с этим писчебумажным Клондайком: отсюда можно было вывезти и унести сотни возов обертки, столь ценимой торговцами в целях обвеса; кроме того, электрические шнуры, мелкая арматура составили бы не одну пачку ассигнаций; не без причины были вырваны здесь шнуры и штепселя почти всюду, где я осматривал стены. Поэтому я не делал лавочника собственником тайной провизии; он, вероятно, пользовался ею в другом месте. Но дальше этого я не ступил шага, все мои дальнейшие размышления были безличны, как при всякой находке. Что ее некоторое время никто не трогал, доказывали следы крыс; их зубы оставили на окороках и сырах обширные ямы.

Насытясь, я принялся тщательно исследовать шкаф, заметив много такого, что я пропустил в минуты открытия. Среди корзин лежали пачки ножей, вилок и салфеток; за головами сахара прятался серебряный самовар; в одном ящике сталкивалось, звеня, множество бокалов, рюмок и узорных стаканов. По-видимому, здесь собиралось общество, преследующее гульливые или конспиративные цели, в расчете изоляции и секрета, может быть, могущественная организация с ведома и при участии домовых комитетов. В таком случае я должен был держаться настороже. Как мог, я тщательно прибрал шкаф, рассчитывая, что незначительное количество уничтоженного мною на ужин едва ли будет замечено. Однако (не счел я виноватым себя в этом) я взял кое-что вместе с еще одной бутылкой вина, завернул плотным пакетом и спрятал под грудой бумаг в извилине коридора.

Само собой, в эти минуты у меня не было настроения не только уснуть, но даже лечь. Я закурил светлую душистую папиросу из волокнистого табака с длинным мундштуком, — единственная находка, которой я вполне отдал честь, набив дивными папиросами все карманы. Я был в состоянии упоительной, музыкальной тревоги, с мнением о себе, как о человеке, которого ожидает цепь громких невероятий. Среди такого блистательного смятения я вспомнил девушку в сером платке, застегнувшую мой воротник английской булавкой, — мог ли я забыть это движение? Она была единственный человек, о котором я думал красивыми и трогательными словами. Бесполезно приводить их, так как, едва прозвучав, они теряют уже свой пленительный аромат. Эта девушка, имени которой я даже не знал, оставила, исчезнув, след, подобный полосе блеска воды, бегущей к закату. Такой кроткий эффект произвела она простой английской булавкой и звуком сосредоточенного дыхания, когда привстала на цыпочки. Это и есть самая подлинная белая магия. Так как девушка тоже нуждалась, я страстно хотел побаловать ее своим ослепительным открытием. Но я не знал, где она, я не мог позвонить ей. Даже благодеяние памяти, вскрикни она забытым мной номером, не могло помочь здесь при множестве телефонов, к одному из которых невольно обращались мои глаза: они не действовали, не могли действовать по очевидным причинам. Однако я смотрел на аппарат с некоторым пытливым сомнением, в котором разумная мысль не принимала никакого участия. Я тянулся к нему с чувством игры. Желание совершить глупость не отпускало меня и, как всякий ночной вздор, украсилось эфемеридами бессонной фантазии. Я внушил себе, что должен припомнить номер, если приму физическое положение разговора по телефону. Кроме того, эти загадочные стенные грибы с каучуковым ртом и металлическим ухом я издавна рассматривал, как предметы, разъясненные не вполне, — род суеверия, навеянного, между многим другим, «Атмосферой» Фламмариона, с его рассказом о молнии. Я

очень советую всем перечитать эту книгу и задуматься еще раз над странностями электрической грозы; особенно над действиями шаровидной молнии, вешающей, например, на вбитый ею же в стену нож сковородку или башмак, или перелицовывающей черепичную крышу так, что черепицы укладываются в обратном порядке с точностью чертежа, не говоря уже о фотографиях на теле убитых молнией, фотографиях обстановки, в которой произошло несчастье. Они всегда синеватого цвета, подобно старинным дагерротипам. «Килоуатты» и «амперы» мало говорят мне. В моем случае с аппаратом не обошлось без предчувствия, без той странной истомы, заволокнутости сознания, какие сопутствуют большинству производимых нами абсурдов. Итак, я объясняю это теперь, тогда же был лишь подобен железу перед магнитом.

Я снял трубку. Более чем была на самом деле холодной показалась она мне, немая, перед равнодушной стеной. Я поднес ее к уху не с большим ожиданием, чем сломанные часы, и надавил кнопку. Был ли то звон в голове или звуковое воспоминание, но, вздрогнув, я услышал жужжание мухи, ту, подобную гудению насекомого, вибрацию проводов, какая при этих условиях являлась тем самым абсурдом, к которому я стремился.

Разборчивое усилие понять, как червь точит даже мрамор скульптуры, лишая силы все впечатления с скрытым источником. Старания понять непонятное не было в числе моих добродетелей. Но я проверил себя. Отняв трубку, я воспроизвел этот характерный шум в воображении, получив его вторично лишь когда снова стал слушать по трубке. Шум не скакал, не обрывался, не ослабевал, не усиливался; в трубке, как должно, гудело невидимое пространство, ожидая контакта. Мной овладели смутные представления, странные, как странен был этот гул провода, действующего в мертвом доме. Я видел узлы спутанных проводов, порванных шквалом и дающих соединение в неуследимых точках своего хаоса; снопы электрических искр, вылетающих из сгорбленных спин кошек, скачущих по крышам; магнетические вспышки трамвайных линий; ткань и сердце материи в виде острых углов футуристического рисунка. Такие мысли-видения не превышали длительностью толчка сердца, вставшего на дыбы; оно билось, выстукивая на непереводимом языке ощущения ночных сил.

Тогда из-за стен встал ясно, как молодая луна, образ той девушки. Мог ли я думать, что впечатление окажется таким живучим и стойким? Сто сил человеческих пряло и гудело во мне, когда, воззрясь на стертый номер аппарата, я вел память сквозь вьюгу цифр, тщетно пытаясь установить, какое соединение их напомнит утерянное число. Лукавая, неверная память! Она клянется не забыть ни чисел, ни дней, ни подробностей, ни дорогого лица и взглядом невинности отвечает сомнению. Но наступил срок, и легковерный видит, что заключил сделку с бесстыдной обезьяной, отдающей за горсть орехов бриллиантовый перстень. Неполны, смутны черты вспоминаемого лица, из числа выпадает цифра; обстоятельства смешиваются, и тщетно сжимает голову человек, мучаясь скользким воспоминанием. Но, если бы мы помнили, если бы могли вспомнить все, — какой рассудок выдержит безнаказанно целую жизнь в едином моменте, особенно воспоминания чувств?

Я бессмысленно твердил цифры, шевеля губами, чтобы нащупать их достоверность Наконец мелькнул ряд, сродный впечатлению забытого номера: 107-21. — "Сто семь двадцать один", — проговорил я, прислушиваясь, но не знал точно, не ошибаюсь ли вновь. Внезапное сомнение ослепило меня, когда я нажимал кнопку вторично, но уже было поздно — жужжание полилось гулом, что-то звякнув, изменилось в телефонной дали, и прямо в кожу щеки усталый женский контральто сухо сказал: «Станция». "Станция!.." — нетерпеливо повторил он, но и тогда я заговорил не сразу, — так холодно сжалось горло, — потому что в глубине сердца я все еще только играл.

Как бы то ни было, раз я заклял и вызвал духов, — отнести их к «Атмосфере» или к «Килоуаттам» общества 86 года, — я говорил, и мне отвечали. Колеса испорченных часов начали поворачивать шестерню. Над моим ухом двинулись стальные лучи стрел. Кто бы ни

толкнул маятник, механизм начал мерно отстукивать. "Сто семь двадцать один", — сказал я глухо, смотря на догорающую среди хлама свечу. — "На группу А", — раздался недовольный ответ, и гул прихлопнуло далеким движением усталой руки.

Мне было умственно-жарко в эти минуты. Я нажимал именно кнопку с литерой А; следовательно, не только действовал телефон, но еще подтверждал эту удивительную реальность тем, что были спутаны провода, — подробность замечательная для нетерпеливой души. Стремясь соединить А, я нажал Б. Тогда в вон пущенного гулять тока ворвались, как из внезапно открытой двери, резкие голоса, напоминающие болтовню граммофонной трубы, — неведомые оратели, бьющиеся в моей руке, сжимающей резонатор. Они перебивали друг друга с торопливостью и ожесточением людей, выбежавших на улицу. Смешанные фразы напоминали концерт грачей — "А-ла-ла-ла-ла!" — вопило неведомое существо на фоне баритона чьей-то рассудительно-медлительной речи, разделенной паузами и знаками препинания с медоточивой экспрессией. — "Я не могу дать"… — "Если увидите"… — "Когда-нибудь"… — "Я говорю, что"… — "Вы слушаете"… — "Размером тридцать и пять"… — "Отбой"… — "Автомобиль выслан"… — "Ничего не понимаю"… — "Повесьте трубку"… В этот рыночный транс слабо, как пение комара, ползли стоны, далекий плач, хохот, рыдания, скрипичные такты, перебор неторопливых шагов, шорох и шепот. Где, на каких улицах звучали эти слова забот, окриков, внушений и жалоб? Наконец, звякнуло деловое движение, голоса пропали, и в гул провода вошел тот же голос, сказав: "Группа Б".

— "А"! Дайте "А", — сказал я, — перепутаны провода. После молчания, во время которого гул два раза стихал, новый голос оповестил певуче и тише: "Группа А". — "Сто семь двадцать один", — отчеканил я, как можно разборчивее.

— Сто восемь ноль один, — внимательным тоном безучастно повторила телефонистка, и я едва удержал готовую отлететь губительную поправку, — эта ошибка с несомненностью устанавливала забытый номер, — едва услышав, я признал, вспомнил его, как припоминаем мы встречное лицо.

— Да, да, — сказал я в чрезвычайном волнении, бегущем по высоте, по краю головокружительного обрыва. — Да, именно так, — сто восемь ноль один.

Тут все замерло во мне и вокруг. Звук передачи стеснил сердце подступом холодной волны; я даже не слышал обычного «звоню» или "соединила", — я не помню, что было сказано. Я слушал птиц, льющих неотразимые трели. Изнемогая, я прислонился к стене. Тогда, после паузы, равной ожесточению, свежий, как свежий воздух, рассудительный голосок осторожно сказал:

— Это я пробую. Говорю в недействующий телефон, потому что ты слышал, как прозвенело? Кто у телефона? — сказала она, видимо, не ожидая ответа, на всякий случай, тоном легкомысленной строгости.

Почти крича, я сказал:

— Я тот, который говорил с вами на рынке и ушел с английской булавкой. Я продавал книги. Вспомните, прошу вас. Я не знаю имени, — подтвердите, что это вы.

— Чудеса, — ответил, кашлянув, голос в раздумьи. — Постоите, не вешайте трубку. Я соображаю. Старик, видел ли ты что-нибудь подобное?

Последнее было обращено не ко мне. Ей невнятно отвечал мужской голос, по-видимому, из другой комнаты.

— Я встречу припоминаю, — снова обратилась она к моему уху. — Но я не помню, о какой булавке вы говорите. Ах, да! Я не знала, что у вас такая крепкая память. Но странно мне

говорить с вами — наш телефон выключен. Что же произошло? Откуда вы говорите?

— Хорошо ли вы слышите? — ответил я, уклоняясь назвать место, где находился, как будто не понял вопроса, и, получив утверждение, продолжал: — Я не знаю, долог ли будет разговор наш. Есть причины, по которым я не останавливаюсь более на этом. Я не знаю, как и вы, многих вещей. Поэтому сообщите, не откладывая, ваш адрес, я не знаю его.

Некоторое время ток ровно жужжал, как будто мои последние слова нарушили передачу. Снова глухой стеной легла даль, — отвратительное чувство досады и стыдливой тоски едва не смутило меня пуститься в сложные неуместные рассуждения о свойстве разговоров по телефону, не допускающему свободного выражения оттенков самых естественных, простых чувств. В некоторых случаях лицо и слова неразделимы. Это самое, может быть, обдумывала и она, пока длилось молчание, после чего я услышал:

— Зачем? Ну, хорошо. Итак, запишите, — не без лукавства сказала она это "запишите", — запишите мой адрес: 5-я линия, 97, кв. 11. Только зачем, зачем понадобился вам мой адрес? Я, откровенно скажу, не понимаю. Вечером я бываю дома…

Голос продолжал неторопливо звучать, но вдруг раздался тихо и глухо, как в ящике. Я слышал, что она говорит, по-видимому, что-то рассказывая, но не различал слов. Все отдаленнее, смутнее текла речь, пока не уподобилась покрапыванию дождя, — наконец едва слышное толкание тока дало понять, что действие прекратилось. Связь исчезла, аппарат тупо молчал. Передо мной были стена, ящик и трубка. По стеклу выстукивал ночной дождь. Я нажал кнопку, она брякнула и остановилась. Резонатор умер. Очарование отошло.

Но я слышал, я говорил, что было, того не могло не быть. Впечатления этих минут сошли и ушли вихрем, его отзвуками я был еще полон и сел, сразу устав, как от восхождения по крутой лестнице. Между тем я был еще в начале событий. Их развитие началось стуком отдаленных шагов. VII

Еще очень далеко от меня — не в самом ли начале проделанного мною пути? — а может быть, с другой стороны, на значительном расстоянии первого уловления звука, послышались неведомые шаги. Как можно было установить, шел кто-то один, ступая проворно и легко, знакомой дорогой среди тьмы и, возможно, освещая путь ручным фонарем или свечой. Однако, мысленно я видел его спешащим осторожно, во тьме; он шел, присматриваясь и оглядываясь. Не знаю, почему я вообразил это. Я сидел в оцепенении и смятении, как бы схваченный издали концами гигантских щипцов. Я налился ожиданием до боли в висках, я был в тревоге, отнимающей всякую возможность противодействия. Я был бы спокоен, во всяком случае, начал бы успокаиваться, если бы шаги удалялись, но я слышал их все яснее, все ближе к себе, теряясь в соображениях относительно цели этого пытающего слух томительного, долгого перехода по опустевшему зданию. Уже предчувствие, что не удастся избежать встречи, отвратительно коснулось моего сознания; я встал, сел снова, не зная, что делать. Мой пульс точно следовал отчетливости или перерыву шагов, но, осилив наконец мрачную тупость тела, сердце пошло стучать полным ударом, так что я чувствовал свое состояние в каждом его толчке. Мои намерения смешались; я колебался, потушить свечу или оставить ее гореть, причем не разумные мотивы, а вообще возможность произвести какое-либо действие казалась мне удачно придуманным средством избегнуть опасной встречи. Я не сомневался, что встреча эта опасна или тревожна. Я нащупал покой среди нежилых стен и жаждал удержать ночную иллюзию. Одно время я выходил за дверь, стараясь ступать неслышно, с целью посмотреть, в какой из прилегающих комнат могу спрятаться, как будто та комната, где я сидел, заслоняя спиной огарок, была уже намечена к посещению и кто-то знал, что я нахожусь в ней. Я оставил это, сообразив, что, делая переходы, поступлю, как игрок в рулетку, который, переменив номер, видит с досадой, что проиграл только потому, что изменил покинутой цифре. Благоразумнее всего следовало мне сидеть и ждать, потушив огонь. Так я и поступил и стал ожидать во тьме.

Между тем не было уже никакого сомнения, что расстояние между мной и неизвестным пришельцем сокращается с каждым ударом пульса. Он шел теперь не далее, как за пять или шесть стен от меня, перебегая от дверей к двери с спокойной быстротой легкого тела. Я сжался, прикованный его шагами к налетающему как автомобиль моменту взаимного взгляда — глаза в глаза, и я молил бога, чтобы то не были зрачки с бешеной полосой белка над их внутренним блеском. Я уже не ожидал, я знал, что увижу его; инстинкт, заменив в эти минуты рассудок, говорил истину, тычась слепым лицом в острие страха. Призраки вошли в тьму. Я видел мохнатое существо темного угла детской комнаты, сумеречного фантома, и, страшнее всего, ужаснее падения с высоты, ожидал, что у самой двери шаги смолкнут, что никого не окажется и что это отсутствие кого бы то ни было заденет по лицу воздушным толчком. Представить такого же, как я, человека не было уже времени. Встреча неслась; скрыться я никуда не мог. Вдруг шаги смолкли, остановились так близко от двери, и так долго я ничего не слышал, кроме возни мышей, бегающих в грудах бумаги, что едва уже сдерживал крик. Мне показалось: некто, согнувшись, крадется неслышно через дверь с целью схватить. Оторопь безумного восклицания, огласившего тьму, бросила меня вихрем вперед с протянутыми руками, — я отшатнулся, закрывая лицо. Засиял свет, швырнув из дверей в двери всю доступную глазам даль. Стало светло, как днем. Я получил род нервного сотрясения, но, едва задержась, тотчас прошел вперед. Тогда за ближайшей стеной женский голос сказал: "Идите сюда". Затем прозвучал тихий, задорный смех.

При всем моем изумлении я не ожидал такого конца пытки, только что выдержанной мной в течение, может быть, часа. "Кто зовет?" — тихо спросил я, осторожно приближаясь к двери, за которой таким красивым и нежным голосом обнаружила свое присутствие неизвестная женщина. Внимая ей, я представлял ее внешность, отвечающей удовольствию слуха, и с доверием ступил дальше, прислушиваясь к повторению слов: "Идите, идите сюда". Но за стеной я никого не увидел. Матовые шары и люстры блистали под потолками, сея ночной день среди черных окон. Так, спрашивая и каждый раз получая в ответ неизменно из-за стены соседнего помещения: "Идите, о, идите скорей!" — я осмотрел пять или шесть комнат, заметив в одной из них в зеркале самого себя, внимательно переводящего взгляд от пустоты к пустоте. Тогда показалось мне, что тени зеркальной глубины полны согнутых, крадущихся одна за другой женщин в мантильях или покрывалах, которые они прижимали к лицу, скрывая свои черты, и только их черные глаза с улыбкой меж сдвинутых лукаво бровей светились и мелькали неуловимо. Но я ошибался, так как я обернулся с быстротой, не позволившей бы убежать самым проворным существам этого дома. Устав и опасаясь при том волнении, какое переполняло меня, чего-нибудь действительно грозного среди безмолвно озаренных пустот, я наконец резко сказал:

— Покажитесь, или я не пойду дальше. Кто вы и зачем зовете меня?

Прежде, чем мне ответили, эхо скомкало мое восклицание смутным и глухим гулом. Заботливая тревога слышалась в словах таинственной женщины, когда беспокойно окликнула она меня из неведомого угла: "Спешите, не останавливаясь; идите, идите, не возражая". Казалось, рядом со мной были произнесены эти слова, быстрые как плеск, и звонкие в своем полушепоте, как если бы прозвучали над ухом, но тщетно спешил я в нетерпеливом порыве из дверей в двери, распахивая их или огибая сложный проход, чтобы взглянуть где-то врасплох на ускользающее движение женщины, — везде встречал я лишь пустоту, двери и свет. Так продолжалось это, напоминая игру в прятки, и несколько раз уже с досадой вздохнул я, не зная, идти далее или остановиться, остановиться решительно, пока не увижу, с кем говорю так тщетно на расстоянии. Если я умолкал, голос искал меня; все задушевнее и тревожнее звучал он, немедленно указывая направление и тихо восклицая впереди, за новой стеной:

— Сюда, скорее ко мне!

Как ни был я чуток к оттенкам голосов вообще — и особенно в этих обстоятельствах

величайшего напряжения, — я не уловил в зовах, в настойчивых подзываниях неслышно убегающей женщины ни издевательства, ни притворства; хотя вела она себя более, чем изумительно, у меня не было пока причин думать о зловещем или вообще дурном, так как я не знал вызвавших ее поведение обстоятельств. Скорее можно было подозревать настойчивое желание сообщить или показать что-то наспех, крайне дорожа временем. Если я ошибался, попадая не в ту комнату, откуда спешило ко мне вместе с шорохом и частым дыханием очередное музыкальное восклицание, меня направляли, указывая дорогу вкрадчивым и мягким "Сюда!". Я зашел уже слишком далеко для того, чтобы повернуть назад. Я был тревожно увлечен неизвестностью, стремясь почти бегом среди обширных паркетов, с глазами, устремленными по направлению голоса.

— Я здесь, — сказал, наконец, голос тоном конца истории. Это было на перекрестке коридора и лестницы, идущей несколькими ступенями в другой коридор, расположенный выше.

— Хорошо, но это последний раз, — предупредил я. Она ждала меня в начале коридора, направо, где менее блестел свет; я слышал ее дыхание и, пройдя лестницу, с гневом осмотрел полутьму. Конечно, она снова обманула меня. Обе стены коридора были завалены кипами книг, оставляя узкий проход. При одной лампе, слабо озарявшей лишь лестницу и начало пути, я мог на расстоянии не рассмотреть человека.

— Где же вы? — всматриваясь, заговорил я. — Остановитесь, вы так спешите. Идите сюда.

— Я не могу, — тихо ответил голос. — Но разве вы не видите? Я здесь. Я устала и села. Подойдите ко мне.

Действительно я слышал ее совсем близко. Следовало миновать поворот. За ним была тьма, отмеченная в конце светлым пятном двери. Спотыкаясь о книги, я поскользнулся, зашатался и, падая, опрокинул шаткую кипу гроссбухов. Она рухнула глубоко вниз. Падая на руки, я ушел ими в отвесную пустоту, едва не перекачнувшись сам за край провала, откуда, на невольный мой вскрик, вылетел гул книжной лавины. Я спасся лишь потому, что упал случайно ранее, чем подошел к краю. Если изумление страха в этот момент отстраняло догадку, то смех, веселый холодный смешок по ту сторону ловушки немедленно объяснил мою роль. Смех удалялся, затихая с жестокой интонацией, и я более не слышал его.

Я не вскочил, не отполз с шумом, лишним в предполагаемом падении моем; поняв штуку, я даже не пошевелился, предоставляя чужому впечатлению отстояться в желательном для него смысле. Однако следовало заглянуть на уготованное мне ложе. Пока не было никаких признаков наблюдения, и я, с великой осторожностью, зажегши спичку, увидел четырехугольный люк проломанного насквозь пола. Свет не озарял низа, но, припоминая паузу, разделяющую толчок от гула удара книг, я определил приблизительно высоту падения в двенадцать метров. Следовательно, пол нижнего этажа был разрушен симметрично к верхней дыре, образуя двойной пролет. Я кому-то мешал. Это я мог понять, имея веские доказательства, но я не понимал, как могла бы самая воздушная женщина перелететь через обширный люк, стены которого не имели никакого бордюра, позволяющего воспользоваться им для перехода; ширина достигала шести аршин.

Выждав, когда происшествие утратило свою опасную свежесть, я переполз назад, к месту, где достигающий издалека свет позволял различать стены, и встал. Я не смел возвращаться к озаренным пространствам. Но я был теперь не в состоянии также покинуть сцену, на которой едва не разыграл финал пятого акта. Я коснулся вещей довольно серьезных, чтобы попытаться идти далее. Не зная, с чего начать, я осторожно ступал по обратному направлению, иногда прячась за выступами стены, чтобы проверить безлюдие. В одном из таких выступов находилась водопроводная раковина; из крана капала вода; здесь же висело полотенце с сырыми следами только что вытертых рук. Полотенце еще шевелилось; здесь отошел некто, может быть, на расстоянии десяти шагов от меня, оставшись незамечен, как и

я им, силой случайности. Не следовало более искушать эти места. Оцепенев от напряжения, вызванного видом едва не на моих глазах тронутого полотенца, я наконец отступил, сдерживая дыхание, и с облегчением увидел узкую боковую дверь в тени выступа, почти заваленную бумагой. Хотя с трудом, но ее можно было несколько оттянуть, чтобы протиснуться. Я ушел в эту лазейку, как в стену, попав в озаренный тихий и безлюдный проход, очень узкий, с поворотом неподалеку, куда я не рискнул заглянуть, и встал, прислонись к стене, в нишу заколоченной двери.

Никакой звук, никакое доступное чувствам явление не ускользнули бы от меня в эти минуты, так был я внутренне заострен, натянут, весь собран в слух и дыхание. Но. казалось, умерла жизнь на земле, — такая тишина смотрела в глаза неподвижным светом белого глухого прохода. По-видимому, все живое ушло отсюда или же притаилось. Я начал изнемогать, тянуться с нетерпением отчаяния к какому бы то ни было шуму, но вон из оцепенелого света, сжимающего сердце молчанием. Вдруг звуков появилось более чем достаточно в смысле успокоения — если назвать таким словом "покой в бурях", — множество шагов раздалось за стеной, глубоко внизу. Я различал голоса, восклицания. К этим звукам начинающегося неведомого оживления присоединился звук настраиваемых инструментов; резко пильнула скрипка; виолончель, флейта и контрабас протянули вразброд несколько тактов, заглушаемых передвиганием мебели.

Среди ночи — я не знал, который теперь час — это проявление жизни в глубине трех этажей после уже испытанного мною над люком звучало для меня новой угрозой. Наверное, расхаживая неутомимо, я отыскал бы выход из этого бесконечного дома, но не теперь, когда я не знал, что может ожидать меня за ближайшей дверью. Я мог знать свое положение, только определив, что происходит внизу. Тщательно прислушиваясь, я установил расстояние между собой и звуками. Оно было довольно велико, имея направление через противоположную стену вниз.

Я стоял так долго в своей дверной нише, что наконец осмелился выйти, с целью посмотреть, нельзя ли что-нибудь предпринять. Пройдя тихо вперед, я заметил справа от себя отверстие в стене, размером не более форточки, заделанной стеклом; оно возвышалось над головой так, что я мог коснуться его. Немного далее стояла переносная двойная лестница, из тех, что употребляются малярами при болезни потолков. Перетащив лестницу со всей осторожностью, не стукнув, не задев стен, я подставил ее к отверстию. Как ни было запылено стекло с обеих сторон, протерев его ладонью, сколько и как мог, я получил возможность смотреть, но все же как бы сквозь дым. Моя догадка, возникшая путем слуховой ориентации, подтвердилась: я смотрел в тот самый центральный зал банка, где был вечером, но не мог видеть его внизу, окошечко это выходило на хоры. Совсем близко нависал пространный лепной потолок; балюстрада, являясь по этой стороне прямо перед глазами, скрывала глубину зала, лишь далекие колонны противоположной стороны виднелись менее, чем наполовину. По всему протяжению хор не было ни души, меж тем как внизу, томя невидимостью, текла веселая жизнь. Я слышал смех, возгласы, передвигание стульев, неразборчивые отрывки бесед, спокойный гул нижних дверей. Уверенно звенела посуда; кашель, сморкание, цепь легких и тяжелых шагов и мелодические лукавые интонации, — да, это был банкет, бал, собрание, гости, юбилей — что угодно, но не прежняя холодная и громадная пустота с застоявшимся в пыли эхом. Люстры несли вниз блеск огненного узора, и хотя в застенке моем тоже было светло, более яркий свет зала лежал на моей руке.

Почти уверенный, что никто не придет сюда, в закоулок, имеющий отношение скорее к чердакам, чем к магистрали нижнего перехода, я осмелился удалить стекло. Его рама, удерживаемая двумя согнутыми гвоздями, слабо шаталась. Я отвернул гвозди и выставил заграждение. Теперь шум стал отчетлив, как ветер в лицо; пока я осваивался с его характером, музыка начала играть кафешантанную пьесу, но до странности тихо, не умея или не желая развертываться. Оркестр играл "под сурдинку", как бы по приказанию. Однако заглушаемые им голоса стали звучать громче, делая естественное усилие и долетая к моему

убежищу в оболочке своего смысла. Насколько я мог понять, интерес различных групп зала вертелся около подозрительных сделок, хотя и без точной для меня связи разговора вблизи. Некоторые фразы напоминали ржание, иные — жестокий визг; увесистый деловой хохот перемешивался с шипением. Голоса женщин звучали напряженным и мрачным тембром, переходя время от времени к искушающей игривости с развратными интонациями камелий. Иногда чье-нибудь торжественное замечание переводило разговор к названиям цен золота и драгоценных камней; иные слова заставляли вздрогнуть, намекая убийство или другое преступление не менее решительных очертаний. Жаргон тюрьмы, бесстыдство ночной улицы, внешний лоск азартной интриги и оживленное многословие нервно озирающейся души смешивалось с звуками иного оркестра, которому первый подавал тоненькие игривые реплики.

Настала пауза; несколько дверей открылось в глубине далеких низов, и как бы вошли новые лица. Это немедленно подтвердилось торжественными возгласами. После смутных переговоров загремели предупреждения и приглашения слушать. В то время чья-то речь уже тихо текла там, пробираясь, как жук в лесной хвое, покапывающими периодами.

— Привет Избавителю! — ревом возгласил хор. — Смерть Крысолову!

— Смерть! — мрачно прозвенели женские голоса. Отзвуки прошли долгим воем и стихли. Не знаю почему, хотя я был устрашенно захвачен тем, что слышал, я в это мгновение обернулся, как на глаза сзади; но только глубоко вздохнул — никто не стоял за мной. У меня было еще время сообразить, как скрыться: за углом поворота явственно прошли, без подозрения о моем присутствии, двое. Они остановились. Их легкая тень легла поперек застенка, но, всматриваясь в нее, я различал только пятно. Они заговорили с уверенностью собеседников, чувствующих себя наедине. Разговор, видимо, продолжался. Его линия остановилась по пути сюда этих людей на неизвестном для меня вопросе, получившем теперь ответ. От слова до слова запомнил я это смутное и резкое обещание.

— Он умрет, — сказал неизвестный, — но не сразу. Вот адрес: пятая линия, девяносто семь, квартира одиннадцать. С ним его дочь. Это будет великое дело Освободителя. Освободитель прибыл издалека. Его путь томителен, и его ждут в множестве городов. Сегодня ночью все должно быть окончено. Ступай и осмотри ход. Если ничто не угрожает Освободителю, Крысолов мертв, и мы увидим его пустые глаза! VIII

Я внимал мстительной тираде, касаясь уже ногой пола, так как едва услышал в точности повторенный адрес девушки, имени которой не успел сегодня узнать, как меня слепо повело вниз, — бежать, скрыться и лететь вестником на 5-ю линию. При всяком самом разумном сомнении цифры и название улицы не могли бы сообщить мне, есть ли в квартире этой еще другая семья, — довольно, что я думал о той и что она была там. В таком устрашенном состоянии мучительной торопливости, равной пожару, я не рассчитал последнего шага вниз; лестница отодвинулась с треском, мое присутствие обнаружилось, и я вначале замер, как упавший мешок. Свет мгновенно погас; музыка мгновенно умолкла, и крик ярости опередил меня в слепом беге по узкому пространству, где, не помня как, ударился я грудью в ту дверь, которой проник сюда. С силой необъяснимой я сдвинул одним порывом заваливающий ее хлам и выбежал в памятный коридор провала. Спасение! Начинался рассвет с его первой мутью, указывающий пространство дверей; я мог мчаться до потери дыхания. Но инстинктивно я искал ходов не книзу, а вверх, пробегая одним скачком короткие лестницы и пустынные переходы. Иногда я метался, кружась на одном месте, принимая покинутые двери за новые или забегая в тупик. Это было ужасно, как дурной сон, тем более, что за мной гнались, — я слышал торопливые переходы сзади и спереди, — этот психически нагоняющий шум, от которого я не мог скрыться. Он раздавался с неправильностью уличного движения, иногда так близко, что я отскакивал за дверь, или же ровно следовал в стороне, как бы обещая ежесекундно обрушиться мне наперерез. Я ослабевал, отупел от страха и беспрерывного грохота гулких полов. Но вот я уже несся среди мансард. Последняя

лестница, замеченная мною, упиралась в потолок квадратной дырой, я проскочил по ней вверх с чувством занесенного над спиной удара, — так спешили ко мне со всех сторон. Я очутился в душной тьме чердака, немедленно обрушив на люк все, что смутно белело по сторонам; это оказалось грудой оконных рам, двинуть которую с размаха могла лишь сила отчаяния. Они легли, застряв вдоль и поперек, непроходимой чащей своих переплетов. Сделав это, я побежал к далекому слуховому окну, в сером пятне которого виднелись бочки и доски. Путь был изрядно загроможден. Я перескакивал балки, ящики, кирпичные канты стен среди ям и труб, как в лесу. Наконец, я был у окна. Свежесть открытого пространства дышала глубоким сном. За далекой крышей стояла розовая, смутная тень; из труб не шел дым, прохожих не было слышно. Я вылез и пробрался к воронке водосточной трубы. Она шаталась; ее скрепы трещали, когда я начал спускаться; на высоте половины спуска ее холодное железо оказалось в росе, и я судорожно скользнул вниз, едва удержавшись за перехват. Наконец, ноги нащупали тротуар; я поспешил к реке, опасаясь застать мост разведенным; поэтому, как только передохнул, пустился бегом. IX

Едва я повернул за угол, как принужден был остановиться, увидев плачущего хорошенького мальчика лет семи, с личиком, побледневшим от слез; тоскливо тер он кулачками глаза и всхлипывал. С жалостью, естественной для каждого при такой встрече, я нагнулся к нему, спросив: "Мальчик, ты откуда? Тебя бросили? Как ты попал сюда?"

Он, всхлипывая, молчал, смотря исподлобья и ужасая меня своим положением. Пусто было вокруг. Это худенькое тело дрожало, его ножки были в грязи и босы. При всем стремлении моем к месту опасности, я не мог бросить ребенка, тем более, что от испуга или усталости он кротко молчал, вздрагивая и ежась при каждом моем вопросе, как от угрозы. Гладя его по голове и заглядывая в его полные слез глаза, я ничего не добился; он мог только поникать головой и плакать. "Дружок, — сказал я, решась постучать куда-нибудь в дом, чтобы подобрали ребенка, — посиди здесь, я скоро приду, и мы отыщем твою негодную маму". Но, к моему удивлению, он крепко уцепился за мою руку, не выпуская ее. Было что-то в этом его усилии ничтожное и дикое; он даже сдвинулся по тротуару, крепко зажмурясь, когда я, с внезапным подозрением, рванул прочь руку. Его прекрасное личико было все сведено, стиснуто напряжением. "Эй ты! — закричал я, стремясь освободить руку. — Брось держать!" И я оттолкнул его. Не плача уже и также молча, уставил он на меня прямой взгляд черных огромных глаз; затем встал и, посмеиваясь, пошел так быстро, что я, вздрогнув, оторопел. — "Кто ты?" — угрожающе закричал я. Он хихикнул и, ускоряя шаги, скрылся за углом, но я еще смотрел некоторое время по тому направлению, с чувством укушенного, затем опомнился и побежал с быстротой догоняющего трамвай. Дыхание сорвалось. Два раза я останавливался, потом шел так скоро, как мог, бежал снова, и, вновь задохнувшись, несся безумным шагом, резким, как бег.

Я уже был на Конногвардейском бульваре, когда был обогнан девушкой, мельком взглянувшей на меня с выражением усилия памяти. Она хотела пробежать дальше, но я мгновенно узнал ее силой внутреннего толчка, равного восторгу спасения. Одновременно прозвучали мой окрик и ее легкое восклицание, после чего она остановилась с оттенком милой досады.

— Но ведь это вы! — сказала она. — Как же я не узнала! Я могла пройти мимо, если бы не почувствовала, как вы всполохнулись. Как вы измучены, как бледны!

Великая растерянность, но и величайшее спокойствие осенили меня. Я смотрел на это потерянное было лицо с верой в сложное значение случая, с светлым и острым смущением. Я был так ошеломлен, так внутренне остановлен ею в стремлении к ней же, но при обстоятельствах конца пути, внушенных всегда опережающим нас воображением, что испытал чувство срыва, — милее было бы мне прийти к ней, туда.

— Слушайте, — сказал я, не отрываясь от ее доверчивых глаз, — я спешу к вам. Еще не

поздно…

Она перебила, отводя меня в сторону за рукав.

— Сейчас рано, — значительно сказала она, — или поздно, как хотите. Светло, но еще ночь. Вы будете у меня вечером, слышите? И я вам скажу все. Я много думала о наших отношениях. Знайте: я вас люблю.

Произошло подобное остановке стука часов. Я остановился жить душой с ней в эту минуту. Она не могла, не должна была сказать так. Со вздохом выпустил я сжимавшую мою, маленькую, свежую руку и отступил. Она смотрела на меня с лицом, готовым дрогнуть от нетерпения. Это выражение исказило ее черты, — нежность сменилась тупостью, взгляд остро метнулся, и, сам страшно смеясь, я погрозил пальцем.

— Нет, ты не обманешь меня, — сказал я, — она там. Она теперь спит, и я ее разбужу. Прочь, гадина, кто бы ты ни была.

Взмах быстро заброшенного перед самым лицом платка был последнее, что я видел отчетливо в двух шагах. Затем стали мелькать тесные просветы деревьев, то напоминая бегущую среди них женскую фигуру, то указывая, что я бегу сам изо всех сил. Уже виднелись часы площади. На мосту стояли рогатки. Вдали, у противоположной стороны набережной, дымил черный буксир, натягивая канат барки. Я перескочил рогатку и одолел мост в последний момент, когда его разводная часть начала отходить щелью, разняв трамвайные рельсы. Мой летящий прыжок встречен был сторожами отчаянным бранным криком, но, лишь мелькнув взглядом по блеснувшей внизу щели воды, я был уже далеко от них, я бежал, пока не достиг ворот. Х

Тогда или, вернее, спустя некоторое время, наступил момент, от которого я мог частично восстановить обратным порядком слетевшее и помраченное действие. Прежде всего я увидел девушку, стоящую у дверей, прислушиваясь, с рукой простертой ко мне, как это делают, когда просят или безмолвно приказывают сидеть тихо. Она была в летнем пальто; ее лицо выглядело встревоженным и печальным. Она спала перед тем, как я появился здесь. Это я знал, но обстоятельства моего появления ускользнули, как вода в сжатой руке, едва я сделал сознательное усилие немедленно связать все. Повинуясь ее полному беспокойства жесту, я продолжал неподвижно сидеть, ожидая, чем кончится это прислушивание. Я силился понять его смысл, но тщетно. Еще немного, и я сделал бы решительное усилие, чтобы одолеть крайнюю слабость, я хотел спросить, что происходит теперь в этой большой комнате, как, словно угадывая мое движение, девушка повернула голову хмурясь и грозя пальцем. Теперь я вспомнил, что ее зовут Сузи, что так ее назвал кто-то, вышедший отсюда, сказав: "Должна быть совершенная тишина". Спал я или был только рассеян? Пытаясь решить этот вопрос, я машинально опустил взгляд и увидел, что пола моего пальто разорвана. Но оно было цело, когда я спешил сюда. Я переходил от недоумения к удивлению. Вдруг все затряслось и как бы бросилось вон, смешав свет; кровь хлынула к голове: раздался оглушительный треск, подобный выстрелу над ухом, затем крик. "Хальт!" — крикнул кто-то за дверью. Я вскочил, глубоко вздохнув. Из двери вышел человек в сером халате, протягивая отступившей девушке небольшую доску, на которой, сжатая дугой проволоки, висела огромная, перебитая пополам черная крыса. Ее зубы были оскалены, хвост свешивался.

Тогда, вырванная ударом и криком из воистину страшного состояния, моя память перешла темный обрыв. Немедленно я схватил и удержал многое. Чувства заговорили. Внутреннее видение обратилось к началу сцены, повторив цепь усилий. Я вспомнил, как перелез ворота, опасаясь стучать, чтобы не привлечь новой опасности, как обошел дверь и дернул звонок третьего этажа. Но разговор через дверь — разговор долгий и тревожный, причем женский и мужской голоса спорили, впустить ли меня, — я забыл бесповоротно. Он был восстановлен

впоследствии.

Все эти еще не вполне смыкающиеся черты возникли с быстротой взгляда в окно. Старик, внесший крысоловку, был в плотной шапке седых выстриженных ровным кругом волос, напоминающих чашку жёлудя. Острый нос, бритые, тонкие, с сложным упрямым выражением губы, яркие, бесцветные глаза и клочки седых бак на розоватом лице, оканчивающемся направленным вперед подбородком, погруженным в голубой шарф, могли заинтересовать портретиста, любителя характерных линий.

Он сказал:

— Вы видите так называемую черную гвинейскую крысу. Ее укус очень опасен. Он вызывает медленное гниение заживо, превращая укушенного в коллекцию опухолей и нарывов. Этот вид грызуна редок в Европе, он иногда заносится пароходами. "Свободный ход", о котором вы слышали ночью, есть искусственная лазейка, проделанная мною около кухни для опыта с ловушками различных систем; два последние дня ход этот, действительно, был свободен, так как я с увлечением читал Эрта Эртруса: "Кладовая крысиного короля", книга, представляющая собой отменную редкость. Она издана в Германии четыреста лет назад. Автор был сожжен на костре в Бремене, как еретик. Ваш рассказ…

Следовательно, я рассказал уже все, с чем пришел сюда. Но у меня были еще сомнения. Я спросил:

— Приняли ли вы меры? Знаете ли вы, какого рода эта опасность, так как я не совсем понимаю ее?

— Меры? — сказала Сузи. — О каких мерах вы говорите?

— Опасность… — начал старик, но остановился, взглянув на дочь. — Я не понимаю.

Произошло легкое замешательство. Все трое мы обменялись взглядом ожидания.

— Я говорю, — начал я неуверенно, — что вам следует остеречься. Кажется, я уже говорил это, но, простите меня, я не вполне помню, что говорил. Мне кажется теперь, что я был как бы в глубоком обмороке.

Девушка посмотрела на отца, затем на меня и улыбнулась с недоумением: "Как это может быть?"

— Он устал, Сузи, — сказал старик. — Я знаю, что такое бессонница. Все было сказано; и были приняты меры. Если я назову эту крысу, — он опустил ловушку к моим ногам с довольным видом охотника, — словом «Освободитель». вы будете уже кое-что знать.

— Это шутка, — возразил я, — и шутка, конечно, отвечающая занятию Крысолова. — Говоря так, я припомнил вывеску небольшого размера, над которой висел звонок. На ней было написано:

"КРЫСОЛОВ"

Истребление крыс и мышей.

О. Иенсен.

Телеф. 1-08-01.

Я видел ее у входа.

— Вы шутите, так как не думаю, чтобы этот «Освободитель» принес вам столько хлопот.

— Он не шутит, — сказала Сузи, — он знает. Я сравнивал эти два взгляда, которым отвечал в тот момент улыбкой тщетных догадок, — взгляд юности, полный неподдельного убеждения, и взгляд старых, но ясных глаз, выражающих колебание, продолжать ли разговор так, как он начался.

— Пусть за меня скажет вам кое-что об этих вещах Эрт Эртрус. — Крысолов вышел и принес старую книгу в кожаном переплете, с красным обрезом. — Вот место, над которым вы можете смеяться или задуматься, как угодно.

…"Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. Оно также обладает тайнами подземелий, где прячется. В его власти изменять свой вид, являясь, как человек, с руками и ногами, в одежде, имея лицо, глаза, и движения подобные человеческим и даже не уступающие человеку, — как его полный, хотя и не настоящий образ. Крысы могут также причинять неизлечимую болезнь, пользуясь для того средствами, доступными только им.

Им благоприятствуют мор, голод, война, наводнение и нашествие. Тогда они собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это. Они крадут и продают с пользой, удивительной для честного труженика, и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают; окружаясь роскошью, едят и пьют довольно и имеют все в изобилии. Золото и серебро есть их любимейшая добыча, а также драгоценные камни, которым отведены хранилища под землей".

— Но довольно читать, — сказал Крысолов, — и вы, конечно, догадываетесь, почему я перевел именно это место. Вы были окружены крысами.

Но я уже понял. В некоторых случаях мы предпочитаем молчать, чтобы впечатление, колеблющееся и разрываемое другими соображениями, нашло верный приют. Тем временем мебельные чехлы стали блестеть усиливающимся по окну светом, и первые голоса улицы прозвучали ясно, как в комнате. Я снова погружался в небытие. Лица девушки и ее отца отдалялись, став смутным видением, застилаемым прозрачным туманом. "Сузи, что с ним?" — раздался громкий вопрос. Девушка подошла, находясь где-то вблизи меня, но где именно, я не видел, так как был не в состоянии повернуть голову. Вдруг моему лбу стало тепло от приложенной к нему женской руки, в то время как окружающее, исказив и смешав линии, пропало в хаотическом душевном обвале. Дикий, дремучий сон уносил меня. Я слышал ее голос: "Он спит", — слова, с которыми я проснулся после тридцати несуществовавших часов. Меня перенесли в тесную соседнюю комнату, на настоящую кровать, после чего я узнал, что "для мужчины был очень легок". Меня пожалели; комната соседней квартиры оказалась на тот же, другой день, в моем полном распоряжении. Дальнейшее не учитывается. Но от меня зависит, чтобы оно стало таким, как в момент ощущения на голове теплой руки. Я должен завоевать доверие…

И более — ни слова об этом.

Рассказы, включенные А.С. Грином в список произведений для собрания сочинений издательства «Мысль»

Судьба, взятая за рога

I

В декабре месяце луна две ночи подряд была окружена двойным оранжевым ореолом, — явление, сопутствующее сильным морозам. Действительно, мороз установился такой, что слепец Рен то и дело снимал с замерзших ресниц густой иней. Рен ничего не видел, но иней мешал привычке мигать — что, будучи теперь единственной жизнью глаз, несколько рассеивало тяжелое угнетение.

Рен и его приятель Сеймур ехали в санях по реке, направляясь от железнодорожной станции к городку Б., лежащему в устье реки, при впадении ее в море. Жена Рена, приехав в Б., ожидала мужа, уведомленного телеграммой. Съехаться здесь они условились полгода назад, когда Рен не был еще слепым и отправлялся в геологическую экскурсию без всяких предчувствий.

— Нам осталось три километра, — сказал Сеймур, растирая изгрызенную морозом щеку.

— Не следовало мне вовлекать вас в эту поездку, — сказал Рен, — вот уж, подлинно, слепой эгоизм с моей стороны. В конце концов, я мог бы великолепно ехать один.

— Да, зрячий, — возразил Сеймур. — Я должен доставить вас и сдать с рук на руки. К тому же…

Он хотел сказать, что ему приятна эта прогулка в пышных снегах, но вспомнив, что такое замечание относилось к зрению, промолчал.

Снежный пейзаж, действительно, производил сильное впечатление. Белые равнины, в голубом свете луны, под черным небом — холодно, по-зимнему, звездным, молчащим небом; неотстающая черная тень лошади, прыгающая под ее брюхом, и ясная кривая горизонта давали что-то от вечности.

Боязнь показаться подозрительным “как все слепые” помешала Рену спросить о недоговоренном. Недалекая встреча с женой сильно волновала его, поглощая почти все его мысли и толкая говорить о том, что неотвратимо.

— Лучше, если бы я умер на месте в эту минуту, — искренно сказал он, заканчивая печальным выводом цепь соображений и упреков себе. — Подумайте, Сеймур, каково будет ей?! Молодая, совсем молодая женщина и траурный, слепой муж! Я знаю, начнутся заботы… А жизнь превратится в сплошной подвиг самоотречения. Хуже всего — привычка. Я могу привыкнуть к этому, убедиться, в конце концов, что так нужно, чтобы молодое существо жило только ради удобств калеки.

— Вы клевещете на жену, Рен, — воскликнул не совсем натурально Сеймур, — разве она будет думать так, как сейчас вы?!

— Нет, но она будет чувствовать себя не совсем хорошо. Я знаю, — прибавил, помолчав, Рен, — что я, рано или поздно, буду ей в тягость… только едва ли она сознается перед собой в этом…

— Вы делаетесь опасным маньяком, — шутливо перебил Сеймур. — Если бы она не знала, что стряслось с вами, я допустил бы не совсем приятные первую, вторую неделю.

Рен промолчал. Его жена не знала, что он слеп; он не писал ей об этом. II

В середине июля, исследуя пустынную горную реку, Рен был застигнут грозой. Он и его спутники торопились к палатке, шел проливной дождь; окрестность, в темном плаще грозовой

тени, казалась миром, для которого навсегда погасло солнце; тяжкая пальба грома взрывала тучи огненными кустами молний; мгновенные, сверкающие разветвления их падали в лес. Меж небесными вспышками и громовыми раскатами почти не было пауз. Молнии блистали так часто, что деревья, беспрерывно выхватываемые из сумрака резким их блеском, казалось, скачут и исчезают.

Рен не запомнил и не мог запомнить тот удар молнии в дерево, после которого дерево и он свалились на небольшом расстоянии друг от друга. Он очнулся в глубокой тьме, слепой, с обожженными плечом и голенью. Сознание слепоты утвердилось только на третий день. Рен упорно боролся с ним, пугаясь той безнадежности, к которой вело это окончательное убеждение в слепоте. Врачи усердно и бесполезно возились с ним: той нервной слепоты, которая поразила Рена, им не удалось излечить; все же они оставили ему некоторую надежду на то, что он может выздороветь, что зрительный аппарат цел и лишь остановился в действии, как механизм, обладающий для работы всеми необходимыми частями. Написать жене о том, что произошло, было выше сил Рена, отчаявшись в докторах, он упрямо, сосредоточенно, страстно ждал — как приговоренный к смерти ожидает помилования — ждал света. Но свет не загорался. Рен ожидал чуда; в его положении чудо было столь же естественной необходимостью, как для нас вера в свои силы или способности. Единственное, в чем изменились его письма к жене — это в том, что они были написаны на машинке. Однако ко дню встречи он приготовил решение, характерное живучестью человеческих надежд: убить себя в самый последний момент, когда не будет уже никаких сомнений, что удар судьбы не пощадит и Анну, когда она будет стоять перед ним, а он ее не увидит. Это было пределом. III

Когда Рен приехал, вошел в комнату, где скоро должен был зазвучать голос Анны, еще не вернувшейся из магазина, и наступила тишина одинокого размышления, слепой упал духом. Небывалое волнение овладело им. Тоска, страх, горе убивали его. Он не видел Анну семь месяцев; вернее, последний раз он видел ее семь месяцев назад и более увидеть не мог. Отныне, даже если бы он остался жить, ему оставалось лишь воспоминание о чертах лица Анны, ее улыбке и выражении глаз, воспоминание, вероятно, делающееся все более смутным, изменчивым, в то время, как тот же голос, те же слова, та же ясность прикосновения близкого существа будут твердить, что и наружность этого существа та же, какой он ее забыл или почти забыл.

Он так ясно представил себе все это, угрожающее ему, если он не размозжит себе череп и не избавится от слепоты, что не захотел даже подвергнуть себя последнему допросу относительно твердости своего решения. Смерть улыбалась ему. Но мучительное желание увидеть Анну вызвало на его глаза тяжкие слезы, скупые слезы мужчины сломленного, почти добитого. Он спрашивал себя, что мешает ему, не дожидаясь первого, еще веселого для нее, поцелуя — теперь же пустить в дело револьвер? Ни он и никто другой не мог бы ответить на это. Может быть, последний ужас выстрела на глазах Анны притягивал его необъяснимой, но несомненной властью пристального взгляда змеи.

Звонок в прихожей всколыхнул все существо Рена. Он встал, ноги его подкашивались. Всем напряжением воли, всей тоской непроницаемой тьмы, окружавшей его, он усиливался различить хоть что-либо среди зловещего мрака. Увы! Только огненные искры, следствие сильного прилива крови к мозгу, бороздили этот свирепый мрак отчаяния. Анна вошла; он совсем близко услышал ее шаги, звучащие теперь иначе, чем тогда, когда он видел, как она двигается: звук шагов раздавался как бы на одном месте и очень громко.

— Дорогой мой, — сказала Анна, — милый мой, дорогой мои!

Ничего не произошло. Он по-прежнему не видел ее. Рен сунул руку в карман.

— Анна! — хрипло сказал он, отводя пальцем предохранитель. — Я ослеп, я больше не хочу жить. Сеймур все расскажет… Прости!

Руки его тряслись. Он выстрелил в висок, но не совсем точно; пуля разбила надбровную дугу и ударилась в карниз окна. Рен потерял равновесие и упал. Падая, он увидел свою, как бы плавающую в густом тумане, руку с револьвером.

Анна, беспорядочно суетясь и вскрикивая, склонилась над мужем. Он увидел и ее, но также смутно, а затем и комнату, но как бы в китайском рисунке, без перспективы. Именно то, что он увидел, лишило его сознания, а не боль и не предполагавшаяся близкая смерть. Но во всем этом, в силу потрясающей неожиданности, не было для него теперь ни страха, ни радости. Он успел только сказать: “Кажется, все обошлось…” — и впал в бесчувствие.

— Это было полезное нервное потрясение, — сказал через неделю доктор Рену, ходившему с огромным рубцом над глазом. — Пожалуй, только оно и могло вернуть вам то, что дорого для всех, — свет.

Забытое

I

Табарен был очень ценным работником для фирмы «Воздух и свет». В его натуре счастливо сочетались все необходимые хорошему съемщику качества: страстная любовь к делу, находчивость, профессиональная смелость и огромное терпение. Ему удавалось то, что другие считали невыполнимым. Он умел ловить угол света в самую дурную погоду, если снимал на улице какую-либо процессию или проезд высокопоставленных лиц. Одинаково хорошо и ясно и всегда в интересном ракурсе снимал он все заказы, откуда бы ни пришлось: с крыш, башен, деревьев, аэропланов и лодок. Временами его ремесло переходило в искусство. Снимая научно-популярные ленты, он мог часами просиживать у птичьего гнезда, ожидая возвращения матери к голодным птенцам, или у пчелиного улья, приготовляясь запечатлеть вылет нового роя. Он побывал во всех частях света, вооруженный револьвером и маленьким съемочным аппаратом. Охоты на диких зверей, жизнь редких животных, битвы туземцев, величественные пейзажи, — все проходило перед ним, сперва в жизни, а затем на прозрачной ленте, и сотни тысяч людей видели то, что видел сперва один Табарен.

Созерцательный, холодный и невозмутимый характер его как нельзя более отвечал этому занятию. С годами Табарен разучился принимать жизнь в ее существе; все происходящее, все, что было доступно его наблюдению, оценивал он как годный или негодный материал зрительный. Он не замечал этого, но бессознательно всегда и прежде всего взвешивал контрасты света и теней, темп движения, окраску предметов, рельефность и перспективу. Привычка смотреть, своеобразная жадность зрения была его жизнью; он жил глазами, напоминая прекрасное, точно зеркало, чуждое отражаемому.

Табарен зарабатывал много, но с наступлением войны дела его пошатнулись. Фирма его лопнула, другие же фирмы сократили операции. Содержание семьи стало дорого, вдобавок пришлось уплатить по нескольким спешно предъявленным векселям. Табарен остался почти без денег; похудевший от забот, часами просиживал он в кафе, обдумывая выход из тягостного, непривычного положения.

— Снимите бой, — сказал однажды ему знакомый, тоже оставшийся не у дел съемщик. — Но только не инсценировку. Снимите бой настоящий, в десяти шагах, со всеми его непредвиденными натуральными положениями. За негатив дадут прекрасные деньги.

Табарен почесал лоб.

— Я думал об этом, — сказал он. — Единственное, что останавливало меня,

— это семья. Опасности привыкли ко мне, а я к ним, но быть убитым, оставив семью без денег, — нехорошо. Во-вторых, мне нужен помощник. Может случиться, что, раненный, я брошу вертеть ленту, а продолжать нужно. Наконец, вдвоем безопаснее и удобнее. В-третьих, надо получить разрешение и пропуск.

Они замолчали. Знакомого Табарена звали Ланоск; он был поляк, с детства живущий за границей. Настоящую фамилию его: «Ланской» — французы переделали на «Ланоск», и он привык к этому. Ланоск напряженно думал. Идея боевой фильмы все более пленяла его, и то, что он высказал вслух, не было, по-видимому, внезапным решением, а ждало только подходящего случая и настроения. Он сказал:

— Давайте, Табарен, сделаем это вместе. Я одинок. Доход пополам. У меня есть небольшое сбережение; его хватит пока вашей семье, а потом сосчитаемся. Не беспокойтесь, я деловой человек.

Табарен обещал подумать и через день согласился. Тут же он развил перед Ланоском план съемок: лента должна быть возможно полной. Они дадут полную картину войны, развертывая ее кресчендо от незначительных, подготовляющих впечатлений до настоящего боя. Ленту хорошо сделать единственной в этом роде. Игра ва-банк: смерть или богатство.

Ланоск воодушевился. Он заявил, что тотчас поедет и заключит предварительное условие с двумя конторами. А Табарен отправился хлопотать о разрешении военного начальства. С большим трудом, путем множества мытарств, убеждая, доказывая, прося и умоляя, получил он наконец через две недели желанную бумагу, затем успокоил, как мог, жену, сказав ей, что получил недолгосрочную командировку обычного характера, и выехал с Ланоском на боевые поля. II

Первая неделя прошла в усиленной и беспокойной работе, в посещениях местностей, затронутых войной, и выборе среди изобилия материала — самого интересного. Где верхом, где пешком, где на лодках или в солдатском поезде, часто без сна и впроголодь, ночуя в крестьянских избах, каменоломнях или в лесу, съемщики наполнили шестьсот метров ленты. Здесь было все: деревни, сожженные пруссаками; жители-беглецы, рощи, пострадавшие от артиллерийского огня, трупы солдат и лошадей, сцены походной жизни, картины местностей, где происходили наиболее ожесточенные бои, пленные немцы, отряды зуавов и тюркосов; словом — вся громада борьбы, включительно до переноски раненых и снимков операционных помещений на их полном ходу. Не было только еще центра картины — боя. Невозмутимо, как привычный хирург у операционного стола, Табарен вертел ручку аппарата, и глаза его вспыхивали живым блеском, когда яркое солнце помогало работе или случай давал живописное расположение живых групп. Ланоск, более нервный и подвижный, вначале сильно страдал; часто при виде разрушений, нанесенных немцами, проклятия сыпались из его горла столь же выразительным тоном, как плач женщины или крик раненого. Через несколько дней нервы его притупились, затихли, он втянулся, привык и примирился со своей ролью — молча отражать виденное.

Наступил день, когда съемщикам надлежало выполнить самую трудную и заманчивую часть работы; снять подлинный бой. Дивизия, близ которой остановились они в маленькой деревушке, должна была утром атаковать холмы, занятые неприятелем. Ночью, наняв телегу, Табарен и Ланоск отправились в цепь, где с разрешения полковника присоединились к стрелковой роте.

Ночь была пасмурная и холодная. Огней не разводили. Солдаты частью спали, частью сидели еще группами, разговаривая о делах походной жизни, стычках и ранах. Некоторые спрашивали Табарена — не боится ли он. Табарен, улыбаясь, отвечал всем:

— Я только одно боюсь: что пуля пробьет ленту.

Ланоск говорил:

— Трудно попасть в аппарат: он маленький.

Они закусили хлебом и яблоками и улеглись спать. Табарен скоро уснул; Ланоск лежал и думал о смерти. Над головой его неслись тучи, гонимые резким ветром; вдали гудел лес. Ланоск не боялся смерти, но боялся ее внезапности. На тысячи ладов рисовал он себе этот роковой случай, пока с востока не побелел воздух и синий глаз неба скользнул кое-где среди серых, облачных армад, густо валившихся за холмистый горизонт.

Тогда он разбудил Табарена и осмотрел аппарат.

Табарен, проснувшись, прежде всего осмотрел небо.

— Солнца, солнца! — нетерпеливо вскричал он. — Без солнца все будет смазано: здесь некогда долго выбирать позицию и находить фокус!

— Я съел бы эти тучи, если бы мог! — подхватил Ланоск.

Они стояли в окопе. Слева и справа от них тянулись ряды стрелков. Лица их были серьезны и деловиты. Через несколько минут вой первой шрапнели огласил высоту, и в окоп после грозного треска сыпнул невидимый град. Два стрелка пошатнулись, два упали. Бой начался. Гремели раскаты ружейного огня; сзади, поддерживая пехоту, потрясали землю артиллерийские выстрелы.

Табарен, установив аппарат, внимательно вертел ручку. Он наводил объект то на раненых, то на стреляющих, ловил целлулоидом выражение их лиц, позы, движения. Обычное хладнокровие не изменило ему, только сознание заработало быстрее, время как бы остановилось, а зрение удвоилось. По временам он топал ногой, вскрикивая:

— Солнца! Солнца!

На него не обращали внимания. Солдаты, перебегая, толкали его, и тогда он крепко цеплялся за аппарат, опасаясь за его целость. Ланоск сидел, прижавшись к стенке окопа.

По окопам, заглушаемая выстрелами, передалась команда. Отряд шел в атаку. Солдаты, перелезая через бруствер, бросились бежать к холмам, молча, стиснув зубы, с ружьями наперевес. Табарен, держа аппарат под мышкой, кинулся бежать за солдатами, пересиливая одышку. Ланоск не отставал: он был бледен, возбужден и на бегу не переставая кричал:

— Ура, Табарен! Лента и Франция увидят чертовский удар нашего штыка! А ловко я это выдумал, Табарен? Опасно… но, черт возьми — жизнь вообще опасна! Смотрите, что за молодцы бегут впереди! Как у этого блестят зубы! Он смеется! Ура! Мы снимем победу, Табарен! Ура!

Они слегка отстали, и Табарен пустился бежать изо всех сил. Пули срезывали у его ног траву, свистали над головой, и он страшной силой воли заставил молчать сознание, твердящее о внезапной смерти. Чем дальше, тем чаще встречались ему лежащие ничком, только что опередившие его в беге солдаты.

На гребне холма показались немцы, поспешно выбегая навстречу, стреляя на ходу и что-то выкрикивая. За минуту до столкновения Табарен вырвал у Ланоска треножник и быстро, задыхаясь от бега, установил аппарат. Руки его тряслись. В этот момент ненавистное, упрямое, милое солнце бросило в разрез туч желтый, живой свет, родив бегущие тени людей, ясность и чистоту дали.

Французы бились от Табарена в пятнадцати, десяти шагах. Мелькающий блеск штыков, круги,

описываемые прикладами, изогнутые назад спины падающих, повороты и прыжки наступающих, движение касок и кепи, гневная бледность лиц — все, схваченное светом, неслось в темную камеру аппарата. Табарен вздрагивал от радости при виде ловких ударов. Ружейные стволы, парируя и поражая, хлопались друг о друга. Вдруг странное смешение чувств потрясло Табарена. Затем он упал, и память и сознание оставили его, лежащего на земле. III

Когда Табарен очнулся, то понял по обстановке и тишине, что лежит в лазарете. Он чувствовал сильную жажду и слабость. Попробовав повернуть голову, он чуть снова не лишился сознания от страшной боли в висках. Забинтованная, не смертельно простреленная голова требовала покоя. Первый вопрос, заданный им врачу, был:

— Цел ли мой аппарат?

Его успокоили. Аппарат подобрал санитар; товарища же его, Ланоска, убили. Табарен был еще слишком слаб, чтобы реагировать на это известие. Волнение, пережитое в вопросе о судьбе аппарата, утомило его. Он вскоре уснул.

Ряд долгих, скучных, томительных дней провел Табарен на койке, тщетно пытаясь вспомнить, как и при каких обстоятельствах получил рану. Пораженная память отказывалась заполнить темный провал живым содержанием. Смутно казалось Табарену, что там, во время атаки, с ним произошло нечто удивительное и важное. Кусая губы и морща лоб, подолгу думал он о том неизвестном, которое оставило памяти едва заметный след ощущений, столь сложных и смутных, что попытка воскресить их вызывала неизменно лишь утомление и досаду.

В конце августа он возвратился в Париж и тотчас же занялся проявлением негативов. То одна, то другая фирма торопили его, да и сам он горел нетерпением увидеть наконец на экране плоды своих трудов и скитаний. Когда все было готово, в просторном зале собрались смотреть боевую фильму Табарена агенты, представители фирм, содержатели театров и кинематографов.

Табарен волновался. Он сам хотел судить о своей работе в полном ее объеме, а потому избегал смотреть ранее этого вечера готовую уже ленту на свет. Кроме того, его удерживала от преждевременного любопытства тайная, ни на чем, конечно, не обоснованная надежда найти на экране, в связном повторении моментов, исчезнувший бесследно обрывок воспоминаний. Потребность

вспомнить стала его болезнью, манией. Он ждал и почему-то боялся. Его чувства напоминали трепет юноши, идущего на первое свидание. Усаживаясь на стул, он волновался, как ребенок.

В глубоком молчании смотрели зрители сцены войны, добытые ценой смерти Ланоска. Картина заканчивалась. Тяжело дыша, смотрел Табарен эпизоды штыкового боя, смутно начиная что-то припоминать. Вдруг он закричал:

— Это я! я!

Действительно, это был он. Французский стрелок, изнемогая под ударами пруссаков, шатался уже, еле держась на ногах; окруженный, он бросил вокруг себя безнадежный взгляд, посмотрел в сторону, за раму экрана и, падая, раненный еще раз, закричал что-то неслышное зрителям, но теперь до боли знакомое Табарену. Крик этот снова раздался в его ушах. Солдат крикнул:

— Помоги землячку, фотограф!

И тотчас же Табарен увидел на экране себя, подбегающего к дерущимся. В его руке был

револьвер, он выстрелил раз, и два, и три, свалил немца, затем схватил выпавшее ружье француза и стал отбиваться. И чувства жалости и гнева, бросившие его на помощь французу, — снова воскресли в нем. Второй раз он изменил себе, изменил спокойному зрению и профессиональной бесстрастности. Волнение его разразилось слезами. Экран погас.

— Боже мой! — сказал, не отвечая на вопросы знакомых, Табарен. — Лента кончилась… в этот момент убили Ланоска… Он продолжал вертеть ручку! Еще немного — и солдата убили бы. Я не выдержал и плюнул на ленту!

Баталист Шуан

I

Путешествовать с альбомом и красками, несмотря на револьвер и массу охранительных документов, в разоренной, занятой пруссаками стране — предприятие, разумеется, смелое. Но в наше время смельчаками хоть пруд пруди.

Стоял задумчивый, с красной на ясном небе зарей — вечер, когда Шуан, в сопровождении слуги Матиа, крепкого, высокого человека, подъехал к разрушенному городку N. Оба совершали путь верхом.

Они миновали обгоревшие развалины станции и углубились в мертвую тишину улиц. Шуан первый раз видел разрушенный город. Зрелище захватило и смутило его. Далекой древностью, временами Аттилы и Чингисхана отмечены были, казалось, слепые, мертвые обломки стен и оград.

Не было ни одного целого дома. Груды кирпичей и мусора лежали под ними. Всюду, куда падал взгляд, зияли огромные бреши, сделанные снарядами, и глаз художника, угадывая местами по развалинам живописную старину или оригинальный замысел современного архитектора, болезненно щурился.

— Чистая работа, господин Шуан, — сказал Матиа, — после такого опустошения, сдается мне, осталось мало охотников жить здесь!

— Верно, Матиа, никого не видно на улицах, — вздохнул Шуан. — Печально и противно смотреть на все это. Знаешь, Матиа, я, кажется, здесь поработаю. Окружающее возбуждает меня. Мы будем спать, Матиа, в холодных развалинах. Тес! Что это?! Ты слышишь голоса за углом?! Тут есть живые люди!

— Или живые пруссаки, — озабоченно заметил слуга, смотря на мелькание теней в грудах камней. II

Три мародера, двое мужчин и женщина, бродили в это же время среди развалин. Подлое ремесло держало их все время под страхом расстрела, поэтому ежеминутно оглядываясь и прислушиваясь, шайка уловила слабые звуки голосов — разговор Шуана и Матиа. Один мародер — «Линза» — был любовником женщины; второй — «Брелок» — ее братом; женщина носила прозвище «Рыба», данное в силу ее увертливости и жалости.

— Эй, дети мои! — прошептал Линза. — Цыть! Слушайте.

— Кто-то едет, — сказал Брелок. — Надо узнать.

— Ступай же! — сказала Рыба. — Поди высмотри, кто там, да только скорее.

Брелок обежал квартал и выглянул из-за угла на дорогу. Вид всадников успокоил его. Шуан и

слуга, одетые по-дорожному, не возбуждали никаких опасений. Брелок направился к путешественникам. У него не было еще никакого расчета и плана, но, правильно рассудив, что в такое время хорошо одетым, на сытых лошадях людям немыслимо скитаться без денег, он хотел узнать, нет ли поживы.

— А! Вот! — сказал, заметив его, Шуан. — Идет один живой человек. Поди-ка сюда, бедняжка. Ты кто?

— Бывший сапожный мастер, — сказал Брелок, — была у меня мастерская, а теперь хожу босиком.

— А есть кто-нибудь еще живой в городе?

— Нет. Все ушли… все; может быть, кто-нибудь… — Брелок замолчал, обдумывая внезапно сверкнувшую мысль. Чтобы привести ее в исполнение, ему требовалось все же узнать, кто путешественники.

— Если вы ищете своих родственников, — сказал Брелок, делая опечаленное лицо, — ступайте в деревушки, что у Милета, туда потянулись все.

— Я художник, а Матиа — мой слуга. Но — показалось мне или нет — я слышал невдалеке чей-то разговор. Кто там?

Брелок мрачно махнул рукой.

— Хм! Двое несчастных сумасшедших. Муж и жена. У них, видите, убило снарядом детей. Они рехнулись на том, что все обстоит по-прежнему, дети живы и городок цел.

— Слышишь, Матиа? — сказал, помолчав, Шуан. — Вот ужас, где замечания излишни, а подробности нестерпимы. — Он обратился к Брелоку:

— Послушай, милый, я хочу видеть этих безумцев. Проведи нас туда.

— Пожалуйста, — сказал Брелок, — только я пойду посмотрю, что они делают, может быть, они пошли к какому-нибудь воображаемому знакомому.

Он возвратился к сообщникам. В течение нескольких минут толково, подробно и убедительно внушал он Линзе и Рыбе свой замысел. Наконец они столковались. Рыба должна была совершенно молчать. Линза обязывался изобразить сумасшедшего отца, а Брелок — дальнего родственника стариков.

— Откровенно говоря, — сказал Брелок, — мы, как здоровые, заставим их держаться от себя подальше. «Что делают трое бродяг в покинутом месте и в такое время?» — спросят они себя. А в роли безобидных сумасшедших мы, пользуясь первым удобным случаем, убьем обоих. У них должны быть деньги, сестрица, деньги! Нам попадается много тряпок, разбитых ламп и дырявых картин, но где, в какой мусорной куче, мы найдем деньги? Я берусь уговаривать мазилку остаться ночевать с нами… Ну, смотрите же теперь в оба!

— Как ты думаешь, — спросил Линза, перебираясь с женщиной в соседний, менее других разрушенный дом, — трясти мне головой или нет? У сумасшедших часто трясется голова.

— Мы не в театре, — сказала Рыба, — посмотри кругом! Здесь страшно… темно… скоро будет еще темнее. Раз тебя показывают как безумца, что бы ты ни говорил и ни делал — все будет в чужих глазах безумным и диким; да еще в таком месте. Когда-то я жила с вертопрахом Шармером. Обокрав кредиторов и избегая суда, он притворился блаженненьким; ему поверили, он достиг этого только тем, что ходил всюду, держа в зубах пробку. Ты… ты в лучших условиях!

— Правда! — повеселел Линза. — Я уж сыграю рольку, только держись! III

— Ступайте за мной! — сказал Брелок всадникам. — Кстати, в том доме вы могли бы и переночевать… хоть и безумцы, а все же веселее с людьми.

— Посмотрим, посмотрим, — спешиваясь, ответил Шуан. Они подошли к небольшому дому, из второго этажа которого уже доносились громкие слова мнимосумасшедшего Линзы: «Оставьте меня в покое. Дайте мне повесить эту картинку! А скоро ли подадут ужин?»

Матиа отправился во двор привязать лошадей, а Шуан, следуя за Брелоком, поднялся в пустое помещение, лишенное половины мебели и забросанное тем старым хламом, который обнаруживается во всякой квартире, если ее покидают: картонками, старыми шляпами, свертками с выкройками, сломанными игрушками и еще многими предметами, коим не сразу найдешь имя. Стена фасада и противоположная ей были насквозь пробиты снарядом, обрушившим пласты штукатурки и холсты пыли. На каминной доске горел свечной огарок; Рыба сидела перед камином, обхватив руками колени и неподвижно смотря в одну точку, а Линза, словно не замечая нового человека, ходил из угла в угол с заложенными за спину руками, бросая исподлобья пристальные, угрюмые взгляды. Молодость Шуана, его застенчиво-виноватое, подавленное выражение лица окончательно ободрили Линзу, он знал теперь, что самая грубая игра выйдет великолепно.

— Старуха совсем пришиблена и, кажется, уже ничего не сознает, — шепнул Шуану Брелок, — а старик все ждет, что дети вернутся! — Здесь Брелок повысил голос, давая понять Линзе, о чем говорить.

— Где Сусанна? — строго обратился Линза к Шуану. — Мы ждем ее, чтобы сесть ужинать. Я голоден, черт возьми! Жена! Это ты распустила детей! Какая гадость! Жану тоже пора готовить уроки… да, вот нынешние дети!

— Обоих — Жана и Сусанночку, — говорил сдавленным шепотом Брелок, — убило, понимаете, одним взрывом снаряда — обоих! Это случилось в лавке… Там были и другие покупатели… Всех разнесло… Я смотрел потом… о, это такой ужас!

— Черт знает что такое! — сказал потрясенный Шуан. — Мне кажется, что вы могли бы, схитрив как-нибудь, убрать этих несчастных из города, где их ждет только голодная смерть.

— Ах, господин, я их подкармливаю, но как?! Какие-нибудь овощи с покинутых огородов, горсть гороху, собранная в пустом амбаре… Конечно, я мог бы увезти их в Гренобль, к моему брату… Но деньги… ах, — как все дорого, очень дорого!

— Мы это устроим, — сказал Шуан, вынимая бумажник и протягивая мошеннику довольно крупную ассигнацию. — Этого должно вам хватить.

Два взгляда — Линзы и Рыбы — исподтишка скрестились на его руке, державшей деньги. Брелок, приняв взволнованный, пораженный вид, вытер рукавом сухие глаза.

— Бог… бог… вам… вас… — забормотал он.

— Ну, бросьте! — сказал растроганный Шуан. — Однако мне нужно посмотреть, что делает Матиа, — и он спустился во двор, слыша за спиной возгласы Линзы: — «Дорогой мой мальчик, иди к папе! Вот ты опять ушиб ногу!» — Это сопровождалось искренним, неподдельным хохотом мародера, вполне довольного собой. Но Шуан, иначе понимая этот смех, был сильно удручен им.

Он столкнулся с Матиа за колодцем.

— Нашел мешок сена, — сказал слуга, — но выбегал множество дворов. Лошади поставлены

здесь, в сарае.

— Мы ляжем вместе около лошадей, — сказал Шуан. — Я голоден. Дай сюда сумку. — Он отделил часть провизии, велев Матиа отнести ее «сумасшедшим».

— Я больше не пойду туда, — прибавил он, — их вид действует мне на нервы. Если тот молодой парень спросит обо мне, скажи, что я уже лег.

Приладив свой фонарь на перевернутом ящике, Шуан занялся походной едой: консервами, хлебом и вином. Матиа ушел. Творческая мысль Шуана работала в направлении только что виденного. И вдруг, как это бывает в счастливые, роковые минуты вдохновения, — Шуан ясно, со всеми подробностями увидел ненаписанную картину, ту самую, о которой в тусклом состоянии ума и фантазии тоскуют, не находя сюжета, а властное желание произвести нечто вообще грандиозное, без ясного плана, даже без отдаленного представления об искомом, не перестает мучить. Таким произведением, во всей гармоничности замысла, компоновки и исполнения, был полон теперь Шуан и, как сказано, весьма отчетливо представлял его. Он намеревался изобразить помешанных, отца и мать, сидящих за столом в ожидании детей. Картина разрушенного помещения была у него под руками. Стол, как бы накрытый к ужину, должен был, по плану Шуана, ясно показывать невменяемость стариков: среди разбитых тарелок (пустых, конечно) предлагал он разместить предметы посторонние, чуждые еде; все вместе олицетворяло, таким образом, смешение представлений. Старики помешаны на том, что ничего не случилось, и дети, вернувшись откуда-то, сядут, как всегда, за стол. А в дальнем углу заднего плана из сгущенного мрака слабо выступает осторожно намеченный кусок ограды (что как бы грезится старикам), и у ограды видны тела юноши и девушки, которые не вернутся. Подпись к картине: «Заставляют стариков ждать…», долженствующая указать искреннюю веру несчастных в возвращение детей, сама собой родилась в голове Шуана… Он перестал есть, увлеченный сюжетом. Ему казалось, что все бедствия, вся скорбь войны могут быть выражены здесь, воплощены в этих фигурах ужасной силой таланта, присущего ему… Он видел уже толпы народа, стремящегося на выставку к его картине; он улыбался мечтательно и скорбно, как бы сознавая, что обязан славой несчастью — и вот, забыв о еде, вынул альбом. Ему хотелось немедленно приступить к работе. Взяв карандаш, нанес он им на чистый картон предварительные соображения перспективы и не мог остановиться… Шуан рисовал пока дальний угол помещения, где в мраке видны тела… За его спиной скрипнула дверь; он обернулся, вскочил, сразу возвращаясь к действительности, и уронил альбом.

— Матиа! Ко мне! — закричал он, отбиваясь от стремительно кинувшихся на него Брелока и Линзы. IV

Матиа, оставив Шуана, разыскал лестницу, ведущую во второй этаж, где зловещие актеры, услышав его шаги, приняли уже нужные положения. Рыба села опять на стул, смотря в одну точку, а Линза водил по стене пальцем, бессмысленно улыбаясь.

— Вы, я думаю, все тут голодны, — сказал Матиа, кладя на подоконник провизию, — ешьте. Тут хлеб, сыр и банка с маслом.

— Благодарю за всех, — проникновенно ответил Брелок, незаметно подмигивая Линзе в виде сигнала быть настороже и, улучив момент, повалить Матиа. — Твой господин устал, надо быть. Спит?

— Да… Он улегся. Плохой ночлег, но ничего не поделаешь. Хорошо, что водопровод дал воды, а то лошадям было бы…

Он не договорил. Матиа, стоя лицом к Брелоку, не видел, как Линза, потеряв вдруг охоту бормотать что-то про себя, разглядывая стену, быстро нагнулся, поднял тяжелую дубовую ножку от кресла, вывернутую заранее, размахнулся и ударил слугу по темени. Матиа, с

побледневшим лицом, с внезапным туманом в голове, глухо упал, даже не вскрикнув.

Увидав это. Рыба вскочила, торопя наклонившегося над телом Линзу:

— Потом будешь смотреть… Убил, так убил. Идите в сарай, кончайте, а я пообшарю этого.

Она стремительно рылась в карманах Матиа, громко шепча вдогонку удаляющимся мошенникам:

— Смотрите же, не сорвитесь!

Увидав свет в сарае, более осторожный Брелок замялся, но Линза, распаленный насилием, злобно потащил его вперед:

— Ты размяк!.. Струсил!.. Мальчишка!.. Нас двое!

Они задержались у двери, плечо к плечу, не более как на минуту, отдышались, угрюмо впиваясь глазами в яркую щель незапертой двери, а затем Линза, толкнув локтем Брелока, решительно рванул дверь, и мародеры бросились на художника.

Он сопротивлялся с отчаянием, утраивающим силу. «С Матиа, должно быть, покончили», — мелькнула мысль, так как на его призывы и крики слуга не являлся. Лошади, возбужденные суматохой, рвались с привязей, оглушительно топоча по деревянному настилу. Линза старался ударить Шуана дубовой ножкой по голове. Брелок же, работая кулаками, выбирал удобный момент повалить Шуана, обхватив сзади. Шуан не мог воспользоваться револьвером, не расстегнув предварительно кобуры, а это дало бы мародерам тот минимум времени бездействия жертвы, какой достаточен для смертельного удара. Удары Линзы падали главным образом на руки художника, от чего, немея вследствие страшной боли, они почти отказывались служить. По счастью, одна из лошадей, толкаясь, опрокинула ящик, на котором стоял фонарь, фонарь свалился стеклом вниз, к полу, закрыв свет, и наступил полный мрак.

«Теперь, — подумал Шуан, бросаясь в сторону, — теперь я вам покажу». — Он освободил револьвер и брызнул тремя выстрелами наудачу, в разные направления. Красноватый блеск вспышек показал ему две спины, исчезающие за дверью. Он выбежал во двор, проник в дом, поднялся наверх. Старуха исчезла, услыхав выстрелы; на полу у окна, болезненно, с трудом двигаясь, стонал Матиа.

Шуан отправился за водой и смочил голову пострадавшего. Матиа очнулся и сел, держась за голову.

— Матиа, — сказал Шуан, — нам, конечно, не уснуть после таких вещей. Постарайся овладеть силами, а я пойду седлать лошадей. Прочь отсюда! Мы проведем ночь в лесу.

Придя в сарай, Шуан поднял альбом, изорвал только что зарисованную страницу и, вздохнув, разбросал клочки.

— Я был бы сообщником этих гнусов, — сказал он себе, — если бы воспользовался сюжетом, разыгранным ими… «Заставляют стариков ждать…» Какая тема идет насмарку! Но у меня есть славное утешение: одной такой трагедией меньше, ее не было. И кто из нас не отдал бы всех своих картин, не исключая шедевров, если бы за каждую судьба платила отнятой у войны невинной жизнью?

Черный алмаз

…Солнце тяготело к горам. Партия каторжан вернулась с лесных работ. Трумов умылся и в ожидании ужина лег на нары. Тоска душила его. Ему хотелось ничего не видеть, не слышать, не знать. Когда он шевелился, кандалы на его ногах гремели, как окрик.

Социалист Лефтель подошел к Трумову и присел на краю нар.

— Сплин или ностальгия? — спросил он, закуривая. А вы в «трынку» научитесь играть.

— Свободы хочу, — тихо сказал Трумов. — Так тяжко, Лефтель, что и не высказать.

— Тогда, — Лефтель понизил голос, — бегите в тайгу, живите лесной, дикой жизнью, пока сможете.

Трумов промолчал.

— Знаете, воли не хватает, — искренне заговорил он, садясь. Если бежать, то не в лес, а в Россию или за границу. Но воля уже отравлена. Препятствия, огромные расстояния, которые нужно преодолеть, длительное нервное напряжение… При мысли обо всем этом фантазия рисует затруднения гигантские… это ее болезнь, конечно. И каждый раз порыв заканчивается апатией.

Трумова привела на каторгу любовь к жене скрипача Ягдина.

Три года назад Ягдин давал концерты в европейских и американскиих городах. Трумов и жена Ягдина полюбили друг друга исключительной, не останавливающейся ни перед чем любовью. Когда выяснилось, что муж скоро вернется, Ольга Васильевна и Трумов порешили выехать из России. Необходимость достать для этого несколько тысяч рублей застигла его врасплох — денег у него не было и никто не давал. Вечером, когда служащие транспортной конторы (где служил Трумов) собрались уходить, он спрятался в помещении конторы и ночью взломал денежный шкаф. Курьер, страдавший бессоницей, прибежал на шум. Трумов в отчаяньи повалил его и ударом по голове бронзового пресс-папье, желая только оглушить, — убил. Его арестовали в Волочиске. После суда Ольга Васильевна отравилась.

— А мне вот все равно, — сказал Лефтель, — философский склад ума помогает. Хотя…

Вошел надзиратель, крича:

— Всем выходить на двор, жива-а! — Окончив официальное приказание, исходившее от начальника тюрьмы, он прибавил обыкновенным голосом: — Музыкант играть вам будет, идиотам, приезжий, вишь, арестантскую концерту наладил.

Трумов и Лефтель, приятно заинтересованные, живо направились в коридор; по коридору, разившему кислым спертым воздухом, шла шумная толпа каторжан, звон кандалов временами заглушал голоса. Арестанты шутили:

— Нам в первом ряду креслу подавай!

— А я ежели свистну…

— Шпанку кадрель танцевать ведут…

Кто-то пел петухом.

— Однако не перевелись еще утописты, — сказал Трумов, завидую я их светлому помешательству.

— Последний раз я слушал музыку… — начал Лефтель, но оборвал грустное воспоминание.

На широком каменистом дворе, окруженном поредевшими полями, арестанты выстоились полукругом в два ряда; кое-где усмиренно позвякивали кандалы. Из гористых далей, затянутых волшебной нежно-цветной тканью вечера, солнце бросало низкие лучи. Дикие ароматные пустыни дразнили людей в цепях недоступной свободой.

Из конторы вышел начальник тюрьмы. Человек мелкий и подозрительный, он не любил никакой музыки, затею Ягдина играть перед арестантами считал не только предосудительной и неловкой, но даже стыдной, как бы уничтожающей суровое значение тюрьмы, которую он вел без послаблений, точно придерживаясь устава.

— Ну вот, — громко заговорил он, — вы так поете свои завывания, а настоящей музыки не слыхали. — Он так говорил, потому что боялся губернатора. — Ну, вот, сейчас услышите. Вот вам будет сейчас играть на скрипке знаменитый скрипач Ягдин, — он по тюрьмам ездит для вас, душегубов, поняли?

Трумов помертвел. Лефтель, сильно изумленный (он знал эту историю), с сожалением посмотрел на него.

— Это зачем же… — растерянно, криво улыбаясь, прошептал Трумов Лефтелю. Ноги его вдруг задрожали, он весь ослабел, затосковал. Сознание, что уйти нельзя, усиливало страдание.

— Подержитесь, черт с вами, — сказал Лефтель.

Трумов стоял в первом ряду, недалеко от крыльца конторы. Наконец, вышел Ягдин, задержался на нижней ступеньке, медленно обвел каторжан внимательным проходящим взглядом и, незаметно кивнув головой, улыбнулся измученному, застывшему лицу Трумова. Глаза Ягдина горели болезненным огнем сдержанного волнения. Он испытывал сладчайшее чувство утоляемой ненависти, почти переходящей в обожание врага, в благодарность к его мучениям.

Трумов из гордости не отвел глаза, но душа его сжалась; прошлое, оплеванное появлением Ягдина, встало во весь рост. Арестантская одежда давила его. Ягдин учел и это.

Вся месть вообще была тщательно, издалека обдумана музыкантом. Схема этой мести заключалась в таком положении: он, Ягдин, явится перед Трумовым, и Трумов увидит, что Ягдин свободен, изящен, богат, талантлив и знаменит по-прежнему, в то время как Трумов опозорен, закован в цепи, бледен, грязен и худ и сознает, что его жизнь сломана навсегда. Кроме всего этого, Трумов услышит от него прекрасную, волнующую музыку, которая ярко напомнит каторжнику счастливую жизнь человека любимого и свободного: такая музыка угнетет и отравит душу.

Ягдин сознательно откладывал выполнение этого плана на третий год каторги Трумова, чтобы ненавистный ему человек успел за это время изныть под тяжестью страшной судьбы, и теперь он пришел добить Трумова. Каторжник это понял. Пока артист вынимал дорогую скрипку из блестящего золотыми надписями футляра, Трумов хорошо рассотрел Ягдина. На скрипаче был щегольский белый костюм, желтые ботинки и дорогая панама. Его пышный бледно-серый галстук походил на букет. Устремив глаза вверх, Ягдин качнулся вперед, одновременно двинул смычком и заиграл. И так как желание его как можно больнее ранить Трумова своим искусством было огромно, то и играл он с высоким, даже для него не всегда доступным совершенством. Он играл небольшие, но сильные вещи классиков: Мендельсона, Бетховена, Шопена, Годара, Грига, Рубинштейна, Моцарта. Беспощадное очарование музыки потрясло Трумова, впечатлительность его была к тому же сильно обострена появлением мужа Ольги Васильевны.

— Какая сволочь, все-таки, — тихо сказал Лефтель Трумову.

Трумов не ответил. В нем глухо, но повелительно ворочалась новая сила. Совсем стемнело, он уже не видел лица Ягдина, а видел только сумеречное пятно белой фигуры.

Вдруг звуки, такие знакомые и трогательные, как если бы умершая женщина ясно шептала на ухо: "Я здесь с тобой", заставили его вскочить (арестанты, получив разрешение держаться «вольно», сидели или полулежали). Сжав кулаки, он шагнул вперед; Лефтель схватил его за руку и удержал всем напряжением мускулов.

— Ради бога, Трумов… — быстро сказал он, удержитесь; ведь за это повесят.

Трумов, скрипнув зубами, сдался, но Ягдин продолжал играть любимый романс соперника: "Черный алмаз". Он с намерением заиграл его. Этот романс часто играла Трумову Ольга Васильевна, и Ягдин однажды поймал их встречный взгляд, которому тогда еще не придал значения. Теперь он усиливал живость воспоминаний каторжника этой простой, но богатой и грустной мелодией. Смычок медленно говорил:

Я в память твоих бесконечных страданий

Принес тебе черный алмаз…

И эту пытку, окаменев, Трумов выдержал до конца. Когда скрипка умолкла и кто-то в углу двора выдохнул всей грудью: "Эхма!" — он нервно рассмеялся, пригнул к себе голову Лефтеля и твердо шепнул:

— Теперь я знаю, что Ягдин сделал жестокую и непростительную ошибку.

Он ничего не прибавил к этому, и слова его стали понятны Лефтелю только на другой день, часов в десять утра, когда, работая в лесу (рубили дрова), он услыхал выстрел, увидел многозначительно заствышие усмешки в лицах каторжников и надзирателя с разряженной винтовкой в руках. Надзиратель, выбегая из лесу на вырубленное место, имел вид растерянный и озабоченный.

— Побег! — пронеслось в лесу.

Действительно, рискуя жизнью, Трумов бежал в тайгу на глазах надзирателя, водившего его к другой партии, где был напильник, править пилу. * * *

Прошло после этого полтора года. Вечером в кабинет Ягдина вошел лакей с подносом, на подносе лежали письма и сверток, запечатанный бандеролью.

Музыкант стал рассматривать почту. Одно письмо с австралийской маркой он распечатал раньше других, узнал почерк и, потускнев, стал читать:

"Андрей Леонидович! Наступило время поблагодарить вас за ваш прекрасный концерт, который вы дали мне в прошлом году. Я очень люблю музыку. В вашем исполнении она сделалала чудо: освободила меня.

Да, я был потрясен, слушая вас; богатство мелодий, расказанных вами на дворе Ядринского острога, заставило меня очень глубоко почувствовать всю утраченную мной музыку свободной и деятельной жизни; я сильно снова захотел всего и бежал.

Такова сила искусства, Андрей Леонидович! Вы употребили его как орудие недостойной цели и обманулись. Искусство-творчество никогда не принесет зла. Оно не может казнить. Оно является идеальным выражением всякой свободы, мудрено ли, что мне, в тогдашнем моем положении, по контрасту, высокая, могущественная музыка стала пожаром, в котором

сгорели и прошлые и будущие годы моего заключения.

Особенно спасибо вам за "Черный алмаз", вы ведь знаете, что любимая мелодия действует сильнее других.

Прощайте, простите за прошлое. Никто не виноват в этой любви. В память странного узла жизни, разрубленного вашим смычком, посылаю "Черный алмаз"!»

Ягдин развернул сверток; в нем были ноты Бремеровского ненавистного романса.

Скрипач встал и до утра ходил по кабинету, забрасывая ковер окурками папирос.

Таинственная пластинка

I

Крепко сжав губы, наклонясь и упираясь руками в валики кресла, на котором сидел, Бевенер следил решительным, недрогнувшим взором агонию отравленного Гонаседа.

Не прошло и пяти минут, как Гонасед выпил смертельное вино, налитое веселым приятелем. В тот вечер ничто в наружности Бевенера не указывало на его черный замысел. Как всегда, он непомерно хихикал, бегающие глаза его меняли тысячу раз выражение, а когда человека видишь таким постоянно, то эта нервная суетливость способна убить подозрение даже в том случае, если бы дело шло о гибели всего мира.

Бевенер убил Гонаседа за то, что он был счастливым возлюбленным певицы Ласурс. Банальность мотива не помешала Бевенеру проявить некоторую оригинальность в исполнении преступления. Он пригласил жертву в номер гостиницы, предложив Гонаседу обсудить вместе, как предупредить убийство, подготовленное одним человеком, известным и Гонаседу и Бевенеру, — убийство человека, также хорошо известного Гонаседу и Бевенеру.

Гонасед потребовал, чтобы ему назвали имена. II

— Имена эти очень опасны, — сказал Бевенер. — Опасно называть их. Ты знаешь, что здесь, в театре, кулисы имеют уши. Приходи вечером в гостиницу “Красный Глаз”, номер 12-й. Я там буду.

Гонасед был любопытен, тучен, доверчив и романтичен. В номере он застал Бевенера, попивающего вино, в отличном расположении духа, громко хихикающего, с карандашом и бумагой в руках.

— Рассказывай же, — сказал Гонасед, — кто и кого собрался убить?

— Слушай! — Они выпили стакан, второй и третий; Бевенер медлил. — Вот что… — заговорил он наконец быстро и убедительно, — сегодня идет “Отелло”, Мария Ласурс поет Дездемону, а Отелло — молодой Бардио. Ты, Гонасед, слеп. Все мы, товарищи твои по сцене, знаем, как бешено любит Бардио Марию Ласурс. Она, однако, отвергла его искания. Сегодня в последнем акте Бардио убьет на сцене Марию, убьет, понимаешь, по-настоящему!

— И ты не говорил раньше! — взревел Гонасед, вскакивая. — Идем! Скорее! Скорее!

— Напротив, — возразил Бевенер, загораживая дорогу приятелю, — идти туда нам незачем. Какие у тебя доказательства намерений Бардио? Ты нашумишь за кулисами, сорвешь спектакль, бездоказательно обвинишь Бардио, и тебя же в конце концов привлекут к суду за оскорбление и клевету?! III

— Ты прав, — сказал Гонасед, садясь. — Но каким образом известно тебе? И — что делать? Осталось час с небольшим времени скоро последний акт… Последний!..

— Как я узнал, — это пока тайна, — сказал Бевенер. — Но я знаю, что делать. Надо сделать так, чтобы Ласурс покинула театр, не допев партию. Напиши ей записку. Напиши, что ты покончил с собой.

— Как?! — изумился Гонасед. — Но какие причины?

— Причин у тебя нет, я знаю. Ты весел, здоров, знаменит и любим. Но чем же иначе вытащить Марию Ласурс? Подумай! Всякое письмо от постороннего, даже с сообщением о твоей смерти, она сочтет интригой, желанием взвалить на нее крупную неустойку. Тому бывали примеры. А кроме смерти близкого человека, что может оторвать артиста от милых его сердцу рукоплесканий, цветов и улыбок? Ты сам, собственной рукой должен вызвать Ласурс к мнимому твоему трупу.

— Но ты мне расскажешь о Бардио?

— Этой же ночью. Вот бумага и карандаш.

— Как она перепугается! — бормотал Гонасед, строча. — У нее нежное сердце.

Он написал: “Мария. Я покончил с собой. Гонасед. Улица Виктория, гостиница “Красный Глаз”. IV

Бевенер позвонил и отдал запечатанную записку слуге, сказав: “Доставьте скорей”, — а Гонасед, повеселев, улыбнулся.

— Она проклянет меня! — прошептал он.

— Она будет плакать от радости, — возразил Бевенер, бросая яд в стакан друга. — Выпьем за нашу дружбу! Да длится она!

— Но ты непременно расскажешь мне о подлеце Бардио? Бевенер, мой стакан пуст, а ты медлишь… От волнения кружится голова… да, мне, видишь, нехорошо… Ах!

Он судорожно рванул воротник рубашки, встал и повалился к ногам убийцы, скомкав ползающими руками ковер. Тело его дрожало, шея налилась кровью.

Наконец он затих, и Бевенер встал.

— Это ты, рыжая Ласурс, убила его! — сказал он в исступлении чувств. — Моя любовь к тебе так же сильна, как и покойника. Ты не захотела меня. За это Гонасед умер. Однако я мастерски отклонил подозрение.

Он дал звонок и, прогнав испуганного лакея за доктором, стал репетировать сцену изумления и отчаяния, какую требовалось разыграть при докторе и пораженной Ласурс. V

Правосудие в этом деле осталось при пиковом интересе. Подлинная записка Гонаседа к любовнице, гласящая, что певец покончил самоубийством, была неоспорима. Бевенер плакал: “Ах! — говорил он. — С тяжелым чувством шел я в эту гостиницу. Меня пригласил покойный, не объясняя зачем. Мы были так дружны… Стали пить; Гонасед был задумчив. Вдруг он попросил у меня бумагу и карандаш, написал что-то и распорядился послать записку Ласурс. Затем он сказал, что примет порошок от головной боли; высыпал в стакан, выпил и повалился замертво”.

Самые проницательные люди разводили руками, не зная, чем объяснить самоубийство

жизнерадостного, счастливого Гонаседа. Ласурс, поплакав, уехала в Австралию. Прошел год, и о печальной смерти забыли.

В январе Бевенер получил предложение от фабрики Лоудена напеть несколько граммофонных пластинок. Приняв предложение, Бевенер спел несколько арий за крупную сумму. Между прочим, он спел Мефистофеля: “На земле весь род людской” и, начав петь ее, вспомнил Гонаседа. Это была любимая ария умершего. Он ясно увидел покойного в гриме, потрясающего рукой, поющего — и странное волнение овладело им. Тело одолевала жуткая слабость, но голос не срывался, а креп и воодушевленно гремел. Кончив, Бевенер с жадностью выпил два стакана воды, торопливо попрощался и уехал. VI

Месяц спустя в квартире Бевенера собрались гости. Артисты, артистки, музыкальные критики, художники и поэты чествовали десятилетие сценической деятельности Бевенера. Хозяин, как всегда, был нервно смешлив, проворен и оживлен. Среди цветов мелькали нежные лица дам. Сиял полный свет. Приближался конец ужина, когда в столовую вошел слуга, докладывая, что явились от Лоудена.

— Вот кстати, — сказал Бевенер, бросая салфетку и выходя из-за стола. — Привезли граммофонные пластинки, которые я напел Лоудену. Я прошу дорогих гостей послушать их и сказать, удачна ли передача голоса.

Кроме пластинок, Лоуден прислал прекрасный новый граммофон, подарок артисту, и письмо, в котором уведомлял, что по болезни не мог явиться на торжество. Слуга привел аппарат в порядок, вставил иглу, и Бевенер сам, порывшись в пластинках, остановился на арии Мефистофеля. Положив пластинку на граммофон, он опустил к краю ее мембрану и, обернувшись к гостям, сказал:

— Я не совсем уверен в этой пластинке, потому что несколько волновался, когда пел. Однако послушаем. VII

Наступила тишина. Послышалось едва уловимое, мягкое шипение стали по каучуку, быстрые аккорды рояля… и стальной, гибкий баритон грянул знаменитую арию. Но это не был голос Бевенера… Ясно, со всеми оттенками живого, столь знакомого всем присутствующим произношения, пел умерший Гонасед, и взоры всех изумленно обратились на юбиляра. Ужасная бледность покрыла его лицо. Он засмеялся, но смех был нестерпимо пронзителен и фальшив, и все содрогнулись, увидев глаза хозяина. Раздались восклицания:

— Это ошибка!

— Гонасед не пел для пластинок!

— Лоуден перепутал!

— Вы слышите?! — сказал Бевенер, теряя силы по мере того, как голос убитого мрачно гнул его пораженную волю. — Слышите?! Это поет он, тот, которого я убил! Мне нет спасения; он сам явился сюда… Остановите пластинку!

Суфлер Эрис, белый, как молоко, бросился к граммофону. Руки его дрожали; подняв мембрану, он снял пластинку, но в поспешности и страхе уронил ее на паркет. Раздался сухой треск, и черный кружок рассыпался на мелкие куски.

— Мы были свидетелями неслыханного! — сказал скрипач Индиган, подымая осколок и пряча его. — Но что бы это ни было — обман чувств или явление неоткрытого закона, я сохраню на память эту частицу; ее цвет всегда будет напоминать о цвете души нашего милого хозяина, которого теперь так заботливо уводит полиция!

В полдень я получил уведомление от фирмы “Гигант”, что предложение мое принято. Жена спала. Дети ушли к соседям. Я задумчиво посмотрел на Фелицату, скорбно прислушиваясь к ее неровному дыханию, и решил, что поступаю разумно. Муж, неспособный обеспечить лекарство больной жене и молоко детям, заслуживает быть проданным и убитым.

Письмо управляющего фирмой “Гигант” было составлено весьма искусно, так, что только я мог понять его; попади оно в чужие руки, никто не догадался бы, о чем речь. Вот письмо:

“М.Г.! Мы думаем, что сумма, о которой вы говорите, удобна и вам и нам (я требовал двадцать тысяч). Приходите на улицу Чернослива, дом 211, квартира 73, в 9 часов вечера. То неизменное положение, в котором вы очутитесь, назначено с соответствующим, приятным для вас, ансамблем”.

Подписи не было.

Некоторое время я ломал голову, — каким путем очутившись в “неизменном положении”, т. е. с простреленной головой, я могу убедиться в выполнении “Гигантом” обязательства уплатить моей жене двадцать тысяч, но скоро пришел к заключению, что все выяснится на улице Чернослива. Я же, во всяком случае, не отправлюсь в Елисейские Поля без твердой гарантии.

Несмотря на решимость свою, я был все-таки охвачен вихренным предсмертным волнением. Мне не сиделось. Мне даже не следовало оставаться дома, дабы голосом и глазами не лгать жене, если она проснется. Размыслив все, я выложил на стол последние, плакавшие у меня в кармане медные монеты и написал, уходя, записку следующего содержания:

“Милая Фелицата! Так как болезнь твоя не опасна, я решил поискать работы на огородах, куда и иду. Не беспокойся. Я вернусь через неделю, не позже”.

Остаток дня я провел на бульварах, в порту и на площадях, то расхаживая, то присаживаясь на скамью, и был так расстроен, что не чувствовал голода. Я представлял отчаяние и скорбь жены, когда она наконец узнает истину, но представлял также и то материальное благополучие, в каком будут ее держать деньги “Гиганта”. В конце концов — через год, может быть, — она поймет и поблагодарит меня. Потом я перешел к вопросу о загробном существовании, но тут рядом со мной на скамейку сел человек, в котором я без труда узнал старого приятеля Бутса. Я не видел его лет пять.

— Бутс, — сказал я, — ты стал, должно быть, очень рассеян! Узнаешь меня?

— Ах! Ах! — вскричал Бутс. — Но что с тобой, Эттис? Как бледен ты, как оборван!

Я рассказал все: болезнь, потерю места, нищету, сделку с “Гигантом”.

— Да ты шутишь! — сморщившись, сказал Бутс.

— Нет. Я послал фирме письмо, сообщая, что хочу застрелиться, и предложил снять аппаратом момент самоубийства за двадцать тысяч. Они могут вставить мою смерть в какую-нибудь картину. Почему не так, Бутс? Ведь я все равно убил бы себя; жить, стиснув зубы, мне надоело.

Бутс воткнул трость в землю не меньше как на полфута. Глаза его стали бешеными.

— Ты просто дурак! — грубо сказал он. — Но эти господа из “Гиганта” не более как злодеи! Как? Хладнокровно вертеть ручку гнусного ящика перед простреленной головой? Друг мой, и так уже кинематограф становится подобием римских цирков. Я видел, как убили матадора — это тоже сняли. Я видел, как утонул актер в драме “Сирена” — это тоже сняли. Живых лошадей бросают с обрыва в пропасть — и снимают… Дай им волю, они устроят побоище, резню, начнут бегать за дуэлянтами. Нет, я тебя не пущу!

— А я хочу, чтобы мои дети всегда были обуты.

— Ну, что же! Дай мне адрес этих бездельников. Они ведь не знают твоей наружности. Я стану на твое место.

— Как! Ты умрешь?

— Это мое дело. Во всяком случае, завтра мы обедаем с тобой в “Церемониале”.

— Но… если… как-нибудь… деньги…

— Эттис?!

Я покраснел. Бутс всегда держал слово, мое недоверие страшно оскорбило его. Надувшись, он не разговаривал минуты три, потом, смягчившись, протянул руку.

— Согласен ты или нет?

— Хорошо, — сказал я, — но как ты вывернешься?

— Головой. Я не шучу, Эттис! Говори адрес. Спасибо! До свидания. Мне осталось ведь только четыре часа. Иди домой, будь спокоен и займись списком неотложных покупок.

Мы расстались. Я чувствовал себя так, как если бы доверил все свое состояние человеку, уплывшему на дырявом корабле в бурное море. Потеряв Бутса из вида, я спохватился. Как мог я согласиться на его предложение?! Его таинственные расчеты могли быть ошибочны. “Своя рука — свои деньги” — так следовало бы рассуждать мне. Через полчаса я был дома.

Жена встала с постели и плакала над моей запиской. Она не могла мне простить “работу на огородах”. Я сказал, что не нашел работы. Наконец мы помирились и задремали, обнявшись. Я уснул; во сне видел жареную рыбу и макароны с грибами. Меня разбудили громкие слова жены: “Как вкусны эти пирожки с луком!”… Бедняжка грезила тем же, что и я. Было темно. Вдруг прогремел звонок, и так решительно, как звонят почтальоны, полицейские и посыльные. Я встал и зажег огонь.

Человек в длинном клеенчатом пальто вошел и спросил:

— Не вы ли Фелицата Эттис?

— Да, я.

— Вот вам пакет.

Он поклонился и вышел так скоро, что мы не успели его спросить, в чем дело. Фелицата разорвала конверт. Сев от изумления на кровать, держала она в одной руке пачку тысячных ассигнаций, а в другой записку.

— Дорогой, — сказала она, — мне дурно… деньги… и твоя смерть… О, господи!..

Подхватив упавшую записку, я прочел:

“М.Г. Ваш муж покончил с собой на глазах своего старого знакомого, имя которого для вас безразлично. Тронутый бедственным вашим положением, прошу принять нечто от моего излишка в размере двадцати тысяч. Труп перевезен в больницу св. Ника”.

Тогда внезапная полная уверенность, что Бутс умер, сразила меня. Ничем иным, как ни старался, я не мог объяснить получение денег. Стараясь привести в чувство жену, я перебирал воображением все возможности благополучного исхода (для Бутса), но, зная его намерения, готов был заплакать и разорвать деньги. Жена очнулась.

— Что было со мной? — Ах, да… Что все это значит?

Новый звонок заставил меня броситься к двери. Я ждал Бутса. Это был он, и я судорожно повис на его шее.

Среди вопросов, возгласов, перебиваний и смеха рассказал он следующее:

— Ровно в 9 часов вечера я был у двери номера семьдесят три. Меня встретил любезный толстый старик. Я был в лохмотьях и натер глаза луком, — они казались заплаканными. Вот краткий наш разговор за чашкой прекрасного кофе.

Он. — Вы хотите умереть?

Я. — Очень хочу.

Он. — Это неприятно, но я сторонник свободной воли. Согласитесь ли вы умереть в костюме маркиза XVIII столетия?

Я. — Он, надо быть, лучше моего.

Он. — Потом еще… парик… и борода…

Я. — О, нет! Костюм безразличен мне, но лицо должно остаться моим.

Он. — Ну, ничего… я так только спросил. Напишите записку… понимаете…

Я написал: “В смерти моей прошу никого не винить. Эттис” — и отдал записку старику. Затем мы условились, что деньги будут немедленно посланы моей, то есть твоей жене. Старик поколебался, но рискнул. Он вложил деньги при мне в пакет и отослал с посыльным.

Теперь смотри, что вышло из этого. Меня провели в сад, ярко залитый электрическим светом, и посадили на стул, спиной к дереву. Перед этим я, кряхтя, напялил жеманную одежду маркиза. Съемщик с аппаратом стоял в четырех шагах от меня. Он и старик не показались мне особенно бледными, отношение их было, видимо, деловое. Старик предложил мне перед смертью — что бы ты думал? красавицу и вино; но я отказался… Теперь жалею об этом. Я торопился успокоить тебя.

Отправляясь умирать, я надел темный, лохматый парик, под которым скрыл плоскую резиновую трубку, наполненную красным вином. Конец ее, залепленный воском, приходился у правого виска. — “Прощайте, дорогой друг”, — сказал старик. — “Мишель, начинай!”, и оператор принялся вертеть ручку аппарата. Я поднял глаза вверх, и подведя дуло к виску, выпалил холостым зарядом. Вино тотчас же потекло за воротник. Я откинулся, хватая воздух руками, и проделал все гримасы агонии, какие придумал, с закрытыми глазами. Старик кричал: “Ближе, Мишель, снимай лицо!” Наконец, я добросовестно замер, свесив на грудь голову (всего метров на тридцать). — “Все-таки это страшно”! — сказал Мишель. Тогда я встал и демонстративно зевнул.

Оба они тряслись в страшном испуге, не сводя с меня пораженных взглядов. “Нечего

смотреть, — сказал я, — моему виску все-таки больно, он обожжен. Если вы поверили в мою смерть, поверит и публика”. — Я поклонился им и ушел… в костюме маркиза. Затем переоделся дома и поспешил к тебе.

— И они не упрекали тебя? — спросил я.

— Нельзя же расписаться в бесчеловечности. Моя совесть чиста! Думай так же и ты, Эттис. Я видел, как действительно застрелился один человек, и, знаешь, в этом было не много выразительности. Он просто выстрелил и просто упал, как пласт. Подражание правдивее жизни, но “Гигант” еще не дорос до такого, милый мой, понимания.

Рассказы 1908–1916 гг. печатавшиеся в периодике

Мат в три хода

Случай этот произошел в самом начале моей практики, когда я, еще никому не известный доктор, проводил приемные часы в унылом одиночестве, расхаживая по своему кабинету и двадцать раз перекладывая с места на место один и тот же предмет. В течение целого месяца я имел только двух пациентов: дворника дома, в котором я жил, и какого-то заезжего, страдавшего нервными тиками.

В тот вечер, о котором я рассказываю, произошло событие: явился новый, третий по счету пациент. Еще и теперь, закрыв глаза, я вижу его перед собой как живого. Это был человек среднего роста, лысый, с важным, слегка рассеянным взглядом, с курчавой белокурой бородкой и острым носом. Сложение его выдавало наклонность к полноте, что составляло некоторый контраст с резкими, порывистыми движениями. Заметил я также две особенности, о которых не стоило бы упоминать, если бы они не указывали на сильную степень нервного расстройства: конвульсивное подергивание век и непрерывное шевеление пальцами. Сидел он или ходил, говорил или молчал, пальцы его рук неудержимо сгибались и разгибались, как будто их спутывала невидимая вязкая паутина.

Я притворился совершенно равнодушным к его визиту, сохраняя в лице холодную, внимательную невозмутимость, которая, как мне казалось тогда, присуща всякой мало-мальски серьезной профессии. Он смутился и сел, краснея, как девушка.

— Чем вы больны? — спросил я.

— Я, доктор…

Он с усилием взглянул на меня и нахмурился, рассматривая письменные принадлежности. Через минуту я снова услышал его вялый, смущенный голос:

— Вещь, изволите видеть, такая… Очень странная… странная. Странная вещь… Можно сказать — вещь… Впрочем, вы не поверите.

Заинтересованный, я пристально посмотрел на него; он дышал медленно, с трудом, опустив глаза и, по-видимому, стараясь сосредоточиться на собственных ощущениях.

— Почему же я вам не поверю?

— Так-с. Трудно поверить, — с убеждением возразил он, вдруг подымая на меня близорукие, растерянно улыбающиеся глаза.

Я пожал плечами. Он сконфузился и тихонько кашлянул, по-видимому, приготовляясь начать свой рассказ. Левая рука его несколько раз поднималась к лицу, теребя бородку; весь он, так сказать, внутренно суетился, что-то обдумывая. Это было особенно заметно по напряженной игре лица, горевшего попеременно отчаянием и смущением. Я не торопил его, зная по опыту, что в таких случаях лучше выждать, чем понукать.

Наконец, человек этот заговорил и, заговорив, почти успокоился. Голос его звучал ровно и тихо, лицо перестало подергиваться, и только пальцы левой руки по-прежнему быстро и нервно шевелились, освобождаясь от невидимой паутины.

— Удивлять, так удивлять, — сказал он как будто с сожалением. — Вы меня только… очень прошу-с… не перебивайте… Да-а…

— Не волнуйтесь, — мягко заметил я. — Удивление же — это удел профанов.

Намекнув ему таким образом на свою предполагаемую опытность в области психиатрии, я принял непринужденную позу, то есть заложил ногу за ногу и стал постукивать карандашом по кончикам пальцев. Он замялся, вздохнул и продолжал:

— Пожалуйста, не будете ли вы так добры… если можно… каждый раз, как я руку подыму… Прошу извинить… Побеспокойтесь сказать, пожалуйста: “Лейпциг… Международный турнир-с… Мат в три хода”? А? Пожалуйста.

Не успел я еще изобразить собой огромный вопросительный знак, как снова посыпались страстные, убеждающие, тихие слова:

— Не могу-с… Верите ли? Не сплю, не ем, идиотом делаюсь… Для отвлечения от мыслей это мне нужно, вот-с! Как скажете эти слова, так и успокоюсь… Говоришь, говоришь, а она и выплывет, мысль эта самая… Боюсь я ее: вы вот извольте послушать… Должно быть, дней назад этак восемь или девять… Конечно, все думаем об этом… Тот помрет, другой… То есть — о смерти… И как оно все происходит, я вам доложу, как одно за другое цепляется — уму непостижимо… Сидел я этак у окошка, книгу читал, только читать у меня охоты большой не было, время к обеду подходило. Сижу я и смотрю… Ведь вот настроение какое бывает, — в иной момент плюнул бы, внимания не обратил… А тут мысли рассеянные, жарковато, тихий такой день, летний… Идет это, вижу, женщина с грудным младенцем, платок на ней кумачовый, красный… Потом девочка лет семи пробежала, худенькая девчонка, косичка рыжая это у ней, как свиной хвостик торчит… Позвольте-с… Вот вижу, следом гимназистка проходит, потом дама, и очень хорошо одетая, чинная дама, а за ней, изволите видеть, — старушка… Вот… понимаете?

Я с любопытством посмотрел на его руки: они быстро, мелко дрожали, расстегивая и застегивая пуговицу сюртука. В том, что он рассказывал мне, для него, по-видимому, укладывалась целая цепь каких-то пугающих умозаключений.

— Нет, не понимаю, — сказал я, — но продолжайте.

Он был сильно бледен и смотрел куда-то в сторону, за портьеру. Я ободрительно улыбнулся, он сморщился, подумал и продолжал:

— Как старушка прошла, мне и вступи в голову такая история: одной ведь теперь похоронной процессии не хватает… Отошел от окна я, а все думаю: и ты, брат, помрешь… ну, и все в этаком роде. А потом думаю: да кто мы все такие, живые, ходящие и говорящие? Не только, что трупы созревающие, вроде как яблоки на сучке, а и есть еще во всем этом какая-то

страшная простота…

Перед двумя последними словами голос его пресекся от возбуждения. Я напряженно слушал.

— Все это, — продолжал он, — аппетита моего не испортило. Пообедав, с наслаждением даже в гамаке лежал… А как подошла ночь, хоть караул кричи, — схожу с ума, да и все тут!..

Жалкая улыбка застыла на его судорожно сосредоточенном, вспотевшем лице. Вытащив носовой платок и сморкаясь, он продолжал смотреть мне в лицо тем же пристальным, остолбеневшим взглядом.

Я невольно улыбнулся: эта маленькая деталь, носовой палаток, вдруг разрушила немного жуткое впечатление, произведенное на меня странным, чего-то испугавшимся человеком. Но он стал рассказывать дальше, и скоро я снова почувствовал себя во власти острого, болезненного любопытства. Еще не зная в чем дело, я, кажется, уже готов был поверить этому человеку, оставляя под сомнением его ненормальность.

Он спрятал платок и продолжал:

— До вечера был я спокоен… Веселый даже ходил… ну, отправляясь спать, в садик вышел по обыкновению, посмотреть, папироску выкурить. Тихо, звезды горят как-то по-особенному, не мягко и ласково, а раздражают меня, тревожат…

Сижу, думаю… О чем? О вечности, смерти, тайне вселенной, пространстве… ну, обо всем, что в голову после сытного ужина и крепкого чаю лезет… Философов вспоминаю, теории разные, разговоры… И вспомнилась мне одна вещь, еще со времен детства… Тогда я сильно гордился тем, что, так сказать, собственным умом дошел. Вот как я рассуждал: бесконечное количество времени прошло, пока “я” не появился… Ну-с, умираю я, и допустим, что меня совсем не было… И вот — почему в пределах бесконечности я снова не могу появиться? Я немного сбивчиво, конечно… но пример… такой… чистый лист бумаги, скажем, вот. Беру карандаш, пишу — 10. А вот — взял и стираю совсем, начисто… И что же! Беру карандаш снова и снова “10” пишу. Понимаете — 1 и 0.

Он замолчал, перевел дух и вытер рукавом капли пота, мирно блестевшие на его измученном лысом черепе.

— Продолжайте, — сказал я, — и не останавливайтесь. В таких случаях лучше рассказать сразу, это легче.

— Да, — подхватил он, — я… и… ну, не в этом дело… Так вот. Мысли мои вертелись безостановочно, как будто вихрь их какой подхватил… И вот здесь, в первый раз, мне пришла в голову ужасная мысль, что можно узнать все, если…

— Если? — подхватил я, видя, что он вдруг остановился.

Он ответил шепотом, торжественным и удрученным:

— Если думать об этом безостановочно, не боясь смерти.

Я пожал плечами, сохраняя в лице вежливую готовность слушать далее. Пациент мой судорожно завертелся на стуле, очевидно, уколотый.

— Невероятно? — воскликнул он. — А что, если я вам такую перспективу покажу: вы, вот вы, доктор, сразу, вдруг, сидя на этом кресле, вспомните, что есть бесконечное пространство?.. Хорошо-с… Но вы ведь мыслите о нем со стенками, вы ведь стенки этому пространству мысленно ставите! И вдруг нет для вас ничего, стенок нет, вы чувствуете всем холодом

сердца вашего, что это за штука такая — пространство! Ведь миг один, да-с, а этот самый миг вас насмерть уложить может, потому что вы — не приспособлены!..

— Возможно, — сказал я. — Но я себе не могу даже и представить…

— Вот именно!.. — подхватил он с болезненным торжеством. — И я не представил, но чувствую, — и он стукнул себя кулаком в грудь, — вот здесь ношу чувство такое, что, как только подумаю об этом пристально, не отрываясь, — пойму… А поняв — умру. Вот давеча я просил вас слова “мат в три хода” крикнуть, если я руку подыму… Все это оттого, что вы мне этими самыми словами в критический момент, когда оно начнет уже подступать, — другое направление мыслям сразу дадите.

А задачу эту в три хода я выудил, когда еще журнальчик один выписывал. Я ее, голос ваш услышав, — и начну с места в карьер решать… Так вот-с… сижу я, вдруг, слышу, жена меня с крылечка зовет: “Миша!”. А я слышу, что зовет, но отвечать ей, представьте себе, не могу, — сковало мне язык, и все тут… Потом уж я догадался, в чем тут штука была: настроение у меня было в момент этот, так сказать, самое неземное, редкое даже настроение, а тут нужно о деле каком-нибудь домашнем разговаривать, пустячки разные. Молчу я. Второй раз зовет: “Миша-а! Уснул, что ли, ты?” Тут я разозлился и сказал ей, извините, вот эти самые грубые слова: “Пошла к черту!” Хорошо-с. Ушла она. И так мне грустно стало после этого, что и не расскажешь. Пойду, думаю, спать. Разделся, лег, а все не спится мне, круги разные мелькают, мухи светящиеся бегают… А сердце, надо вам сказать, у меня давно не в порядке… Вот и начало оно разные штуки выделывать… То остановится, то барабанным боем ударит, да так сильно, что воздуха не хватает… Страх меня взял, в жар бросило… Умираю, думаю себе… И как это подумал, поплыла кровать подо мной, и сам я себя не чувствую… Ну, хорошо. Прошло это, опомнился… однако спать уже не могу… Мысли разные бегут, бегут как собаки на улице, разные образы мелькают, воспоминания… Потом, вижу, девочка идет утренняя, за ней барышня, потом старуха… вся эта процессия, как живая, движется… И только, знаете, мысль моя на этой старухе остановилась, как задрожал я и закричал во весь голос: чувствую, один поворот мысли, и пойму, понимаете, — пойму и разрешу всю загвоздку смерти и жизни, как дважды два — четыре… И чувствую, что, как только пойму это, в тот же самый момент… умру… не выдержу.

Он замолчал, и показалось мне, что сама комната вздохнула, шумно и судорожно переводя дыхание. Белый, как известь, сидел передо мной испуганный человек, не сводя с моего лица стеклянных, вытаращенных глаз. И вдруг он поднял, вытянув вверх, руку, старательным, неуклюжим движением, — знак подступающего ужаса, — руку с крахмальной манжеткой и бронзированной запонкой.

И было, должно быть, в этот момент в комнате двое сумасшедших — он и я. Его паника заразила меня, я растерялся, забыв и “мат в три хода”, и то, что значила эта беспомощная, выброшенная вверх рука с желтыми пальцами. Без мыслей, с одним нестерпимо загоревшимся желанием вскочить и убежать, смотрел я в его медленно уходящие в глубь орбит глаза, — маленькие, черные пропасти, потухающие неудержимо и бесцельно…

Рука опускалась. Она лениво вогнулась сначала в кисти, потом в локте, потом в предплечье, всколыхнулась и тихо упала вниз, мягко хлопнув ладонью о сгиб колена.

Испуг возвратил мне память. Я вскочил и крикнул размеренным, твердым голосом, стараясь не показаться смешным самому себе:

— Лейпциг! Международный турнир! Мат в три хода!

Он не пошевельнулся. Мертвый, с успокоившимся лицом, залитый электрическим светом, — он продолжал неподвижно и строго смотреть в ту точку над спинкой моего кресла, где за минуту перед этим блестели мои глаза.

Состязание в Лиссе

I

Небо потемнело, авиаторы, окончив осмотр машин, на которых должны были добиваться приза, сошлись в маленьком ресторане “Бель-Ами”.

Кроме авиаторов, была в ресторане и другая публика, но так как вино само по себе есть не что иное, как прекрасный полет на месте, то особенного любопытства присутствие знаменитостей воздуха не возбуждало ни в ком, за исключением одного человека, сидевшего одиноко в стороне, но не так далеко от стола авиаторов, чтобы он не мог слышать их разговора. Казалось, он прислушивается к нему вполоборота, немного наклонив голову к блестящей компании.

Его наружность необходимо должна быть описана. В потертом, легком пальто, мягкой шляпе, с белым шарфом вокруг шеи, он имел вид незначительного корреспондента, каких много бывает в местах всяких публичных соревнований. Клок темных волос, падая из-под шляпы, темнил до переносья высокий, сильно развитый лоб; черные длинного разреза глаза имели ту особенность выражения, что, казалось, смотрели всегда вдаль, хотя бы предмет зрения был не дальше двух футов. Прямой нос опирался на небольшие темные усы, рот был как бы сведен судорогой, так плотно сжимались губы. Вертикальная складка раздваивала острый подбородок от середины рта до предела лицевого очерка, так что прядь волос, нос и эта замечательная черта вместе походили на продольный разрез физиономии. Этому — что было уже странно — соответствовало различие профилей: левый профиль являлся в мягком, почти женственном выражении, правый — сосредоточенно хмурым.

За круглым столом сидело десять пилотов, среди которых нас интересует, собственно, только один, некто Картреф, самый отважный и наглый из всей компании. Лакейская физиономия, бледный, нездоровый цвет кожи, заносчивый тон голоса, прическа хулигана, взгляд упорно-ничтожный, пестрый костюм приказчика, пальцы в перстнях и удручающий, развратный запах помады составляли Картрефа.

Он был пьян, говорил громко, оглядывался вызывающе с ревниво-независимым видом и, так сказать, играл роль, играл самого себя в картинном противоположении будням. Он хвастался машиной, опытностью, храбростью и удачливостью. Полет, разобранный по частям жалким мозгом этого человека, казался кучей хлама из бензинных бидонов, проволоки, железа и дерева, болтающегося в пространстве. Обученный движению рычагами и нажиманию кнопок, почтенный ремесленник воздуха ликовал по множеству различных причин, в числе которых не последней было тщеславие калеки, получившего костыли.

— Все полетят, рано или поздно! — кричал Картреф. — А тогда вспомнят нас и поставят нам памятник! Тебе и… мне… и тебе! Потому, что мы пионеры!

— А я видел одного человека, который заплакал! — вскричал тщедушный пилот Кальо. — Я видел его. — И он вытер слезы платком. — Как сейчас помню. Подъехал с женой человек этот к аэродрому, увидел вверху Райта и стал развязывать галстук. “Ах, что?” — сказала ему жена или дама, что с ним сидела. “Ах, мне душно! — сказал он. — Волнение в горле… — и прослезился. — Смотри, — говорит, — Мари, на величие человека. Он победил воздух!” Фонтан.

Все приосанились. Общая самодовольная улыбка потонула в пиве и усах. Помолчав, пилоты чокнулись, значительно моргнули бровями, выпили и еще выпили. Образованный авиатор, Альфонс Жиго, студент политехникума, внушительно заявил:

— Победа разума над мертвой материей, инертной и враждебной цивилизации, идет гигантскими шагами вперед.

Затем стали обсуждать призы и шансы. Присутствующие не говорили ни о себе, ни о других присутствующих, но где-то, в тени слов, произносимых хмелеющим языком, заметно таился сам говорящий, с пальцем, указывающим на себя. Один Картреф, насупившись, сказал наконец за всех это же самое.

— Побью рекорд высоты — я! — заголосил он, нетвердо махая бутылкой над неполным стаканом. — Я — есть я! Кто я? Картреф. Я ничего не боюсь.

Такое заявление мгновенно вызвало тихую ненависть. Кое-кто хмыкнул, кое-кто преувеличенно громко и радостно выразил отсутствие малейших сомнений в том, что Картреф говорит правду; некоторые внимательно, ласково посматривали на хвастуна, как бы приглашая его не стесняться и говоря: “Спасибо на добром слове”. Вдруг невидимый нож рассек призрачную близость этих людей, они стали врагами: далекая сестра вражды — смерть подошла близко к столу, и каждый увидел ее в образе стрекозообразной машины, порхающей из облаков вниз для быстрого неудовлетворительного удара о пыльное поле.

Наступило молчание. Оно длилось недолго, его отравленное острие прочно засело в душах. Настроение испортилось. Продолжался некоторое время кислый перебой голосов, твердивших различное, но без всякого воодушевления. Собутыльники вновь умолкли.

Тогда неизвестный, сидевший за столиком, неожиданно и громко сказал:

— Так вы летаете! II

Это прозвучало, как апельсин в суп. Треснул стул, так резко повернулся Картреф. За ним и другие, сообразив, из какого угла грянул насмешливый возглас, обернулись и уставились на неизвестного глазами, полными раздраженной бессмыслицы.

— Что-с? — крикнул Картреф. Он сидел так: голова на руке, локоть на столе, корпус по косой линии и ноги на отлет, в сторону. В позе было много презрения, но оно не подействовало. — Что такое там, незнакомый? Что вы хотите сказать?

— Ничего особенного, — задумчиво ответил неизвестный. — Я слышал ваш разговор, и он произвел на меня гнусное впечатление. Получив это впечатление, я постарался закрепить его теми тремя словами, которые, если не ошибаюсь, встревожили ваше профессиональное самолюбие. Успокойтесь. Мое мнение не принесет вам ни вреда, ни пользы, так как между вами и мной ничего нет общего.

Тогда, уразумев не смысл сказанного, а неотразимо презрительный тон короткой речи неизвестного человека, все авиаторы закричали:

— Черт вас побери, милостивый государь!

— Какое вам дело до того, что мы говорили между собой?

— Ваше оскорбительное замечание…

— Прошу нас оставить, вон!

— Прочь!

— Долой болтуна!

— Негодяй!

Неизвестный встал, поправил шарф и, опустив руки в карманы пальто, подошел к столу авиаторов. Зала насторожилась, глаза публики были устремлены на него; он чувствовал это, но не смутился.

— Я хочу, — заговорил неизвестный, — очень хочу хотя немного приблизить вас к полету в истинном смысле этого слова. Как хочется лететь? Как надо летать? Попробуем вызвать не пережитое ощущение. Вы, допустим, грустите в толпе, на людной площади. День ясен. Небо вздыхает с вами, и вы хотите полететь, чтобы наконец засмеяться. Тот смех, о котором я говорю, близок нежному аромату и беззвучен, как страстно беззвучна душа.

Тогда человек делает то, что задумал: слегка топнув ногой, он устремляется вверх и плывет в таинственной вышине то тихо, то быстро, как хочет, то останавливается на месте, чтобы рассмотреть внизу город, еще большой, но уже видимый в целом, — более план, чем город, и более рисунок, чем план; горизонт поднялся чашей; он все время на высоте глаз. В летящем все сдвинуто, потрясено, вихрь в теле, звон в сердце, но это не страх, не восторг, а новая чистота — нет тяжести и точек опоры. Нет страха и утомления, сердцебиение похоже на то, каким сопровождается сладостный поцелуй.

Это купание без воды, плавание без усилий, шуточное падение с высоты тысяч метров, а затем остановка над шпицем собора, недосягаемо тянувшемся к вам из недр земли, — в то время как ветер струнит в ушах, а даль огромна, как океан, вставший стеной, — эти ощущения подобны гениальному оркестру, озаряющему душу ясным волнением. Вы повернулись к земле спиной; небо легло внизу, под вами, и вы падаете к нему, замирая от чистоты, счастья и прозрачности увлекающего пространства. Но никогда не упадете на облака, они станут туманом.

Снова обернитесь к земле. Она без усилия отталкивает, взмывает вас все выше и выше. С высоты этой ваш путь свободен ночью и днем. Вы можете полететь в Австралию или Китай, опускаясь для отдыха и еды где хотите.

Хорошо лететь в сумерках над грустящим пахучим лугом, не касаясь травы, лететь тихо, как ход шагом, к недалекому лесу; над его черной громадой лежит красная половина уходящего солнца. Поднявшись выше, вы увидите весь солнечный круг, а в лесу гаснет алая ткань последних лучей.

Между тем тщательно охраняемое под крышей непрочное, безобразное сооружение, насквозь пропитанное потными испарениями мозга, сочинившими его подозрительную конструкцию, выкатывается рабочими на траву. Его крылья мертвы. Это — материя, распятая в воздухе; на нее садится человек с мыслями о бензине, треске винта, прочности гаек и проволоки и, еще не взлетев, думает, что упал. Перед ним целая кухня, в которой, на уже упомянутом бензине, готовится жаркое из пространства и неба. На глазах очки, на ушах — клапаны; в руках железные палки и — вот — в клетке из проволоки, с холщовой крышей над головой, подымается с разбега в пятнадцать сажен птичка божия, ощупывая бока.

О чем же думает славное порхающее создание, держащееся на воздухе в силу не иных причин, чем те, благодаря которым брошенный камень описывает дугу? Отрицание полета скрыто уже в самой скорости, — бешеной скорости движения; лететь тихо, значит упасть.

Да, так о чем думает? О деньгах, о том, что разобьется и сгинет. И множество всякой дряни вертится в его голове, — технических папильоток, за которыми не видно прически. Где сесть, где опуститься? Ах, страшно улетать далеко от удобной площади. Невозможно опуститься на крышу, телеграфную проволоку или вершину скалы. Летящего тянет назад, летящий спускается — спускается на землю с виноватым лицом, потому что остался жив, меж тем зрители уходят разочарованные, мечтая о катастрофе.

Поэтому вы не летали и летать никогда не будете. Знамение вороны, лениво пересекающей,

махая крыльями, ваш судорожный бензиновый путь в синей стране, должно быть отчеканено на медалях и роздано вам на добрую память.

— Не хотите ли рюмочку коньяку? — сказал буфетчик, расположившийся к неизвестному. — Вот она, я налил.

Незнакомец, поблагодарив, выпил коньяк.

Его слова опередили туго закипавшую злобу летчиков. Наконец, некоторые ударили по столу кулаками, некоторые вскочили, опрокинув бутылки. Картреф, грозно согнувшись, комкая салфетки и пугая глазами, подступил к неизвестному.

— Долго вы будете еще мешать нам? — закричал он. — Дурацкая публика, критики, черт вас возьми! А вы летали? Знаете ли вы хоть одну систему? Умеете сделать короткий спуск? Смыслите что-нибудь в авиации? Нет? Так пошел к черту и не мешай!

Незнакомец, улыбаясь, рассматривал взбешенное лицо Картрефа, затем взглянул на свои часы.

— Да, мне пора, — сказал он спокойно, как дома. — Прощайте, или, вернее, до свидания; завтра я навещу вас, Картреф.

Он расплатился и вышел. Когда за ним хлопнула дверь, с гулкой лестницы не донеслось шума шагов, и летчику показалось, что нахал встал за дверью подслушивать. Он распахнул ее, но никого не увидел и вернулся к столу. III

“Воздух хорош”, — подумал Картреф на другой день, когда, описав круг над аэродромом, рассмотрел внизу солнечную пестроту трибун, полных зрителей. Его соперники гудели слева и справа; почти одновременно поднялось семь аэропланов. Смотря по тому, какое положение принимали они в воздухе, очерк их напоминал ящик, конверт или распущенный зонтик. Казалось, что все они направляются в одну сторону, между тем летели в другую. Моторы гудели, вдали — как толстые струны или поющие волчки, вблизи — треском парусины, разрываемой над ухом. Стоял шум, как на фабрике. Внизу, у гаражей, двигались по зелени травы фигурки, словно вырезанные из белой бумаги; то выводили другие аэропланы. Играл духовой оркестр.

Картреф поднялся на высоту тысячи метров. Сильный ветер трепал его по лицу, бурное дыхание болезненно напрягало грудь, в ушах шумело. Земной пейзаж казался отсюда качающейся круглой площадью, усеянной пятнами и линиями; аэроплан как бы стоял на месте, в то время, как пространство и воздух неслись мимо, навстречу. Облака были так же далеки, как и с земли.

Вдруг он увидел фигуру, относительно которой не мог ни думать ничего, ни соображать, ни рассмеяться, ни ужаснуться — так небывало, вне всего земного, понятного и возможного воспрянула она слева, как бы мгновенно сотворенная воздухом. Это был неизвестный человек, вызвавший вчера вечером гнев пилота. Он несся в позе лежащего на боку, подперев рукой голову; новое, прекрасное и жуткое лицо увидел Картреф. Оно блестело, иначе нельзя назвать гармонию странного воодушевления, пылавшего в чертах этого человека. Напряженное сияние глаз напоминало глаза птиц во время полета. Он был без шляпы, в обычном, средней руки костюме; его галстук, выбившись из-под жилета, бился о пуговицы. Но Картреф не видел его одежды. Так, встретив женщину, сразу поражающую огнем своей красоты, мы замечаем ее платье, но не видим его.

Картреф ничего не понял. Его душа, пораженная чувством, которое мы не можем представить, метнулась прочь; он повиновался ей, круто нажав руль, чтобы свернуть в сторону. Неизвестный, описав полукруг, мчался опять рядом. Мысль, что это галлюцинация,

слабо шевельнулась у Картрефа; желая оживить ее, он закричал:

— Не надо. Не хочу. Бред.

— Нет, не бред, — сказал неизвестный. Он тоже кричал, но его слова были спокойны. — Восемь лет назад я посмотрел вверх и поверил, что могу летать, как хочу. С тех пор меня двигает в воздухе простое желание. Я подолгу оставался среди облаков и видел, как формируются капли дождя. Я знаю тайну образования шаровидной молнии. Художественный узор снежинок складывался на моих глазах из вздрагивающей сырости. Я опускался в пропасти, полные гниющих костей и золота, брошенного несчастьем с узких проходов. Я знаю все неизвестные острова и земли, я ем и сплю в воздухе, как в комнате.

Картреф молчал. В его груди росла тяжелая судорога. Воздух душил его. Неизвестный изменил положение. Он выпрямился и встал над Картрефом, немного впереди летчика, лицом к нему. Его волосы сбились по прямой линии впереди лица.

Ужас — то есть полная смерть сознания в живом теле — овладел Картрефом. Он нажал руль глубины, желая спуститься, но сделал это бессознательно, в направлении, противоположном желанию, и понял, что погибает. Аэроплан круто взлетел вверх. Затем последовал ряд неверных усилий, и машина, утратив воздушный рельс, раскачиваясь и перевертываясь, как брошенная игральная карта, понеслась вниз.

Картреф видел то небо, то всплывающую из глубины землю. То под ним, то сверху распластывались крылья падающего аэроплана. Сердце летчика задрожало, спутало удары к окаменело в невыносимой боли. Но несколько мгновений он слышал еще музыку, ставшую теперь ясной, словно она пела в ушах. Веселый перелив флейт, стон барабана, медный крик труб и несколько отдельных слов, кем-то сказанных на земле тоном взволнованного замечания, были последним восприятием летчика. Машина рванула землю и впилась в пыль грудой дымного хлама.

Неизвестный, перелетев залив, опустился в лесу и, не торопясь, отправился в город.

Игрушки

В одном из пограничных французских городков, занятом немцами, жил некто Альваж, человек с темным прошлым, не в худом смысле этого слова, а в таком, что никто не знал о его жизни решительно ничего.

Альваж был усталый человек. Действительность смертельно надоела ему. Он жил очень уединенно, скрытно; единственным счастьем его жизни были игрушки, которыми Альваж заменил сложную и тягостную действительность. У него были великолепные картонные фермы с коровками и колодцами; целые городки, крепостцы, пушки, стреляющие горохом, деревянные солдатики, кавалеристы, кораблики и пароходы. Альваж часто устраивал меж двумя игрушечными армиями примерные сражения, расставляя армии на двух ломберных столах в разных концах комнаты и стреляя из пушечек моченым горохом. У Альважа был партнер в этом безобидном занятии — глухонемой парень Симония; но Симония был недавно расстрелян пруссаками, и старик развлекался один.

Пруссаки, как сказано, заняли город. На пятый день оккупации капитан Пупенсон отправился вечером в ратушу, или мэрию, руководить расстрелом тридцати французов, взятых заложниками.

Путь Пупенсона лежал мимо дома Альважа. Весьма удивленный тем, что, несмотря на запрещение, в окне бокового фасада горит послевосьмичасовой огонь, Пупенсон перелез палисад, подкрался к окну и заглянул внутрь. Он увидел диковинную картину: тщедушный старик в ночном колпаке и халате заряжал вершковую пушечку, приговаривая: — “Всех разнесу, постой!” И горошина с треском положила несколько березовых рядовых, упавших навытяжку, руки по швам.

Пупенсон, гремя саблей, полез в окно. Альваж не испугался, он ждал, что дальше.

— Вы что делаете? — сказал Пупенсон. — Что вы, ребенок, что ли?

— Как хотите! — возразил Альваж. — Вам нравится ваша игра, мне — моя. Моя лучше. Не хотите ли сыграть партию?

Пупенсон, пожимая плечами и улыбаясь, рассматривал армии, составленные вполне правильно, со всеми комплектами артиллерии, обозов, кавалерии и саперии. Игрушки делал сам Альваж.

— Ну, ну! — снисходительно сказал Пупенсон, вертя в руках пушечку. — Как она действует? Так, что ли?!.

Велика притягательность новизны и оригинальности!

Прошел час, другой… В комнате сидели двое: увлеченный, разгорячившийся Пупенсон и торжествующий Альваж; он, как более наметавший руку, беспрерывно поражал армию Пупенсона, прежде, чем тот успевал подстрелить у него десяток-другой. Горох, подскакивая, неистово прыгал по полу и столам.

Наконец Пупенсон вспомнил о деле и с сожалением покинул Альважа с его любопытными армиями. Но он опоздал — полчаса назад расстрел заложников был отменен (ибо пригрозили в соседнем городе расстрелять немецких заложников). А не опоздай он — все было бы кончено для тридцати человек раньше, чем пришла бы отмена казни.

Отличные игрушки старика Альважа следовало бы завести всем воинственно настроенным людям.

Ночью и днем

I

В восьмом часу вечера, на закате лесного солнца, часовой Мур сменил часового Лида на том самом посту, откуда не возвращались. Лид стоял до восьми и был поэтому сравнительно беспечен; все же, когда Мур стал на его место, Лид молча перекрестился. Перекрестился и Мур: гибельные часы — восемь — двенадцать — падали на него.

— Слышал ты что-нибудь? — спросил он.

— Не видел ничего и не слышал. Здесь очень страшно, Мур, у этого сказочного ручья.

— Почему?

Лид подумал и заявил:

— Очень тихо.

Действительно, в мягкой тишине зарослей, прорезанных светлым, бесшумно торопливым

ручьем, таилась неуловимая вкрадчивость, баюкающая ласка опасности, прикинувшейся безмятежным голубым вечером, лесом и прозрачной водой.

— Смотри в оба! — сказал Лид и крепко сжал руку Мура.

Мур остался один. Место, где он стоял, было треугольной лесной площадкой, одна сторона которой примыкала к каменному срыву ручья. Мур подошел к воде, думая, что Лид прав: характер сказочности ярко и пышно являлся здесь, в диком углу, созданном как бы всецело для гномов и оборотней. Ручей не был широк, но стремителен; подмыв берега, вырыл он в них над хрустальным течением угрюмые, падающие черной тенью навесы; желтые как золото, и зеленые, в водорослях, крупные камни загромождали дно; раскидистая листва леса высилась над водой пышным теневым сводом, а внизу, грубым хаосом бороздя воду, путались гигантские корни; стволы, с видом таинственных великанов-оборотней, отходя ряд за рядом в тишину диких сумерек, таяли, становясь мраком, жуткой нелюдимостью и молчанием. Тысячи отражений задремавшего света в ручье и над ним создали блестящую розовую точку, сиявшую на камне у берега; Мур пристально смотрел на нее, пока она не исчезла.

— Проклятое место! — сказал Мур, пытливо осматривая лужайку, словно трава, утоптанная его предшественниками, могла указать невидимую опасность, шепнуть предостережение, осенить ум внезапной догадкой. — Сигби, Гок и Бильдер стояли тут, как стою я. Тревожно разгуливал огромный Бирон, разминая воловьи плечи; Гешан, пощипывая усики, рассматривал красивыми, бараньими глазами каждый сучок, пень, ствол… Тех нет. Может быть, ждет и меня то же… Что то же?

Но он, как и весь отряд капитана Чербеля, не знал этого. В графе расхода солдат среди умерших от укусов змей, лихорадки или добровольного желания скрыться в таинственное ничто, что было не редкость в летописях ужасного похода, среди убитых и раненых Чербель отметил пятерых “без вести пропавших”. Разные предположения высказывались отрядом. Простейшее, наиболее вероятное объяснение нашел Чербель: — “Я подозреваю, — сказал он, — очень умного, терпеливого и ловкого дикаря, нападающего неожиданно и бесшумно”.

Никто не возразил капитану, но тревога воображения настойчиво искала других версий, с которыми возможно связать бесследность убийств и доказанное разведчиками отсутствие вблизи неприятеля. Некоторое время Мур думал обо всем этом, затем соответственно настроенный ум его, рискуя впасть в суеверие, стал рисовать кошмарные сцены тайных исчезновений, без удержа мчась дорогой больного страха к обрывам фантазии. Ему мерещились белые перерезанные шеи; трупы на дне ручья; длинные, как у тени в закате, волосатые руки, тянущиеся из-за стволов к затылку цепенеющего солдата; западни, волчьи ямы; он слышал струнный полет стрелы, отравленной молочайниками или ядом паука сса, похожего на абажурный каркас. Хоровод лиц, мучимых страхом, кружился в его глазах. Он осмотрел ружье. Строгая сталь затвора, кинжальный штык, четырехфунтовый приклад и тридцать патронов уничтожили впечатление беззащитности; смелее взглянув кругом, Мур двинулся по лужайке, рассматривая опушку.

Тем временем угас воздушный ток света, падавший из пылающих в вечерней синеве облаков, и деревья медленно запахнули на только что перед тем озаренной стороне прозрачные плащи сумерек. От теней, рушивших искристые просветы листвы, от засыпающего ручья и задумчивости спокойного неба повеяло холодной угрозой, тяжелой, как взгляд исподлобья, пойманный обернувшимся человеком. Мур, ощупывая штыком кусты, вышел к ручью. Пытливо посмотрел он вниз и вверх по течению, затем обратился к себе, уговаривая Мура не поддаваться страху и, что бы ни произошло, твердо владеть собою.

Солнце закатилось совсем, унося тени, наполнявшие лес. Временно, пока сумерки не перешли в мрак, стало как бы просторнее и чище в бессолнечной чаще. Взгляд проникал

свободнее за пределы опушки, где было тихо, как в склепе, безлюдно и мрачно. Язык страха еще не шептал Муру бессвязных слов, заставляющих томиться и холодеть, но вслушивался и смотрел он подобно зверю, вышедшему к опасным местам, владениям человека.

Мрак наступал, отходя перед судорожным напряжением глаз Мура, и снова наваливался, когда, бессильный одолеть невольные слезы, заволакивающие зрачки, солдат протирал глаза. Наконец одолел мрак. Мур видел свои руки, ружье, но ничего более. Волнуясь, принялся он ходить взад и вперед, сжимая потными руками ружье. Шаги его были почти бесшумны, за исключением одного, когда под упором ноги треснул сучок; резкий в звонкой тишине звук этот приковал Мура к месту. Шум сердца оцепенил его; отчаянный дикий страх ударил по задрожавшим ногам тяжкой как удушье внезапной слабостью. Он присел, затем лег, прополз несколько футов и замер. Это продолжалось недолго; отдышавшись, часовой встал. Но он был уже во власти страха и покорен ему.

Главное, над чем работало теперь его пылающее воображение — было пространство сзади его. Оно не могло исчезнуть. Как бы часто ни поворачивался он, — всегда за его спиной оставалась недосягаемая зрению, предательская пустота мрака. У него не было глаз на затылке для борьбы с этим. Сзади было везде, как везде было спереди для существа, имеющего одно лицо и одну спину. За спиной была смерть. Когда он шел, ему казалось, что некто догоняет его; останавливаясь — томился ожиданием таинственного удара. Густой запах леса кружил голову. Наконец Муру представилось, что он умер, спит или бредит. Внезапное искушение поразило его: уйти от пытки, бежать сломя голову до изнурения, раздвинуть пределы мрака, отдаляя убегающей спиной страшное место.

Он уже глубоко вздохнул, обдумывая шаг, подсказанный трусостью, как вдруг заметил, что поредевший мрак резко очертил тени стволов, и ручей сверкнул у обрыва, и все кругом ожило в ясном ночном блеске. Поднималась луна. Лунное утро высветило зелень пахучих сводов уложив черные ряды теней, в мерцающем неподвижном воздухе под голубым небом царствовало холодное томление света. Невесомый, призрачный лёд! II

Тщательно осмотрев еще раз опушку и берег ручья, Мур несколько успокоился.

В неподвижности леса, насколько хватал глаз, отсутствовало подозрительное; думая, что на озаренной луной поляне никто не осмелится совершить нападение, Мур благодарно улыбнулся ночному солнцу и стал посреди лужайки, поворачиваясь время от времени во все стороны. Так стоял он минуту, две, три, затем услышал явственный, шумный вздох, раздавшийся невдалеке сзади него, похолодел и отскочил с ружьем наготове к ручью.

“Вот оно, вот, вот!..” — подумал солдат. Кровавые видения ожили в потрясенном рассудке. Тяжкое ожидание ужаса изнурило Мура; мертвея, обратил он мутные от страха глаза в том направлении, откуда прилетел вздох, — как вдруг совсем близко кто-то назвал его по имени, трижды. “Мур! Мур! Мур!..”

Часовой взвел курок, целясь по голосу. Он не владел собой. Голос был тих и вкрадчив. Смутно знакомый тон его мог быть ошибкой слуха.

— Кто тут? — спросил Мур почти беззвучно, одним дыханием. — Не подходите никто, я буду убивать, убивать всех!

Он плохо сознавал, что говорит. Одна из лунных теней передвинулась за кустами, растаяла и появилась опять, ближе. Мур опустил ружье, но не курок, хотя перед ним стоял лейтенант Рен.

— Это я, — сказал он. — Не шевелись. Тише.

Обыкновенное полное лицо Рена казалось при свете луны загадочным и лукавым. Ярко

блестели зубы, серебрились усы, тень козырька падала на искры зрачков, вспыхивающих, как у рыси. Он подходил к Муру, и часовой, бледнея, отступал, наводя ружье. Он молча смотрел на Рена. “Зачем пришел?” — думал солдат. Дикая, нелепая сумасшедшая мысль бросилась в его больное сознание: “Рен убийца, он, он, он убивает!”

— Не подходите, — сказал солдат, — я уложу вас!

— Что?!

— Без всяких шуток! Сказал — убью!

— Мур, ты с ума сошел?!

— Не знаю. Не подходите.

Рен остановился. Он подвергался опасности вполне естественной в таком исключительном положении и сознавал это.

— Не бойся, — произнес он, отступая к лесу. — Я пришел к тебе на помощь, дурак. Я хочу выяснить все. Я буду здесь, за кустами.

— Мне страшно, — сказал Мур, глотая слезы ужаса, — я боюсь, боюсь вас, боюсь всего. Это вы убиваете часовых!

— Нет!

— Вы!

— Да нет же!!

Страшен как кошмар был этот нелепый спор офицера с обезумевшим солдатом. Они стояли друг против друга, один с револьвером, другой с неистово пляшущим у плеча ружьем. Первый опомнился лейтенант.

— Вот револьвер! — Он бросил оружие к ногам Мура. — Подыми его. Я безоружен.

Часовой, исподлобья следя за Реном, поднял оружие. Припадок паники ослабел; Мур стал спокойнее и доверчивее.

— Я устал, — жалобно произнес он, — я страшно устал. Простите меня.

— Поди окуни голову в ручей. — Рен тоном приказания повторил совет, и солдат повиновался. Надежда на помощь Рена и ледяная вода освежили его. Без шапки, с мокрыми волосами вернулся он на лужайку, ожидая, что будет дальше.

— Может быть, мы умрем оба, — сказал Рен, — и ты должен быть готов к этому. Теперь одиннадцать. — Он посмотрел на часы. — Торопясь, я чуть не задохся в этих трудно проходимых местах, но сила моя при мне, и я надеюсь на все лучшее. Стой или ходи, как прежде. Я буду неподалеку. Доверься судьбе, Мур.

Он не договорил, ощупал, будучи запасливым человеком, второй, карманный револьвер и скрылся среди деревьев. III

Рен удобно поместился в кустах, скрывавших его, но сам отлично мог видеть поляну, берег ручья и Мура, шагавшего по всем направлениям. Лейтенант думал о своем плане уничтожения таинственной смерти. План требовал выдержки; опаснейшей частью его была необходимость допустить нападение, что в случае промедления угрожало часовому быстрым переселением на небо. Трудность задачи усиливалась смутной догадкой Рена — одной из

тех навязчивых темных мыслей, что делают одержимого ими яростным маньяком. Когда Рен пробовал допустить бесповоротную истинность этой догадки, или, вернее, предположения, его тошнило от ужаса; надеясь, что ошибется, он предоставил наконец событиям решить тайну леса и замер в позе охотника, подкарауливающего чуткую дичь.

Кусты, где засел Рен, расположенные кольцом, образовали нечто, похожее на колодец. Неподвижная тень Рена пересекала его. Думая, что, вытянув затекшую ногу, он сам изменил этим очертания тени, Рен в следующее мгновение установил кое-что поразительное: тень его заметно перемещалась справа налево. Она как бы жила самостоятельно, вне воли Рена. Он не обернулся. Малейшее движение могло его выдать, наказав смертью. Ужас подвигался к нему. В мучительном ожидании неведомого пристально следил Рен за игрой тени, ставшей теперь вдвое длиннее: это была тень-оборотень, потерявшая всякое подобие Рена — оригинала. Вскоре у нее стало три руки и две головы, она медленно раздвоилась, и та, что была выше — тень тени, — исчезла в кустарнике, освободив черное неподвижное отражение Рена, сидевшего без дыхания.

Как ни прислушивался он к тому, что делалось позади его, даже малейший звук за время метаморфозы с тенью не был схвачен тяжким напряжением слуха; за его спиной, смешав своей фигурой две тени, стоял, а затем прошел некто, и некто этот двигался идеально бесшумно. Он был видимым воплощением страха, лишенного тела и тяжести. Броситься в погоню за неизвестным Рен считал непростительной нервностью. Он видел и осязал душою быстрое приближение неизвестной развязки, но берег силу самообладания к решительному моменту.

В это время часовой Мур стоял неподалеку от огромного тамаринда, лицом к Рену. С неожиданной быстротой густые ветви дерева позади Мура пришли в неописуемое волнение, отделив прыгнувшего вниз человека. Он падал с вытянутыми для хватки руками. Колени его ударили по плечам Мура; в то же мгновение падающий от толчка часовой вскрикнул и выпустил ружье, а железные пальцы душили Мура, торопясь убийством, умело и быстро скручивая посиневшую шею.

Рен выбежал из засады. Мутные глаза нападающего обратились к нему. Придерживая одной рукой бьющегося в судорогах солдата, протянул он другую к Рену, защищая лицо. Рен ударил его по голове дулом револьвера. Тогда, бросив первую жертву, убийца кинулся на вторую, пытаясь свалить противника, и выказал в этой борьбе всю ловкость свирепости и отчаяния.

Некоторое время, резко и тяжело дыша, ходили они вокруг оглушенного часового, сжимая друг другу плечи. Вскоре противнику лейтенанта удалось схватить его за ногу и спину, лишив равновесия, при этом он укусил Рена за кисть руки. В его лице не было ничего человеческого, оно сияло убийством. Мускулы жестких рук трепетали от напряжения. Время от времени он повторял странные, дикие слова, похожие на крик птицы. Рен ударил его в солнечное сплетение. Страшное лицо помертвело; закрылись глаза, ослабев, метнулись назад руки, и некто упал без сознания.

Рен молча смотрел на его лицо, осунувшееся от боли и бешенства. Но не это изменяло и как бы преображало его, — среди породистых, резких черт выступали иные, разрушающие для пристального взгляда прежнее выражение этого страшного, как маска, лица. Оно казалось опухшим и грубым. Рен связал руки противника тонким ремнем и поспешил к Муру.

Часовой хрипло стонал, растирая шею. Он лежал на своем ружье Рен зачерпнул каской воды, напоил солдата, и тот слегка ожил. Усталое лицо Рена показалось ему небесным видением. Он понял, что жив, и, схватив руку лейтенанта, поцеловал ее.

— Глупости! — пробормотал Рен. — Я тоже обязан тебе тем, что…

— Вы убили его?

— Убил? Гм… да, почти…

Рен стоял над головой Мура, скрывая от него человека, лежавшего со связанными руками. Часовой сел, держась за голову. Рен поднял ружье.

— Мур, — сказал он, — в состоянии ты точно понять меня?

— Да, лейтенант.

— Встань и уходи в заросли, не оборачиваясь. Там ты подождешь моего свистка. Но боже сохрани обернуться, — слышишь, Мур? Иначе я пристрелю тебя. Итак, ты меня пока не видишь. Иди!

Для шуток не было места. Часовой сознавал это, но не понимал ничего. Неуверенные движения Мура выказывали колебание. Рен увидел четверть его профиля и щелкнул курком.

— Еще одно движение головы, и я стреляю! — Он с силой толкнул Мура к лесу. — Ну! Ружье остается на лужайке до твоего возвращения. Жди смены. Помни, что я не приходил, и подожди рассказывать до утра.

Мур, пошатываясь, исчез в лунном лесном провале. Рен поднял связанного и прошел с ним в чащу на расстояние, недоступное слуху. Сложив ношу, он занялся пленником. Связанный лежал трупом.

— Удар был хорош, — сказал Рен, — но чересчур добросовестен.

Он стал растирать поверженному сердце, и тот, болезненно дергаясь, вскоре открыл глаза. Блуждая, остановились они на Рене, вначале с недоумением, затем с ненавистью и горделивым унынием. Он изогнулся, приподнялся, пытаясь освободить руки, и, поняв, что это бесполезно, опустил голову.

Рен сидел против него на корточках. Он боялся заговорить, звук голоса отнял бы всякую надежду на то, что происходящее — сон, призрак или, на худой конец — больной бред. Наконец, он решился.

— Капитан Чербель, — сказал Рен, — происшествия сегодняшней ночи невероятны. Объясните их.

Связанный поднял голову. Любопытство и подозрительность блеснули в его подвижном лице. Он не понимал Рена. Мысль, что над ним смеются, привела его в бешенство. Он вскочил, усиливаясь разорвать путы, тотчас вскочил и Рен.

— Собака-солдат! — заговорил Чербель, но смолк, чувствуя слабость — результат бокса, — и прислонился спиной к дереву. Отдышавшись, он снова заговорил: — Называйте Чербелем того, кто привел вас с вашими ружьями в эти леса. Мы вас не звали. Повинуясь жадности, которая у вас, белых, в крови, пришли вы отнять у бедных дикарей все. Наши деревни сожжены, наши отцы и братья гниют в болотах, пробитые пулями; женщины изнурены постоянными переходами и болеют. Вы преследуете нас. За что? Разве в ваших владениях мало полей, зверя, рыбы и дерева? Вы спугиваете нашу дичь; олени и лисицы бегут на север, где воздух свободен от вашего запаха. Вы жжете леса, как дети играя пожарами, воруете наш хлеб, скот, траву, топчете посевы. Уходите или будете истреблены все. Я вождь племени Роддо — Бану-Скап, знаю, что говорю. Вам не перехитрить нас. Мы — лес, из-за каждого дерева которого подкарауливает вас гибель.

— Чербель! — с ужасом вскричал Рен. — Я ждал этого, но не верил до последней минуты. Кто же вы?

Капитан презрительно замолчал. Теперь он ясно видел, что над ним издеваются. Он сел к подножию ствола, твердо решив молчать и ждать смерти.

— Чербель! — тихо позвал Рен. — Вернитесь к себе.

Пленник молчал. Лейтенант сел против него, не выпуская револьвера. Мысли его мешались. Состояние его граничило с исступлением.

— Вы убили пять человек, — сказал Рен, не ожидая, впрочем, ответа, — где они?

Капитан медленно улыбнулся.

— Им хорошо на деревьях, — жестко проговорил он, — я их развесил на том берегу ручья, ближе к вершинам.

Это было сказано резким, деловым тоном. Теперь замолчал Рен. Он боялся узнать подробности, страшась голоса Чербеля. Капитан сидел неподвижно, закрыв глаза. Рен легонько толкнул его; человек не пошевелился; по-видимому, он был в забытьи. Крупный пот выступил на его висках, он коротко дышал и был бледен, как свет луны, косившейся сквозь листву. IV

Рен думал о многом. Поразительная действительность оглушила его. Он тщательно осмотрел свои руки, тело, с новым к ним любопытством, как бы неуверенный в том, что тело это его, Рена, с его вечной, неизменной душой, не знающей колебаний и двойственности. Он был в лесу, полном беззвучного шепота, зовущего красться, прятаться, подслушивать и таиться, ступать бесшумно, подстерегать и губить. Он исполнился странным недоверием к себе, допуская с легким замиранием сердца, что нет ничего удивительного в том, если ему в следующий момент захочется понестись с диким криком в сонную глушь, бить кулаками деревья, размахивать дубиной, выть и плясать. Тысячелетия просыпались в нем. Он ясно представил это и испугался. Впечатлительность его обострилась. Ему чудилось, что в лунных сумерках качаются высоко подвешенные трупы, кустарник шевелится, скрывая убийц, и стволы меняют места, придвигаясь к нему. Чтобы успокоиться, Рен приложил дуло к виску; холодная сталь, нащупав бьющуюся толчками жилу, вернула ему твердость сознания. Теперь он просто сидел и ждал, когда Чербель очнется, чтобы убить его.

Луна скрылась; близился теплый рассвет. Первый луч солнца разбудил Чербеля, розовое от солнца, сильно осунувшееся лицо его внимательно смотрело на Рена.

— Рен, что случилось? — тревожно сказал он. — Почему я здесь? И вы? Проклятие! Я связан?! Кой черт!..

— Это сон, Чербель, — грустно сказал Рен, — это сон, да, не более. Сейчас я развяжу вас.

Он быстро освободил капитана и положил ему на плечо руку.

“Так, — подумал он, — значит, Бану-Скап уходит с рассветом. Но с рассветом… уйдет и Чербель”.

— Капитан, — сказал Рен, — вы верите мне?

— Да.

— Тогда не торопитесь узнать правду и ответьте на три вопроса. Когда вы легли спать?

— В одиннадцать вечера. Рен, вы в полном рассудке?

— Вполне. Какой вы видели сон?

— Сон? — Чербель пытливо посмотрел на Рена. — Имеет это отношение к данному случаю?

— Может быть…

— Один и тот же сон снится мне подряд несколько дней, — с неудовольствием сказал Чербель, — я думаю, под влиянием событий на посту Каменного Ручья. Я вижу, что выхожу из лагеря и убиваю часовых… да, я душу их…

Темный отголосок действительности на одно страшное и короткое мгновение заставил его вздрогнуть, он побледнел и рассердился.

— Третий вопрос: смерти боитесь? Потому что это не сон, Чербель. Я схватил вас в тот миг, когда вы душили Мура. Да, — две души. Но вы, Чербель, не могли знать это. Я не оставлю вас долго во власти воистину дьявольского открытия; оно может свести с ума.

— Рен, — сказал капитан, замахиваясь, — моя пощечина пахнет кровью, и вы…

Он не договорил. Рен схватил Чербеля за руку и выстрелил.

— Так лучше, пожалуй, — сказал он, смотря на мертвого: — он умер, чувствуя себя Чербелем. Иное “я” потрясло бы его. Майор Кастро и я закопаем его где-нибудь вечером. Никому более нельзя знать об этом.

Он вышел к ручью и увидел бойкого нового часового — Риделя.

— Опусти ружье, все благополучно, — сказал Рен. — Гулял я, стрелял по козуле, да неудачно.

— Умирать побежала! — весело ответил солдат.

— Кажется, теперь, — сказал сам себе, удаляясь, Рен, — я точно знаю, почему лагерные часовые видели Чербеля ночью. О боже, и с одной душой тяжело человеку!

Ужасное зрение

Слепой шел, ощупывая дорогу палкой и по временам останавливаясь, чтобы прислушаться к отдаленной пальбе. Удар за ударом, а иногда и по два и по три вместе, колыхались пушечные взрывы над линией перелесков и желтых полей, обвеянных голубыми тонами полудня, склоняющегося к вечеру. Слепого звали Акинф Крылицкий. Он ослеп давно и случайно; ослеп так:

Мальчиком пас он коров во время грозы; думая укрыться от дождя, Акинф подошел к большому осокорю, но в этот момент молния разрушила дерево и оглушила Крылицкого, он упал без сознания, а когда встал, то ничего не увидел, он был поражен нервной слепотой.

Теперь Акинфу было сорок лет, и он часто смертельно тосковал о потерянном зрении, впечатления которого почти стерлись в его памяти за такой долгий промежуток времени. Он шел в данный момент к своей деревне пешком из уездного города, за двадцать верст. Он не нуждался в поводыре, так как дорога была знакома и не разветвлялась. Он шел и размышлял — оказалась ли уже его деревня в районе военных действий, или еще нет. Акинф пробыл в городе четыре дня, побираясь; а жил он в деревне у брата.

Никто не попадался слепому по дороге, и это немало удивляло его; обыкновенно здесь

проезжали возы и шли пешеходы.

Наконец, определив усталостью, что скоро он должен подойти к деревне, слепой почувствовал запах гари. Таким запахом, остывшим и, так сказать, холодным, пахнут обыкновенно старые лесные горные пустоши. Акинф, встревожившись, прибавил шагу. Ему сильно хотелось увидеть деревню, она, конечно, ничуть не изменилась с тех пор, когда он видел ее мальчиком, разве что старые избы сменились новыми и тоже, в свою очередь, состарились. Гарью запахло сильнее.

“Не пожар ли? — подумал Акинф. — Не мы ли горим с братом, матка бозка?!”

Кругом было очень тихо, только вдали тявкали выстрелы орудий, и сердце у Акинфа сжалось. Тем временем спускался он по ложбинке к мостику над узким, глубоким оврагом. Привычной ногой ступил Акинф на воображаемое начало мостика и, задохнувшись от неожиданности, — полетел вниз, с высоты трех саженей, на глинистое дно оврага. Мостик был разрушен шальным снарядом, и Акинф, конечно, не знал этого.

Когда он очнулся, все тело его ныло и ломило от удара о землю. Руки и ноги были целы, в усах и разбитой губе запеклась кровь. Но не это обратило на себя его внимание: с удивлением и испугом, с сильным сердцебиением заметил он, что прежний черный мрак сменился туманным и красноватым. Тут же он увидел свои руки и понял, что зрение вернулось к нему. Оно вернулось от нового сильного нервного потрясения в момент падения — таким путем часто проходит нервная слепота.

Акинф с страхом и радостью выбрался из оврага и подошел к деревне. Он увидел ряд почерневших изгородей и груды черного пепла средь них — все, что осталось от когда-то бойкой деревеньки. Ни души человеческой, ни собаки не было в этом печальном месте. Деревня сгорела дотла, может быть — от снарядов.

И тогда Акинф почувствовал, что снова ему застилает зрение, но на этот раз — слезами.

Дикая мельница

Я шел по местности мало знакомой и тяжелой во всех отношениях. Она была мрачна и темна, как опечаленный трубочист. Голые осенние деревья резали вечернее небо кривыми сучьями. Болотистая почва, полная дыр и кочек, вихляла, едва не ломая ноги. Открытое пространство, бороздимое ветром, купалось в мелком дожде. Смеркалось, и меня, с еще большей тоской, чем прежде, потянуло к жилью.

Я, одетый так, что на мало-мальски чистой улице поймал бы не один косой взгляд и, наверное, жалостливые вздохи старушек, более сердобольных, чем догадливых насчет малой подачки, я, одетый скверно, страдал от холода и дождя. Моей пищей в тот день была чашка собачьей бурды, украденная подле забора. Издавна привыкший к отрадной синеве табачного дыма, я не курил два-три дня. Ноги болели, мне нездоровилось, и отношение к миру в эти часы скитания напоминало отчаяние, хотя я еще шел, еще дышал, еще осматривался вокруг, злобно ища приюта. И мне показалось, что невдалеке, из лощины, где протекала узкая речка, вьется дым.

Всмотревшись, я убедился сквозь густую завесу дождя, что там есть жилье. Это была мельница. Я подошел к ней и постучал в дверь, которую открыл старик, весьма мрачной и неприветливой внешности.

Я объяснил, что заблудился, что голоден и устал. — “Войдите! — сказал старик, — здесь для вас найдется угол и пища”.

Он усадил меня за стол в маленькой, полутемной комнате и скрылся, скоро вернувшись с миской похлебки и куском хлеба. Пока я ел, старик смотрел на меня и вздыхал.

— Не хотите ли отдохнуть? — спросил он, когда я насытился, и в ответ на мое желание, выраженное громкой зевотой, провел меня наверх, в некую крошечную клетушку с малым окном. Убогая кровать манила меня, как драгоценный альков. Я бросился на нее и скрылся в забвении крепчайшего сна. Была ночь.

Ощутив, вероятно бессознательно, некоторое неудобство, я повернулся и пробудился. Когда я попробовал шевельнуть рукой — мне это не удалось. В страхе, внезапно обуявшем меня, я напряг члены, — веревки врезались в мое тело, — я был связан по рукам и ногам. Брезжил рассвет.

В томительном колебании его света я увидел старика; стоявшего в трех шагах от меня с длинным ножом в руке. Он сказал:

— Не кричи. Я связал тебя и убью. За что? За то, что природа так мрачна и ужасна вокруг моего жилища. Я живу здесь двадцать лет. Ты видел окрестности? Они повелительно взывают к убийству. В таких местах, как это, должны убивать. Небо черно, глуха и черна земля, свирепы и нелюдимы голые деревья. Я должен убить тебя…

Пока безумец говорил, ставя оправданием задуманного им жестокого дела внушение природы, медленно раскрылось небо, и солнце, редкое в этих местах, полилось золотом с ножа во все углы комнаты. Яркий свет ошеломил старика. Он зашатался и убежал. С трудом расшатав веревку, я кое-как освободился и выскочил в болото через окно.

Одинокая жизнь в мрачных местах развивает подозрительность, жестокость и кровожадность.

Поединок предводителей

В глухих джунглях Северной Индии, около озера Изамет стояла охотничья деревня. А около озера Кинобай стояла другая охотничья деревня. Жители обеих деревень издавна враждовали между собой, и не проходило почти ни одного месяца, чтобы с той или другой стороны не оказался убитым кто-нибудь из охотников, причем убийц невозможно было поймать.

Однажды в озере Изамет вся рыба и вода оказались отравленными, и жители Изамета известили охотников Кинобая, что идут драться с ними на жизнь и смерть, дабы разом покончить изнурительную вражду. Тотчас же как только стало об этом известно, жители обеих деревень соединились в отряды и ушли в леса, чтобы там, рассчитывая напасть врасплох, покончить с врагами.

Прошла неделя, и вот разведчики Изамета выследили воинов Кинобая, засевших в небольшой лощине. Изаметцы решили напасть на кинобайцев немедля и стали готовиться.

Предводителем Изамета был молодой Синг, человек бесстрашный и благородный. У него был свой план войны. Незаметно покинув своих, явился он к кинобайцам и проник в палатку Ирета, вождя врагов Изамета.

Ирет, завидя Синга, схватился за нож. Синг сказал, улыбаясь:

— Я не хочу убивать тебя. Послушай: не пройдет и двух часов, как ты и я с равными силами и равной отвагой кинемся друг на друга. Ясно, что произойдет: никого не останется в живых, а жены и дети наши умрут с голода. Предложи своим воинам то же, что предложу я своим: вместо общей драки драться будем мы с тобой — один на один. Чей предводитель победит — та сторона и победила. Идет?

— Ты прав, — сказал, подумав, Ирет. — Вот тебе моя рука.

Они расстались. Воины обеих сторон радостно согласились на предложение своих предводителей и, устроив перемирие, окружили тесным кольцом цветущую лужайку, на которой происходил поединок.

Ирет и Синг по сигналу бросились друг на друга, размахивая ножами. Сталь звенела о сталь, прыжки и взмахи рук становились все порывистее и угрожающее и, улучив момент, Синг, проколов Ирету левую сторону груди, нанес смертельную рану. Ирет еще стоял и дрался, но скоро должен был свалиться. Синг шепнул ему:

— Ирет, ударь меня в сердце, пока можешь. Смерть одного предводителя вызовет ненависть к побежденной стороне, и резня возобновится… Надо, чтоб мы умерли оба; наша смерть уничтожит вражду.

И Ирет ударил Синга ножом в незащищенное сердце; оба, улыбнувшись друг другу в последний раз, упали мертвыми…

У озера Кинобай и озера Изамет нет больше двух деревень: есть одна и называется она деревней Двух Победителей. Так Синг и Ирет примирили враждовавших людей.

Слепой Дей Канет

Юс, сторож дровяных складов у сельца Кипа, лежащего на берегу реки Милет, закусив так плотно, что стало давить под ложечкой, в хорошем расположении духа сидел у синей воды, курил и думал, что, тратя каждый день на еду тридцать копеек, сможет носить каждую субботу в сберегательную кассу ровно три рубля, которые, если относиться к этому делу внимательно и любовно, дадут через десять лет сумму в тысячу пятьсот рублей. Юс отведет душу, вознаградив жадное тело за лишения прошлого роскошным пиршеством с женщинами, вином, сигарами, песнями и цветами, а на остальные купит трактир и женится. Вот он, победитель жизни, богатый трактирщик Юс, идет в праздник с женой по улице… Все снимают шапки… Бьют барабаны…

Юс, размечтавшись, встал; ему не сиделось более; он хотел еще раз взглянуть на главную улицу Кипы, где будет стоять трактир.

На улице, где куры полоскались в пыли и в предвечернем солнце рдели оконные стекла, ни души не было, только слепой Дей Канет сидел, как всегда, на лавочке у цветочного палисада дяди Эноха. Дей был человеком лет сорока с красивым, бледным, неживым лицом (благодаря слепоте). Нищий, но опрятный костюм Дея не производил жалкого впечатления, — в спокойной позе и закрытых глазах слепого было нечто решительное.

Дей Канет жил в Кипе около месяца. Никто не знал, откуда он пришел, и сам он никому не сказал об этом. И ничего никому не сказал о себе, — совсем.

Услышав шаги, слепой повернул голову. Юс любил подразнить Дея, — слепой был ненавистен ему. Как-то раз у дяди Эноха сторож в присутствии Дея распространился о “разных проходимцах, желающих сесть на шею людям трудящимся и почтенным”; Энох покраснел, а Дей спокойно заметил: “Я рад, что совсем не вижу более злых людей”.

— Как же, — сказал Юс умильным тоном, присаживаясь на скамейку Дея, — вы вышли полюбоваться прекрасной погодой?

— Да, — помолчав, мягко сказал Дей.

— Погода удивительная. Как горы ясно видны! Кажется, рукой достанешь.

— Да, — согласился Дей, — да.

Юс помолчал. Глаза его весело блестели; он оживился, он чувствовал даже некоторую благодарность к Дею за бесплатное развлечение.

— Как неприятно все-таки, я думаю, ослепнуть, — продолжал он, стараясь не рассмеяться и говоря деланно-соболезнующим тоном. — Большое, большое, я думаю, страданье: ничего не видеть. Я вот, например, газету могу читать в трех шагах от себя. Честное слово. Ах, какая кошечка хорошенькая пробежала! Как вы думаете, Канет, отчего на этих горах всегда лежит снег?

— Там холодно, — сказал Дей.

— Так, так… А почему он кажется синим?

Дей не ответил. Ему начинала надоедать эта игра в “кошку и мышку”.

“Ладно, молчи, — подумал Юс, — я вот сейчас проколю тебя”.

— Вы видите что-нибудь? — спросил он.

— Не думаю, — сказал, улыбнувшись, Дей, — да, едва ли я вижу что-нибудь теперь.

— Ах, какая жалость! — вздохнул Юс. — Жаль, что через несколько лет вы не увидите моего прекрасного трактира. Да, да! Впрочем, едва ли вы видели вообще что-нибудь, даже пока не ослепли.

От собственного своего раздражения, не получившего отпора, Юс впал в угрюмость и замолчал. Набив трубку и задымив, он покосился на Дея, сидевшего с лицом, подставленным солнцу. Прошла минута, другая, — вдруг Дей сказал:

— Однажды я играл в столичном королевском театре.

От неожиданности Юс уронил трубку, — Дей никогда не говорил о себе.

— Как-с? Что-с? — растерянно спросил он.

Дей, мягко улыбаясь, продолжал ровным, веселым голосом:

— …Играл в театре. Я был знаменитым трагиком, часто бывал во дворце и очень любил свое искусство. Так вот, Юс, я выступал в пьесе, действие которой приблизительно отвечало событиям того времени. Дело в том, что висело на волоске быть или не быть некоему важному, государственного значения, мероприятию, от чего зависело благо народа. Король и министры колебались. Я должен был провести свою роль так, чтобы растрогать этих высокопоставленных лиц, — склонить, наконец, решиться на то, что было необходимо. А это трудно, — трудная задача предстояла мне, Юс. Весь двор присутствовал на спектакле.

Когда после третьего действия упал занавес, а затем снова шумно взвился, чтобы показать меня, вызываемого такими аплодисментами, какие подобны буре, — я вышел и увидел, что весь театр плачет, и увидел слезы на глазах самого короля и понял, что я сделал свое дело хорошо. Действительно, Юс, я играл в тот вечер так, как если бы от этого зависела моя жизнь.

Дей помолчал. В неподвижной руке Юса потухла трубка.

— Решение было принято. Чувство победило осторожность. Затем, Юс, выйдя уже последний раз на сцену, чтобы проститься со зрителями, я увидел столько цветов, сколько было бы, если бы собрать все цветы Милетской долины и принести сюда. Цветы эти предназначались мне.

Дей смолк и задумался. Он совершенно забыл о Юсе. Сторож, угрюмо встав, направился к своему шалашу, и хотя летний день, потеряв ослепительность зенита, еще горел над горами блеском дальних снегов, казалось Юсу, что вокруг глухого сельца Кипы, и в самом сельце, и над рекой, и везде стало совсем темно.

Примечания

Лошадиная голова. Впервые — журнал “Красная нива”, 1923, № 18.

Креп — здесь: траурная повязка.

Пропавшее солнце. Впервые — “Красная газета”, веч. вып., 1923, 29 января.

Словоохотливый домовой. Впервые — “Литературный листок “Красной газеты”, 1923, 29 марта.

Гениальный игрок. Впервые — “Красная газета”, веч. вып., 1923, 8 марта.

Сто верст по реке. Впервые — журнал “Современный мир”, 1916, № 7–8.

Гартман, Эдуард (1842–1906) — немецкий философ-идеалист.

Шопенгауэр, Артур (1788–1860) — немецкий философ-идеалист.

Убийство в Кунст-Фише. Впервые — “Красная газета”, веч. вып., 1923, 15 января.

Гладиаторы. Впервые — журнал “Петроград”, 1923, № 1.

Триклиниум — в Древнем Риме — обеденный стол с ложами по трем сторонам, а также

помещение, где находится этот стол.

Тимпан — древний ударный музыкальный инструмент, род медных тарелок.

Приказ по армии. Впервые — журнал “Красная панорама”, 1923, № 1.

Знаменитая тезка — Жанна д'Арк (1412–1431), национальная героиня Франции, предводительница армии, освободившей Орлеан и Реймс во время Столетней войны.

Бродяга и начальник тюрьмы. Впервые — сб. “Сердце пустыни”, М.-Л., Земля и фабрика, 1924.

Равашоль, Леон — французский анархист и террорист, взорвавший в 1892 году в Париже бомбы в квартирах судебных чиновников, участвовавших в процессах над анархистами.

Джек-Потрошитель — прозвище лондонского убийцы, совершившего в 1888–1889 годах ряд зверских убийств.

Нат Пинкертон — американский сыщик, герой популярной в начале XX века серии детективных рассказов, написанных разными авторами.

На облачном берегу. Впервые — журнал “Красная нива”, 1924, № 28.

Масса (испорч. англ. master) — хозяин, господин.

Канат. Впервые — сб. “Белый огонь”, Пг., Полярная звезда, 1922.

Компрачикосы — в Испании, Англии и других странах в XIII–XVII веках — люди, похищавшие или покупавшие детей и уродовавшие их с целью продажи в богатые дома или балаганы в качестве шутов.

Рене. Впервые — журнал “Аргус”, 1917, №№ 9-10.

Латюд, Жан Анри (1725–1805) — французский авантюрист, просидевший в тюрьмах более 30 лет.

Железная маска — таинственный узник, умерший в Бастилии в 1703 году. Лицо его всегда было под маской.

Челлини, Бьенвенуто (1500–1571) — знаменитый итальянский скульптор, ювелир и писатель.

Веселая вдова — здесь: ироническое название гильотины.

Червонный валет — прозвище богатых бездельников, здесь: члены одноименной банды.

Ива. Впервые — журнал “Петроград”, 1923, № 11.

Безногий. Впервые — журнал “Огонек”, 1924, № 7 (46).

Веселый попутчик. Впервые — журнал “Ленинград”, 1924, № 4.

Вода Сирано де Бержерака — здесь: вино. Сирано де Бержерак (1619–1655) — французский писатель, известный как храбрец, дуэлянт, гуляка.

Крысолов. Впервые — в журнале «Россия» № 3(12), 1924. Печатается по одноименной книге. М., "Библиотека «Огонек» № 50, 1927.

Э. Арнольди в воспоминаниях "Беллетрист Грин" рассказывает о возникновении замысла рассказа «Крысолов». Э. Арнольди поделился с Грином любопытной историей, участником которой был хорошо знакомый Арнольди человек.

"Я заметил, — пишет Арнольди, — что вызвал оживленное внимание Грина.

— Знаешь, мне понравился бездействующий телефон, зазвонивший в пустой квартире! — сказал он, когда я закончил. — Я об атом напишу рассказ.

Через некоторое время Грин как-то мимоходом сказал мне:

— Рассказ о телефоне в пустой квартире я уже пишу! Никаких подробностей к этому он не добавил. Я счел неудобным расспрашивать, хотя меня очень интересовало, что получится из рассказанного мною происшествия. Я представлял себе, что Грин обратит зазвонивший телефон в какую-нибудь кульминацию психологического конфликта.

Довольно долго я ничего не слышал о готовящемся рассказе. Потом Грин вдруг поведал мне:

— С рассказом о телефоне в пустой квартире получается что-то совсем другое… Но бездействующий телефон все-таки будет звонить!" ("Звезда" № 12, 1963),

Случай с зазвонившим телефоном действительно вошел в рассказ, но фон рассказа переместился. О нем (фоне) рассказывает Вс. Рождественский:

"В то время (1920 — 1921 гг. — В.С.) было плоховато не только с едой, но и с пищей для «буржуйки» — приходилось довольствоваться щепками и бревнышками, приносимыми с улицы, с окраин города, где еще существовали недоломанные заборы. Выдавались, правда, дрова, но не столь уж часто и не в достаточном количестве. Большим подспорьем служили нам толстенные, облаченные в толстые переплеты конторские книги, которые в изобилии валялись в обширных сводчатых комнатах и переходах пустого банка, находившегося в нижнем этаже нашего огромного дома. Путешествия в этот лабиринт всеми покинутых, заколоченных снаружи помещений были всегда окружены таинственностью и совершались обычно в глубоких сумерках. Грин любил быть предводителем подобных вылазок. Мы долго бродили при свете захваченного нами огарка, поскальзываясь на грудах наваленного всюду бумажного хлама, подбирая все годное и для топки и для писания. Помещение казалось огромным, и в нем легко было заблудиться. Не без труда мы потом выбирались наружу. Когда я читаю один из лучших рассказов А. С. Грина, «Крысолов», мне всегда вспоминается этот опустевший лабиринт коридоров и переходов в тусклом мерцающем свете огарка, среди груд наваленной кучами бумаги, опрокинутых шкафов, сдвинутых в сторону прилавков. И я

поражаюсь при этом точности гриновского, на этот раз вполне реалистического описания". (Сборник "Воспоминания об А. С. Грине". Рукопись.)

Судьба, взятая за рога. Впервые — журнал “Отечество”, 1914, № 7. Для публикации в изд-ве “Мысль”, в 1928 году, А.С. Грин значительно переработал рассказ.

Таинственная пластинка. Впервые — газета “Петроградский листок”, 1916, 24 июня (6 июля).

Как я умирал на экране. Впервые — газета “Петроградский листок”, 1916. 9(22), 10(23) августа.

В журнале “XX-й век”, 1917, № 26 после фразы. “Я встал и зажег огонь” следовало: “Должно быть, тетка Вируда привела наших детей, — сказала, просыпаясь, жена. — Они-то поели у нее как всегда… Вот нам бы чего-нибудь…”

Елисейские Поля — здесь: местопребывание блаженных душ.

Мат в три хода. Впервые — журнал “Бодрое слово”, 1908, № 4.

Состязание в Лиссе. Впервые — журнал “Красный милиционер”, 1921, №№ 2–3. По воспоминаниям В.П. Калицкой — первой жены А.С. Грина — рассказ был написан в 1910 году.

Игрушки. Впервые — журнал “XX-й век”, 1915, № 9.

Ночью и днем. Впервые, под заглавием “Больная душа”, — журнал “Новая жизнь”, 1915, № 3.

Ужасное зрение. Впервые — журнал “XX-й век”, 1915, № 20.

Дикая мельница. Впервые — журнал “XX-й век”, 1915, № 31.

Поединок предводителей. Впервые, под псевдонимом А.Степанов, — журнал “XX-й век”, 1915, № 41.

Слепой Дей Канет. Впервые — газета “Вечерние известия”, Москва, 1916, 2(15) марта.

Ю. Киркин

Примечания

1

Равным образом, ни о чем светящемся в небе — луне, звездах. Фергюсон — правая рука Хоггея, — чаще других навещавший Роберта, приучил его думать, что люди сами не желают многого в этом роде. А.Г.

2

Гороховое растение.

3

Нечто убийственное. Чистый спирт, настоенный на кайеннском перце с небольшим количество меда.